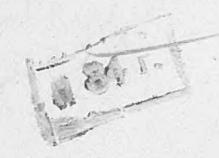






Издан і е товарищества "ЗНАНІЕ". С.-Петербургъ, Невскій, 92.



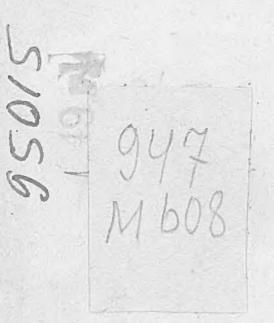
Л. Милюковъ.

изъ истории

РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИ.

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ И ЭТЮДОВЪ.

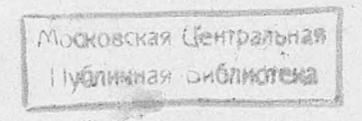
Портреты: Н. В. Станкевичъ, В. Г. Бълинскій, Н. А. Герценъ, А. И. Герценъ и снимокъ съ "кондицій" Императрицы Анны.



ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

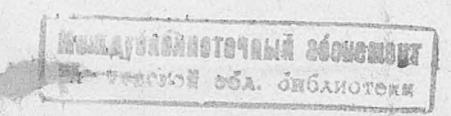
48KM.A.

Цѣна 1 р. 50 к.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Монтвида. Уголъ Конной улы и Телъжнаго пер., д. № 3—5. 1903.



M19352

ОГЛАВЛЕНІЕ.

CTPAH.

Предисловіе	I— II
І. Положеніе въ моментъ смерти Петра II. Роль иностранной дипломатіи. Источники. 1—5.—II. Засъданіе верховнаго совъта 19 января. 5—7.—III. Содержаніе "пунктовъ" и ихъ шведскіе источники. 7—11.—IV. Остальныя части плана Голицына, не вошедшія въ "пункты". 11—15.—V. Происхожденіе проекта Голицына. Роль Фика. 15—21.— VI. Отношеніе офицерства къ проекту. Возраженія конституціонной партіи и засъданіе 2 февраля. 21—26.—VII. Проектъ Татищева и его обсужденіе въ кружкъ генералитета. 26—31.—VIII. Верховный совъть предлагаеть (5 февраля) высказаться шляхетству, несогласному съ генералитетскимъ кружкомъ Татищева. Попытки соглашенія съ совътомъ, рядъ уступокъ и ихъ неудача. 31—40.—IX. Пріъздъ Анны 10 февраля, послъднія попытки совъта удержать позицію и сговориться съ несогласными; дъйствія сторонниковъ самодержавія. 40—45.—X. Совъщанія конституціоннаго и монархическаго шляхетства 23 февраля. Событія во дворцъ 25 февраля. 45—49.—XI. Уступки Анны желаніямъ шляхет-	I— 51
ства. 49—51.	
Сергъй Тимоееевичъ Аксаковъ	5272
Значеніе Аксакова для исторіи русскаго общественнаго развитія. 52—56. Семья и обстановка дътства. 56—58. Учеб-	
ные годы въ Казани; начало "русскаго направленія" его. 58—60. Увлеченіе театромъ. 61. Отсутствіе политическаго элемента въ "русскомъ направленіи" Аксакова. 62—63. Въ сторонъ отъ событій (1813—1826). 64—66. Аксаковъ—цензоръ; отношеніе къ Полевому и Погодину. 66—67. Слабость влія-	
нія молодой Москвы 30-хъ гг. черезъ сына Константина; сильное вліяніе отца на сына. 68—70. Вопросъ о вліяніи Гоголя на С. Т. Аксакова. 70—71.	
Любовь у "идеалистовъ тридцатыхъ годовъ"	73—168

любви для Станкевича. 76—77. Общая схема его романовъ. 77—80. Перемъна настроенія въ концъ жизни. 80—81.

II. В. Г. Бълинскій. 81—116. І. Постановка вопроса. 81—82.— ІІ. Теорія любви; встрѣча съ А. А. Бакуниной; внутренняя борьба. 82—87.—ІІІ. Возстановленіе вѣры въ себя, столкновенія съ М. Бакунинымъ, вѣра въ "дѣйствительность". 87—94.—ІV. Новый пароксизмъ чувства и новая ссора съ Бакунинымъ. 94—99.—V. Окончательный разрывъ; торжество теоріи "разумной дѣйствительности"; роль пережитаго въ происхожденіи этой теоріи. 99—106.—VІ. Эпилогъ сердечной исторіи и потребность въ новомъ чувствѣ. 106—112.— VІІ. Новая любовь и бракъ. 113—116.

III. А. И. и Н. А. Герцены. 116—168. І. Постановка вопроса. 116—118.—II. Обстановка дътства Герцена и Захарыной. Контрастъ ихъ характеровъ. 118—120.—III. Ростъ взаимнаго чувства въ связи съ вятскимъ романомъ Герцена. 125—134.—IV. Подчиненіе вліянію Наташи. 134—139.—V. Разрывъ съ Медвъдевой, перевздъ во Владиміръ и женитьба. 139—144.—Vl. Зародыши драмы. Идеалъ и дъйствительность семейныхъ отношеній. 144—151.—VII. Перевздъ въ Москву и конецъ семейной идилліи. Томленіе въ Новгородъ; новыя теоріи Герцена и страданія Наташи. 151—157.—VIII. Кризисъ въ семейной жизни и его послъдствія. Кризисъ въ общественной дъятельности и отъъздъ за границу. 157—161.—IX. Неудовлетворенность Наташи и исканіе исхода. 161—165. — X. Потребность жить, романъ и смерть Наташи. 165—168.

Памяти А. И. Герцена	169—175
Главныя черты жизни. 169—171. Итоги юбилея. 171—175.	
По поводу переписки В. Г. Бълинскаго съ невъстой.	176 - 187
Сравненіе двухъ привязанностей Бълинскаго. 176.	
Смыслъ его первой душевной драмы. 177—179. Выходъ изъ	
нея. 179—181. Петербургское настроеніе. 182—184. Новый	
взглядъ на бракъ и привязанность. 185—186.	
Надеждинъ и первыя критическія статьи Бълинскаго	188 - 211

Мивніе С. А. Венгерова о вліяніи Надеждина. 188—190. Неправильность его постановки вопроса. 190—192. Источникь ошибки. 192—193. Романтическая теорія искусства Бълинскаго. 193—194. Смысль "противорвчій" въ этой теоріи. 194—195. Исходная точка теоріи — у Надеждина. 195—196. Возраженія Бълинскаго въ "Литературныхъ мечтаніяхъ". 196—198. Дальнъйшее развитіе самостоятельной мысли Бълинскаго и его теорія реальной и идеальной поэзіи. 198—201. Частный примъръ отношенія къ Надеждину. 201—203. Зависимость взглядовъ на русскую культуру и литературу отъ статей Надеждина. 203—206. Шагъ впередъ Бълинскаго въ пониманіи "народности". 206—208. Славяно-

CTPAH.

212 - 265

І. Общая постановка; источникъ свъдъній объ университетскомъ курсъ Грановскаго. 212-218. Планъ курса и введеніе. 219—220. Дъленіе средневъковой исторіи. 221. Причины паденія Рима. 222-223. Характеристики императоровъ и общества. 224—227.—II. Отзывы о борьбъ язычества и христіанства. 227—228. Внутренній быть и культурныя теченія послъднихъ въковъ имперіи. 229—234.—III. Взглядъ на быть германцевь. 234—236. Дальнъйшее развитіе. 236— 237.—IV. Переселеніе народовъ. 237—238. Вопросъ о римской традиціи въ варварскихъ государствахъ. 238-240.- У. Отношеніе къ историкамъ франкскаго государства. 240-241. Оцѣнка фактовъ и личностей съ всемірно-исторической точки зрвнія. 242—245. Взглядь на Карла Великаго. 245— 248. Взглядъ на священную римскую имперію. 249—250. VI. Поэзія скандинавскихъ сагъ. 250-251. Отношеніе къ кръпостному праву 252-253; къ рыцарству 254-255. Оцънка крестовыхъ походовъ. 255-257.-VII. Вопросъ о вліяніи на Грановскаго общихъ историческихъ теорій. 258. Вліяніе Гегеля. 259—261. Поэтическій и художественный элементь въ исторіи. 261—263. Научная подготовка Грановскаго. 263-264. Вліяніе новыхъ историческихъ взглядовъ. 264. Роль Грановскаго въ исторіи университетскаго историческаго преподаванія. 264—265.

Разложеніе славянофильства (Данилевскій, Леонтьевъ, Вл. Соловьевъ) . .

266 - 306

Реставрація славянофильства. 266—267.—І. Соединеніе національнаго и всемірно-историческаго (мессіанскаго) элементовъ въ старомъ славянофильствъ. 267—270.—II. Выдъленіе національнаго элемента въ системъ Данилевскаго: научный базисъ и идеалистическая надстройка. 270-273.-III. Устарълость практическихъ выводовъ. 273—275.—IV. Источникъ ошибки въ идеалистическомъ пониманіи "морфологическаго принципа" въ природъ и исторіи. 275—277.— V. Послъдствія ея: идеалистическое представленіе о "культурно-историческомъ типъ". 277-278.-VI. Практическій выводъ изъ этого представленія: національный эгоизмъ и исключительность. 278—280.—VII. Дальнъйшее развитіе этого вывода въ системъ К. Леонтьева. Разочарование въ культурной идев и будущности славянства. 280—282.—VIII. Дополненіе научной теоріи Данилевскаго новыми элементами, взятыми изъ органической теоріи общества; непослъдовательность въ практическихъ выводахъ отсюда. 282-284.-IX. Россія на распуть византинизмомъ и европеизмомъ; политика "подмораживанія". 285—287.—Х Связь практической программы Леонтьева съ программой Дани-

CTPAH.

левскаго 287—290.—XI. Reductio ad absurdum идеи національности. 290-291.-XII. Потребность реставрировать гуманитарные элементы стараго славянофильства. 291—292.— XIII. Религіозный элементь, какъ основа реставраціи. 293—295.—XIV. Попытка Вл. Соловьева реставрировать съ помощью идеи вселенской церкви всемірно-историческую миссію Россіи. Общія черты его богословско-философской системы. 295—299.—XV. Попытка публицистической борьбы противъ теоріи національнаго эгоизма. 299—301.— XVI. Попытка примиренія историческаго прогресса съ христіанской идеей. 301—303.—XVII. Неудовлетворительность результатовъ эволюціи славянофильскихъ идей народности и національной миссіи. Причина неудовлетворительностивъ метафизическомъ абсолютизмъ исходныхъ точекъ зрънія. Отношеніе коренного славянофильства къ его искусственной реставраціи. 303—306.

Существуеть ли "лъвая фракція" эпигоновь славянофильства? 307. Имъетъ ли право историкъ-эмпирикъ изучать филіацію идей? 308.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Статьи, собранныя въ настоящемъ сборникъ, всъ были уже напечатаны въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ и сборникахъ. Статья "Верховники и шляхетство" появилась подъ заглавіемъ - "Попытка государственной реформы при воцареніи пмператрицы Анны Іоанновны" въ сборникъ "Въ пользу воскресныхъ школъ", изданіе Русской Мысли, Москва, 1894. Характеристика С. Т. Аксакова напечатана въ Русской Мысли, 1891, № IX, по поводу столѣтняго юбилея дня его рожденія. Статья "Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ" составилась изъ ряда фельетоновъ, напечатанныхъ въ Русскихъ Вѣдомостяхъ 1895. №№ 205, 312, 317 и 323 и 1896 №№ 276, 282, 289, 305, 335 и 345. Замътка "Памяти Герцена" помъщена по поводу тридцатилътія его смерти въ Мірѣ Божіемъ 1900, № 2. Статья "По поводу переписки В. Г. Бѣлинскаго съ невѣстой" составляетъ предисловіе къ самымъ письмамъ, напечатаннымъ покойнымъ Г. А. Джаншіевымъ въ сборникъ "Починъ", 1896, изд. Московскаго Общества любителей россійской словесности. Статья "Надеждинъ и первыя критическія статьи Бёлинскаго" напечатана была въ сборникъ "На славномъ пути", Сиб., 1901. Этюдъ объ "университетскомъ курсѣ Грановскаго" появился въ армянскомъ сборникъ Джаншіева "Братская помощь" (здѣсь печатается въ томъ видъ, какъ въ 1-мъ изданіи 1897; во 2-мъ изданіи статья была сокращена). Наконецъ, лекція о Разложенін славянофильства нанечатана въ Вопросахъ Философіи и Психологіи 1893, май.

Въ текстъ статей не сдълано никакихъ измъненій, кромъ очень немногихъ стилистическихъ поправокъ, имъвшихъ цѣлью — облегчить чтеніе. Поводомъ собрать въ одинъ сборникъ всѣ статьи, относящіяся къ "Исторіи русской интеллигенціп", было желаніе автора сдѣлать эти статьи доступными для читателей его "Очерковъ по исторіи русской культуры",—чтобы тѣмъ самымъ освободить себя отъ необходимости повтореній въ составляемомъ теперь Ш томѣ "Очерковъ".

Благодаря любезному разрѣшенію г. директора Государственнаго архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, С. М. Горяннова, и содѣйствію служащаго въ архивѣ Н. П. Павлова-Сильванскаго, оказалось возможнымъ приложить къ настоящему изданію факсимиле интереспато историческаго документа, --, кондицій имп. Анны, сперва подписанныхъ ею, а затимъ разорванныхъ, но сохранившихся въ Государственномъ архивъ. Снимокъ съ рельефнаго изображенія Станкевича сдъланъ быль, по моей просьбъ, уважаемой Н. С. Бакуниной, у которой храпится оригиналь. Снимки съ малоизвъстнаго портрета Герцена — въ томъ возрасть, къ которому относится его переписка съ будущей женой, Н. А. Захарьиной, —и съ портрета самой Н. А., сделаннаго въ Италіи, въ 1847 году, любезно сообщены мнѣ извѣстной изслѣдовательницей сороковыхъ годовъ, Е. С. Некрасовой. Портретъ молодого Бѣлинскаго, тоже въ томъ возрастѣ, къ которому относятся главныя событія его сердечной исторіи (27-28 льть, въ 1837-1838 году), недавно быль изданъ въ краскахъ во II томъ "Полнаго собранія сочиненій Бѣлинскаго", подъ редакціей С. А. Венгерова. З дісь этоть портреть издается но снимку съ оригинала, съ разрѣшенія владѣльца, П. Г. Моравека. Авторъ приноситъ глубокую благодарность названнымъ лицамъ, содъйствіе которыхъ дало возможность дополнить текстъ сборника всеми этими, въ высшей степени поучительными иллюстраціями.

Лондонъ. 27 іюля 1902.

JOHEODE MODONE DEEMaTEL A Chando Deepweiningo has Cπαπλομιά GCETTA CENETRAL παιτάμωνω βελμιονίω Τω ΤΑΣΑ η Μπεράιπορα λια νολερο NuicTo 18663 ust a unaso In Паператорсиса вбершего Cochpunan, Mathasa 6 Запоно припительто Copason's usemu hampi Babbi conce Ghorung RTIP CHOTO LIMAKY MLIBATO FLOAT TAP (ma 1 De Toxt in to publ HILLICA CARRENTE MOJAC HILLICA LOUINTETTE CHILLIE TOSS FOR HOUSE TOT Nan Tradushing to 1,08 MOT BACTIL ROMOUNDO WOOD ITPOUNEME PICETIONIO CONO nEmili Tipa Docla Dubix ha 1110To jerroutganifst filla Min liopophe pochicion, BOILE MOS COUSHE WENCE TIPEGENETTE & ELLE WOOD TTOUE COE 14 TENOCTUL NON JApanu WENTUXE CODATI THOTO page his muit Tops Верхопиний Пайный соп

perame, horanoto nepronoso offiteria coTracus A. Hume Bitjukixh namuxh 710 gannhi Bond Make Tunbi. Kaji Lema all FeneEnners Protostunking Chille Tionno Hills ha paufa, TILL, Nugoe HBRATTICHENDE 110 To uswap Egensims, Minagili IBUMONE Thimb. MOA, GEGE, = onnoto maunoto constina estina connostra Minsternogich, unatra, 6. Bottizunte, EDONOHAITIE, T. BripHAMO -Hank pomuxh, Marih htro-Peonstine Il pxo II no Jo marino Jo Pougueting 8. Japane EpocxeA, L. ner 110 Mpedarth

Cheome Tion, annhi Encome MATTIN CHEP SCHILL; CIBRES, OFF Avintha Stay 110 pour précisi My Observan see Begson= younge colystoped

ціи" Императрицы Анны Іанновны.



голитинскаго и русскаго престоловъ и опасался болъе всего датскій носланникъ. Дело въ томъ, что въ такомъ случав Голитинія усиливалась и могла легче добиться своей постоянной цёли: отнять у Данін Индезвить. Одинъ разъ (по смерти Екатерины I) Вестфалену уже пришлось хлопотать объ устраненін кандидатуры "кильскаго ребенка"; и онъ не малую долю вліянія при воцаренін Петра II принисывалъ именно своимъ хлопотамъ. Теперь приходилось вторично приняться за тѣ же хлоноты, тѣмъ болѣе, что, какъ казалось Вестфалену, на сторонъ голштинскаго претендента стояли посланинки шведскій и австрійскій. Несомнънно, что опасенія Вестфалена были въ этомъ случав очень преувеличены. По крайней мяря, въ донесеніяхъ шведскаго посла, Дитмера, не оказывается ни малкиникъ следовъ какойинбудь шведской интриги въ пользу голштинскихъ илановъ. Напротивъ, Дитмеръ подчеркиваетъ передъ своимъ правительствомъ, что намфренъ остаться совершенно нейтральнымъ въ вопросѣ о русскомъ престолонаследін. Какъ бы то ни было, едва болезнь Истра II пачала принимать опасный характеръ, какъ Вестфаленъ принялся усиленно интриговать противъ кандидатуры сына Анны Петровны. Онъ дневалъ и ночеваль у князей Долгорукихъ, всесильныхъ при умиравшемъ императоръ. О чемъ была ръчь посланинка съ временщиками, скоро стало яспо: очевидно, не безъ вліянія этихъ разговоровъ составлено было нисьмо, въ которомъ Вестфаленъ уговорилъ Долгорукихъ "соединиться съ другими вельможами Россін" для доставленія престола невѣстѣ императора, княжив Долгорукой. "Если энергичная и твердая рашимость двухъ такихъ людей, какъ Толстой и Меншиковъ, -писалъ онъ Долгорукимъ, -- могли доставить русскую корону покойной царицъ, несмотря на массу пренятствій, то почему бы подобная різнимость не могла дать такого же положенія принцессь добродьтельной, какова ваша племянница"?

Событія показали скоро, что Вестфалент слишкомъ поторонился учесть въ свою пользу планъ, къ которому Долгорукіе могли придти и безъ его помощи, но для осуществленія котораго его помощи оказалось слишкомъ педостаточно. На первыхъ же шагахъ къ осуществленію, иланъ возвести на престолъ невѣсту императора встрѣтилъ, какъ извѣстно, сопротивленіе среди самихъ Долгорукихъ, непавидѣвшихъ семью государева любимца, Ивана Алексѣевича. Отецъ его, самый инчтожный и самый падутый изъ всей фамиліи, скоро долженъ былъ стушеваться передъ болѣе видными представителями Долгорукихъ, выдававшимися по правственнымъ или по умственнымъ качествамъ: передъ фельдмаршаломъ Вас. Владимировичемъ и передъ дипломатомъ Василісмъ Лу-

кичемъ. "Соединение съ другими вельможами" (именно Голицыными), проектированное Вестфаленомъ, дъйствительно состоялось, но вовсе не съ цълью осуществленія Долгоруковскаго проекта. Соединившісся вельможи посившили, вирочемъ, успоконть озабоченнаго дипломата, сообщивъ ему, что меньше всего они думають о голштинской кандидатуръ. Хлоноты Вестфалена, разумфется, были туть не причемь, и датскій посланникъ очень ошибался, если въ самомъ дёлф думалъ, -- какъ онъ писалъ своему правительству,-что, благодаря именно его "энергическому противодъйствію" и благодаря его "предупрежденіямъ лицъ, руководившихъ переворотомъ", предотвращено было и на этотъ разъ вступленіе на русскій престоль сына Анны Петровны подъ опекой Елизаветы. Гораздо лучше понималь роль дипломатін въ этомъ случав шведскій посланникъ, когда писаль: "датскій министръ подъ рукой много хлопоталь о томъ, чтобы не зашла рфчь о голштинскомъ принцф; но, кажется, на подобныя внушенія такъ же мало обратили винманія, какъ на противоположныя напоминанія графа Бонде (голштинскаго посла), что объ этомъ принцѣ не слъдуетъ забывать вовсе. Хотя последняго и уверяли, что препятствіемь для принца служить на этоть разъ молодость, но главная причина (отклоненія голштинской кандидатуры), по всей видимости, та, что посредствомъ выбора хотятъ достигнуть большей свободы и не оставаться болье подъ такимъ тяжелымъ гнетомъ".

Иностранной дипломатіи въ Россіи прошлаго вѣка не разъ удавалось сыграть весьма видную и активную роль въ дворцовыхъ переворотахъ. По переворотъ 1730 г. обошелся безъ участія дипломатіи. Онъ слишкомъ неожиданно начался, слишкомъ скоро кончился, быль руководимъ слишкомъ самостоятельными людьми и слишкомъ глубоко захватилъ внутреннее движеніе русскаго общества, чтобы иностранная дипломатія (при томъ на непривычномъ мѣстѣ, въ Москвѣ) могла оказать на него сколько-нибудь замѣтное вліяціе. Самые умпые изъ нностранцевъ скоро поняли, что имъ оставалось только сложить руки и спокойно ожидать развязки, не выходя изъ роли постороннихъ наблюдателей.

Въ качествъ наблюдателей — иностранные дипломаты понимали смыслъ совершавшихся передъ ихъ глазами событій различно. Одни смотрѣли на попытку верховниковъ, какъ на возвращеніе русскаго боярства къ прежиему положенію, -къ доцетровской старипѣ. Другіс видѣли въ этой нопыткѣ желаніе осуществить новое, болѣе раціональное государственное устройство на манеръ Англін, Швецін или Польши. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ — многіе изъ иностранныхъ представи-

телей сочувствовали готовящемуся перевороту; были моменты, когда и которымъ изъ нихъ онъ казался внолит осуществимымъ. Но большинство дипломатовъ, даже сочувствуя перевороту теоретически, плохо втрили съ самаго начала въ его осуществимость на практикт. Во всякомъ случат, московскія событія интересовали ихъ, главнымъ образомъ, съ той точки зртнія, что они могли отвлечь Россію отъ активной роли въ современной европейской политикт.

Оба только что упомянутые взгляда пностранцевъ на значение нереворота 1730 года (т.-е. какъ на боярскую реакцію противъ демократическаго и бюрократическаго деспотизма Петровской реформы, или какъ на попытку перенесенія въ Россію иноземнаго государственнаго строя) — были, надо признаться, гораздо глубже тъхъ понятій, которыя послѣ неудачи переворота утвердились среди русской нублики и господствовали въ русской исторической литература вилоть до посладинхъ десятильтій. Попытка верховниковъ понята была у насъ, какъ продукть своекорыстнаго и эгонстическаго разсчета--обезпечить личныя выгоды путемъ раздѣла власти между двумя могущественными фамиліями. О нопыткахъ же шляхетства, протестовавшаго противъ верховниковъ и выступившаго съ собственнымъ планомъ политической реформы, —въ русской нечати почти инчего не было извъстно. Только съ середины XIX вѣка стало возможно возстановить истинный характеръ событій 1730 года и освободить толкованіе ихъ отъ запоздалыхъ вліяній тогдашней памфлетной литературы. Донесенія пностранныхъ пословъ сыграли при этомъ весьма важную роль.

Пзвлеченія изъ депешъ испанскаго посла, изданныя въ 1845 г. Языковымъ подъ названіемъ "Записокъ дюка Лирійскаго", выдержки изъ донесеній французскаго резидента Маньяна, напечатанныя Тургеневымъ въ 3-мъ томѣ его извѣстнаго издапія "La Russie at les Russes", наконецъ, обширныя цитаты изъ донесеній саксонскаго посла Лефорта въ 4-мъ томв "Geschichte des Russischen Staates" Германна (1849) положили прочное пачало знакомству съ литературой донесеній. Затъмъ, на тъхъ же допесеніяхъ, съ присоединеніемъ выписокъ пзъ денешъ англійскаго резидента Рондо, основаць быль разсказь о перевороть 1730 г. въ извъстномъ сборникъ "La cour de Russie il y a cent ans" (1858). Наконецъ, и самые тексты донесеній начали издаваться въ нолномъ видъ: герцога де-Лиріа-въ "Осмиадцатомъ въкъ" Бартенева, .Іефорта—въ V томѣ, Рондо—въ LXVI-мъ и Маньяна – въ LXXV томахъ Сборника Императорскаго Русскаго Историческаго Общества. Ещо важите было то, что и подлинные документы переворота, сохранившіеся, главнымъ образомъ, въ нетербургскомъ государственномъ архивъ,

дождались, наконецъ, своихъ изслъдователей: въ 1869 году С. М. Соловьевъ въ 19-мъ томъ своей "Исторін" и въ 1880 году Д. А. Корсаковъ въ спеціальной диссертаціи о "воцаренін императрицы Аниы Тоанновны"--представили результаты своихъ архивныхъ изысканій, существенно дополнившіе то, что было извістно изъ дипломатическихъ донесеній. Къ ряду последнихъ Д. А. Корсаковъ прибавиль новый источникъ: денеши датскаго посла Вестфалена. По и этимъ матеріалъ донессній не быль исчернань окончательно. Послі работы казанскаго профессора появилась статья шведскаго историка Герне, дополняющая наши свъдънія любонытными извлеченіями изъ денешъ шведскихъ дипломатовъ, Дитмера и Моріана 1). Кромѣ сообщенія новаго матеріала, статья Іерне важна еще и въ другомъ отношенін: въ ней впервые сдълана попытка точно указать шведскіе источники проектированной верховниками государственной реформы. Такъ какъ статья эта прошла совершенно незамбченной въ нашей исторической литературф, и такъ какъ донесенія Рондо и Маньяна опубликованы вполнѣ уже послѣ выхода въ свътъ спеціальной работы проф. Корсакова, то намъ показалось недишнимъ, опираясь на весь извъстный теперь матеріалъ, еще разъ остановить вниманіе читателей на этомъ любопытномъ эпизодѣ нашей исторіи прошлаго віка. Помимо сообщенія фактовъ, неизвістныхъ въ русской исторической литературъ, —и фактами уже извъстными намъ казалось возможнымъ воспользоваться въ ибкоторыхъ случаяхъ пначе, чёмъ ими пользовались до сихъ поръ при описаніи событій 1730 года ²).

II.

Основной вопрось—о престолонаслѣдіи — быль разрѣшень немедленно послѣ смерти государя, ночью на 19-е января, верховнымь тайнымь совѣтомь, съ участіемь двухь фельдмаршаловь, ки. Вас. Вл. Долгорукаго и кн. Мих. Мих. Голицына, а также сибирскаго губернатора ки. Мих. Вл. Долгорукаго. Все эти три лица не имѣли, впрочемь, никакого права присутствовать въ совѣтѣ, кромѣ своего родства съ вліятельными верховниками. Иниціаторомъ рѣшеній этого импровизированнаго собрапія, никѣмъ не уполномоченнаго вести то дѣло, за которое

¹) Historisk Tidskrift, 1884. *Horald Hjärne:* Ryska konstitutionr-project år 1730 efter svenska förebilder. Crp. 189—272.

²⁾ Новъйшее изложение переворота 1730 г. у Валишевскаго (L'hèritage de Pierre la Grand, règne des femmes, gouvernement des favoris, 1725—1741) основано на русскихъ изслъдованіяхъ, включая и настоящую статью.

оно взялось, явился ки. Дм. Мих. Голицынъ. Онъ началь засъдание съ того, что устраниль нерфинтельныя заявленія Долгорукихъ о завфщанін Петра II въ пользу невѣсты. Это завѣщаніе Голицынъ открыто и рѣшительно объявилъ подложнымъ. Вслѣдъ затѣмъ и завѣщаніе Екатерины I (на которомъ основывалась голштинская кандидатура) онъ объявилъ педвиствительнымъ-па томъ основании, что Екатерина сама не имфла права занимать престола, какъ женщина инзкаго происхожденія (историки не рішаются цовторять болбе різкаго выраженія, употребленнаго въ этомъ случав ки. Голицынымъ). Устранивъ такимъ образомъ дочерей Екатерины I, которыхъ партія старины всегда считала рожденными до брака, Голицынъ не менве рвинтельно устранилъ первую жену Петра Великаго, царицу Евдокію, и старшую изъ илемянницъ Петра, Екатерину Ивановну, герцогиню мекленбургскую, -последнюю на томъ основанін, -- совсемъ уже не принципіальнаго свойства,—что мужъ ея можетъ причинить Россіи разныя затрудненія. Затемъ Д. М. Голицынъ остановился на ея младшей сестре-Анне Ивановић, вдовћ герцога курляндскаго, которая уже вовсе не могла имфть никакихъ основаній - разсчитывать на русскій престолъ. Предложивъ ея кандидатуру, Голицынъ былъ поддержанъ другимъ видиымъ членомъ верховнаго совата, кн. Вас. Лук. Долгорукимъ. Соватъ согласился на пзбраніе Анны Ивановны. Тогда Голицынъ перешель къ выполненію другой части своего плана, которую онъ развивалъ, впрочемъ, далеко не такъ рѣшительно, какъ первую. Свое памфреніе онъ передаль товарищамъ въ неловкой и туманной фразъ: "Надобно" было, но его словамъ, "себъ полегчить", именно- - "воли себъ прибавить". Со стороны канцлера Головкина эта часть предложенія вызвала недоумфніе. Ловкій и практическій князь Василій Лукичь тоже выразиль сомивніе въ неполинмости этого замысла. "Хоть зачиемъ, да не удержимъ этого", заявиль онь. Совъщание такъ и кончилось безъ опредълениаго результата. Голицынъ настанвалъ на томъ, чтобы, "написавъ, послать къ ея величеству пункты"; а Василій Лукичь, встрытивь послы засыданія въ состдней комнать Павла Ивановича Ягужинскаго и услыхавъ отъ него то же заявленіе: "Батюшки мон, прибавьте намъ какъ можно воли", -- резюмироваль результать почного совъщанія въ своемь отвътъ ему такъ: "говорено уже о томъ было, -но то не надо". Кто могъ бы думать, что на следующее утро Долгорукій превратится въ сторонника ограниченія царской власти, а Ягужинскій— въ защитника самодержавія?

Какъ бы то ни было, въ первыя минуты Голицынъ не нашелъ себъ единомышленниковъ среди сочленовъ по совъту. Но онъ имълъ

этихъ единомышленниковъ, очевидно, виб совбта. Вотъ почему онъ посибшилъ немедленио вернуть разъбзжавшихся изъ доворца по домамъ генераловъ и сенаторовъ (въ томъ числф и Ягужинскаго) и, собравъ ибкоторыхъ изъ нихъ вокругъ себя, продолжалъ съ ними начатый безъ пихъ въ совътф разговоръ о "пунктахъ". По словамъ очевидца, онъ говорилъ имъ, что "станетъ-де писать пункты, чтобы не быть само-державствію".

Въ такой обстановкъ являлся внервые на свътъ проектъ верховинковъ. Нельзя не вывести изъ разсказанной сцены, что проектъ составился въ головъ одного Голицына, который пришелъ въ засъданіе съ готовымъ иланомъ дъйствій, что среди товарищей онъ не встрътилъ на первыхъ порахъ сочувствія своему плану и что съ перваго же момента онъ готовъ былъ искать этого сочувствія въ другихъ, менте саповныхъ сферахъ. Такъ мало походило все дъло на заранъе обдуманный и условленный олигархическій комплотъ.

Однако, въ слѣдующія же минуты Голицынъ настоялъ на своемъ и въ совѣтѣ. Когда разъѣхались члены сената и генералитета, засѣданіе восьми сановниковъ возобновилось. Они занялись теперь, какъ того желалъ Голицынъ, составленіемъ "пунктовъ". Диктовалъ самъ князъ Дмитрій Михайловичъ, а также и Василій Лукичъ, успѣвийй, какъ видно, войти въ его мысли; редактировалъ, по настоянію товарищей, Остерманъ, "яко знающій лучше стиль"; записывалъ правитель дѣлъ верховнаго совѣта Степановъ, разсказавшій намъ всю эту сцену. Скоро черновая редакція пунктовъ была готова и импровизированное собраніе, проработавъ всю ночь, разъѣхалось по домамъ до десяти часовъ утра слѣдующаго дня (19 января), когда было назначено оффиціальное собраніе членовъ сената, синода и генералитета.

III.

Несмотря на сибшное составление первой редакціи "пунктовъ", видно по всему, что содержаніе ихъ было хорошо и давно обдумано,—конечно, Д. М. Голицынымъ. Прибавки, сдбланныя къ этой редакціи въ утреннемъ засбданін совбта (19 января), были не столько принципіальнаго, сколько чисто-прикладного свойства. Онб имбли въ виду установить тб дополнительныя гарантін для совбта, которыя вытекали изъ особенностей личности и положенія избранной императрицы. Анна обязывалась этими прибавками не вступать въ супружество, не назначать наслъдника, не держать при дворб иностранцевъ; въ случаб нарушенія "пунктовъ" она объявлялась лишенной короны; наконецъ, гвардія и

войска оставались въ вѣдѣнін верховнаго совѣта. Не будемъ останавливаться на дальнѣйшихъ измѣненіяхъ "пунктовъ"; замѣтимъ только, что окончательная редакція ихъ во многихъ случаяхъ возстановила выраженія чернового наброска, составленнаго въ ночь на 19-е января.

Другое, еще болье очевидное, доказательство того, что "цункты" были обдуманы Голицынымъ заблаговременно и что въ редакціи ихъ 19 января не было ничего случайнаго, —можно почеринуть изъ разбора ихъ содержанія. Уже Д. А. Корсаковъ отмѣтилъ несомивиное сходство этого содержанія съ государственнымъ строемъ Швеців, какъ онъ установился въ такъ называемое "время свободы", т. е. послѣ переустройства 1720 года, покончившаго съ самодержавными реформами Карла XI-го (1680-е годы). Шведскій историкъ Іерне съ документами въ рукахъ произвель сличеніе "кондицій" съ соотвѣтственными статьями шведскихъ государственныхъ актовъ: "формы правленія" 1720 года и "королевской присяти" Фридриха І. относящейся къ тому же году 1). Если раскрыть ссылки, сдѣланныя Іерне, и сопоставить указанныя имъ мѣста шведскихъ актовъ съ русскими "кондиціями", то мы получимъ слѣдующій рядъ параллелей:

Пункты.

Безъ онаго верховнаго тайнаго совъта согласія (объщаемся):

- 1. Ни съ къмъ войны не всчинять.
- 2. Миру не заклю-

3. Върныхъ нашихъ подданныхъ никакими новыми податьми ие отягощать.

Шведскіе источники.

- R. F. 6. "Также не можеть Е. Кор. В. безъ предварительнаго обсужденія и согласія государственных вословій начать войну"...—К. F. 18: "Я не должень также начинать никакой войны безъ совъта государственнаго совъта и безъ согласія сословій.
- R. F. 7. "Такъ какъ заключеніе мира, перемирія или союза не терпить иногда ни мальйшей проволочки, а государственныя сословія не всегда находятся въ сборъ, когда потребуеть подобный случай, и не могуть быть созваны такъ скоро, какъ это нужно, то Е. К. В. совъщается въ подобныхъ важныхъ случаяхъ съ государственнымъ совътомъ и принимаетъсъ нимъ ръшенія, клонящіяся къ пользъ государства", доводя, однако, объ этомъ до свъдънія ближайшаго слъдующаго риксдага.
- К. F. 18. "(Я не должень также)... издавать приказаній или запрещеній, или дѣлать распоряженія, касающіяся всего государства, по поводу военныхъ вспоможеній, податей, таможенныхъ сборовъ или другихъ налоговъ, поборовъ или иныхъ все-

¹⁾ Далье буквы R. F. обозначають первый источникь (Regeringsformen), а К. F.—второй (Konungaförsäkran.); выраженіе "съ совъта совъта" соотвътствуеть извъстной инведской формуль: med Rads rade.

общихъ тягостей... (безъ совъта государственнаго совъта" и т. д.)—R. F. 5. " Е. К. В. долженъ охранять и защищать свое государство, особенно отъ иноземной власти и нашествія непріятелей, но онъ не можеть для этой цъли налагать на подданныхъ, противно закону и королевской присягъ, никакихъ военныхъ вспоможеній, податей, таможенныхъ сборовъ, поборовъ и иныхъ налоговъ безъ въдома, свободнаго желанія и согласія государственныхъ сословій".

4. Въ знатные чины, какъ въстатскіе, такъ и въ военные, сухопутные и морскіе, выше подковничья ранга не жаловать, ниже къ знатнымъдъламъ инкого не опредълять.

R. F. 40. "Вев высшія должности, начиная съ полковника до фельдмаршала включительно, и всъ нмъ подобныя, какъ въ духовномъ, такъ и въ свътскомъ сословін, замѣщаются Его Величествомъ въ засъданін совъта слідующимь образомь: когда открывается вакансія, государственный совъть обязанъ освъдомиться о заслугахъ и пригодности всъхъ такихъ лицъ, которыя могутъ быть приняты въ соображение при замъщении столь важной должности. Когда Его Величество милостиво предложитъ совъту, кого онъ соблаговолить вспомнить для занятія должности, то совъть заносить о таковыхъ въ протоколь и не прежде приступаеть къ голосованію, чъмъ удостовърится, что назначение даннаго лица не противоръчить закону и "формъ правленія" Швецін, такъже какън заслугамъ другихъ частныхъ подданныхъ. Въ противномъ случаъ государственный совъть должень постановить, чтобы Е. К. В. соблаговолилъ принять во внимание соображения совъта и указаль бы на кого-нибудь другаго", заслужившаго назначение и не вызывающаго возражений. "На всъ другія должности-коллегін и другія присутственныя мъста-указываютъ Его Величеству трехъ разумнъйшихъ, достойнъйшихъ и наиболъе подходящихъ для занятія вакансін кандидатовъ".--К. Г. 10. "Относительно назначенія въ государственный совъть и на другія болье или менье важныя должности я обязуюсь во всёхъ отношеніяхъ соблюдать "форму правленія" и объщаю, что всъ должности отъ полковника до фельдмаршала и веъ имъ подобныя будуть замъщаться мною въ засъданін совъта по большинству голосовъ"

Гвардін и прочимъ полкамъ быть подъ въдъніемъ верховнаго тайнаго совъта.

R. F. 25. "Вся государственная армія, морская и сухопутная, должна со всѣми своими высшими и низшими начальствующими присягать на вѣрность Кор. Величеству, государству и сословіямь по установленной формулъ".—R. F. 26.` "Ни одинь полковникь или ппой начальствующій не можеть, безъ при-

казаній Кор. Величества, даннаго съ совъта совъта, собирать распущенныя по домамъ войска для выступленія и похода".

новъ или благосостоянія, безъ законнаго уличенія

и приговора; также не отнимать и не дозволять от-

R. F. 2. "Никого не лишать жизни и чести, чле-

- 5. Ушляхетства живота и имънія безъ суда не отымать.
- нимать ни у кого имущества, движимаго или недвижимаго, номимо суда и безъ предшествующаго судебнаго приговора".

 6 Вотчины и ле- К Р 5 Я не булу также отлудять отъ госу-
 - 6. Вотчины и деревни не жаловать.
- К. F. 5. "Я не буду также отдълять отъ государства никакихъ княжествъ, областей, городовъ, замковъ или уъздовъ, путемъ ли раздъла по завъщанію, или путемъ пожалованія или залога".

 К. F. 14. Обязуюсь никакихъ иноземныхъ кня-
- 7. Въ придворные чины какъ русскихъ, такъ и иноземцевъ безъ совъту верховнаго тайнаго совъта не производить 1).
- К. F. 14. "Обязуюсь никакихъ иноземныхъ князей, принцевъ и иныхъ лицъ не призывать въ государство, не натурализировать и не назначать ин на какія должности ни внутри, ни виѣ государства, ни на гражданскую, ни на военную службу, ни на важныя должности при дворъ".
- 8. Государственные доходы въ расходъ не употреблять.
- R. F. 19. "Когда случится какое-нибудь дёло, касающееся общественной обороны и требующее значительных расходовъ сверхъ бюджета, разрёшеннаго сословіями, то Е. К. В. созываетъ всёхъ здёсь находящихся членовъ государственнаго совъта, чтобъ обсудить и рёшить такія и тому подобныя важныя дёла".
- R. F. 31. "Упомянутый бюджеть не можеть быть превзойдень или увеличень... Въ бюджеть входить не только извъстная сумма карманныхъ денегь для личнаго употребленія Е. К. В. по усмотрънію, по также ежегодно назначается сумма на чрезвычайные расходы, которою распоряжается Е. К. В. съ совъта совъта, причемъ соблюдается, чтобы расходь всегда соотвътствоваль приходу".
- К. F. 13. "Государственные доходы въ большихъ или меньшихъ размърахъмогутъбыть употребляемы сверхъ утвержденнаго сословіями бюджета только съ совъта совъта и послъ надлежащаго голосованія, причемъ соблюдается всяческая бережливость, чтобы расходъ всегда соотвътствовалъ приходу".

(виъ нумераціи) Ивсѣхъ своихъ подданныхъ въ неотмънК. F. 7. "Объявляю, что долженъ быть лишенъ королевскаго трона и считаться врагомъ государства тоть, кто или открытою силой, или посред-

¹⁾ Этотъ пунктъ вставленъ на утрениемъ засъданіи. Первоначальная редакція была: "при дворѣ своемъ придворныхъ чиновъ изъ иноземцевъ не держать". Нельзя не замътить, что именно въ этой первоначальной редакціи этотъ пунктъ кондицій стоитъ ближе къ шведскому постановленію.

ной своей милости содержать. А буде сего по сему объщанію не исполню, то лишена буду короны. ствомъ тайнаго заговора захочеть добиться самодержавія".

К. F. 22. "И для того, чтобы всѣ государственныя сословія тѣмъ болѣе увѣрились въ искренномъ моемъ попеченін объ общемъ благѣ, объявляю, что вт случаѣ, если бы я съ своей стороны нарушиль присягу, сословія освобождаются всецѣло отъ данной ими присяги и клятвы въ вѣрности".

Самое бъглое сравненіе русскихъ "нунктовъ" съ ихъ шведскимъ образцомъ можетъ показать, что верховный совътъ выбралъ изъ шведскихъ установленій только то, что непосредственно опредъляло долю участія государственныхъ сословій, совершенно оставлено въ сторонъ. Значило ли это, какъ заключали враги верховниковъ, что члены верховнаго совъта "не думали вводить народное владѣтельство, но всю владѣнія крайнюю силу осьмочисленному своему совѣту учреждали?" Другими словами, дъйствительно ли верховники хлонотали только о личной выгодѣ и вовсе забыли о "народъ" въ своемъ конституціонномъ проектѣ?

IV.

Тоть же авторь, которому принадлежать приведенныя только что слова, сообщаеть и то, что приводили въ свое оправдание верховники 1). По словамъ Өеофана, опи "ротились и присягали, что опи за собственнымъ своимъ интересомъ не гонятся, и жаловались, что напрасно то въ грѣхъ имъ поставлено, что они совѣта своего всѣмъ прочимъ не сообщили". По ихъ словамъ, они сдѣлали это потому, что "хотѣли они первѣе искусить и отвѣдать, какову себя покажетъ на ихъ предложение избираемая государыня; а то увѣдавъ, имѣютъ они намърение всѣ чины созвать и просить отвѣтовъ, что кому заблагоразсудится къ полезиѣйшему впредь состоянию государства, обѣщавая скоро то учинить и себя, яко невиниыхъ, передъ всѣми оправдать".

Были ли эти объщанія просто "обманнымъ ловительствомъ", какъ думалъ Өеофанъ, или верховники давали ихъ совершенно серьезно, — это видно будетъ изъ дальнѣйшаго ихъ образа дѣйствій. Теперь мы носмотримъ, насколько опасенія враговъ оправдывались самымъ содержаніемъ проекта Голицына.

Какъ видно изъ первой строчки, подъ которую подведены были всѣ 8 "пунктовъ",—кондиціи опредѣляли только одну частность въ

¹⁾ Өеофапъ Проконовичъ. См. его "Сказаніе" въ приложеніи къ "Запискамъ дюка Лирійскаго", пер. Языкова. Спб. 1845 г.

проектированномъ государственномъ устройствъ. Взятыя сами по себъ, онь, конечно, производили то впечатльніе, что составители ихъ только и заботились объ огражденін личности и имущества членовъ верховнаго совъта. Скоро мы увидимъ, какое роковое значение для плана Голицына имбло это висчатлвніе, произведенное кондиціями на современниковъ. Но въ наше время, когда давнымъ-давно утихли посафдије отголоски страстей, возбужденныхъ замыслами верховниковъ, пора было бы признать, что впечатление это было, если и не совсемъ случайное, то во всякомъ случав очень преувеличенное. Современники частью не знали, частью не хотфли вфрить, что содержаніе кондицій составляло только часть плана, составленнаго Голицынымъ. Выдвигая эту часть впередъ, онъ дъйствительно руководился тъми практическими соображеніями, которыя дошли до Өеофана. Необходимо было, по его мивнію, поскорбе закрвнить исходный пункть уступокъ самодержавной власти. Верховный совъть быль во всякомъ случав, единственнымъ наличнымъ учрежденіемъ, которое могло договариваться съ императрицей на почвъ сколько-нибудь похожей на юридическую. Согласіе Анны должно было, какъ казалось верховникамъ, оправдать ихъ пинціативу и поставить все дбло на твердое основаніе. Въ ожиданін же этого согласія верховный совъть приступиль немедленно къ выработкъ общаго плана государственной реформы, болже широкаго, чемъ содержаніе кондицій. Протоколы совѣта, наполненные всевозможными мелочами по новоду похоронъ Петра II и ожидавшагося пріфзда императрицы, не сообщають намъ, правда, пичего о ходѣ этого обсужденія. Но мы, темъ не менье, знаемъ о немъ кое-что изъ сообщений иностранныхъ дипломатическихъ агентовъ. Черезъ четыре дня послѣ составленія кондицій, т. е. уже 23 января, иностранцамъ становится извъстнымъ, что Голицыпъ внесъ на обсуждение совъта свой просктъ новаго государственнаго устройства. По первоначальнымъ предположеніямь совіта, проекть должень быль быть выработань окончательно н опубликованъ 2-3 февраля, т. е. немедленно посяв полученія согласія Анны (де-Лиріа). Потомъ опубликованіе было отложено до 6 -7 февраля (Маньянъ, Дитмеръ). Почему и послъ этого срока проектъ Голицына остался не опубликованнымъ, будетъ видно изъ последующаго изложенія событій.

Содержаніе проекта, по сообщеніямъ де-Лиріа, Маньяна и Рондо, было слѣдующее ¹):

¹⁾ Въ скобки поставлены тѣ части проекта, которыя, по тогдашнимъ слухамъ, были введены въ него въ концѣ обсужденія, именно 7-го февраля. Впрочемъ, уже отъ 5-го числа Дитмеръ сообщаетъ о двухъ голосахъ импера-

- 1. Пиператрица лично и безконтрольно распоряжается только своими карманиыми деньгами (размфры которыхъ опредѣляются въ 500 тысячъ руб. ежегодно). Она начальствуетъ только надъ отрядомъ гвардіи, назначеннымъ для ея личной охраны и карауловъ во дворцѣ.
- 2. Верховная власть принадлежить императриць вмысть съ верховнымь совытомь, который состоить изъ 10—12 членовь, принадлежащихь къ знативйшимь фамиліямь. (Императрица имысть въ совыть только два, по другимъ свыдыніямъ три голоса. Иностранцы, за личнымъ исключеніемъ Остермана, въ члены совыта не допускаются). Совыть выдаетъ важивний дыла по иностранной политикы войну, миръ, договоры; онъ же назначаетъ на всы должности и начальствуетъ надъ всыми войсками (къ числу которыхъ прибавляются два новыхъ гвардейскихъ полка). По другому, болые точному извыстю, войсками начальствуютъ два фельдмаршала, отдающіе отчетъ совыту (де-Лиріа). Для финансовъ избирается верховнымъ совытомъ государственный і) казначей, который долженъ отдавать совыту самый точный отчетъ о мельчайшихъ государственныхъ расходахъ.
- 3. Сенатъ, изъ 30—36 членовъ, предварительно разсматриваетъ дѣла, вносимыя въ совѣтъ, а также представляетъ высшую судебную пистанцію.
- 4. Палата низшаго шляхетства, изъ 200 членовъ, охраняетъ права этого сословія, въ случать нарушенія ихъ совттомъ. (Всякій знатный шляхтичъ, уличенный въ преступленія, наказывается по законамъ, но наказаніе, не распространяется на его семейство).
- 5) Налата городскихъ представителей, по два отъ каждаго города ²), вѣдаетъ торговыя дѣла и интересы простого народа.

Изучая содержаніе проекта въ связи со щведскимъ законодательствомъ, Іерие отмѣтилъ и въ этой части Голицынскаго плана рядъ заимствованій. Постановленіе о двухъ голосахъ императрицы въ совѣтѣ соотвѣтствуетъ R. F. (1720), 15³). Введеніе цивильнаго листа соот-

трицы въ совъть и объ опредълсиіи размъровъ ся liste civile въ 500.000 рублей. О казначев де-Лиріа пишетъ сще 26 января. Классификація содержанія проскта принята нами наша собственная.

¹⁾ У де-Лпріа "великій".

²⁾ По Рондо: "дворянъ или купцовъ".

^{3) &}quot;Когда въ совъть ръшаются дъла съ совъта совъта, что, разумъется, должно всегда производиться носредствомъ голосованія, и сели мивнія окажутся при этомъ одинаково сильными съ объихъ сторонъ, то перевъсъ получаеть та сторона, которой Е. К. В. даеть свое милостивое одобреніе... Но если въ голосахъ обнаружится большое неравенство, то К. В. всегда принимаетъ тотъ совъть, который большинство государственнаго совъта признало полезнайшимъ".

вътствуетъ R. F. 31 ¹). Но еще любопытите, что какъ по общему характеру, такъ и по ивкоторымъ частностямъ проектъ Голицына папоминаеть не современную ему конституціонную Швецію, а старую аристократическую Швецію, какою она была до самодержавныхъ реформъ Карла XI, т.-е. до конца XVII столътія. "Отношеніе между верховнымъ совътомъ и сенатомъ, --будемъ говорить словами Іерие, --- наноминаетъ положение пяти высшихъ сановниковъ относительно государственнаго совъта во время регентствъ XVII въка. Когда намъ сообщають, что по плану Голицына совъть не пуждался въ присутствін императрицы, чтобы постановлять окончательныя рёшенія, то при этомъ вспоминается не только R. F. 16, 1720 года, но еще болѣе сходное постановленіе въ R. F. 15, 1660 года. Что казпачей (и также два фельдмаршала, относительно войска) долженъ давать отчеты совъту, это совпадаеть съ R. F. 18, 1634 г. (ср. также R. F. 13, 1660 г.). Объ сословныя палаты, пасколько можно судить по скуднымъ сведеніямъ, должны были, подобно шведскимъ государственнымъ сословіямъ въ малольтство Христины и Карла XI, имъть только контролирующую власть, не стѣсняя этимъ свободы дѣйствій совѣта. Что духовенство не получало своего представительства, -- объясияется враждебнымъ отношеніемъ Голицына къ этому сословію. О крестьянахъ, естественно, не могло быть рачи въ страна, гда они были крапостными. Естественными представителями ихъ интересовъ были ихъ шляхетскіе господа, какъ отвътственные передъ правительствомъ за сборъ податей".

Такимъ образомъ, проектъ Голицына какъ въ кондиціяхъ, такъ и въ цѣломъ стоитъ въ ближайшей связи съ политическими тенденціями шведскаго высшаго дворянства. Іерне, какъ и Корсаковъ, приходятъ къ тому заключенію, что проектированное Голицынымъ государственное устройство "носило въ цѣломъ аристократическій отпечатокъ". Всего этого невозможно не признавать, и при всемъ томъ можно утверждать, что проектъ Голицына не только не имѣлъ своекорыстно-личнаго характера, по не имѣлъ даже и своекорыстно-сословнаго. На всемъ проектъ лежалъ отпечатокъ теоретизирующей и идеализирующей политической мысли; этотъ-то отпечатокъ скрывалъ, и можетъ бытъ отъ самого автора, реальную узость того сословнаго принцина, на которомъ проектъ былъ построенъ. Среди ожесточенной борьбы реальныхъ интересовъ и политическихъ теорій, какую вызвала попытка верховниковъ, этотъ проектъ быстро заклейменъ былъ кличкой олигархическаго и тиранническаго. Но когда, задолго до событій, давшихъ возможность по-

¹⁾ См. выше, стр. 10.

пытаться осуществить его, князь Голицынъ обдумывалъ свою политическую теорію, —навѣрное, опа представлялась ему весьма радикальной сравнительно съ окружавшею его дѣйствительностью. Эту-то разницу между условіями теоретической разработки и условіями практическаго осуществленія надо имѣть въ виду при историческомъ объясненіи цѣлей князя Голицына. Не только чтобы быть справедливыми при оцѣнкѣ этихъ цѣлей, но даже просто, чтобы какъ слѣдуетъ понять ихъ, мы должны поэтому заняться исторіей происхожденія Голицынскаго плана. Для этого намъ надо оставить на время уличную борьбу и перепестись въ уединеніе рабочаго кабинета князя Дмитрія Михайловича.

V.

Для того, чтобъ объяснить происхождение политической теоріи князя Голицына, у насъ истъ пичего подобнаго темъ допросамъ подъ ныткой, которые съ такою подробностью освътили исторію составленія Долгорукими подложнаго завъщанія. Но кое о чемъ мы можемъ догадываться. Прежде всего, трудно сомнъваться въ томъ, что основныя черты проекта были готовы раньше, чёмъ явилась надежда на ихъ осуществленіе. Во время январскихъ и февральскихъ событій 1730 г. было бы уже поздно заниматься изученіемъ иностранныхъ законодательствъ. Въ отдъльныхъ случаяхъ, какъ, напр., по вопросу о размърахъ цивильнаго листа, делались попытки навести запоздалую справку въ иностранныхъ законахъ черезъ резидентовъ, но последние были очень сдержанны. Дитмеръ писалъ, напримъръ, 8 февраля: "въ последнее время онять старались добыть те или другія шведскія постановленія, и особенно о томъ, какое содержаніе получаеть дочь короля объ этомъ просили рижскаго депутата, причемъ, кажется, предположено было поговорить объ этомъ со мной, по я отклониль это". Въ первые дин послъ переворота Голицынъ обращался и къ Вестфалену съ общимъ вопросомъ: какую форму правленія онъ считаетъ лучшею: шведскую или англійскую. Датскій посланникъ далъ отвътъ, который не могь поправиться Голицыну. Шведская форма правленія, отвѣчаль онъ, - самая илохая, а англійскую врядъ ли можно ввести въ Россіи. Надо замътить, что и другіе дипломаты въ первые дин послъ выбора Анны представляли себѣ дѣло такъ, что вопросъ о выборѣ формы правленія остается нерѣшеннымъ и верховники колеблются между англійскимъ, шведскимъ и польскимъ образцами. Они даже передавали, что самое избраніе Анны-только временное, до выработки республиканской формы правленія. Несомнънно, что иностранные дипломаты

говорили, что слышали, и что подобные разговоры ходили вт Москвъ-Разсказывалъ же ифкій бригадиръ Козловъ, пріфхавшій изъ Москвы въ Казань, что Анну Іоапновиу при первомъ пичтожномъ нарушеніи условій "вышлють назадъ въ Курляндію" и, "что она сдѣлана государынею, и то, де, только на первое время: помазка по губамъ". Но все это свидѣтельствуетъ лишь о томъ, какъ взбудоражены были событіями умы московскихъ политикановъ. Среди верховниковъ колебаній подобнаго рода, навѣрное, не было, и выборъ князя Голицына давно уже остановился на шведскомъ устройствѣ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, пужно принять въ соображеніе иѣкоторые факты изъ его біографіп и изъ предыдущей исторіи Россіи.

Въ 1730 году Голицынъ былъ шестидесятипятилѣтнимъ старикомъ. Цвътущіе годы его жизни прошли въ царствованіе Петра Великаго, старше котораго онъ былъ на цилыхъ семь литъ. Двоюродный братъ кн. Василія Васильевича Голицына, онъ раздёляль принципіальное сочувствіе любимца Софын къ идей преобразованія Россін, по ималь многое возразить противъ той формы, какую приняло преобразование въ рукахъ Петра. Онъ возмущался твмъ, что "иностранцы начали предписывать законы", по-аристократически ненавидель Меншикова и съ презрѣніемъ стараго русскаго боярина смотрѣлъ на семейныя отношенія Петра. Какъ умный человѣкъ, онъ, однако, умѣлъ принимать обстоятельства, какъ они были, мирился со многимъ и за то принадлежаль къ очень немногимъ дюдямъ, сумвашимъ при Петръ сохранить независимый образъ мыслей и внушить царю ифкоторое уваженіе къ себѣ. Его карьера была тишичною карьерой петровскаго государственнаго дъятеля. Начавъ ее, подобно мпогимъ молодымъ дворянамъ, въ Италін-съ выучки морского дела, онъ былъ затемъ дипломатомъ въ Константинополѣ, потомъ сдѣлался образцовымъ губернаторомъ въ Кіевѣ и, наконецъ, оказался одпимъ изъ самыхъ дѣловитыхъ президентовъ въ самой отвѣтственной изъ петровскихъ коллегій-въ камеръ-коллегін. Тѣ нознанія въ государственныхъ наукахъ, которыхъ требовала последняя должность, Голицынъ усивлъ пріобрести по собственной охоть заблаговременно. Еще въ Кіевъ онъ заставляль студентовъ духовной академін, которымъ протежировалъ, переводить себъ съ латинскаго, нѣмецкаго и французскаго политическихъ инсателей и "усердно занимался ихъ изученіемъ" (Седеркрейцъ). Пуффендорфъ, Томазій, Гроцій, Локкъ, Маккіавели находились въ русскихъ рукоцисныхъ переводахъ въ его библіотекѣ и должны были познакомить его съ тогданиею теоріей государственнаго права. Приложеніе теоріи къ практикъ началось на его глазахъ и совершалось его руками. Сперва

65754

25015

какъ губернаторъ, нотомъ какъ президентъ камеръ-коллегін, онъ призванъ былъ привить къ русской жизни образцы областного и центральнаго управленія, запиствованные правительствомъ Петра изъ Швецін. Занявъ президентскій постъ, онъ свелъ личное знакомство и съ однимъ изъ иниціаторовъ административной реформы, гамбургскимъ уроженцемъ Фикомъ. Объ огромномъ значенін Фика для русской государственной реформы я говориль въ другомъ мфстф 1). Здфсь мы имфемъ дъло съ Фикомъ только какъ съ носредникомъ, черезъ котораго Голицынъ познакомился со шведскимъ государственнымъ правомъ. Седеркрейцъ сообщаетъ намъ, что Голицынъ широко воспользовался матеріалами по государственному праву, вывезенными Фикомъ изъ Швеціи, куда онъ былъ спеціально командированъ Петромъ. Для своего личнаго употребленія Голицынъ велёль перевести всё эти инструкціп, указы н т. д. на русскій языкъ. Но этимъ не ограничивались сношенія Голицына съ Фикомъ. Начальникъ часто приглашалъ къ себъ подчиненнаго, чтобы воспользоваться его личною бесфдой. Рфчь заходила между инми "о старой и новой исторіи, также о различіяхъ между религіями", и гость за трубкой табаку, предложенною любезнымъ хозянномъ, засиживался далеко за полночь. Не забудемъ, что тотъ же радушный хозяннъ своимъ младшимъ братьямъ, изъ которыхъ одинъ былъ фельдмаршаль, а другой — сенаторь, не позволяль въ своемъ присутствін садиться безъ спеціальнаго приглашенія, а всёхъ младишхъ родственниковъ заставлялъ цёловать себё руку.

О чемъ собственно могла идти рѣчь въ этихъ почныхъ бесѣдахъ, легко представить себѣ, если вспомнимъ, что Фикъ въ Швеціи "получилъ вкусъ къ республиканскому правленію", а въ религіозныхъ вопросахъ былъ свободнымъ мыслителемъ, что тогда значило — быть совершеннымъ матеріалистомъ, и не держалъ своихъ возарѣній въ секретѣ. Конституціонное прошлое Швеціи, о которомъ Фикъ постоянно говорить въ своихъ докладахъ Петру, было ему хорошо извѣстно, — можетъ быть лучше, чѣмъ ея настоящее, т. е., чѣмъ переворотъ, совершившійся въ 1720 году, уже послѣ его поѣздки въ Швецію. Въ этомъ переворотъ Фикъ долженъ былъ узнать и привѣтствовать возвращеніе къ старымъ, болѣе свободнымъ политическимъ формамъ, уничтоженнымъ въ концѣ ХУП вѣка Карломъ ХІ. Для Петра Великаго это не годилось, да Фикъ и не успѣлъ тогда еще получить точныхъ свѣдѣній о переворотѣ. Петру нужна была для заимствованій именно

ackoracksa ()

0 (===

¹⁾ См. мое "Государственное хозяйство Россіи въ первой четверти XVIII стольтія и реформа Петра В.". Спб. 1892, стр. 579 и слъд., 590 и слъд., 615 и слъд.

Швеція Карла XI-го, нужна была бюрократическая, а не конституціонная монархія. Сообразно съ этимъ, самъ Фикъ заявлялъ вноследствін на оффиціальномъ допрост, что при Петрт онъ быль больше бюрократомъ, чъмъ либераломъ. Однако, въ одномъ изъ своихъ донесеній Петру онъ хотя робко, но все же довольно опредбленно совътовалъ учредить нъсколько "высшихъ инстанцій", между которыми слъдовало распредълить "выполненіе" распоряженій, вытекающихъ изъ царской прерогативы. Послѣ смерти Петра Фикъ сталъ смѣлѣе; несомифино, при его участін была дайствительно учреждена такая высшая инстанція— "верховный тайный совъть". Иностранцы довольно единодушно считали учрежденіе верховнаго совъта "первымъ шагомъ къ измѣненію формы правленія по образцу Англін пли Швецін". Смыслъ этого изм'єненія они столь же единодушно видели въ "уменьшенін деспотической власти государя" и въ уничтоженіи тирапніи временщиковъ. Одинъ изъ иностранныхъ динломатовъ даже предсказывалъ, что московскіе бояре кончать темь, что захватить верховную власть и "заставить дать себф прерогативы, какія сочтуть необходимыми для устройства правленія, подобнаго англійскому" 1). Очевидно, "московскіе бояре" и вліятельивншін изъ нихъ, ки. Д. М. Голицынъ, не скрывали своихъ дальивншихъ намфреній; тотъ же иностранный динломать, еще до учрежденія верховиаго совъта, замічаль, что они ждуть для изміненія формы правленія перваго вцутренняго замішательства.

Итакъ, вотъ съ которыхъ поръ—съ самой смерти Иетра ²) – князъ Д. М. Голицынъ выжидалъ удобной минуты, чтобы осуществить свой проектъ государственной реформы. "Кондицін" должны были только довершить то, что начато было учрежденіемъ "верховнаго совѣта". Если въ учрежденіи совѣта мы могли съ большою вѣроятностью предноложить участіе Фика, то въ составленіи Голицынскаго конституціоннаго проекта его участіе является вполнѣ несомиѣннымъ. Несомиѣннымъ оно было уже для всѣхъ тѣхъ, кто имѣлъ случай наблюдать поведеніе Фика въ эти недѣли.

Фикъ оставался въ Петербургѣ, когда въ Москвѣ, неожиданно для всѣхъ, началось государственное "дѣйство". При первыхъ извѣстіяхъ о готовящемся переворотѣ онъ не могъ скрыть своей радости. Въ самомъ засѣданіи коммерцъ-коллегіи, вице-президентомъ которой онъ былъ съ

¹⁾ Подробите объ условіяхъ, при которыхъ возникъ верховный совътъ и о роли Фика при его учрежденіи см. въ моей книгт: "Государственное хозяйство Россіи", стр. 675—679.

²⁾ Лефортъ, отъ 5 февр.: Depuis Pierre I il a toujours eu en vue de tronquer la souveraineté.

1726 года, онъ громко читалъ своимъ сослуживцамъ знаменитые "пункты" и "хвалился, что далъ къ тому новодъ". Нѣсколько нозже шведскій резидентъ въ Петербургѣ, Моріанъ, доносилъ, что Фика считали "стоявшимъ въ сношеніяхъ съ нѣкоторыми изъ 28 господъ, стремившихся къ свободѣ и положившихъ начало отмѣнѣ самодержавія, для чего стат. совѣт. Фикъ не только указалъ, что въ подобныхъ случаяхъ дѣлалось и установлялось въ другихъ государствахъ, по и самъ изготовилъ иѣсколько пунктовъ и условій, ограничивавшихъ ея величество". Можетъ быть и эти свѣдѣнія были почерпнуты изъ "похвальбы" Фика 1).

Близкія отношенія Фика къ перевороту обпаружились, далье, и въ томъ, что Фикъ пе усидьлъ въ Истербургь. Въ самый разгаръ зимы опъ повхаль въ Москву, очевидно, съ намереніемъ принять деятельное участіе въ событіяхъ. Но событія шли быстро, и когда Фикъ прівхаль въ Москву, здесь вее уже было кончено. Ему оставалось только объяснить благовиднымъ образомъ свой прівздъ и постараться стать въ хорошія отношенія съ повымъ правительствомъ. Этого ему, однако, уже не удалось сделать. Его противники выставили его,—очевидно, не безъ основанія,—соучастинкомъ ки. Д. М. Голицына. Въ аудіенцій у государыни ему было отказано. Вмюсто того, на квартиру къ нему явился офицеръ съ четыьрмя солдатами, съ повеленіемъ пемедленно отвезти его назадъ въ С.-Истербургъ 2). Въ конце 1731 года онъ былъ судимъ отделеніемъ коллегіи по лифляндскимъ и эстляндскимъ дёламъ. Хотя следствіе и не могло уличить его ин въ чемъ другомъ, кромё легкомысленныхъ разговоровъ, онъ все-таки былъ осужденъ (12 февраля

¹⁾ Моріанъ доносить далье: "Замъчательно, что когда я въ послъднюю Пасху, но обычаю страны, поздравляль съ праздникомъ адмирала Сиверса, онъ прямо началъ говорить объ этомъ и спрашивать о причинахъ поспъщнаго возвращенія Фика изъ Москвы (см. слъд. страи.), которыя я ему и изложиль, какъ слыщалъ отъ самого Фика. Адмиралъ при этомъ принялъ видъ особой довъренности и фамильярности, потрепалъ меня по плечу и сказалъ: вотъ такъ-то вей вы, господа дипломаты. Я-морякъ, а потому пить пичего удивительнаго, что я прямъ и инчего не скрываю. И онъ повторилъ разсказанцыя выше обстоятельства относительно соучастія Фика со мпогими въ отмѣнъ самодержавія. При этомъ онъ какъ бы желаль, чтобы я признался, или что я тоже слышаль, что г. Фикъ самь этимь хвалился, или что я другимь путемъ имъю пъкоторыя свъдъпія объ этомъ, говоря, что все это не могло остаться мит неизвъстнымъ, такъ какъ я каждый день бывалъ въ домъ у Фика. Я отвъчалъ, что ничего подобнаго не слыхалъ отъ другихъ, а тъмъ болъе отъ самого Фика, котораго я считаю достаточно благоразумнымъ, чтобы не открываться въ такомъ деликатномъ дълъ иностранцу". Минихъ, какъ оказалось, того же мивнія о Фикв, хотя "говорить обь этомь остороживе, чвмъ другіе".

1732 г.) на пожизненную ссылку съ отнятіемъ всѣхъ пожалованныхъ ему нмѣній. Онъ прожиль около Тобольска до 1743 г. Елизавета, вступивши на престоль, "вспоминла о старомъ, усердномъ слугѣ голштинскаго дома". Фикъ былъ возвращенъ и получилъ часть своихъ лифляндскихъ имѣпій. Онъ дожилъ до 1750 года, сохранивъ до послѣднихъ дней атепстическій образъ мыслей и бодрое пастроеніе.

Возвращаясь къ проекту Голицыпа, мы поймемъ теперь, почему этотъ проектъ напоминлъ шведскому изслъдователю старинную "форму правленія" 1634 года и вообще шведскій аристократическій строй времень регентствъ. Объ этомъ стров Фикъ бестдоваль съ Голицынымъ задолго до того времени, когда оба они нолучили точныя извъстія о переворотт 1720 года. Вотъ почему Голицынъ, дълая заимствованія взъ государственныхъ актовъ 1720 года, не забылъ и тъхъ переводовъ съ оригиналовъ, вывезенныхъ Фикомъ изъ Швеціи, по которымъ онъ впервые познакомился съ основными чертами шведской конституціи. Первыя впечатлтнія, очевидно, и въ этомъ случат были самыми сильными.

Принимая такое объясненіе, мы уже не будемъ имъть нужды объяснять подборъ источниковъ, сдѣланный Голицынымъ 1), какими-нибудь его олигархическими симнатіями. Несомивниымъ кажется намъ, что п въ цъляхъ задуманнаго переворота не было ничего олигархическаго. Цёли эти вебми сторонинками "копдицій" понимались совершенно одинаково. "Нынъ имперія Россійская стала сестрица Швецін и Польшъ,--разсуждаль въ Петербургѣ по этому поводу Фикъ; россіяне пынѣ умны, понеже не будутъ имъть фаворитовъ такихъ, какъ были Меншиковъ и Долгорукій, отъ которыхъ все зло происходило". А другой авторъ "пунктовъ", самъ Голицынъ, въ тъ же самые дин въ Москвъ убъждаль вевхъ и каждаго, что "отнынв счастливая и цвътущая Россія будеть". Брать Динтрія Михайловича, фельдмаршаль Голицынь, развиваль еще подробиве преимущества повой формы правленія передъ Дитмеромъ. Съ этихъ поръ, разсуждалъ онъ, не будетъ болбе произвольныхъ казней, ссылокъ, конфискацій; мало того, новое правительство всячески будетъ стараться уменьшить ненужные расходы, запретить лишийе поборы, дасть свободу торговяй, обезпечить каждому сохранность его имущества и понизить неслыханную высоту процента путемъ учрежденія банка. Отъ начинателей то же радужное настросніе распространялось и на ихъ сторонниковъ. Извъстный уже намъ бригадиръ Козловъ съ восторгомъ разсказывалъ казанскимъ обывателямъ, что государыня теперь "ин последней табакерки изъ государевыхъ

¹⁾ Или, можетъ быть, Фикомъ для Голицыпа?

сокровищъ не можетъ себѣ взять", не будетъ раздавать деревень и денегъ, не будетъ приближать ко двору своихъ свойственниковъ,—словомъ, говорилъ Козловъ, "теперь у насъ правленіе государства стало порядочное, какого нигдѣ не бывало, и нынѣ уже прямое теченіе дѣламъ будетъ; и уже больше Бога не надобно просить, кромѣ, чтобы только между главными согласіе было. А если будетъ между ими согласіе такъ, какъ положено, то, конечно, пикто сего опровертнуть не можетъ". "Если будетъ согласіе", то предположенная реформа должна осуществиться: это новторяли, подобне бригадиру Козлову, и многіе изъ иностранныхъ дипломатовъ. Верховники сказали свое слово. Превратится ли слово въ дѣло,—это зависѣло теперь отъ того, что скажетъ русское общество.

VI.

По случаю предполагавшагося бракосочетанія Петра II, въ Москв собралось въ январѣ 1730 года все, что было вліятельнаго и выдающагося въ Россіи. Здѣсь были члены сената и сипода, генералитетъ съ третьимъ фельдмаршаломъ во главѣ, ки. Трубецкимъ, не введеннымъ въ верховный совѣтъ и поэтому жестоко обиженнымъ,—многіе изъ представителей высшей администраціи и наконецъ шляхетство не только гвардейское, но и армейское и даже частью отставное. По разсчету проф. Корсакова, изъ 170 человѣкъ, составлявшихъ, за вычетомъ верховниковъ, тогдаший "генералитетъ" 1), 87 человѣкъ присутствовали въ Москвѣ и принимали участіе въ московскихъ совѣщаніяхъ шляхетства. ИІтабъ- и оберъ-офицеровъ тотъ же авторъ по присяжнымъ листамъ насчитываетъ до 2.000 человѣкъ; а подъ проектами, представленными въ совѣтъ шляхетствомъ, находимъ до 1.100 подписей. Очевидно, московскія событія задѣли шляхетство за живое 2).

¹⁾ Т. е. высшіе четыре класса по табели о рангахъ.

²⁾ Въ своей рецензіи на книгу проф. Корсакова проф. Загоскинъ обратиль винманіе на то, что многіе подинсывались по иъскольку разъ подъ разными проектами; именно изъ 515 лицъ, подписавшихся подъ восемью проектами, болъе трети, 183 лица, подписались по иъскольку разъ ("Верховники и шляхетство", стр. 23). Проф. Загоскинъ заключилъ изъ "этого курьезнаго факта", что шляхетство подписывалось, нисколько не интересуясь содержаніемъ проектовъ и относясь къ инмъ нидифферентно: "сегодия пріятель подсупулъ проектъ, -надо его подписать; завтра предлагаєтъ подписать проектъ начальникъ или лицо, отказать которому неудобно по личнымъ или соціальнымъ отношеніямъ,-- подписывается другой проектъ", и т. д. Этимъ индифферентизмомъ проф. Загоскинъ объясняетъ и "ту простоту и легкость", съ какими шляхет-

Волненіе среди собравшагося въ Москву общества началось, дъйствительно, тотчась же, какъ только распространились слухи о намъреніяхъ верховинковъ. Яркая картина этого волненія набросана Ософаномъ. Одна часть московской интеллигенцій была несогласна въ принципь съ верховинками, желая "старое и отъ прародителей воспріятое государства правило удержать непремвино". Другая, притомъ болье многочисленная и болье вліятельная, готова была признать пользу реформы, по была обижена тьмъ, что ся мибиія не спросили. "Передълывать составъ государства" въ небольшомъ кружкъ—значило, какъ она полагала, брать на себя слишкомъ большую отвътственность. "И хотя бы они преполезное ивчто усмотръли, однакожь скрывать то нередъ другими, а наниаче и правительствующимъ особамъ не сообщать—непріятно то и смрадио нахнетъ", разсуждали московскіе конституціоналисты изъ генералитета и шляхетства.

Естественно, что недовольство обънхъ нартій усилилось, когда стало извъстно содержаніе "кондицій". Защитники самодержавія видъли въ нихъ раздъль власти между восемью лицами, вызванный "несытымъ лакомствомъ и властолюбіемъ" верховниковъ. Въ результатъ этого раздъла они предсказывали междоусобныя войны, возвращеніе Россіи въ тотъ "скаредный" видъ, который она имѣла, "когда на многая кияженія расторжена бъдствовала", всеобщую анархію и т. д. Съ другой стороны, люди, сочувствовавшіе ограниченію самодержавія, не находили въ илант Голицына достаточныхъ гарантій законности. "Кто намъ поручится,—спрашивали они,—что со временемъ, вмъсто одного государя, не явится столько тирановъ, сколько членовъ въ совътъ, и что они своими притъсненіями не увеличатъ нашего рабства? У насъ пътъ установленныхъ законовъ, которыми могъ бы руководиться совътъ; если его члены станутъ сами издавать законы, то они во всякое время могутъ ихъ уничтожитъ" 1). Надо сказать, что эти замъчанія прямо ука-

ство, за нѣсколько дией до того подписавшееся подъ различными проектами, яко бы выражавшими ихъ "политическое умоначертаніе", 25 февраля... не задумалось подпести Аннѣ Ивановиѣ "полное самодержавіе". Одна изъ цѣлей этой статьи—показать, что всѣ эти факты допускають и иное объясненіе. При менѣе механическомъ сопоставленіи проектовъ, при болѣе виимательномъ изученіи ихъ генезиса и взаимпой связи—подписываніе пѣсколькихъ проектовъ доказываетъ, какъ увидимъ, не равполушіе, а, напротивъ, напряженный интересъ, съ какимъ шляхетство слѣдило за быстро развивавшимися событіями и старалось къ нимъ приснособиться. Насколько стойко было шляхетство въ своихъ главныхъ требованіяхъ, видно будетъ изъ всего дальпъйшаго изложенія.

¹⁾ Лефортъ, отъ 26 января.

зывали на самый существенный пробъль въ проектъ Голицына, отмъченный и новъйшимъ историкомъ (Герие). Дъло въ томъ, что не только въ "пунктахъ", но и въ полномъ проектъ Голицына вопросъ о конституціонныхъ гарантіяхъ и объ организаціи законодательной власти оставался совершенно обойденнымъ; между тъмъ, соотвътственныя постановленія существовали, конечно, въ шведскихъ источникахъ Голицынскаго проекта.

Оспаривая право совъта на законодательную власть въ будущемъ, конституціонная партія оспаривала также его право на учредительную власть въ настоящемъ. Она полагала, что новое государственное устройство должно быть выработано особымъ учредительнымъ собраніемъ, болве широкимъ, чвмъ соввтъ, по соціальному составу. Законодательная власть въ будущемъ строф также не должна была быть мононоліей какой-либо правящей корпораціп, а достояніемъ "общепароднаго" правительства. Этого рода возраженій противъ своего проекта Голицынь съ Фикомъ навърное не предвидёли. Но темь, кто захотёль бы, на этомъ основаніи, обвинять Голицына въ узости взглядовъ, пришлось бы обвинить въ такой же узости и взгляды ихъ противниковъ. Подъ "общенародіемъ", которому следовало дать участіе въ учредительной и законодательной власти, и московская конституціонная партія разумъла одно только шляхетство. Заговоривъ объ общенародныхъ гарантіяхъ, это шляхетство, какъ увидимъ, кончило выработкой проекта дворянскихъ льготь. Интересы же другихъ сословій занимали московское шляхетство едва ли въ большей степени, чемъ ки. Голицына.

Въ почныхъ собраніяхъ шляхетства дѣло не ограничилось одними теоретическими разсужденіями. Московскіе кружки рѣшились дѣйствовать и, въ этомъ случаѣ, онять раздѣлились на два лагеря. Иринципіальные противники проекта верховинковъ склонялись къ "дерзкому" рѣшенію: "на верховинхъ господъ, когда они въ мѣсто свое соберутся, напасть незанно оружною рукою и, если не похотятъ отстать умысловъ своихъ, смерти всѣхъ предать". Сторонники ограниченія царской власти предпочитали "другое мнѣніе кроткое": явиться въ верховный совѣтъ и убѣдить верховниковъ — "призвать ихъ въ свое дружество" и дѣйствовать сообща. По первое мнѣніе казалось многимъ слишкомъ "лютымъ и удачи неизвѣстной", другое, напротивъ, слишкомъ "слабымъ и недѣйствительнымъ"; время проходило въ разговорахъ и "все ихъ дѣйствіе день по дию знатно простывало", по выраженію Өеофана.

Верховный совъть также не оставался въ бездъйствін. По картинному описанію того же Өеофана, верховники были "не безъ страха,

когда не знали они, какъ дремливо было противниковъ дъйствіе; но когда сіе узнали, показывали себя грозныхъ и яростныхъ. Нарочно отъ инхъ разсевался слухъ о страшныхъ на противниковъ своихъ угроженіяхъ: и что мятежныя ихъ сонмища верховному совѣту гораздо вѣдомы; и что непокойныя оныя головы судятся яко непріятели отечествія, и скоро пошлется--или уже и послано--ловить ихъ за аресть; и что дурно они на множество свое уповають, понеже въ числѣ верховныхъ и главные полководцы обратаются; и что никому изъ нихъ утанться и избъжать бъды цельзя, цоцеже немногіе поймациые покажуть на ныткахъ и прочихъ, и явится, кто каковой казии достойны будуть". Дъйствуя, такимъ образомъ, страхомъ на сторонипковъ самодержавія, совѣтъ старался привлечь къ себѣ конституціонную цартію убъжденіями и объщаніями. Верховники соглащались отдать вопросъ о новомъ государственномъ устройствъ на обсуждение "всъхъ чиновъ", какъ только получено будетъ извъстіе о согласін императрицы на посланные къ ней "пункты". Въ ожиданін отвѣта Анны, члены совѣта обсуждали, — конечно, въ неоффиціальныхъ засёданіяхъ, — конституціонный проекть, предложенный Голицынымъ.

Перваго февраля согласіе Анны на предложенныя ей кондиціи было, наконець, получено. На второе число, въ 9 час. утра, было назначено торжественное засѣданіе совѣта для выслушанія вѣстей изъ Митавы. На это собраніе приглашены были въ совѣть члены сената, синода, генералитета до бригадирскаго чина, президенты коллегій и гражданскіе чины первыхъ четырехъ классовъ. Разносившіе повѣстки словесно сообщали, что въ засѣданіи "о государственномъ установленіи совѣтовать будутъ". Замѣчено было также, что въ повѣсткахъ вмѣсто оффиціальнаго выраженія: "совѣть указываеть" — употреблено было болѣе мягкое: "призываеть".

Конституціонная партія, составлявшая большинство, по свидѣтельству ея противника Өеофана, выводила изъ этихъ признаковъ, что совѣтъ "въ затѣйкахъ своихъ раскаялся и хощетъ просить себѣ въ томъ прощенія, какъ то члены его въ недавнихъ разговорахъ и объщались". Непримиримые противники верховнаго совѣта, напротивъ, убѣждали всѣхъ не идти на засѣданіе, "внушая, что это — новая верховниковъ хитростъ и злое изобрѣтеніе", —именно, что они хотятъ вынудить согласіе на свои "затѣйки", а "противящихся себѣ вдругъ придавить".

Обѣ партін были по своему правы. Своихъ противниковъ совѣтъ, дѣйствительно, хотѣлъ запугать страхомъ. Въ переходахъ, сѣияхъ и даже въ самой залѣ засѣданія совѣта въ кремлевскомъ дворцѣ разставлены были войска. Верховники рѣшились осуществить свои угрозы:

въ самомъ засъданіи быль арестовань одинъ изъ самыхъ видныхъ стороншиковъ самодержавія, Ягужинскій. Но, съ другой стороны, конституціонная партія пм'вла полное основаніе смотр'ять на засъданіе 2-го февраля какъ на исполнение даннаго верховинками объщания. Смысль этого объщанія понимался, правда, верховниками и конституціонною партіей весьма различно. Ничего подобнаго "раскаянію" и "просьбамъ о прощенін" московскимъ конституціоналистамъ не пришлось выслушать на заседанін. Заседаніе началось съ того, что прочтены были кондицін и письмо Анны, заготовленное еще въ Москвъ верховинками и представлявиее "кондицін" добровольною уступкой со стороны императрицы. Потомъ ки. Голицыпъ сказалъ рѣчь, въ которой было больше красивыхъ фразъ, чфмъ опредфленныхъ обязательствъ. Кн. Дмитрій Михайловичь выражаль надежду, что присутствующіе, "какъ дъти отечества", будутъ искать общей пользы и благополучія государству. Затамъ наступило неловкое молчание. Напрасно Голицынъ ифсколько разъ принимался говорить о милости и благодфяніи императрицы, о будущемъ благоденствін и процватанін Россін, — онъ не встрътилъ ни возраженій, ан поддержки. Настроеніе собранія было явно враждебное совъту и плохо гармонировало съ демонстративнымъ восторгомъ, обнаруженнымъ кн. Голицынымъ. Партія самодержавія была поражена согласіемъ императрицы на уступки; партія ограниченія власти ожидала перваго шага на встричу со стороны совита. Верховникамъ самимъ, наконецъ, сделалось неловко: они, какъ говоритъ Өеофанъ, "тихо ифито одни другимъ пошентывали, и остро глазами посматривая, притворялись, будто и они яко невѣдомой себѣ и нечаянной вещи удивляются" холодности собранія. Наконецъ, кн. Голицынъ сталъ "нарекать": "для чего никто ни одного слова не проговоритъ? Изволилъ бы сказать, кто что думаетъ, хотя и нътъ де инчего другого говорить, только благодарить той милосердной государынь". Среди общаго молчанія какой-то смільчакт изт сторонниковт самодержавія "тихимъ голосомъ съ великою трудностію промолвилъ: "не вѣдаю де и весьма чуждуся, отчего на мысль пришло государынъ такъ писать". Наступила новая пауза. Тогда кн. А. М. Черкасскій, человъкъ лишенный обыкновенно всякой иниціативы, выступилъ съ вопросомъ: "какимъ образомъ впредь то правленіе быть имфеть?" Въ неловкой формѣ, это былъ, очевидно, именно тотъ самый вопросъ-объ организацін учредительной и законодательной власти, — который раздъляль верховниковъ и конституціонное большинство московскаго шляхетства. Будучи первымъ оффиціальнымъ заявленіемъ конституціонной партін, этотъ вопросъ вызваль и нервую оффиціальную уступку ей со

ставителямъ этой нартіи, "чтобы они, пида общей государственной нользы и благополучія, написали проектъ отъ себя и подали на другой день". Сдѣлавъ эту уступку, Голицынъ, вѣроятно, полагалъ, что исполняетъ этимъ виолнѣ обѣщаніе, данное своимъ единомышленникамъ изъ шляхетства. допустить ихъ къ участію въ обсужденіи новаго государственнаго устройства. Мы скоро увидимъ, что шляхетство думало объ этомъ совершенно иначе.

Какъ бы то ни было, вопросъ о государственной реформъ вступалъ теперь въ новый фазисъ. Верховный совътъ призналъ голосъ, по крайней мѣрѣ, совъщательный, за другой общественною группой, помимо себя. Получивъ оффиціальное разрѣшеніе выработать свой собственный проектъ, руководители конституціонной партіп были вполнѣ готовы къ тому, чтобы воспользоваться этимъ разрѣшеніемъ немедленно.

VII.

"24 ноября" (т. е. всего пять дией спустя послъ смерти Петра II), писаль шведскій посланникь Дитмерь, — встрітился со мной статскій совътникъ Татищевъ ¹) и сказалъ, что за день передъ тъмъ онъ читалъ кое съ къмъ шведскую "форму правленія" (кочечно, 1720 года) и въ ней нашелъ ссылки на различныя другія распоряженія и постановленія риксдаговъ, которыхъ здісь не достанешь. Поэтому онъ просилъ меня добыть ихъ, говоря, что охотно заплатить, что они будуть стонть". Ловкій динломать "отв'єтняь, что не знаеть хорошенько, какія собственно распоряженія и постановленія риксдаговъ цитируются въ "формъ правленія", но наведеть справки и потомъ при случать дастъ отвъть, а между тъмъ справится у Остермана, могуть ли подобныя посылки быть доставлены почтой". Но упомянутый статскій совътникъ, -прибавляетъ не безъ скрытой проини Дитмеръ, -полагалъ, что ивть надобности сообщать объ этомъ кому бы то ни было, но что онъ готовъ заилатить издержки и въ другой разъ поговорить объ этомъ подробиве".

Это любопытное извъстіе приводить насъ прямо къ самому центру политическаго броженія шляхетства и, можеть быть, въ самый моменть образованія этого центра. Бесѣды Татпщева "кое съ къмъ" имѣли очень важныя и видныя послѣдствія. Разговоровъ, конечно, вообще было много: но когда настало время дъйствовать, первымъ началъ

¹⁾ Извъстими русскій историкъ.

двйствовать кружокъ Татищева. Въ засъдание 2-го февраля Татищевъ не могь быть приглашень, будучи только статскимъ, а не дъйствительнымъ статскимъ совътникомъ; но другіе участники его бесфдъ явились и, повидимому, съ заранъе условленнымъ планомъ дъйствій. Только такимъ предварительнымъ уговоромъ можно объяснить упомяпутое выше заявление князя Черкасскаго. Получивъ разръшение нанисать проекть, бывшіе въ заседанін сторонники конституціонной нартін собрались немедленно послѣ засѣданія въ домѣ одного изъ участниковъ сенатора В. Я. Новосильцова. Въ этомъ "немаломъ собрацін" докладчикомъ выступилъ Татищевъ и предложилъ собранію свои соображенія, заранве заготовленныя, по четыремъ пунктамъ. Онъ ставиль, во-первыхь, вопрось, кому принадлежить власть по кончинь государя "безнаслъдственнаго", и ръшалъ этотъ вопросъ, -- съ своей любимой точки зрѣнія "естественнаго права" 1),—въ томъ смысль, что кончина государя "подданныхъ отъ присяги освобождаетъ" и власть переходить къ "общенародію"; существующія же учрежденія сохраняють, для поддержанія порядка, лишь ту власть, которую имфли "по прежнимъ законамъ". Этимъ разрѣшался и второй вопросъ: "кто въ такомъ случат можетъ законъ или обычай застарълый перемънить и новый учинить?" "Никто не можеть, развѣ общенародное соизволеніе", отвачаль Татищевь. Такимь образомь, и избраніе государя "по закону естественному должно быть согласіемъ всёхъ подданныхъ, -- некоторыхъ персонально, другихъ же черезъ повъренныхъ". Присвонвъ исключительно себъ право -- опредълять наследование престола, верховники нарушили права "шляхетства и другихъ сановъ", которые должны "оное свое право защищать по крайней возможности, не давая тому закосифть". Впрочемъ, за этимъ возраженіемъ кружокъ оставляль только формальное значеніе 2), признавая, что въ данномъ случат "весь народъ персоною ея величества доволенъ, и никто не спорить". Важиће, по мићино шляхетства, другое злоупотребление совъта: самовольное измънение формы правления. Въ этомъ вопросъщляхетство имфетъ право "прилежностію разсмотрфть и потому представить, что къ пользѣ государства надлежитъ". Такимъ образомъ, шляхетство должно решить еще третій и четвертый вопросы, поставленные Татищевымъ въ логическомъ порядкѣ. Если необходимо перемѣнить "самовластное древнее правительство", то какая форма правленія "по

¹⁾ См. объ этомъ въ моей кингъ: -"Главныя теченія русской исторической мысли", томъ І, 2 изд., М. 1898, стр. 22 и слъд.; также въ "Очеркахъ по исторіи русской культуры", т. III, вып. 2, стр. 210—222.

^{2) &}quot;Токмо сіе должно протестовать для предка".

состоянію народа" должна быть признана наплучшею? Кому и какимъ образомъ должно "сочинить" новый государственный строй?

Наплучшею формой правленія Татищевъ призналь, - какъ признаваль и всегда, -- монархію. "Къ прем'єненію правительства, - заявлялъ оцъ,--инкакой нужды, ин пользы ифть, развф великій вредъ". Этотъ пункть вызваль горячіе споры, характеризующіе политическую неподготовленность тогдашией московской интеллигенціи. Для самого Татищева было, новидимому, не всегда ясно въ этомъ споръ, какую монархію опъ защищаєть: неограниченную или конституціонную. Для его противниковъ, въ свою очередь, тоже было неясно, противъ чего и во ния чего они возражають: противъ ли неограниченной монархіи во имя конституціонной, или противъ конституціонной монархін во имя республики. Татищевъ понялъ ихъ воззрвнія, повидимому, въ последнемъ смыслѣ и, защищая монархію противъ республики 1), забывалъ, кажется, въ жару спора, какую монархію защищаетъ, конституціонную или неограниченную. Возраженія противъ монархіи состояли въ томъ, что дать "единому человѣку великую власть надъ всѣмъ народомъ", какъ бы онъ ни былъ добродътеленъ, опасно, такъ какъ и такой человъкъ можетъ дать волю своимъ страстямъ и произволу; что при подобной форм'я правленія приходится терп'ять отъ временщиковъ и тайныхъ канцелярій. Татищевъ отвѣчалъ на это, что на произволъ монарха надо смотръть какъ на Божеское паказаніе; что временщики, и притомъ болве опасные, могутъ явиться также и въ республикъ; что тайная канцелярія не можеть быть вредна, если поручить ее "человъку благочестному", а дурные начальники "не долго тъмъ наслаждаяся, сами исчезають". Какъ видимъ изъ этихъ отвътовъ, Татищевъ былъ не особенно опытнымъ конституціоналистомъ и врядъ ли успълъ еще самъ для себя уяснить, какъ мирится его всегдащияя идея о пользѣ самодержавія для Россін съ предполагавшимся ограниченісмъ самодержавной власти. Какъ бы то ий было, рфчь идетъ, очевидио, не о защить монархін противь конституціонныхъ стремленій, такъ какъ всябдъ затымъ, отвъчая на четвертый вопросъ, Татищевъ развилъ собственную свою конституціонную теорію.

¹⁾ Этой неясности способствовала самая терминологія и классификація государственныхь формь, принятая Татищевымь. Онъ различаеть три основныя формы: монархію, аристократію и демократію. Верховники, по этой терминологіи, "дерзнули единовластительство оставить и ввести аристократію". Между тъмь, по его же словамь въ другихь мъстахъ "Разсужденія", выходить, что "аристократія" и даже "демократія" не исключають "монархіи"; такъ, въ Англін совмъщаются всъ три формы: король, палата лордовъ ("аристократія") и налата общинь ("общенародіе" или демократія).

Переходъ отъ защиты монархів къ мотивировкт конституціоннаго проекта сдъланъ былъ, правда, тоже не особенно ловко. Новое устройство учреждается, по Татищеву, "для помощи ся величеству", — "на время, доколѣ намъ Всевышній мужескую персону на престолъ даруетъ". Такимъ образомъ, ограниченіе самодержавія оправдывается тъмъ, что императрицей выбрана герцогиня курляндская, которая, "какъ есть персона женская, къ такъ многимъ трудамъ неудобна; наче-жь ей знанія законовъ не достаетъ". Покончивъ съ этимъ затрудинтельнымъ нунктомъ, Татищевъ снова становится на принципіальную точку зрѣнія. Для обсужденія новаго государственнаго устройства онъ предлагаетъ "требовать" отъ верховнаго совѣта немедленнаго созыва выборныхъ отъ шляхетства, въ количествъ не менѣе ста человѣкъ.

Такъ рѣшался вопросъ о томъ, кому сочинять новое устройство. На вопросъ о томъ, какъ его сочинять, Татищевъ отвъчалъ, предржшая результаты обсужденія предложенной имъ учредительной коммиссін, — готовымъ проектомъ. По этому проекту верховный совітъ упразднялся и во главѣ государства, "въ номощь ея величеству", учреждались двб налаты. "Вышнее правительство", или сенать, должно было состоять изъ 21 члена, включая сюда весь наличный составъ верховнаго совъта. "Нижнее правительство", изъ 100 членовъ, занималось "внутренней экономіей" и для этого дѣлилось на три грунцы. Каждая треть засъдала въ теченіе четырехъ мъсяцевъ. Три раза въ годъ, для важныхъ дълъ, а также въ экстренныхъ случаяхъ, напр., войны, кончины государя, собирался весь составъ нижняго правительства: это plenum или "вышиее собраніе" молго продолжать свою сессію не долбе мфенца. Для выбора членовъ оббихъ палатъ и для замъщенія важивйнихъ должностей въ государствв, "вышнее правительство" соединяется въ общее засъдание съ нижнимъ и присоединяетъ къ себъ: для высшихъ военныхъ должностей — всфхъ тепераловъ, для высшихъ гражданскихъ (президентовъ и вице-президентовъ коллегій) — всъхъ президентовъ коллегій. Законодательная власть, собственно говоря, "состоить единственно во власти монаршеской", и по отношению къ ней онять начинаются колебанія Татищева между конституціонализмомъ и монархизмомъ. Необходимость создать для законодательной власти спеціальный органъ онъ доказываетъ двоякаго рода соображеніями: еъ одной стороны личными, съ другой -принципіальными. "Какъ ея величеству не угодно самой сочинять" (законы), то и "пужно комулибо сочинение онаго повърить", говорить онъ. Выведя, такимъ образомъ, передачу законодательной власти изъ доброй воли императрицы, Татищевъ тотчасъ же затъмъ вводить и ирпиципіальное соображеніе,

въ силу котораго законодательная власть должена быть передана "комулибо", чтобы предупредить случайность и произволь законодателя. Разъ уже ръшена передача законодательной власти, – является вопросъ объ организаціи законодательнаго органа. "Однолу повърить" составленіе законовъ, по Татищеву, также "невозможно": "хотя бы онъ и искусенъ и въ намфреніи никоея собственныя страсти не имфлъ, по природа легко погращить можеть". Поэтому издание законовъ должно быть организовано сладующимъ образомъ. Законопроекты составляются всфин коллегіями; каждая представляеть свой проекть (или проектъ отдёльнаго члена) "вышнему правительству", которое "по довольномъ разсужденін сочиняеть" законь и "представляеть къ утвержденію" ся величеству. Въ составъ вышняго правительства не можетъ быть болье одного лица изъ одной и той же фамили; въ другихъ присутственныхъ мъстахъ не могутъ засъдать вмъсть близкіе родственники. Каждый мфенцъ вышнее правительство назначаетъ двухъ денутатовъ для наблюденія за "справедливостью" въ тайной канцелярін. Аресты производятся въ присутствін одного депутата изъ знатныхъ, для наблюденія за цілостью "пожитковъ" арестуемаго. Шляхетство получаетъ слѣдующія преимущества. Прежде всего приводится въ извъстность составъ "подлиниаго иляхетства", и отъ стариннаго столбового дворянства отдъляется "въ особую кингу" дворянство новое: "которые изъ солдатъ, гусаръ, однодворцевъ и подьячихъ". Принадлежность къ шляхетству доказывается, кром'в древности рода, исключительно жалованными грамотами. Не имфющіе этого доказательства нсключаются изъ шляхетскихъ списковъ. Законъ о единопаследін отмѣняется. Шляхетская военная служба начинается не рапѣе восемнадцатилѣтняго возраста и ограцичивается двадцатилѣтнимъ срокомъ; въ матросахъ и ремесленинкахъ шляхетство не служить. Наконецъ, по всемъ городамъ устранваются шляхетскія училища. Какъ видимъ, проектъ Татищева носить преимущественно дворянскій характеръ: въ немъ приняты въ соображение всф важифйшія желанія тогдашняго дворянства. Но и для другихъ сословій, духовенства и купечества, въ заключительныхъ пунктахъ проекта предполагаются ифкоторыя льготы: для духовенства — устройство духовныхъ училищъ и обезпеченіе содержаніемъ, "чтобы деревенскіе могли дётей своихъ въ училищахъ содержать и сами не пахали-бъ"; для купечества -- освобождение отъ постоевъ и притесненій, а также некоторыя меры въ пользу торговли и промышленности. Проектъ кончался требованіемъ немедленной нередачи его въ учредительную коммиссію, выбранную "всвиъ шляхетствомъ" въ составѣ "не меньше ста человѣкъ". Мѣсто и время собранія этой комиссін должно было быть опреділено "коночно того же дня или на завтра", "чтобъ сіе не опущая времени начать".

На собранін 2 февраля у Новосильцова проекть Татищева быль прочитанть по нунктамъ и подвергнутъ обсуждению, повидимому, очень оживленному. Хотя по первоначальному предложенію Голицына его слъдовало подать на другой день, 3-го февраля, по этотъ срокъ прошель, а проекть генералитета все еще не быль готовь. 4-го февраля онъ еще разъ былъ читанъ и дополненъ на повомъ собраніи у того же Новосильцова. Тогда появились подъ нимъ и первыя подписи. Первые 39 человѣкъ, подписавшіеся подъ проектомъ Татищева и, очевидно, наиболъе къ нему близкіе, всь принадлежали къ "генералитету", приглашенному верховнымъ совътомъ на засъдание 2-го февраля. Это были люди наиболъе подготовлениые, чтобъ отнестись сознательно къ начавшемуся движенію. Очень многіе изъ шихъ побывали за границей: ифкоторые тамъ воспитывались; большинство принимало ближайшее участіе въ реформаторской діятельности Петра Великаго. Теперь предстояло пропагандировать выработанный кружкомъ проектъ въ болфе широкихъ кругахъ шляхетства. На это и употреблены были, очевидно, ближайшіе дин. Проектъ Татищева (или, какъ называють его по имени оффиціальнаго руководителя партін, — проектъ кн. Черкасскаго) былъ распространенъ въ ифсколькихъ коніяхъ и собралъ еще 249 подписей, принадлежавшихъ къ гвардейскому и армейскому офицерству 1).

Но рядомъ съ сочувствіемъ проектъ Татищева вызвалъ и новыя противорѣчія. Татищевъ аппеллировалъ къ "общенародію", а шляхетское общенародіе не думало признавать его предложеніе за окончательный результатъ своихъ разсужденій. Такимъ онъ былъ только для кружка Татищева; для значительнаго большинства остального шляхетства онъ послужилъ лишь ферментомъ дальнѣйшаго броженія, лишь исходной точкой новыхъ политическихъ споровъ и разногласій.

VШ.

Предложивъ генералитету подать свой проектъ новаго государственнаго устройства, совътъ итсколько дней ожидалъ представленія этого проекта. Самый протоколъ торжественнаго застданія 2 февраля оставался еще не подписаннымъ. Четвертаго февраля члены сената и

^{1) &}quot;Произвольное и согласное разсуждение и мижние собравшагося шляхетства русскаго о правлении государственномъ", — какъ называется проектъ Татищева, напечатано въ той окончательной формъ, какую оно приняло 4-го февраля, въ литературномъ сборникъ "Утро" за 1859 годъ.

тенералитета начали давать свои подписи 1). На следующій день, 5-го февраля, внесень быль въ советь и проекть Татищева, съ 39-ю подписями членовъ генералитета. "А которые не согласны,—читаемъ мы въ журнале совета, — темъ велено изготовить и для совета призвать въ сенать (?) еще изъ знатныхъ фамилій шляхетство въ рангажъ и безъ ранговъ..." Другими словами, вмёсто того, чтобъ ограничиться принятіемъ къ сведенію проекта генералитета, советь неожиданнымъ образомъ шелъ на новую уступку. Признавъ 2-го февраля совещательный голосъ за генералитетомъ, опъ признаваль его теперь за всёмъ шляхетствомъ "знатныхъ фамилій", въ чинахъ и безъ чиновъ. Онъ предлагаль такимъ образомъ оффиціально московскому шляхетству высказать свои миёнія, несогласныя съ миёніемъ Татищевскаго кружка. Чёмъ же объясняется этотъ новый шатъ въ политикъ Голицына?

Какъ ин склонны мы признать значительную долю политическаго идеализма въ дъйствіяхъ князя Голицына, но врядъ ли можно въ данномъ случав предположить, чтобъ онъ хотълъ дъйствительно отобрать, одно за другимъ, мивнія всёхъ "чиновъ" Россіи относительно предположенной реформы. Обращаясь вслёдъ за генералитетомъ къ шляхетству, онъ, разумъется, руководился соображеніями практической политики. Дъло въ томъ, что мивніе Татищева навърное не могло правиться верховному совъту, съ упраздненія котораго Татищевъ предполагалъ начать реформу. Въ видахъ собственнаго самосохраненія, верховники должны были попробовать опереться на мивнія кружковъ, несогласныхъ съ Татищевымъ. Вотъ почему они посибшили узаконить и оформить политическія пререкапія среди шляхетства. Привлекая этимъ къ движенію первшительныхъ, они могли разсчитывать, что масса будетъ умфрениве въ своихъ политическихъ вождельніяхъ. чъмъ ся передовые представители.

Иляхетство съ своей стороны имѣло тоже причины быть недовольнымъ проектомъ Татищева. Мы видѣли, что въ этомъ проектъ вся власть сосредоточивалась въ рукахъ высшаго чиновничества, которое само себя пополияло и не выпускало изъ своихъ рукъ законодательной иниціативы. Отъ такого порядка шляхетство выигрывало, конечно, такъ же мало, какъ отъ проекта Голицына. Собственно организація сословнаго представительства была у Голицына поставлена даже на болѣе широкихъ основаніяхъ, чѣмъ у Татищева; только права Голицынскихъ сословныхъ палатъ были значительно ўже правъ "инжняго правительства" Татищева. Естественно, что среди шляхетства возникло

¹⁾ Въ этотъ день подписалось подъ протоколомъ 69 человъкъ.

желаніе — соединить болье широкую организацію представительства, чьмъ у Татищева, съ болье широкими правами представителей, чьмъ въ проекть верховнаго совьта. Стремленія этого рода должны были возникнуть совершенно независимо отъ недовольства Татищевскимъ проектомъ верховниковъ.

Мивніе этихъ педовольныхъ, независилыхъ отъ воздайствія совата, не дошло, однако, до насъ въ формѣ какого-либо выработаннаго проекта. Сохранился только обрывокъ, или, какъ е го называетъ пр Корсаковъ, "конспектъ шляхетскихъ совъщаній", составители котораго соглашаются съ предположеніемъ Татищева — уничтожить верховный совътъ — и въ то же время хотятъ идти дальше Татищева въ выработкѣ новаго порядка. Они не удовлетворяются той системой кооптаціи, которою пополнялся составъ высшихъ учрежденій по проекту Татищева, и желаютъ болѣе широкой организаціи учредительной и законодательной власти. Составъ сепата они хотять увеличить до 30 членовъ; выбирать новыхъ членовъ въ сепатъ и коллегіи предлагаютъ "обществомъ", и "впредь что потребно къ исправленію и къ пользѣ государственной явится", проектируютъ "сочинить сейлиу и утвердить обществомъ" (безъ участія сената).

Огромное большинство шляхетства выбрало иной путь. Къ этому большинству обращено было приглашение верховниковъ-высказать свое несогласіе съ проектомъ Татищева, — и разсчетъ совъта оказался до нъкоторой степени върнымъ. Шляхетское большинство, слъдуя приглашенію 5-го февраля, дійствительно, пошло на компромиссь съ совитомъ. Положивъ въ основу проектъ Татищева, руководители этого большинства передълали его такъ, чтобъ удовлетворить недовольныхъ среди объихъ сторонъ. Для верховниковъ они отказались отъ уничтоженія верховнаго совъта; для радикаловъ среди шляхетства они предположили расширить составъ учредительнаго и избирательнаго собранія. "Вышнее правительство" Татищева эта партія сохранила и въ своемъ проектѣ, и притомъ въ томъ же составѣ 21 члена, какъ предлагалъ Татищевъ; но она сдълала формальную уступку верховникамъ, решивъ считать это "правительство" непосредственнымъ продолженіемъ не сената (какъ выходило у Татищева), а верховнаго совъта; сенатъ же оставался, какъ онъ и былъ со времени учрежденія совата, на второмъ нланъ, состоя изъ 11 членовъ и запимаясь менъе важными дълами. Замъщение важивищихъ должностей должно было производиться генералитетомъ и шляхетствомъ въ составъ не менфе 100 человъкъ, т. е. вмѣсто крупнаго чиновинчества избирательное собраніе должно было состоять изъ важивнинхъ общественныхъ группъ, присутствующихъ

на немъ частью "персонально" (гепералитетъ), частью "черезъ повъренныхъ" (шляхетство), выражаясь терминами Татищева. Для обсужденія "важныхъ государственныхъ дѣлъ" и "что потребно будетъ впредь сочинить въ дополненіе уставовъ, принадлежащихъ къ государственному правительству", должно было созываться особое собраніе, состоящее изъ всѣхъ четырехъ корпорацій (т. е. вышлее правительство, сенатъ, гепералитетъ и шляхетство). Сословныя права шляхетства, за немногими исключеніями, опредълялись въ новомъ проектъ согласно Татищеву; вповь было вставлено только характерное требованіе объ улучшеніи быта офицеровъ и исправной выдачѣ имъ жалованья. По Татищеву изложены были и предположенія о льготахъ для другихъ сословій, съ прибавленіями относительно крестьянъ (облегченіе въ податяхъ) и солдатъ ("порядочное произвожденіе").

Подъ изложеннымъ проектомъ въ трехъ его копіяхъ, извъстныхъ подъ названіями проектовъ Секіотова, Максима Грекова и Алабердеева 1), подписалось значительное большинство шляхетства, всего до 743 лицъ, т. е. въ $2^{1}/_{2}$ раза больше, чѣмъ нодъ проектомъ Татищева (288). Уступки этого проекта радикальнымъ мивніямъ были, какъ видимъ, довольно значительны; напротивъ, уступки совъту, въ сущности, фиктивны. Естественно, что верховники не могли примириться на этомъ компромисст и нопытались добиться большаго. Помимо разръшенія, даннаго 5-го февраля знатному шляхетству, совътъ призвалъ черезъ день (7-го февраля) бригадировъ и статскихъ совътниковъ 2) и объявилъ имъ, чтобъ они "извъстное свое мифије написали". Есть всъ основанія думать, что этому новому приглашенію предшествовали частные переговоры объ уступкахъ съ напболфе вліятельными пли чиновными лицами. По крайней мъръ, въ тотъ же день, 7-го февраля. внесено было въ совъть первое отдъльное митніе И. И. Дмитріева-Мамонова, за которымъ последовали, кроме проекта большинства, другія отдъльныя мнанія графа И. А. Мусина-Пушкина, Колычова, М. А. Матюшкина. Къ этой же категоріи мивній следуеть отнести еще два проекта, подписанные 25-ю и 13-ю лицами (последній, вирочемъ, не быль внесень въ совътъ).

¹⁾ По фамиліямъ первыхъ подписавшихъ каждую копію лицъ. Всѣ три названныя лица подписали сперва проектъ Татищева, а затѣмъ, очевидно, съ цѣлью практическаго осуществленія главныхъ своихъ цѣлей, пошли на компромиссъ съ верховинками. За пими послъдовали и многіе другіе сторопинки Татищевскаго проекта.

²⁾ Т. е. чины 5-го класса, не попавшіе въ засъданіе 2-го февраля, въ которомъ участвоваль только "генералитеть" (первые четыре ранга).

Вст эти проекты, отвъчая на формальное приглашение верховниковъ отъ 7-го февраля, пытались найти почву для дальнюйшиго соглашенія съ совітноль. Проекть большинства уже поставиль сепать на то второстепенное мфсто, на которомъ онъ стоялъ въ дфйствующей практикъ государственныхъ учрежденій. Но большинство продолжало, подобно Татниеву, требовать превращенія верховнаго совъта въ высшее учрежденіе съ почти утроеннымъ числомъ членовъ. На этомъ пунктѣ отдъльныя мижнія готовы были пойти на уступки. Вм'ясто 21 члена Мусинъ-Пушкинъ предлагаетъ ограничиться темъ же числомъ 12-ти. какое предположено было для верховнаго совъта въ проекть самого Голицына. Колычовъ въ своемъ мизини увеличиваетъ эту цифру до 15-ти, "чтобъ ежели кто заболитъ или отлучится, отъ того въ правленін замедленія за малодюдствомъ не было". Нельзя не зам'ятить, что такая мотивировка увеличенія состава совъта была уже очень скромной и даже врядъ ли искренней. Но и противъ такой скромной постановки вопроса возражаеть въ своемъ проекть Матюшкинъ. Для важныхъ дѣлъ, но его замѣчанію, предполагается другое многолюдное собраніе, а для "повсядневнаго правленія" довольно и 12--13 членовъ въ составъ совъта. Итакъ, въ этомъ нунктъ нъкоторые представители шляхетства готовы были согласиться внолив съ проектомъ Голицына. За то по вопросу болже существенному-объ организаціи учредительнаго, законодательнаго и избирательнаго собранія, они уступають немногое и остаются, въ сущности, при требованіяхъ шляхетскаго большинства. Вей эти проекты считають необходимымь удержать для важивішихъ государственныхъ дёль собраніе всего "общества" и расходятся только во мивнін, изъ кого это "общество" должно быть составлено. Один (проекты Матюшкина и тринадцати) придерживаются мифиія большинства, что "верховное собраніе" должно состоять изъ всвхъ четырехъ корпорацій, т. е. совъта, сената, генералитета и шляхетства. Другіе, болѣе радикальные, находять, очевидно, такой составъ "высшаго собранія" черезчуръ чиновнымъ и исключаютъ изъ него сенать, а при выборахъ и совъть (проекть двадцати пяти). Только Мусинъ-Пушкинъ идетъ и въ этомъ случат на компромиссъ съ совътомъ и предлагаеть ограничить участіе шляхетства въ высшемъ собраніи "знатными" изъ этого сословія. Болье уступчивыми оказываются разбираемые проекты въ вопросъ о числъ членовъ высшаго собранія. Для учредительнаго собранія количество членовь остается, правда, неопредъленнымъ; но для избирательнаго собранія проектъ тринадцати предлагаеть (вижето ста человъкъ, предположенныхъ большинствомъ) — 80 персонъ, Матюшкинъ понижаетъ эту цифру до 70-ти, проектъ двадцати ияти — даже до 50 членовъ. Что касается способа избранія въ члены сената, сипода и на высшія должности, ифкоторые проекты и туть соглашаются на ифкоторыя уступки. Сохраняя право участія въ избраніи за генералитетомъ и шляхетствомъ, Мусинъ-Пушкинъ и проектъ тринадцати ограничивають это право выборомъ трехъ кандидатовъ, изъ которыхъ совътъ производитъ назначеніе. Матюшкинъ согласенъ даже перевернуть этотъ порядокъ и предоставить назначеніе трехъ кандидатовъ совъту, а выборъ одного изъ инхъ—"обществу".

Веф эти и подобные споры разбили шляхетство на рядъ несогласныхъ группъ, пререканія между которыми принимали все болѣе острый характеръ. Въ этихъ пререкапіяхъ прошло все время отъ торжественнаго засъданія 2 февраля до прівзда императрицы (10 февраля). "Двери зала, гдъ засъдаетъ верховный совъть Россін,--инсалъ Вестфаленъ въ допесенін 9 февраля, -- были открыты всю прошлую педалю для всахъ твхъ, кто пожелалъ бы заявить или предложить что-инбудь за или противъ задуманнаго измъненія старой формы правленія. Это право дано было изъ военныхъ чиновъ генераламъ, бригадирамъ до полковниковъ включительно; точно также и всф члены сената и другихъ коллегій, вев им'вющіе полковничій ранть, архіепископы, енископы и архимандриты были приглашены явиться, не всею корпораціей, а по три енископа и по три архимандрита заразъ. По этому новоду столько было наговорено хорошаго и дурного за и противъ реформы, съ такимъ ожесточеніемъ ее критиковали и защищали, что въ концѣ концовъ смятеніе достигло чрезвычайныхъ размѣровъ и можно было опасаться возстанія; но оба фельдмаршала не изъ такихъ людей, чтобы легко поддаться страху".

Въ последнихъ словахъ Вестфалена, можетъ быть, сохранился отголосокъ того настроенія, съ которымъ верховники следили за разраставшимся движеніемъ, все боле грозившимъ ускользнуть изъ-нодъ ихъ руководства. До сихъ поръ верховный советъ только прислушивался къ миеніямъ партій, убъждалъ ихъ сделать уступки, отбиралъ отдельныя и коллективныя митнія. Собирая этотъ матеріалъ и прицимая его въ соображеніе, онъ пропустилъ все сроки, предположенные для публикаціи его собственнаго проекта. Между темъ, приближался срокъ прівзда императрицы. Ко времени этого прівзда на чемъ-нибудь надо было сговориться. Вероятно, въ виду этой сиешности Голицынъ отложилъ на время выработку своей "формы правленія". Свои уступки шляхетству онъ ввель въ текстъ сочиненной имъ присяги, которую подданные должны были принести императрицѣ после ея прівзда. Первый изъ 16-ти пунктовъ этой присяги формулироваль обязанности

верховнаго совтта подлинными словами одного изъ представленныхъ совъту проектовъ. Верховный тайный совъть, по этому опредълению, существуеть "не для иной какой собственной того собранія власти, точію для лучшей государственной пользы и управленія въ номощь ихъ ими, величествъ", "Не персоны управляють законъ,-повторяетъ Голицынъ другую прасивую фразу того же проекта, -- но законъ управляеть персонами". Изъ этого же проекта взяты въ присягу слови о не выборъ кандидатовъ въ члены совъта изъ "первыхъ фамилій, изъ гэнералитета и изъ шляхетства, людей вфриыхъ и обществу народному доброжелательныхъ", не болъе двухъ отъ одной и той же фамиліи. Но въ самой сути дъла инкакой уступки не дълается: выборъ кандидатовъ, вмѣсто общаго собранія совѣта, сената и генералитета, передается совъту и сенату. Для ръшенія важитійшихъ дъль Голицыиъ соглашается созывать собраніе болье широкаго состава, по въ такой формь, которая и эту уступку лишаеть веякаго дъйствительнаго значенія. Сенать, генералитеть, коллежскіе чины и знатное шляхетство, а въ духовныхъ дълахъ также сиподальные члены и архіерен і приглашаются въ совють, для совяту и разсунденія". Такимь образомь, всв эти кориорацін и общественныя группы получають лишь совющетельный голось. Второй пункть присяги возвращаеть церкви архіерейскія и монастырскія вотчины, согласно желанію одного изъ проектовъ ("Дополненіе къ способамъ"). Третій нунктъ принимаетъ предложеніе Мусина-Пушкина касательно устройства сената. Сладующіе 5 пунктовъ (4 -- 8) перечисляють привилегін шляхетства, удовлетворяя на этоть разъ всемь требораніямъ шляхететва, не исключая и Татищевскихъ, и даже прибавляя новыя уступки, о которыхъ вовее изтъ заявленій въ извъстныхъ намъ проектахъ. Именно дозволяется шляхетству, по окончанін курса въ проектированныхъ "кадетскихъ ротахъ", поступать прямо офицерами въ гвардію. Принимаются въ соображеніе и желанія проектовъ по отношенію къ нижнимъ чинамъ, купечеству и крестьянству. Даже просьба о перепесеній резиденцій въ Москву, высказанная Матюшкинымъ, принимается Голицынымъ, которому она, впрочемъ, должна была быть особенно пріятна. Кое-что Голицынъ позволиль себф внести изъ своего проекта: наприм.. постановленія объ отмънъ конфискацій п смертной казни.

Таково было *послюднее слово* верховнаго совъта и крайній предъль его уступскъ. Нечего и говорить, что уступки эти не повели къ

¹⁾ Это—уступка анонимному мивнію, стоящему въ тъсной связи съ запиской Мусина-Пушкина, стараго представителя "синодальной команды".

желаемому примиренію. Шляхетство не находило въ нихъ главнаго--участія своихъ представителей въ выработкѣ новаго строя и въ пользованін высшими правами государственной власти. Между тімъ этого участія желали почти всѣ представленные шляхетствомъ проекты. Въ этомъ смыслѣ шляхетство сказало свое послѣднее слово еще раньше, чъмъ составлена была присяга Голицына. До насъ дошла любопытная въ этомъ отношенін записка, составленная "компаніей" лицъ, недовольныхъ вообще темъ направленіемъ, какое приняло обсужденіе проектированной государственной реформы. И позначительной освъдомленности составителей этой записки въ вопросахъ политической организацін, и по систематичности изложенія, и, наконецъ, по тожественности воззраній мы можемъ съ полною вароятностью предположить, что недовольною "компаніей", составившею записку, быль извъстный намъ кружокъ Татищева. Мы видъли, что проектъ Татищева заканчивался предложеніемъ передать его немедленно на разсмотреніе учредительной коммиссін. Къ этому предложенію и возвращается компанія теперь, когда проектовъ насчитывалась уже целая дюжина и когда становилось все болбе очевиднымъ, что совъть не хочетъ давать всемъ этимъ запискамъ иного значенія, кромѣ совѣщательнаго. Кружокъ Татищева предлагаль теперь "способы, которыми, какъ видится, порядочиње, основательные и тверже можно сочинить и утвердить извъстное толь важное и полезное всему народу діло". Способы эти состояли въ избранін изъ среды шляхетства коммиссіи въ 20-30 человѣкъ для выработки новаго проекта, который бы замфииль всф предложенные. Уполномоченные должны были получить письменные наказы отъ избирателей. Наблюдение за "добрымъ порядкомъ" при преніяхъ должно было принадлежать спеціально выбраннымъ "двумъ особамъ", на обязанности которыхъ лежало "голоса давать" (т. е. разръщать слово ораторамъ) и унимать "шумъ и крикъ, а особливо брань". Для обсужденія спеціальныхъ частей проекта къ коммиссін должны были быть присоединяемы выборные эксперты съ правами членовъ, отъ 4 до 6 по каждому спеціальному отделу: для церковныхъ дель этихъ экспертовъ выбиралъ синодъ, для военныхъ и торговыхъ-военные люди и купечество; для вотчинныхъ и другихъ делъ, распределенныхъ между коллегіями, приглашались, тоже на правахъ членовъ, презпденты и по 2—3 члена отъ соотвътствующихъ коллегій. Всякій пунктъ, разсмотрфиный коммиссіей, пересматривается вще разъ коммиссіей вмфстф съ сенатомъ и въ третій разъ обоими присутствіями вмѣстѣ съ верховнымъ совътомъ; и только послъ троекратнаго обсужденія выработанный проекть представляется особою делегаціей государынь, которая его "конфирмуетъ". Пельзя не замътить, что какъ идея приглашенія экспертовъ, такъ и порядокъ обсужденія проекта представляеть дальиъйшее развитіе мыслей, на которыхъ основана организація законодательной власти въ прежнемъ проектъ Татищева.

Какъ видимъ, "Способы" предлагали все, чего не доставало разсужденіямъ шляхетства: спеціальный юридическій органъ, опредъленный порядокъ обсужденія проекта и превращенія его въ государственный законъ. Содержаніе проекта могло быть, при этомъ порядкѣ, предрѣшаемо только въ видѣ наказовъ избирателей делегатамъ изъ шляхетства.

Таковъ, конечно, и долженъ былъ быть законный и логическій путь къ осуществлению предположенной реформы. Но было совершенно безполезно предлагать этоть путь при техь обстоятельствахь, при которыхъ совершались событія 1730 года. При наличныхъ условіяхъ рѣчь могла идти въ сущности не о легализаціи и упорядоченіи формы обсужденія, а о скоръйшемъ закрыпленін его результатовъ. Накоторая фикція легальности существовала только у верховнаго совъта. Эта фикція получила свое оправданіе 2 февраля, благодаря согласію Анны на "кондицін"; но мы видѣли, что согласіе это сами верховники (въ проекть отвъта Анны) не рышались представить ничымъ инымъ, какъ добровольною милостью государыни, которая всегда могла быть взята назадъ. Право гепералитета и шляхетства на обсуждение реформы основывалось исключительно на разрашенін, данномъ верховнымъ соватомъ; практически могло мало помочь то обстоятельство, что сами они считали это право "естественнымъ правомъ общенародія". При взаимномъ согласін совъта и шляхетства вопросъ о законности дъйствій могъ не возникнуть, могь молчаливо быть решень къ общему удовольствію. Но, разъ возникло между ними неразръщимое противоръчие, совъту оставалось отвергнуть мибніе шляхетства, какъ необязательное; шляхетству оставалось обратиться за новою делегаціей власти непосредственно къ самой государынъ.

Оба исхода были испробовацы, но посторониему наблюдателю ясно было съ самаго начала, что оба практически неосуществимы. Иностранные резиденты, считавшіе успѣхъ дѣла верховниковъ виолиѣ возможнымъ и въроятиымъ, начали сомивваться въ этомъ усиѣхѣ, какъ только обнаружились между верховниками и шляхетствомъ внутреннія разногласія. Дитмеръ, въ своемъ донесеніи отъ 12 февраля, слѣдующимъ образомъ резюмировалъ разсказанныя нами выше событія: "Такъ какъ члены совѣта хотятъ удержать одии всю власть, то существуетъ сильное недовольство среди дворянства по этому новоду. Но и дворянство раздѣ-

лилось на двъ части, одна изъ которыхъ сильно настанваетъ на полученін гарантій свободы и по этому поводу представила различные пункты, после того какъ советъ предложилъ, чтобы каждый подалъ мивніе о томъ, что можетъ служить ко благу государства. Эта партія желаеть, чтобы совъть состояль изъ 20 лиць различныхъ фамилій, не болъе двухъ изъ каждаго рода. Но другая часть, которою, повидимому, руководить самъ совѣтъ, назначаетъ въ совѣтъ 12 членовъ и свои пункты направляеть къ тому, чтобы совъть со временемъ могь одинъ захватить себѣ власть 1). Между лицами, болье всего возражавинми противъ власти совъта, былъ киязь Черкасскій, вслідствіе чего говорять даже, что ему предлагали мъсто въ совъть, но онъ отказался. Къ чему все это приведетъ, пельзя еще сказать съ увфренностью. Но я боюсь, что, вельдетвіе возинишаго разногласія, все пойдеть обратнымъ ходомъ и императрица сохранитъ самодержавіе". Такой же исходъ предсказывають въ своихъ донесеніяхъ Маньянъ и де-Лиріа. Таково было положение дала, когда, 10 февраля, императрица пріфхала во Всесвятское.

IX.

Еще въ концѣ января (29) Дитмеръ замѣтилъ въ одной изъ своихъ денешъ, что "уже существуетъ нартія, которая стремится къ сохраненію самодержавія, и къ ней примыкаютъ, повидимому, нѣсколько фамилій родственныхъ государынѣ". Тогда же онъ сдѣлалъ и вѣроятное предноложеніе, что партія эта "ждетъ только прибытія императрицы, чтобъ обнаружить свои намѣренія, которыя теперь держитъ про себя".

Дитмеръ былъ совершенио правъ. Нѣтъ надобности пересказывать всѣмъ извѣстныхъ фактовъ о спошеніяхъ съ императрицей Өеофана, Левенвольде, Ягужинскаго и т. д. Замѣтимъ только, что цѣлый рядъ мелкихъ фактовъ разрѣшался еще до пріѣзда Анны въ томъ смыслѣ, какъ будто бы Анна сохраняла самодержавіе. Такъ, духовенство, по собственному почину, начало поминать Анну на ектеніяхъ съ титуломъ самодержицы, и совѣтъ не рѣшился запретить этого. Точно также

¹⁾ Со стороны, дъйствительно, многимъ казалось, что вся суть спора сводилась къ разногласію о количествъ членовъ въ будущемъ высшемъ государственномъ учрежденін. Братъ извъстнаго Л. П. Вольніскаго такимъ образомъ характеризовалъ смыслъ московскихъ событій въ письмѣ къ брату въ Казань: "шляхетство... спорили..., чтобы быть въ верховномъ совѣтѣ двадцати одной персонъ, и выбирать оныхъ балтированіемъ, а большіе не хотъли онаго, чтобы по ихъ желанію было восемь персопъ".

опъ не рѣшился отступить отъ обычныхъ формулъ въ манифестъ о восшествін на престоль новой государыни. Свою нерѣшительность въ этихъ случаяхъ совѣтъ прикрывалъ тѣмъ соображеніемъ, что народъ могъ бы считать ограниченіе власти Анны вынужденнымъ верховинками, если бы совѣтъ опубликовалъ объ этомъ ограниченіи раньше пріѣзда въ Москву самой императрицы. Но и послѣ пріѣзда Анны дъйствія совѣта не сдѣлались рѣшительнѣе. Верховинки выжидали, чтобы Анна сама признала оффиціально повую форму правленія, а императрица не только затягивала это признаніе, но, при случаѣ, не стѣснялась дъйствовать какъ самодержавная государыня. Не далѣе, какъ черезъ день послѣ своего прибытія во Всесвятское, принимая тамъ батальопъ преображенцевъ и отрядъ кавалергардовъ, Анна объявила себя полковинкомъ Преображенскаго полка и капитаномъ кавалергардовъ, т. е. прямо нарушила 4-й пунктъ подписанныхъ ею "кондицій".

Это происшествіе, обратившее на себя всеобщее винманіе, произошло 12 февраля, а 14-го верховный совъть представлялся императрицѣ, и Голицынъ сказалъ при этомъ рѣчь, въ которой, если вѣрить Вестфалену, подчеркнулъ, что подписанныя Анной кондиціп "нашимъ именемъ предложили тебъ наши депутаты". Императрица подтвердила въ своемъ отвътъ, что будетъ соблюдать подписанныя условія всю жизнь. На следующій день, 15-е февраля, состоялся торжественный въбздъ Анны въ Москву. Съ 20-го числа началась присяга новой императриць. Противники верховниковъ ожидали отъ нихъ при этомъ случав чего-нибудь рашительнаго; сиподъ не хоталъ приводить къ присягъ, не зная ея текста, а Өеофанъ товорилъ духовенству и народу увъщанія о святости и важности этого акта. Но опасенія и предосторожности Өеофана оказались излишними. Въ формуль присяги, составленной за два дня до этого верховнымъ совътомъ, не было и помину о какихъ-либо подробностихъ конституціоннаго проекта Голицына. Всв нововведенія сводились къ тому, что кром'в государыни подданные должны были присягать "и государству" (или въ другомъ мъетъ присяги "отечеству") и объщали охранять его "пользу и благополучіе": затъмъ, выраженія, означающія самодержавіе, были исключены. Такъ какъ противники верховнаго совъта ожидали, что верховники поцытаются провести свою прежнюю формулу присяги, памъ извъстную, то новая формула ихъ обезоружила; они "разсудили", что эта формуда "верховинкамъ не къ пользъ", и ръшили "принять опую синсходительно".

Очевидно, вліяніе на ходъ событій все болѣе ускользало изъ рукъ

верховниковъ. По мфрф того, какъ обнаруживалась ихъ слабость, и дъйствія ихъ противниковъ становились все болье рынительными. Немедленно послъ прибытія Анны они принялись за самую дъятельную пропаганду. Пускались въ ходъ намфлеты, вродѣ извѣстнаго письма, приписывавшагося Волынскому: авторъ обвиняеть здъсь верховниковъ въ желанін ввести республику и старается подфіствовать на сословный эгонзмъ шляхетства, "Нѣкоторые наиболѣе хитрые люди изъ духовенства, — инсалъ Маньянъ 1), — дѣлали всякія усилія, чтобы возстановить мелкое дворянство противъ верховнаго совъта, главныхъ членовъ котораго изображали злодъями, желавшими измфиить форму правленія только для того, чтобы самимъ завладфть верховною властью, велфдствіе чего рабское положеніе шляхетства стало бы еще невыпосимъе, чьмъ при сохраненіи самодержавія государыни". Двиствительно, Өеофанъ не жалълъ красокъ, чтобы подъйствовать на воображение своей партін. И въ публичной проповѣди, и еще болѣе въ частныхъ разговорахъ онъ распространялся па тему, что князь Василій Лукичъ "какъ бы нькій драконь, охраняеть императрицу неприступну"; что "безъ волн его она ни въ чемъ не вольна и непзвъстно, жива ли, а если жива, то насилу дышетъ"; что "оные тираны имфють государыню за тынь государыни, а между тымь злынее нычто номышляють, чего другимъ и догадываться нельзя". "Сія и симъ подобная, когда вездѣ говорено, — замъчаетъ Өеофапъ о илодахъ своихъ усилій, — ожила другой компанін ревность и жесточае, нежели прежде, восиламенялась". Во главъ этой "компаніп", дъйствительно, какъ ожидаль Дитмеръ, стали родственники императрицы: сенаторъ Салтыковъ, обиженный верховниками сенаторъ Трубецкой съ братомъ, генералы: кн. Барятинскій, кн. Юсуповъ, Чернышевъ. Но самымъ нагляднымъ признакомъ усиленія партін самодержавія можеть служить поведеніе Остермана, въ кабинетъ котораго сходились всъ нити монархической агитаціи. Все время больной, или притворявшійся больнымъ, и даже причащавшійся, онь вдругь перешель изъ выжидательной роли въ активную: наступалъ, очевидно, и по его наблюденіямъ удобный моментъ для рашительныхъ дъйствій.

Положеніе верховниковъ становилось, дѣйствительно, съ каждымъ днемъ все затруднительнѣе. Наблюденіе за императрицей, трудное уже на пути изъ Митавы, стало еще труднѣе во Всесвятскомъ, а послѣ переѣзда Анны въ кремлевскій дворецъ и окончательно сдѣла-

¹⁾ Страннымъ образомъ, этой денеши отъ 3-го апръля не находимъ въ Сборникъ Истор. Общества.

лось невозможнымъ, хотя В. Л. Долгорукій и занялъ здѣсь компаты сосъднія съ императрицей. Если было еще возможнымъ спасти свое положение и удержать сделанныя Анной уступки, то, конечно, единственнымъ нутемъ, - нутемъ соглашенія съ конституціонною партіей шляхетства. Въ этомъ направленіи совъть и пытается дълать последнія отчаянныя усилія. "Я не хочу выдавать за несомитиное, —писалъ Моріанъ, отъ 13 февраля, изъ С.-Петербурга, — но мив по секрету сообщено, что Голицынъ и Долгорукій, съ согласія большей части совъта, собрали подписи знатиъйшихъ фамилій и чиновничества въ томъ, чтобы дъйствовать сообща". Дъйствительно, верховный совъть сдълалъ извлеченія изъ голицынской присяги, выбравъ тѣ мѣста, которыя больше всего походили на уступки шляхетству, и подъ этимъ документомъ усиблъ соединить 97 подинсей, въ томъ числф подинси многихъ авторовъ отдъльныхъ митній и лицъ, подписавшихся подъ другими проектами. Содержание этого документа показывало, однако, что н въ эту рѣшительную минуту Голицынъ не хотѣлъ сдѣлать шляхетству никаких новых уступокъ. Менње доктринеръ и болње практикъ, чѣмъ князь Голицынъ, князь Василій Лукичъ Долгорукій теперъ готовъ быль, однако, идти дальше. Сохранилась копія съ его паброска, въ которомъ онъ соглащался на всв важивншія требованія шляхетства, т. е. и на увеличение числа членовъ совъта, и на разсмотртине общественныхъ нуждъ, съ доклада государыни, выборными представителями оть шляхетства, "чтобы народь узналь, что къ пользѣ народной дѣла пачинать хотятъ". "Чтобы убъгнуть разногласія", онъ готовъ быль теперь и выборъ дополнительныхъ членовъ въ совътъ произвести, какъ требовали проекты, по соглашению съ сенатомъ и генералитетомъ. Для охраны интересовъ совъта онъ только предполагалъ принять мфры предосторожности при выборф депутатовъ отъ генералитета и шляхетства и оставить за совътомъ право опредълить предметы обсужденія въ собранін представителей.

На этой почвѣ, можетъ быть, можно было дѣйствительно "избѣгнуть трудностей и нареканія" и "удовольствовать народъ", если бы совѣтъ началъ съ этихъ уступокъ. Но теперь было уже слишкомъ поздно. Конституціонное шляхетство, дѣйствительно, представляло силу, съ которой надо было считаться; по эту силу удалось склонить на свою сторону партін самодержавія.

Въ этомъ союзѣ не было, въ сущности, инчего удивительнаго. Важиѣйшее желаніе шляхетства, созывъ учредительнаго собранія, если бы даже па него согласился верховный совѣтъ, все равно не могло быть осуществлено безъ согласія государыни. Другое же желаніе шля-

хетскаго большинства, замѣна совѣта новымъ учрежденіемъ изъ 21 члена, прямо ставило все это шляхетство въ ряды противниковъ верховнаго совъта: исключались только немпогіе авторы особыхъ мивній. Далбе мы видбли, что въ георіи Татищева самодержавная власть отлично уживалась рядомъ съ конституціоннымъ проектомъ; стать на сторону самодержавія для него и для его партін, стало быть, вовсе не значило отказаться отъ конституціонныхъ стремленій. (Таково же, мы думаемъ, было и положение Ягужинскаго). Съ другой стороны, многіе изъ сторонниковъ Татищева присоединились послѣ 2-го февраля къ его партін, несомивино, только цотому, что эта партія была враждебна верховному совъту и требовала его уничтоженія. Въ лиць многихъ своихъ представителей, такимъ образомъ, конституціонная нартія сливалась съ монархической. Историкъ Щербатовъ прямо считаетъ самого Татищева ближайшимъ сотрудникомъ Өеофана и Кантемира по возстановленію самодержавія. При встхъ этихъ условіяхъ Остерману было не трудно убъдить главу партін, ки. Черкасскаго, что все, чего хочеть шляхетство, оно всего скорве получить от самой императрицы; стоить только обратиться къ ней съ прошеніемъ уничтожить верховный совъть, возстановить сенать и дозволить шляхетству выработать на основанін всфхъ поданныхъ проектовъ общій планъ государственныхъ преобразованій. Мы знаемъ, что инчего другого и не добивался кружокъ Татищева, какъ въ своемъ проектъ, такъ и въ поданныхъ совъту "Способахъ". Естественно, что эта партія присоединилась въ лицъ своихъ вождей къ партін самодержавія; къ ней же должно было присоединиться и то огромное большинство шляхетства, которому до сихъ поръ мѣшала требовать уничтоженія верховнаго совъта только его умфренность. Уничтожение совъта и едълалось общимъ лозунгомъ всъхъ соединившихся партій: различіе же между ними было пока отодвинуто на задній планъ.

Такимъ образомъ, этотъ ловкій политическій маневръ—примиреніе партій, о которомъ тщетно хлопотало до сихъ поръ столько лицъ, состоялось, какъ видимъ, благодаря политикѣ Остермана. Въ игрѣ партій этотъ союзъ былъ рѣшительнымъ ходомъ, послѣ котораго дѣло верховниковъ было окончательно проиграно. Членамъ совѣта оставалось признаться въ этомъ самимъ сеоѣ и поспѣшить самимъ принять на сеоя иниціативу дѣйствій, которыя въ противномъ случаѣ все равно были бы предприняты помимо нихъ и противъ нихъ. Лефортъ, обыкновенно хорошо освѣдомленный, сообщастъ намъ, что за день до окончательной развязки верховники рѣшились объявить императрицу самодержавной, по она отвѣчала имъ, что для нея слишкомъ мало—быть

объявленной самодержицей только восемью лицами. Любопытно, что, по другому извъстію, въ тоть же вечеръ (24 февраля) Остерманъ сообщиль своимь сторонникамь совершение противоположныя сведения. Онъ далъ знать имъ, что князь Василій Лукичъ, чтобы привести дѣло къ развязкъ, только что представилъ императрицъ для подписи синсокъ лицъ, числомъ до 100, которыхъ предполагалось подвергнуть аресту. Было ли это сообщение върно и быль ли князь Василій Лукичь, въ самомъ дълъ, настолько нанвенъ, чтобы надъяться въ нодобную минуту получить согласіе Анны на аресть ся важитйшихъ сторошинковъ, или же пущенный Остерманомъ слухъ былъ просто новымъ ловкимъ ходомъ въ его игръ, -этого вопроса намъ никогда не разръшить съ помощью подлинныхъ документовъ. Несомифино только то, что если Остерманъ, подготовивъ дъйствующихъ лицъ, хотълъ самъ дать этимъ извъстіемъ и сигналъ къ началу дъйствія, попъ усиълъ въ своемъ намъренін какъ нельзя лучше. Провозглашеніе самодержавія Анны Іоанновны, отлагавшееся сперва по иткоторымъ извъстіямъ до ея коронацін въ апрала, рашено было, подъ внечатланіемъ сенсаціоннаго слуха, пущеннаго Остерманомъ, —произвести немедленно.

Χ.

23 февраля, то-есть за день до предполагаемаго сообщенія Остермана, объ соединившіяся партін шляхетства, конституціонная и монархическая, собрадись въ двухъ квартирахъ своихъ вождей: у князя II. Ө. Барятпискаго на Моховой и у кн. А. М. Черкасскаго на Инкольской. На Моховой принято было рашение-просить Анну принять самодержавіе, уничтожить совѣть и "кондицін" и возстановить сенать. И по мъсту собранія, и по характеру рышеній-это было, надо думать. собраніе монархической партін шляхетства. Но что партія эта желала дъйствовать въ согласін съ партіей конституціонной, видно изъ того, что она послада на Никольскую къ ки. Черкасскому пардаментера и что парламентеромъ этимъ былъ выбранъ В. Н. Татищевъ. Кружокъ, собравшійся у Черкасскаго, не сразу, однако же, согласился съ рѣшеніями кружка Барятинскаго. Послі долгихъ разсужденій, присутствовавшій въ собранінки. Антіохъ Кантемиръ, извъстцый писатель, тогда еще очень молодой человъкъ, ухаживавшій за дочерью хозянна, убъдилъ, наконецъ, ифкоторыхъ лицъ подписать челобитную о самодержавін и тутъ же написалъ ее на-бѣло. Челобитную повезли затѣмъ въ домъ ки. Барятинскаго и собрали тамъ 74 подписи. Кружокъ Черкасскаго дожидался исхода дёла. Уже въ первомъ часу почи всѣ подписавшіе

челобитную у Барятинскаго прівхали на Никольскую и здвсь челобитная быстро покрылась еще 93-мя подписями. Для собиранія дальнійшихъ подписей Кантемиръ и гр. Матвѣевъ поѣхали въ гвардейскія и кавалергардскія казармы и тамъ собрали еще 95 подписей офицеровъ и кавалергардовъ. 24-е число прошло въ этомъ собираніи подписей и въ другихъ приготовленіяхъ къ перевороту. Къ вечеру послана была къ государынѣ Прасковья Юрьевна Салтыкова), съ тою въдомостію, что согласилися". Очевидно, съ въдома и согласія Анны перевороть былъ назначенъ на следующій день. Дворецъ былъ заблаговременно оценленъ войсками, команда надъ которыми была поручена родственнику императрицы, майору гвардін С. Салтыкову. Начальникъ дворцоваго караула получиль приказаніе никого, кромф Салтыкова, не слушаться. "Такъ прекратилась власть при дворъ кн. Вас. Долгорукова", прибавляетъ при этомъ извъстін Лефортъ. Само собою разумъется, что вся эта агитація и приготовленія не могли остаться неизвъстны верховинкамъ: ими, очевидно, и объясияются тъ крайнія мъры, о которыхъ дошли до насъ слухи и одну изъ которыхъ (а можетъ быть объ сразу?) хотъли будто бы предпринять верховники, т. е. провозгласить самодержавіе Анны и арестовать сторонинковъ ся неограниченпой власти.

Событія слѣдующаго дня по нѣскольку разъ описывались каждымъ изъ иностранныхъ резидентовъ и вообще о нихъ ходила масса самыхъ разнообразныхъ разсказовъ. И, несмотря на это,—а отчасти, конечно, и благодаря этому,—мы не можемъ себѣ составить но этимъ разсказамъ виолиѣ отчетливаго представленія о ходѣ событій. Изъ сопоставленія всѣхъ разнорѣчивыхъ сообщеній выясняется приблизительно слѣдующее.

Утромъ 25 февраля шляхетскій кружокъ Черкасскаго условился собраться по-одиночкт въ пріемныхъ компатахъ кремлевскаго дворца. Такимъ же образомъ условился и ки. Юсуновъ съ своими гвардейскими офицерами. Къ десяти часамъ утра, "но отпттіи молебна", оба кружка были въ сборт, въ числт 150—200 человткъ, и попросили аудіенціи у императрицы. Анна Ивановна велтла позвать въ залу и членовъ верховнаго совта 2). Заттмъ В. Н. Татищевъ прочелъ челобитную.

¹⁾ Историкъ Щербатовъ разсказываетъ, что Салтыкова, свояченица Черкасскаго, и прежде была посредницей между Анной и недовольными и "нашла способъ... наединъ ей записку о пачинающихся памъреніяхъ сообщить".

²⁾ По словамъ Татищева, "ки. Василій Лукичъ Долгорукій просилъ ее прилежно, чтобъ опа ихъ (т. е. шляхетство) не допущала, объщевая, что верховный тайный совъть ей самовластіе возвратитъ".

переданную Анив ки. Черкасскимъ. Выразивъ благодарность за подинсаніе нунктовъ, челобитчики заявляли, что "въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ тъхъ пунктовъ находятся сумнительства такія, что большая часть народа состоить въ страхъ предбудущаго безпокойства". Они прибавляли, что уже подали по этому поводу свое "мижніе" верховному совъту "съ подобающею честью и смиреніемъ", прося его учредить форму государственнаго правленія по большинству голосовъ, но что совъть "еще о томъ не разсудиль", отъ многихъ не принялъ и мивній и объявиль, "что того безь воли Вашего Ими. Величества учиинть невозможно". По всемъ этимъ причинамъ челобитчики просили императрицу, "дабы всемилостивъйше по ноданнымъ отъ насъ и прочихъ мижиіямъ соизволила собраться всему генералитету, офицерамъ и шляхетству, по одному или по два отъ фамиліні, разсмотрѣть и всѣ обстоятельства изследовать, согласнымъ миеніемъ по большимъ голосамъ форму правленія государственнаго сочинить и Вашему Величеству къ утвержденію представить". Другими словами, кружокъ Татищева возобновлялъ отъ имени всего шляхетства просьбу, представленную въ совътъ въ извъстныхъ намъ "Способахъ". Въ заключение челобитчики извинялись за малое количество подписей и объясияли его твиъ, что они "собраться для подписи опасны, а согласуетъ большая часть". Подъ челобитной было 87 подписей. И по этому, и по самому содержанію очевидно, что прочтенная челобитная была не та, которую составиль 23 числа Кантемирь. Несомивние также по количеству подписей, что заявление Татищева было подписано даже не всъми присутствовавними при аудіенціп. Въ виду всего этого нельзя не пов'ьрить герцогу де-Лиріа, который, сдалавши дополнительныя справки о событіяхъ 25 февраля и исправляя свой прежній разсказъ о нихъ, сообщасть, что были поданы двю просьбы: одна, князя Черкасскаго, "подинсанная множествомъ дворянъ", и другая, князя Юсупова, "въ томъ же тонъ". подинсанная встми офицерами гвардін. Вторая просьба и была, очевидно, заявленіемъ монархической партін. Но прочитана была вслухъ, новидимому, только одна челобитная Черкасскаго, а до чтенія другой дъло не дошло въ виду смущенія, вызваннаго содержаніемъ первой. Несомивнию, челобитная, прочитанная Татищевымъ, содержала совсвмъ не то, чего ожидала императрица. Она ожидала просьбы о возстановленін самодержавія, а должна была выслушать прошеніе объ организацін учредительнаго собранія. Анна Іоанповна совершенно растерялась. Среди послѣдовавшаго замѣшательства слышались голоса, особенно изъ среды гвардейскихъ офицеровъ, что следуетъ возстановить самодержавіе; другіе голоса имъ возражали. Поднялся шумъ. Тогда кн. Василій Лу-

кичъ сдёлаль попытку вмешаться: "Кто вамъ позволиль присвоить себъ законодательную власть?" - спросиль онь Черкасскаго.--, Государыня вами обманута, — отвъчалъ Черкасскій: — вы увъряли ее. что кондицін составлены съ согласія всѣхъ чиновъ, а это было сдълано безъ нашего въдома и участія". Долгорукій обратился тогда къ Аниъ, совътуя ей удалиться въ кабинетъ и тамъ обсудить прошеніе иляхетства. Раздраженіе офицеровъ, вполит понятное, если, дъйствительно, ихъ челобитная не была прочитана, возрастало: сцена рисковала закончиться свалкой и кровопролитіемъ. Императрица оставалась въ колебаніи. Въ эту рашительную минуту Екатерина Ивановиа, герцогиня мекленбургская, бросилась къ сестръ съ неромъ и черпилами. "Нечего теперь разсуждать, -- говорила она, подинши скорбй; я отвічаю за это; если придется поплатиться жизнью, я буду первой жертвой". Анна Ивановна машинально взяла у нея изъ рукъ перо и подписала на челобитной "быть по сему". Такимъ образомъ, самый напряженный моментъ прошель. Придя нъсколько въ себя, Анна велъла шляхетству снова обсудить свою челобитную и въ тоть же день сообщить ен свое рашеніе. Шляхетство удалилось послѣ того въ другую залу дворца. Верховники были приглашены Анною на объдъ и, такимъ образомъ, благовидно арестованы. Въ пріемной аудісицъ-залѣ остались один гвардейскіе офицеры, которые дали теперь волю своему раздраженію. "Мы не хотимъ, кричали они, — чтобы государынъ предписывали законы; она должна быть такой же самодержавной, какъ ея предки". Волненіе настолько усилилось, что Аппа должна была сама выйти и приказать офицерамъ слушаться Салтыкова. Офицеры, бросаясь къ ногамъ императрицы, кричали, что они готовы пожертвовать за нее жизнью, но не потериять ея злодвевъ. Сцена кончилась тъмъ, что офицеры, съ Салтыковымъ во главъ, привътствовали Анну самодержавной императрицей.

Все происшедшее въ аудіенцъ-залѣ, конечно, тотчасъ же сдѣлалось извѣстно шляхетству и должно было оказать вліяніе на исходь его совѣщанія. Вѣроятно, къ этому времени относятся разсужденія, приведенныя въ снутанномъ разсказѣ Вестфалена. Юсуновъ заявилъ, но словамъ Вестфалена: мнѣ кажется, что снисходительность нашей всемилостивѣйшей государыни и ся обращеніе съ подданными вполнѣ заслуживаютъ съ нашей стороны выраженія живѣйшей признательности. Чернышевъ поддержалъ его: мы не можемъ лучше возблагодарить ее за всю ся доброту къ народу, какъ вернувъ то, что у ней отняли, т. е. самодержавіе и пеограпиченную власть, каковыми пользовались всѣ ся предки. Обѣ мысли, высказанныя Чернышевымъ и Юсуновымъ, легли въ основаніе новой челобитной, сочиненной теперь

шляхетствомъ. "Когда В. И. В. всемилостивъйше изволили пожаловать всепокорное наше прошеніе своеручно, для лучшаго утвержденія н нользы отечества нашего, сего числа подписать, -- говорилось въ челобитной, -- недостойныхъ себя признаемъ къ благодаренію... Однакожъ усердіе вфрныхъ подданныхъ... побуждаетъ насъ по возможности нашей не показаться пеблагодарными. Для того въ знакъ нашего благодарства всеподданнёйше приносимъ и всепокорно просимъ всемилостивъйше принять самодержавство таково, каково Ваши славные и достохвальные предки имфли, а присланные къ В. И. В. отъ верховнаго совъта и подписанные В. В. рукою пункты уничтожить". Вторая половина челобитной заключаеть въ себѣ конституціонныя требованія шляхетства: "Только всеподданъйше В. И. В. просимъ, чтобы соизволили сочинить вмѣсто верховнаго совѣта и высокаго сената-одинъ правительствующій сенать, какъ при Его В. блаж. пам. дядь В. И. В. Петръ Первомъ было, и исполнить его довольнымъ числомъ, 21 церсоною. Такожде ныцѣ въ чины и впредь па упалыя мѣста (вакансіи) въ оный правительствующій сенать и въ губернаторы и въ президенты повельно бы было шляхетству выбирать баллотированіемъ, какъ-то при дядъ В. И. В., Е. И. В. Истръ Первомъ установлено было. И при томъ всеподданъйше просимъ, чтобы по Вашему всемилостивъйшему подписанію (т. е. согласно первой челобитной) форму правительства государственнаго для предбудущих времень нынк установить".

Какъ видимъ, формально партія Черкасскаго ни отъ чего не отказалась изъ своихъ желаній, не исключая даже учредительнаго собранія изъ шляхетства. Но просьба объ этомъ была запрятана въ посліднюю глухую фразу челобитной и предназначена къ тому, чтобъ остаться безъ исполненія. На первый же планъ выдвинута въ повой челобитной просьба о возстановленіи самодержавія.

Извъстенъ результатъ подачи новой челобитной. Послъ объда императрица съ верховниками верпулась въ аудіенцъ-залу. Челобитная вручена была па этотъ разъ ки. Трубецкимъ и прочитана Кантемиромъ. Выслушавъ ее, Анна спросила: согласны ли члены верховнаго совъта, чтобъ я приняла предлагаемое миѣ моимъ народомъ? Верховники молча наклонили головы. Затъмъ Анна послала за пунктами и своимъ письмомъ въ канцелярію совъта, "и тѣ пункты Ея Величество при всемъ народѣ изволила, принявъ, разодрать".

XI.

Разсказъ о событіяхъ 1730 года быль бы не полонъ, если бы мы остановились на упичтоженін пунктовъ. Событія эти имѣли свой эпи-

логь, о которомъ необходимо упомянуть въ заключение. Движение шляхетства не свелось на этотъ разъ къ разорванному клочку бумаги. Оно несомивнио -- и не даромъ -- свидътельствовало о пробуждении политическаго и сословнаго самосознанія среди сословія, все болже становившагося господствующимъ въ государствв. Желанія этого сословія уже въ 1780 году выражены были настолько настойчиво и поддерживались такой компактною массой, что они не могли быть оставлены вовсе безъ вниманія правительствомъ. И Остерманъ не даромъ давалъ надежду на то, что шляхетскія желанія могуть быть удовлетворены императрицей. Едва возстановивъ свою самодержавную власть, Анна Гоанновна удовлетворила первому изъ этихъ желаній, именно указомъ 4 марта верховный совъть и высокій сенать были "оставлены" и замънены правительствующимъ сенатомъ "въ той силъ, какъ при дядъ нашемъ блаж, и вфино-достойныя памяти Петрф Великомъ былъ". Количество членовъ сепата опредълено было, соотвътственно желанію шляхетства, въ 21; въ синсокъ членовъ вошли всѣ верховники, кромѣ киязя Ал. Гр. Долгорукаго, три фельдмаршала, многіе видные представители кокституціонной нартін и авторы отдъльныхъ мифиій, шединхъ на компромиссь съ верховинками. Словомъ, правительство пользовалось евоей побъдой съ чрезвычайною умъренностью. Конечно, болье проинцательные тогда же предполагали, что назначение членовъ въ сенатъ сдълано для вида, чтобы дать время удалить негодныхъ членовъ. Вопросъ о возстановленін баллотировки въ должности, "какъ при Петръ Первомъ установлено было", рашенъ — по крайней мара относительно офицеровъ-утвердительно указомъ 5 февр. 1731 года. Что касается сословныхъ льготъ шляхетства, отмененъ, согласно желанію шляхетства н объщаніямъ совіта, законъ о майорать (указъ 9-го декабря 1780 г.); учреждень, согласно объщанію Голицына, кадетскій корпусь съ выпускомъ учащихся прямо въ офицеры и, наконецъ, установленъ, хотя и не надолго, манифестомъ 1736 года, 25-льтий срокъ шляхетской службы. Указомъ 21 марта 1736 г. было строго запрещено вотчинион коллегін раздавать земли дворянамъ, что недьзя не поставить въ связь съ 6-мъ пунктомъ "кондицій" (П. С. З. № 21, 536). Нельзя считать случайнымъ и то, что отъ времени Анны до насъ дошло наименьшее количество свъдъній о пожалованіяхъ населенныхъ земель дворянству. Вопросъ объ учредительномъ собранін, конечно, не поднимался болье; но для окончанія задуманнаго Петромъ поваго "Уложенія" привять быль знакомый намь порядокъ обсужденія—сперва посредствомъ выборныхъ изъ шляхетства и экспертовъ изъ купечества и духовенства, потомъ въ соединенномъ засъданіи этой коммиссіи и сената, послі чего

обсужденныя части проекта должны были вноситься на утвержденіе государыни: легко замѣтить, что порядокъ этотъ въ значительной степени подсказанъ идеями Татищевскаго проекта.

Такимъ образомъ, вліяніе идей и желаній, высказанныхъ въ политическихъ просктахъ 1730 года, на законодательство императрицы
Анны не можеть быть подвергнуто сомивнію. Въ этомъ отношеніи переворотъ 1730 года сдблалъ въ миніатюрѣ то же дѣло, какое сдѣлала въ большихъ размѣрахъ знаменитая Екатерининская коммиссія.
Сравнивая оба эти эпизода нашей исторіи прошлаго вѣка, нельзя.
однако же, не замѣтить, что за тридцать семь лѣтъ русское дворянство
усиѣло окончательно забыть объ интересахъ "общенародія" и войти
во вкусъ собловныхъ привилегій. Перенеся центръ тяжести своихъ
желаній отъ политической реформы къ реформѣ сословной, оно получило
возможность дѣйствовать въ направленіи наименьшаго сопротивленія и
въ духѣ усилившагося сословнаго эгонзма. Въ результатѣ — давленіе,
такъ сказать, физіологическое оказалось гораздо дѣйствительнѣе давленія идейнаго, и русская исторія пошла далеко не тѣмъ путемъ, о
которомъ мечтали руководители движенія 1730 года.

Сергъй Тимовеевичъ Аксаковъ.

(20 сентября 1791 г.—20 сентября 1891 г.).

Для большинства читающей публики Сергый Тимовеевичь Аксаковъ есть авторь Семейной хроники, составляющей неотъемлемую часть дътскихъ воспоминаній каждаго изъ насъ, отецъ зпаменитыхъ славянофиловъ и, наконецъ, горячій поклоникъ Гоголя. Тѣ, кто не позабылъ еще своего учебника литературы, могутъ прибавить къ этому, пожалуй, что Аксаковъ имѣлъ какой-то длинный доисторическій періодъ, когда опъ былъ плохимъ стихоплетомъ и записнымъ театраломъ, и что только на шестомъ десяткѣ, подъ вліяніемъ Гоголя и собственныхъ сыновей, опъ вдругъ сдѣлался классическимъ писателемъ, перескочивъ сразу изъ ложно-классицизма прошлаго вѣка къ художественному реализму гоголевскаго періода.

Историкъ русскаго общественнаго развитія взглянеть на С. Т. Аксакова съ ифсколько другой точки зрфнія. Для него Аксаковъ—не классическій беллетристъ, а мемуаристъ, драгоцфиный и единственный въ своемъ родф; и самая писательская дфятельность послфдиихъ двухъ десятильтій его жизни имфетъ значеніе постольку, поскольку свидфтельствуетъ о прожитомъ и неречувствованномъ за весь прежній "допсторическій періодъ". Ко всфиъ дфйствующимъ лицамъ восноминаній и къ самому автору можно приложить эти слова, заканчивающія Семейную хронику: "вы не великіе герои, не громкія личности; въ тишинф и безвфстности прошли вы свое земное поприще и давно, очень давно его оставили; по вы были люди, и ваша вифшияи и внутренняя жизнь такъ же любопытна и поучительна для насъ, какъ мы и наша жизнь въ свою очередь будетъ любопытна и поучительна для нотомковъ. Вы были такія же дфйствующія лица великаго всемірнаго зрфлища, съ незапамятныхъ временъ представляемаго человфчествомъ,

такъ же добросовъстно разыгрывали свои роли, какъ и всъ люди, и также стоите воспоминанія".

Какъ художникъ, С. Т. Аксаковъ вызывалъ и будетъ вызывать критику и возраженія; слава его въ этомъ отношеній сильно поблекла еще раньше окончанія его литературной двятельности. Какъ "человъческій документъ" нашего прошлаго, онъ будетъ только возвышаться въ цѣнѣ по мъръ удаленія отъ насъ этого прошлаго. Тъ же самыя свойства, недостатокъ самостоятельнаго творчества и полная зависимость отъ личныхъ внечатльній, которыя помьшали ему сдылаться художникомъ,-увеличивають его значеніе, какъ мемуариста. Для мемуариста С. Т. Аксаковъ представляетъ удививительно счастливое сочетаніе душевныхъ свойствъ. Съ большою силою впечатлительности соединяется у него замфчательная отчетливость памяти: наканунф смерти опъ вполнф ясно поминтъ, не только, какихъ онъ наловилъ бабочекъ полвъка назадъ, н какъ опредълилъ каждую по Блюменбаху, по и при какой обстановкъ пойманы были особенно интересные экземпляры. Еще удивительные, чъмъ память на витшиня события, его память на собственныя внечатлѣнія, движенія чувства. Обыкновенно, мемуары, написанные много времени спусти послъ событій, страдають невърностью освъщенія. происходящей отъ перемъны точки зрънія у самихъ авторовъ на описываемыя событія: у Аксакова этого почти нать: прочувствовавь и переживъ разъ свои впечатлѣнія, онъ уже остается во власти ихъ даже тогда, когда самъ не помнитъ ихъ причины и источника. Въ значительной степени содъйствовало этому, конечно, то, что нашъ "человъческій документь" тонко наблюдаль, сильно чувствоваль, по не размышляль и не теоретизироваль. Различныя, иногда прямо противоположныя наслоенія впечатліній такъ и ложились и препарировались рядомъ въ огромномъ запасъ его памяти: и когда шестидесятилътній старикъ развернулъ передъ нами свой гербарій, зрители не могли не удивиться полной сохранности коллекцій, яркости цватовъ и красокъ и нъкоторой пестротъ ихъ также; а старикъ выкладывалъ одинъ за другимъ свои рѣдкіе экземиляры съ такой легкостью, съ такимъ отсутствіемъ усилія и искусственности, что ему и въ голову не приходило принисать свъжесть впечатльнія собственному умьнію. "Могучею силой письма и печати познакомлено теперь съ вами (героями Семейной хроники) ваше потомство": такими наивными словами кончаеть онъ лучшее изъ своихъ произведеній.

Мы, конечно, хорошо знаемъ, что могучая сила, выведшая на сцену семью Багровыхъ, заключалась не въ гусиномъ перѣ и пе въ типо-графскихъ чернилахъ. И, тѣмъ не менѣе, личность автора, дѣйстви-

тельно, совершенно стушевалась, въ содержанін его разсказа, — настолько стушевалась, что критики противоположныхъ направленій должны были дълать усилія, чтобъ оцфинть форму изложенія саму по себъ. Критикъ "Русской Бесъды" находилъ, что стиль автора "дъловой". что, точиће, его стиль незамътенъ въ процессъ чтенія: "выражаемая мысль какъ бы сама становится передъ вами, не давая чувствовать своей словесной оболочки". Добролюбовъ заявлялъ, что онъ "слишкомъ уважаеть фактическую правду мемуаровь Аксакова, чтобы силиться отыскивать въ нихъ еще правду художественную". Кто-то изъ публики замфчаль, что Аксаковь пишеть такь, какь будто бы онь никогда не читаль никакихъ книгъ. Дъйствительно, между пережитыми впечатленіями старины и ихъ литературнымъ выраженіемъ какъ булто не было ничего промежуточнаго, кромф "письма и печати". Ничего не прибавляя къ содержанію, не думая о формѣ, человѣкъ просто выложиль, что поминль, а въ результатъ получилась неожиданно свъжая, животренещущая тема, художественно обработанная первокласснымъ стилистомъ. "Усибхъ моей книги удивилъ меня",--писалъ самъ авторъ, и, принимаясь объяснять этотъ усивхъ, добавилъ: "я прожилъ жизнь, сохраниль теплоту и живость воображенія, и воть отчего обыкновенный таланть производить необыкновенное действіе". Действительно, секрета усибха нельзя искать исключительно въ талантъ автора. Что тема оказалась свъжбе и животренещуще, это было свойствомъ времени, когда появилась Семейная хроника (1856 г.); стиль Аксакова мфиялся изъ десятилфтія въ десятилфтіе, совершенствуясь вмфстф съ развитіемъ литературы; что прежній поклонникъ высокаго "штиля" могь такъ инсать, когда литература освободилась отъ классическихъ и романтическихъ условностей, - это почти эксперименть въ нашей литературъ: но, конечно, это не личная заслуга Аксакова, хотя и безспорное доказательство его отзывчивости. Наконецъ, то, что вызываеть впечатление художественности, - это, песомивино, объективность и чувство мфры, обнаруженное Аксаковымъ въ Семейной хроникъ и не обнаруженное въ воспоминаніяхъ о поздивіншихъ временахъ. И для этихъ свойствъ И. С. Аксаковъ находилъ объяснение, независимое отъ художественнаго таланта отца; цо его словамъ, "не разъ говаривалъ С. Т., что если бы онъ вздумалъ писать Семейную хронику льтъ сорока или сорока пяти, а не шестидесяти, то она вышла бы несравненно хуже: краски были бы слишкомъ ярки". Краски эти поблѣднѣли по мѣрѣ отдаленія времени и но мѣрѣ наступленія возраста, когда "умъ нереходить въ мудрость", когда годы и болфзии умфрили нылъ и обуздали страсти".

Понимая такимъ образомъ причины неожиданнаго литературнаго успаха шестидесятилатияго С. Т. Аксакова, мы можемь обойтись безъ того искусственнаго дъленія его жизин на двъ части, которое часто употребляется нашими историками литературы. Талантливость Аксакова была налицо, конечно, не въ меньшей степени, когда опъ въ теченіе полувѣка делаль свои наблюденія, чемь когда онь въ конце жизин началъ ихъ излагать. Съ другой стороны, и въ концъ жизни онъ не обнаружилъ инчего большаго сравнительно со сдъланнымъ ранъе запасомъ. Если только въ 1850-хъ годахъ Аксаковъ сдълался классическимъ инсателемъ, то и вина, и заслуга этого принадлежитъ времени, а не автору. Ифтъ, слъдовательно, нужды предполагать какой-то переворотъ въ талантъ Аксакова и, съ одной стороны, объяснять его поздній расцвіть какою то искусственною задержкою въ его литературномъ развитін, а съ другой стороны-преувеличивать вліяніе на развитіе его таланта Гоголя и собственныхъ сыновей. И прежде, и послѣ этого предполагаемаго переворота, оказывающагося, при ближайшемъ разсмотрѣнін, простою ошибкой исторической нерспективы, С. Т. Аксаковъ оставался однимъ и тѣмъ же человѣкомъ, живымъ и впечатлительнымъ, совершенно индифферентнымъ къ общественнымъ движеніямъ и партіямъ, чуждымъ теоретической мысли и отзывчивымъ на самые тонкіе оттынки чувства. Въ его подвижной натуръ не было какъ разъ тъхъ элементовъ, которые дають силу и содержаніе общественной д'ятельности человака въ данный моментъ и далаютъ его непригоднымъ для вебхъ другихъ моментовъ: у него не было ни философскаго міровоззрѣнія, ни практической общественной программы, ничего, что могло бы устарфть или кристаллизоваться, —ничего, кромф въчно-юной любви къ въчно-юной природъ, свътлаго взгляда на жизнь и ея радости и очень широкаго -потому что безформеннаго, безыдейнаго-сочувствія ко всему прекрасному. Этому какъ будто противоръчить "русское направленіе" С. Т. Аксакова; но, какъ скоро увидимъ, и оно у Аксакова не есть теорія, а только настроеніе, не только не вызывавшее его на бой, какъ его сыповей, по, напротивъ, побуждавшее его оставаться въ сторонъ отъ дъйствительнаго теченія жизни. Въ извъстномъ стихотвореніи Алексвя Толстого кіевскій богатырь просынается отъ въковой сиячки въ разные моменты русской исторіи и сталкивается довольно непріятнымъ для себя образомъ съ дъйствительностью этихъ моментовъ, которой онъ не можетъ ин понять, ни одобрить. С. Т. Аксаковъ есть такой жо Потокъ-богатырь нашей литературы. И онъ стоить въ сторонв отъ главнаго русла ся, промываемаго борьбои общественныхъ страстей и интересовъ. Сила этихъ страстей

и смѣна различныхъ сочетаній остаются для него непонятны. Изъ своего узкаго уголка онъ рискуетъ иногда выходить на свътъ Божій; но его путеводители, которыхъ онъ подбираетъ по своему вкусу, неретолковывають ему эту дъйствительность не хуже, чѣмъ Ал. Толстой своему герою. П Аксаковъ снова сившить уйти въ свой семейный и дружескій уголокъ. Вирочемъ, въ концѣ концовъ, онъ оказывается счастливве толстовского героя: въ одинъ изъ такихъ выходовъ его настроеніе какъ будто совнадаеть на минуту съ настроеніемъ окружающей толны. Польщенный випманіемъ, онъ принимается разсказывать о томъ, какъ живали встарину дъды въ привольныхъ степяхъ, только не дибпровскихъ, а оренбургскихъ; молодежь слушаетъ охотно про чудеса стараго времени; бранять его героевъ, но хвалять разсказчика. А старику и любо: перебравъ дёдовскую старину, онъ переходить къ временамъ, которыя помнятъ и внуки, и помнятъ не такъ, какъ разсказываеть дъдушка. Все, попрежнему, льется плавная и изобразительная річь, и не видить расходившійся старикь, какъ начинаеть зъвать его оживленная аудиторія, какъ расходится понемногу, оставляя, наконецъ, его одного продолжать свои безконечные разсказы.

Смерть прервала эти разсказы, диктовавшіеся Аксаковымъ не въ хронологическомъ порядкѣ, но, въ общемъ, доведенные до знакомства съ Гоголемъ, разсказъ о которомъ остался недоконченнымъ. Поставленныя въ хронологическій порядокъ и дополненныя другъ другомъ, эти статьи составляютъ почти полиую автобіографію писателя и исторію тѣхъ кружковъ, среди которыхъ онъ жилъ 1). На нихъ мы и остановимся теперь, не имѣя, конечно, въ виду повторять много разъ нересказанную біографію С. Т. Аксакова, а желая только отчасти напоминть главныя черты ея, отчасти же подчеркнуть тѣ стороны, которыя недостаточно отмѣчены до сихъ поръ біографами.

Мы не будемъ, конечно, останавливаться на изображении той помъщичьей среды, изъ которой вышелъ С. Т. Аксаковъ. Изъ Семейной хроники видно, что авторъ въ общемъ относился къ этой средъ сочувственно, хотя не скрывалъ и темныхъ сторонъ ея. Очевидно, онъ былъ доволенъ порядкомъ и смотрѣлъ на темныя стороны его, какъ на исключенія, не стоящія съ нимъ въ причинной связи. Такимъ образомъ, даже семейный деспотизмъ дѣдушки Багрова, взятый въ связи со всею обстановкой, находилъ раціональное объясненіе и являлся естественнымъ коррективомъ данныхъ семейныхъ правовъ и отноше-

 $^{^{1}}$) Всѣ эти статьи занимають I-IV томы 1 Полнаго собранія сочиненій С. Т. Аксакова, изд. въ шести томахъ въ 1886 г.

ній. По отношенію къ матери Аксакова этоть деспотизмъ сослужиль, дъйствительно, хорошую службу, защитивъ ее отъ золовокъ; но надо сказать, что и недоброжелательство золовокъ вызвано было всего болье борьбой за вліяніе на строгаго дъдушку. Какъ бы то ни было, эта среда не могла создать С. Т. Аксакова, и если бы ему пришлось вырости въ семьт дъда, изъ него, по всей втроятности, вышла бы такая же безличность, какъ его отецъ, съ которымъ у него много общаго но мягкости характера. Лучомъ свъта, ворвавшимся въ это темное царство, была мать Аксакова, дочь товарища уфимскаго намъстника Зубова, красавица уфимскато бомонда, нашедшая въ губерискомъ обществъ множество поклонниковъ и обожателей, но ни одного жениха, который бы рашился ввести въ семью черезчуръ эмансипированную по тому времени дявушку. С. Т. Аксаковъ изобразилъ трогательную исторію препятствій, которыя пришлось преодольть влюбленному безъ памяти отцу Аксакова, чтобы вынудить согласіе дедушки на эту свадьбу и жениться на Зубовой. Последияя приняла, въ силу домашнихъ обстоятельствъ, это единственное предложение, хотя успъла на половину разочароваться въ женихѣ еще до замужества. Разочаровавшись окончательно въ мужѣ, она перенесла всю любовь на сына и употребила всв усилія, чтобы изолировать его отъ ненавистной ей деревенской обстановки и воспитать по-своему. Она не могла нобороть въ немъ только его инстинктивной любви къ природъ-и едѣлала тутъ уступки; по сношенія съ деревенскимъ населеніемъ были прекращены разъ навсегда. Такимъ образомъ, оборонительное положение, занятое матерью по отношенію къ деревић, было перенесено и на сына. Изъ окошекъ барской усадьбы мальчикъ долженъ былъ любоваться зимними увеселеніями крестьянскихъ дітей и, немного подросши, потихоньку отъ матери бъгалъ слушать народныя пъсни. Еще строже былъ изолированъ мальчикъ отъ соприкосновенія съ дворней и отъ дурного вліянія дъвичьей. Внукъ Степана Михайловича только разъ видълъ и смутно поминлъ нароксизмъ дъдовскаго гитва; въ его собственной семьъ правы были до такой степени непохожи на дъдовскіе, что онъ былъ пораженъ и оскорбленъ до глубины души, когда случайно увидвлъ, какъ бабушка бьетъ свою дворовую дввку или учитель свчетъ дътей въ народной школъ. Эти и подобные случаи запечативвались въ его памяти, какъ иъчто ръзко-исключительное. Только позже, и больше изъ разсказовъ, чемъ изъ собственныхъ наблюдений, познакомился онъ съ темной стороною помѣщичьей жизни:--и этому следуеть въ немалой степени принисать его оптимизмъ по отношенію къ ней.

Въ помѣщичьемъ хозяйствѣ мать также по принципу не прини мала участія, и сынъ быль воспитанъ въ томъ же духѣ. Нозднѣе, женившись, онъ пробоваль сдѣлаться хозянномъ, но пришелъ только къ убѣжденію "въ собственномъ безсилін быть полезнымъ" и окончательно разстался съ деревней.

Таковы были первыя отношенія къ практической жизии. Конечно, эти только условія сділали возможнымъ нравственное воснитаніе Аксакова, но тв же условія, можно думать, положили начало тому индифферентизму къ общественной жизни, какимъ всю жизнь отличался Сергъй Тимовеевичъ, по признанію собственнаго сына (Ив. Серг.). Въ искусственной атмосферф его дфтской развивалась усиленно только его чувствительность, подъ вліяніемъ страстныхъ изліяній матери, ревниво искавшей дътской взаимности; тамъ же положено было начало его любви къ чтенію. Руководителемъ перваго чтенія мальчика былъ старый либераль екатерининскаго времени, депутать екатерининской комиссін, Аничковъ. Выборъ кингъ обусловливался наличнымъ составомъ его библіотеки. Послі ніскольких хрестоматических сборниковь для дътскаго чтенія, Аксаковъ получиль отъ него (няти лътъ) Сумарокова. и Хераскова и упражнялся въ декламированіи *Россіады*. Черезъ годъ онъ прочиталь многотомную Жизнь англійскаго философа Клевеланда, увлекавшую нашихъ предковъ всю вторую половину XVIII в.; еще черезъ годъ познакомился съ Tысяча и одной ночью, съ стихотворными сборниками Карамзина и даже-потихоньку отъ матери-съ Ричардсономъ. Одинъ этотъ выборъ чтенія показываетъ, что для своихъ 7—8 лѣтъ Аксаковъ былъ развить не по возрасту, и что это развитіе было развитіемъ чувства и сердца, а не мысли.

Далже следують учебные годы Аксакова (1800—1807), проведенные въ казанской гимназіи и только что учрежденномъ университеть, какъ мзвѣстно, тесно слитомъ въ первые годы своего существованія съ тою же гимназіей. "Я оставилъ университеть,—писалъ ноздиже С. Т. Аксаковъ,—въ такихъ годахъ, въ которыхъ надлежало бы поступать въ него, следовательно, вынесъ очень мало знаній". "Во всю мою жизнь, — говорить онъ въ другомъ мѣстѣ,—чувствовалъ я недостаточность этихъ научныхъ свѣдѣній, особенно положительныхъ знаній". И сынъ его, П. С., точно также подтверждаетъ, что "отецъ не былъ не только ученымъ, но и не обладалъ достаточною образованностью". Однако же, гимназическая и университетская жизнь далеко не прошла безследно для развитія личности С. Т. Аксакова. Во-нервыхъ, она развила въ немъ чувство товарищества и отвлеченный идеализмъ молодости. "Тамъ царствовало нолное презрѣніе ко всему инзкому и подлому, ко всѣмъ

своекорыстнымъ разсчетамъ и выгодамъ, ко всей житейской мудрости – и глубокое уважение ко всему честному и высокому, хотя бы и безразсудному. Намять такихъ годовъ перазлучно живетъ съ человъкомъ и, непримѣтно для него, освѣщаетъ и направляетъ его шаги въ продолжение цѣлой жизни, и куда бы его ни затащили обстоятельства, какъ бы ни втоптали въ грязь и тину, она выводитъ его на честную, прямую дорогу. Я, но крайней мѣрѣ, за все, что сохранилось во миѣ добраго, считаю себя обязаннымъ гимназіи, университету, общественному ученію и тому живому началу, которое выпесъ я оттуда. Я убѣжденъ, что у того, кто не воспитывался въ публичномъ учебномъ заведеніи, остается пробѣлъ въ жизии, что ему недостаетъ нѣкоторыхъ испытанныхъ въ юности ощущеній, что жизнь его неполна..." Такими прочувствованными словами кончаетъ онъ свои школьныя воспоминанія.

Кром'в развитія чувства общественности, школьные годы прибавили итсколько черть и къ умственной физіономіи Аксакова. Въ этомъ отношенін, прежде всего, следуеть отметить вліяніе его воспитателя, тогданняго учителя и профессора, а впоследствін виднаго деятеля по возсоединенію упіатовъ и понечителя білорусскаго учебнаго округа, Гр. Пв. Карташевскато. Къ особенностямъ характера Аксакова принадлежало то его свойство, что, очень легко поддаваясь вліянію людей съ сильною волей, онъ, повидимому, самъ не замъчалъ своего подчиненія. Такъ, онъ самъ, а вслѣдъ за нимъ и его біографы, считали проявленіемъ ранней оригинальности его гимназическую оппозицію Карамзину. Всматриваясь пристальите, нельзя не заключить, что эта опнозиція, а вм'єсть и все то "русское направленіе", съ которымъ вышель Аксаковь изъ университета, есть дёло рукъ Карташевскаго. Взявъ въ свои руки воспитаніе Аксакова, Карташевскій, прежде всего, сдълалъ строгій выборъ книгъ для его чтенія. Все сантиментальнофривольное,-- и прежде всего повъсти Карамзина,-- было устранено. Изъ Державина тоже допущены были только небольшіе отрывки. Только безукоризненно-правственный Дмитріевъ быль разрфшенъ весь. Мальчикъ безусловно слушался наставника и всѣ его совъты и миѣнія принималь какъ святую истину. Въ результатъ и получилось очень курьезное сочетаніе внечатлівній, прошедщихъ и не прошедшихъ черезъцензуру наставника. Мальчикъ зачитывался потихоньку сантиментальными романами и, въ то же время, добросовъстно громилъ сантиментализмъ; "бранняъ прозу Карамзина и былъ въ восторгъ отъ его илохихъ стиховъ, отъ прощанія Гектора съ Андромахой и отъ "Опытной соломоновой мудрости". Аксаковъ справедливо заключалъ изъ этого: "понятія

мон путались". Но онъ потеряль ключь къ объясненію этой путаницы, который не трудно теперь найти. Стихи Карамзина онъ зналъ раньше, чѣмъ началось воспитательство Карташевскаго, и не могъ передѣлать своего перваго впечатлѣція, хотя оно и вызвало порицаніе воспитателя; а прозу узналъ уже подъ его угломъ зрѣнія.

Оппозиція противъ сантиментализма поставила Аксакова уже въ университеть въ то положение къ большинству товарищей, въ которомъ онъ навсегда потомъ остался по отношенію къ русскому обществу. Но мы разскажемъ это словами самого Аксакова. "Я терпълъ жестокія гоненія отъ товарищей, которые всф были безусловными поклонниками и обожателями Карамзина. Въ одно прекрасное утро, передъ пачаломъ лекцін, входилъ я въ спальныя комнаты казенныхъ студентовъ. Вдругъ поднялся шумъ и крикъ: "вотъ онъ, вотъ онъ!" и толна студентовъ окружила меня. Всв въ одинъ голосъ осыпали меня поздравленіями, что "нашелся еще такой же уродъ, какъ я и проф. Городчаниновъ, лишенный отъ природы вкуса и чувства къ прекрасному, который ненавидить Карамзина и ругаеть эпоху, произведенную имъ въ литературт: закосивлый славянофиль, старовфрь и гасильникь, который осмълился напечатать свои старозавътныя остроты и насмъшки"... Народъ быль молодой, горячій и почти каждый выше и старше меня: одинь обвиняль, другой упрекаль, третій возражаль, какь будто, на мон слова, прибавляя: "а, ты теперь думаешь, что ужъ твоя взяла?" или: "а, ты теперь, пожалуй, скажень: воть вамъ доказательство!" п проч. и проч. Изумленный и даже почти испуганный, я не говорилъ ни слова и, несмотря на то, чуть-чуть не побили меня за дерзкія різчи". Скоро дівло объяснилось: одинь нізь студентовь получиль знаменитое Разсумсдение о старомъ и новомъ слогъ Ал. Сем. Шишкова, изданное за два года передъ тъмъ. Эта-то литературная новинка и вызвала такую бурю въ спальняхъ казепныхъ студентовъ. Конечно, Аксаковъ не замедлилъ достать книгу. "Я увъровалъ-говоритъ онъвъ каждое слово его книги, какъ въ святыню! Русское мее направленіе и враждебность ко всему иностранному упрочились сознательно, и темное чувство національности выросло до исключительности. Я не смель обнаруживать ихъ вполие, встречая во всехъ товарищахъ унорное противодъйствіе, и долженъ былъ хранить мои убъжденія въ глубинъ души, отчего они, въ тишинъ и покоъ, достигли огромныхъ и неправильныхъ размъровъ". Такъ развился заложенный Карташевскимъ зародышь въ страстной душь Аксакова.

За то, съ другой стороны, развитіе литературныхъ вкусовъ Аксакова было, несомнънно, самостоятельно. Его старое увлеченіе декламаціен

превратилось въ университетъ, уже помимо воли воспитателя и отчасти даже вопреки его воль, въ увлечение театромъ. Въ этомъ увлечении, въ сущности, не было уже инчего случайнаго: гораздо тесне, чемъ "русское направленіе", стояло оно въ связи съ индивидуальностью Аксакова, съ его подвижною, внечатлительною натурой. Недостаточно сильно одаренный для самостоятельнаго творчества, Аксаковъ находиль удовлетвореніе въ воспроизведеній, въ лицедфиствф. Успфхъ въ этомъ родѣ дѣятельности подстрекалъ его самолюбіе и честолюбіе. Уже съ середины XVIII вѣка театръ сдѣлался потребностью средней публики столицъ, а къ концу въка вкусъ къ театру развился и въ провинціальныхъ центрахъ. Конечно, это была наиболъе доступная — даже болье доступная, чымь чтеніе — форма, вы которой могли возбуждаться и удовлетворяться умственные и нравственные питересы этой публики. Раньше, чемъ періодическая пресса, театръ сделался у насъ выразителемъ "всего честнаго и высокаго"; "авторъ драматическій, -- по словамъ Аксакова (1828 г.), -- долженъ быть наставникомъ (публики)... двигать впередъ образованіе словесности... управлять (волною)"; потому что, "кому возможнфе ею править, какъ не писателю драматическому, въ единое мгновеніе потрясающему тысячи душъ и умовъз"

Этими же мыслями одушевленъ былъ, конечно, студентъ Аксаковъ, когда сделался деятельнейшимъ членомъ и даже режиссеромъ студенческихъ спектаклей. Но нужно сказать, что уже и тогда театръ, какъ средство къ достижению "всего честнаго и высокаго", заслонялся для Аксакова театромъ, какъ цюлью самой по себъ. Тогда уже онъ началъ интересоваться не столько темъ, что игралось, сколько темъ, какъ игралось, и погружался во вст тонкости техники актерскаго искусства. Конечно, этому [способствовалъ и самый репертуаръ. У казанскихъ студентовъ онъ былъ не хуже, но и не лучше репертуара казенной сцены (и частнаго казанскаго театра). Играли больше всего "коцебятину", — мъщанскую драму, наводнявшую тогда нашу сцену, вопреки протестамъ поклонинковъ ложно-классической трагедін и комедін. Рядомъ съ ней продолжали давать иногда и старика Сумарокова, и новаго, тогда блиставшаго представителя ложно-классической трагедін — Озерова. Товарищи Аксакова "пламенно желали" также сыграть Разбойниковъ Шиллера; но "я-говоритъ Аксаковъ-не слишкомъ горячо хлопоталь объ этомъ спектаклѣ, потому что... у насъ не было хорошихъ актеровъ для первыхъ ролей", Въ последній моменть этотъ спектакль, впрочемъ, быль запрещенъ начальствомъ.

"Русское паправленіе" и театральныя увлеченія надолго остаются

единственнымъ содержаніемъ умственныхъ интересовъ Аксакова. Прівхавъ посла университета въ Петербургъ и устронвинсь тамъ на
службу (переводчикомъ въ комиссіи составленія законовъ), Аксаковъ
"жилъ въ Петербургъ уединенно, также мало встрѣчая сочувствія къ
своимъ убѣжденіямъ и обнаруживая ихъ еще менѣе". Но скоро онъ
нашелъ друзей по своему вкусу. Черезъ общаго знакомаго онъ получаетъ доступъ къ актеру Шушерниу, начинаетъ проводить у него всѣ
вечера и проходитъ "настоящую театральную школу". За два съ половиной года Шушерниъ, по его разсчету, прошелъ съ нимъ "болѣе
двадцати значительныхъ ролей, кромѣ мелкихъ".

Остатокъ дня между службой и вечерами употреблялся на подучиваніе ролей, — и такъ проходило все время Аксакова. Впрочемъ, скоро сосёдъ по канцеляріи, Казначеевъ, оказавшійся племянникомъ Шишкова, познакомилъ Аксакова съ послёднимъ; быстро сойдясь съ семьей и понравившись старику, Аксаковъ три раза въ недѣлю объдалъ у Шишкова, добросовѣстно и благоговѣйно выслушивая послѣ обѣда его длинныя и не всегда убѣдительныя даже для Аксакова разсужденія.

Любопытно остановиться на этихъ дичныхъ сношеніяхъ отца поздивйшихъ славянофиловъ съ старымъ "славянофиломъ" ("тогда это слово было уже въ употребленін". — замфчаеть Аксаковъ) александровскаго времени. Опредъляя содержание тогдащияго "русскаго направления", Аксаковъ говоритъ, что оно "заключалось въ возстанін противъ введенія нашими писателями иностранцыхъ или, лучше, французскихъ словъ п оборотовъ рачи, противъ предпочтенія всего чужого своему, противъ подражанія французскимъ модамъ и обычаямъ и противъ всеобщаго унотребленія въ общественныхъ разговорахъ французскаго языка". Опредъление это интересно тъмъ, что опо характеризуетъ не самое направленіе Шишкова, а то, что усвоиль изъ него С. Т. Аксаковъ. Оно невърно не тъмъ, что въ немъ сказано, а тъмъ, что въ немъ умолчано. Умолчана именно политическая и общественная подкладка пропаганды Иншкова, безъ которой вся пропаганда и для него самого, н для его противниковъ теряла большую часть своего смысла. Подражаніе французамь въ литературѣ и жизни непавистно Шишкову, какъ источникъ "вольнодумнаго и якобинскаго яда", который онъ, по собственнымъ словамъ, уже съ 1804 г. преследоваль въ русскомъ обществф. Другими словами, литературная полемика противъ карамзинскаго слога была лишь орудіемъ борьбы противъ "либералистовъ" того времени. Это очень хорошо поинмала и противная сторона; хорошо ноинмаль и Карамзинь, молчаливо перешедшій на сторону своихъ литературныхъ противниковъ и политическихъ единомышленциковъ. Но Аксаковъ въ ту пору не узнавалъ, повидимому, въ Карамзинъ сторонника того же "русскаго паправленія". Съ нѣсколько комичною гордостью онъ говорить въ одномъ мѣстѣ, что бывалъ у Карамзина не какъ у литератора, а какъ у сосѣда по имѣнію. Этимъ, конечно, опредѣляется и отношеніе Аксакова ко всему, что было лѣвѣе Карамзина.

Итакъ, "славянофильство" Иншкова новліяло на Аксакова лишь постольку, поскольку согласовалось съ благодушнымъ характеромъ послѣдияго и съ его политическимъ безразличіемъ. "Чуждый гражданскихъ интересовъ", онъ не дѣлался воинствующимъ патріотомъ даже въ рукахъ такого фанатика, какимъ былъ Шишковъ, даже въ такое время, какъ войны 1805—1812 гг.

Въ 1850-хъ годахъ Аксаковъ находилъ противъ славянофильства Шишкова и ифкоторыя возраженія, которыя не менфе характерны, чъмъ понимание имъ этого славянофильства. Дъло въ томъ, что "Шишковъ и его последователи возставали противъ нововведеній теогдашчяго времени, а все введенное прежде, отъ реформы Петра I до появленія Карамзина, признавали русскимъ и себя самихъ считали русскими"; такимъ образомъ, это славянофильство отрицало только культуру XIX в., тогда какъ следовало, съ поздненшей точки зренія Аксакова, отрицать и культуру XVIII в., т. е. петербургскій періодъ. Эти замфчанія дають намъ почувствовать, въ какомъ направленін ризвилось "русское направленіе" Аксакова въ посл'єдующее время. Оно осложиндось культомъ Москвы, усвоеннымъ уже во время московской жизии, подъ вліяніемъ, главнымъ образомъ, С. Н. Глинки и Загоскина. Такимъ образомъ, не усвоивъ полищейской тенденціи "славянофильства" Иншкова, Аксаковъ придалъ ему отъ себя тенденцію археологическую.

Въ 1811 г. Аксаковъ уфхалъ изъ Петербурга въ деревию. Лѣтомъ 1812 г. онъ былъ въ Москвъ и завелъ первыя знакомства съ московскими литераторами, и между ними съ другимъ знаменитымъ дѣятелемъ патріотической литературы 1805—1812 гг., С. Н. Глинкой. Съ своимъ благодушіемъ, съ своимъ легкимъ навосомъ этотъ большой ребенокъ, Глинка, гораздо ближе подходилъ къ темпераменту Аксакова, чѣмъ узкій и сухой доктринеръ Шишковъ. И его патріотическая теорія, не остановившаяся на критикѣ иноземныхъ нововведеній и впервые, кажется, заговорившая о допетровской Руси, какъ нѣкоторомъ положительномъ національномъ идеалѣ, была какъ разъ тѣмъ шагомъ из поздиѣйшему славянофильству, который мы только что отмѣтили у Аксакова.

Но увлечение Глинки обязывало къ соотвътствующей патріотической двятельности или, лучше сказать, переходило въ эту двятельность само собою. Зная уже Аксакова, мы легко догадаемся, что здѣсь и быль предбль вліянія, которое могло оказать на него знакомство съ Глинкой. Въ то время, какъ Москва была полна толками о наступленіи Наполеона и Глинка съ жаромъ предсказывалъ, что Москва будетъ взята, Аксаковъ "всего менте думалъ о Наполеонт; мы (съ Шушеринымъ) думали о будущемъ его бенефисъ и о томъ, какъ бы миъ въ то время прівхать въ Москву". Прівхать опять въ Москву Сергвю Тимовеевичу удалось, однако, лишь много времени спусти после московскаго пожара, въ 1815 г. Патріотическое настроеніе публики послѣ 1812 г., конечно, еще болье усилилось. "Нетериимость общественнаго мнъпія,—пишетъ г-жа Свѣчина въ 1813 г., -теперь сильнѣе, чѣмъ когда бы то ни было: горе тому, кто молчить, горе тому, кто говорить, горе тому, кто не бранится, горе тому, кто не славословитъ". Годы освободительной войны, реставраціи и конгрессовъ не ослабили этого настроенія, но они дали ему ифсколько другое направленіе, расширивъ политическій горизонть русской интеллигенціи и довершивь политическое восинтание тогданияго молодого поколения. Въ воспоминанияхъ Аксакова эти годы являются почти полнымъ пробъломъ; и это молчаніе въ данномъ случат такъ же краснортчиво, какъ подробное повтствование о предыдущемъ и последующемъ времени. Аксакову, очевидно, нечемъ было помянуть эти годы. Были, конечно, для этого и личныя причины. Въ 1814 г. Аксаковъ женился и рѣшилъ десять лѣтъ употребить на устройство своего матеріальнаго положенія. Первую половину этого промежутка времени онъ прожилъ въ домѣ родителей, представлявшем теперь совсемь другую картину, чемь во время детства Сергъя Тимоееевича. "Нъкогда блистательная, страстиая Марья Николаевна (мать С. Т.) превратилась въ старую, болъзненную, мнительную и ревинвую женщину, до конца жизни мучимую сознаніемъ ничтожества своего супруга и, въ то же время, ревновавшую, ибо она чувствовала, что онъ только ея бонтся, но что она утратила его сердце. Страстно любимый Сережа быль разлюблень ею, какъ скоро онъ женился. Оба старика чувствовали, что Сереженька вышель ихъ ихъ среды". Изъ этой характеристики, сдъланной И. С. Аксаковымъ, видны и причины того, почему второе пятильтіе Аксаковъ жилъ уже отдыльно въ выдъленномъ ему сель Надежинь ("Парашинь" Селейной хроники). Въ это интильтие онъ занять быль, кромф хозяйства, охоты и карть также и начальнымъ воспитаніемъ сына Константина, котораго держаль на литературь собственнаго дътства: Херасковь, Княжнинь, Ломоносовь, И. И. Дмитріевь.

Въ Москвъ Аксаковъ былъ въ началъ, въ средниъ и окончательно поседился въ концѣ этого десятилътія. Въ 1815 -1816 гг. онъ только продолжаетъ завизавшіяся рапфе отношенія; спфшить возобновить литературные и театральные разговоры, прерванные нашествіемъ Наполеона, и водить знакомство съ "великими" Инколевыми, "великими" Плыными и прочею литературною мелюзгою. Въ этомъ обществъ, смъшныя стороны котораго онъ очень хорошо видълъ и запомнилъ, Аксаковъ, копечно, не могъ подвинуться въ своемъ развитін, но въ одномъ отношенін оно имъло для него важное значеніе. Въ Петербургъ передъ Шишковымъ и въ 1814 г. передъ Державинымъ онъ только благоговълъ и проходилъ свое послушничество. Въ Москвъ, поощряемый пріятелями, онъ самъ сталъ литераторомъ: именно, за недостаткомъ собственнаго творчества, онъ сталъ переводить для сцены. Черезъ пять літь, зимой 1820—1821 г. Аксаковъ является въ Москву съ тъми же интересами; всю зиму онъ проводить въ разыгрываніи любительскихь снектаклей. "Сколько дътскаго и, пожалуй, смъщного было въ этомъ увлеченін, — пишеть онъ въ 1858 г., — какъ оно живо выражаеть отсутствіе серьезныхъ интересовъ!.. Въ тридцать шесть лътъ постаръли не мы один, не наши только личности,-постаръло, или правильние сказать, возмужало общество, и подобное увлечение теперь невозможно между самыми молодыми людьми". Эти строки очень любонытны для характеристики конца пятидесятыхъ годовъ; но дваддатые годы характеризовать тогдашнимъ настроеніемъ Аксакова или даже московскихъ кружковъ, въ которыхъ опъ вращался, было бы не совствит правильно. Увлечение благороднымъ театромъ, конечно, свидътельствуетъ объ отсутствін болфе серьезныхъ интересовъ: но только у Аксакова и его друзей, а не у двадцатыхъ годовъ вообще эти интересы отсутствовали. Своей характеристикой Аксаковъ показаль только то, что уже тогда, въ 20-хъ годахъ, онъ отсталъ отъ времени.

Прошло еще пять лѣтъ. "Все было тихо и спокойно въ нашей пустынной глуши. Ничто не предвъщало грядущихъ событій",—пишетъ С. Т. Аксаковъ. Въ декабрѣ 1825 г. рядъ чрезвычайныхъ происшествій встряхнулъ провинцію. Одно за другимъ получены были извѣстія о кончинѣ императора Александра І. о присягѣ Константину, о 14 декабря, о присягѣ императору Николаю. Уѣздная интеллигенція присягнула вторично безъ всякаго "смущенія", потолковали раскольники на заводахъ, какъ "сказывалъ" Сергѣю Тимовеевичу мѣстный исправникъ, и тѣмъ все кончилось. Осенью слѣдующаго года, побуждаемый

хозяйственными неудачами, необходимостью учить датей и "искать должности", Сергий Тимовеевичь перетхаль въ Москву навсегда. За пять льтъ и здысь тоже произошли присторыя событія, не столь, конечно, шумныя, какъ въ Петербургъ, и еще менье извъстныя Сергъю Тимовеевичу. Подростало повое упиверситетское поколѣніе, воспитывавшееся на новыхъ книжкахъ и на новыхъ теоріяхъ совсѣмъ свъкаго иностраннаго привоза. Явилось ифслолько новыхъ профессоровъ, популяризировавшихъ новые взгляды, и ибсколько старыхъ знаменитостей канедры стали казаться студентамъ устарфлыми. Появился, наконецъ, новый журналь, задорная критика и живое содержание котораго находилось въ разкой противоноложности съ академическою скукой $B \varpi em$ ника Европы Каченовскаго. Но С. Т. Аксаковъ съ этою повою интеллигентною Москвой могъ познакомиться только изъ своего стараго театральнаго кружка. На другой день по прівздв опъ очутился съ Кокошкинымъ и Загоскинымъ на репетицін, а, вернувшись домой, засталъ у себя своего друга водевилиста Писарева, который съ раздражительностью больного излиль передъ нимъ свои жалобы на обиды и жестокую критику неизвъстнаго Аксакову издателя Московского Телеграфа. Такъ старыя отношенія сами собой опредбляли и новыя; другъ Писарева сдълался литературнымъ врагомъ Полевого, въ дерзость, наглость и безиравственность котораго безусловно увтроваль: и, наобороть. другъ Кокошкина и Загоскина далъ себя убъдить въ честности и добродушін ки. Шаховского, котораго всегда считаль дурнымь человькомъ. Кромъ театра, карточная игра и "русское направленіе" сплочивали маленькую компанію: кружокъ довлѣлъ самъ себѣ и, конечно, его интересы не представляли благопріятной почвы для сближенія съ молодою московскою интеллитенціею.

Мы видѣли, что, переѣзжая въ Москву, Аксаковъ имѣлъ въ виду "искать должности" и службой поправить денежныя дѣла. Въ Москвѣ онъ встрѣтилъ Шишкова, тогда уже министра народнаго просвѣщенія, пріѣзжавшаго на коронацію. "Разсказывая откровенно Шишкову мон обстоятельства, я говорилъ ему, что миѣ пужно мѣсто въ Москвѣ съ порядочнымъ жалованьемъ. Я говорилъ, въ то же время, о повомъ особомъ цензурномъ комитстѣ въ Москвѣ, о хорошемъ цензурномъ жалованьѣ и спрашивалъ, кого онъ имѣстъ въ виду для занятія этихъ мѣстъ? Недогадливость Шишкова осталась прежияя. Опъ отвѣчалъ миѣ, что охотниковъ и просьбъ отъ нихъ много, но самъ онъ еще не выбралъ никого; такъ мы и разстались. Дѣлать было нечего. Дня черезъ два я опять пріѣхалъ къ нему и спросилъ его прямо: не могу ли я занять мѣсто цензора?" Тогда Шишковъ согласился."

Эпическое спокойствіе и напвность, съ которою разсказанъ этотъ маленькій образчикъ житейской опытности С. Т. Аксакова, обезоруживаеть читателя. Воздержимся отъ сужденій по существу: другое время, другіе нравы. Но одного вывода изъ цитированнаго отрывка нельзя не сделать: Аксаковъ смотрелъ на свои цензорскія обязанности, какъ на службу. А служиль онъ, по его словамъ, даже черезчуръ усердно. "Пріятели посмънвались надо мной, и я теперь охотно сознаюсь, что въ самомъ дѣлѣ было нѣчто комическое въ моемъ излишнемъ увлеченін, усердін и уваженін къ моей должности; но таково было ужъ мое свойство". "Начто комическое", дайствительно, было въ цензорствъ Аксакова, и, кто знаетъ, можетъ быть, это комическое и было причиной, почему недогадливый старикъ Шишковъ пикакъ не могъ соединить представленія о цензорѣ съ представленіемъ о своемъ миломъ декламаторъ и театралъ. Во всякомъ случаъ, оно было не тамъ, гдъ указываетъ Аксаковъ. Ксенофонтъ Полевой, братъ журналиста, находилъ также, что, кромъ комическаго, было нъчто и трагическое; но Ксенофонтъ Полевой не совсфмъ надежный свидфтель, и мы должны воздержаться оть общаго сужденія о цензорства Аксакова, пока не узнаемъ о немъ больше, чъмъ знаемъ теперь.

Цензорство сдѣлало то, чего не могъ сдѣлать кружокъ: оно свело Аксакова со многими представителями молодой московской интеллитенціи. Но выборъ между ними быль уже сдѣланъ. Аксаковъ объявилъ Полевому, что "можетъ имѣть съ иимъ сношенія, только какъ цензоръ", и "очень скоро сблизился" съ самымъ старообразнымъ изъ молодыхъ дѣятелей, Погодинымъ, и его сотрудникомъ по Московскому Въстнику, Шевыревымъ; съ этого же времени онъ начинаетъ участвовать и самъ въ журналѣ Погодина. Послѣ изслѣдованія Барсукова мы теперь знаемъ, почему кончилось неудачей это журнальное предпріятіе, задуманное университетскою молодежью и получившее вначалѣ протекцію самого Пушкина. Погодинъ со всѣми разошелся или, точиѣе, всѣ разошлись съ Погодинымъ изъ за песимпатичныхъ правственныхъ и умственныхъ качествъ его.

Такимъ образомъ, молодая Москва очень медленно и слабо оказывала свое дъйствіе на С. Т. Аксакова. Это и немудрено, такъ какъ въ 1832 году Аксакову исполнилось уже сорокъ лътъ. Но здѣсь мы подходимъ къ послѣднему и наиболѣе интересному вопросу біографіи Аксакова. Въ томъ же 1832 г. случились два событія, которымъ біографы принисываютъ рѣшительное вліяніе на личность Аксакова. Вопервыхъ, сынъ его Константинъ поступилъ въ университетъ (15 лѣтъ) и столкнулся тамъ съ молодежью, по отношенію къ которой уноми-

навшаяся до сихъ поръ "молодая интеллигенція" была уже старшимъ поколѣніемъ, поколѣніемъ учителей. Во-вторыхъ, Погодинъ привелъ къ Аксакову Гоголя, извѣстнаго уже семьѣ Аксаковыхъ автора Вечеровъ на хуторъ.

Чтобъ оцѣнить значеніе обоихъ фактовъ въ біографіи Сергъя Тимовеевича, мы должны войти въ некоторыя подробности. Константинъ Аксаковъ, действительно, въ университете скоро сошелся и подружился со студенческимъ кружкомъ Станкевича. Но въ этотъ кружокъ онъ принесъ свою кръпкую семейную традицію, скоро поставившую его въ противорѣчіе съ воззрѣніями кружка, какъ ни скромиы были вначаль самыя эти воззрыия. "Я быль поражень направлениемь кружка и мит оно часто было больно, -- говорить онъ самъ впоследствін, -- но, видя постоянный умственный питересь въ этомъ обществъ, слыша постоянныя рфчи о нравственныхъ вопросахъ я, разъ познакомившись. не могь оторваться отъ этого кружка и рашительно каждый вечерт проводиль тамъ". Какъ видно изъ воспоминаній Панаева, семья косо смотръда на новыя знакомства сына, и чемъ дальше, темъ больше. Бълинскій, "некогда довольно короткій въ доме Аксаковыхъ", въ конца 30-хъ годовъ "заходилъ только къ Константину Аксакову въ мезонинъ", замътивъ, что мать Константина его "не жалуетъ". Сергъй Тимовеевичъ, въроятно, еще молчалъ, но друзья не скрывали своего неудовольствія и говорили вслухъ то, что отецъ думалъ про себя. "Тебя. Константинъ, я люблю-говаривалъ Загоскинъ-за то, что ты привязанъ къ матушкъ святой Руси. Эта привязанность вкоренилась въ тебя потому, что ты воспитывался въ честномъ, хорошемъ, русскомъ дворянскомъ семействь, -- ну, а ужь твои пріятели... этихь бы господъ я"...--и Загоскинъ энергически сжималъ кулаки. Противопоставляя Константину его пріятелей, Загоскинъ былъ не совстмъ правъ въ одномъ отношенін. II изъ нихъ многіе "воспитывались въ хорошихъ русскихъ дворянскихъ семействахъ" и исходили отъ простой вфры въ семейныя традицін; очутившись передъ противорфчіемъ этихъ вфрованій съ новыми философскими ученіями, и они вынесли жестокую внутреннюю борьбу; только результать борьбы быль различень. Один отказались отъ старыхъ вфрованій, другіе, съ болфе крфикою традиціей, отказались отъ философскихъ ученій или попытались примфинть ихъ къ старымъ вфрованіямъ. Въ числф последнихъ былъ и Константинъ Аксаковъ.

Итакъ, не только университетскія знакомства К. Аксакова не внесли свѣжихъ идей въ его семью, но, напротивъ, идеи семьи въ значительной степени парализовали вліяніє университетскихъ пріятелей.

Но, можеть быть, съ другой стероны, со стероны товарищей славянофильству, проникали въ семью повыя вліянія? Какъ пи странно, но приходится и на этотъ вопросъ отвъчать почти отрицательно. основатели теоретического славяновильства, Хомяковъ и И. Кирфевскій, были значительно старше Константина Аксакова; они обдумывали основы будущей системы въ то самое время, когда К. Аксаковъ еще дружилъ со своими будущими противниками; а когда онъ, пройдя вмфстф съ кружкомъ Станкевича два первые фазиса его развитія, прекраснодушіе и правое гегельянство, разошелся съ нимъ, онъ воспринялъ теоретическія основы ученія уже готовыми. Руководимый и здёсь семейными традиціями, извастныма нама культома Москвы и отрицаніемъ нетербургскаго періода, онъ сделался русскимъ историкомъ школы и развилъ славянофильскую схему въ приложеніи къ русской исторіи. Не можеть быть сомивнія, что отець Аксакова увброваль въ систему, придуманную сыномъ; но нельзя сомнъваться и въ томъ, что система эта не изменила ни на іоту его стараго представленія о содержанін "русскаго направленія". Она только дала для него теоретическое обоснованіе, въ которомъ, впрочемъ, по свойству своего характера, онъ врядъ ли и нуждался.

Такимъ образомъ, и въ этомъ отношенін отецъ болфе съузилъ иден сына, чъмъ сынъ расширилъ иден отца. Благодаря отцовскому вліянію, ни у кого изъ серьезныхъ славянофиловъ философія націонализма не стояла въ такой твеной связи съ конкретными формами стариннаго быта, какъ у Константина Аксакова. Благодаря сыновнему вліянію, отець только значительно подияль тонь своего "русскаго направленія", а содержаніе осталось старое. На частномъ примѣрѣ можно наглядно показать характеръ этого взаимодфиствія. Отецъ воспиталь сына въ убъжденін, что "наружность составляеть тонъ жизин"; что "освобождение отъ западной моды, поэтому, было бы если не полнымъ, то весьма значительнымъ освобожденіемъ отъ вліянія западнаго зла". Отецъ твердилъ это давно, еще со временъ Шишкова, но, по замъчанію Ив. Аксакова, у него "не было ин мальшшаго поползновенія къ пронагандъ". Вырось болье импульсивный Константинъ--и вывель изъ этого ученія ближайшій практическій выводъ: одъль отца въ русское платье. Надо прочитать въ семейной перепискъ Аксаковыхъ нисьма, написанныя по поводу правительственнаго циркуляра 1849 г., запретившаго носить бороды. Въ семейномъ переполохъ отецъ горячится совершенно тономъ сына, а сынъ воспроизводитъ разсужденія отца (въ только-что цитированныхъ выраженіяхъ). "И такъ, конецъ кратковременному возстановленію русскаго платья, хотя

не на многихъ плечахъ! Конецъ надеждъ на обращение къ русскому направлению! Все это было предательство. Опасались тронуть, думая. что насъ много, что общество намъ сочувствуетъ, но увфрившись въ противномъ, сейчасъ ръшились задавить наше паправленіе. Мив это ничего, я уже прожиль мой въкъ, но тяжело мив смотръть на Константипа, у котораго отнята всякая общественная дъятельность, даже хоть своимъ наружнымъ видомъ. Мы рфшаемся закупориться въ деревиф навсегда". Это говорить смирный, индифферентный Аксаковъ. Мало того, онъ решается писать къ начальнику полиціи, къ министру, къ первому онъ заявляетъ: государю. Въ оффиціальномъ письмѣ къ "путемъ цѣлой жизни дойдя до убѣжденія, что неслужащему русскому человъку нужно ходить въ русскомъ платьт и съ бородой, - вдругъ торжественно отъ него отказаться, обриться и переодъться-тяжелье, чимь доживать свой выкъ въ деревенскомъ уединенін". Въ инсьми же къ графу Орлову онъ даже пускается въ казунстику, подсказанную Константиномъ, и пробуетъ различить запрещаемую циркуляромъ "бороду западную (при ифмецкомъ платьф)" отъ "русской бороды" при русскомъ костюмф. Такъ сочетается политическая и теоретическая ограниченность отца съ фанатизмомъ сына, давая результатъ еще худшій, чёмъ оба составные элемента этой смёси.

Намъ остается оцфинть вліяніе Гоголя на С.Т. Аксакова. Въ этомъ случав, прежде всего, необходимо отличить литературное вліяніе отъ личнаго. Первое несомибино, поскольку дёло касается художественнаго реализма Гоголя, и весьма въроятно, поскольку дъло касается стиля;хотя и трудно отдълить здъсь, что принадлежить въ измънении стиля Аксакова именно Гоголю. Что касается личныхъ отношеній, въ этомъ случат делорешаетъ напечатанная вполнт въ 1890 году (въ "Русскомъ Архивъ") Исторія моего знакометва съ Гоголемъ. Читая эту любопытную, хотя, къ сожальнію, не законченную Исторію, нельзя не выпести двойственнаго впечатавнія. Съ одной стороны, разсказъ Аксакова проинкнуть глубокимъ уваженіемъ и любовью къ великому другу. Съ другой, набросанная этимъ знатокомъ человъческаго сердца картина будничныхъ отношеній жестоко развѣнчиваетъ писателя. Аксаковъ, конечно, не можетъ не замфтить этой двойственности, по онъ не можеть и выйти изъ нея, такъ какъ она является неизбъжнымъ следствіемъ внутренняго противорачія, проходящаго красною интью черезъ все знакомство. Аксаковъ и его семья внесли въ эти отношенія много экспансивности, много готовности любить и предаваться сердечнымъ излінніямъ. Гоголь приняль это какъ должную дань генію н снисходительно позволяль, а потомъ и требоваль уваженія и услугь

себъ отъ своихъ пріятелей. На своемъ почтительномъ языкъ Аксаковъ называль исторію этого знакомства "долговременною и тяжелою исторіей неполнаго пониманія Гоголя людьми самыми ему близкими". На дълъ, это была долговременная и тяжелая борьба между добрыми чувствами Аксаковыхъ и постоянными оскорбленіями, наносимыми этимъ чувствамъ поведеніемъ Гоголя. Скрфия сердце и отказываясь понимать самые осязательные факты, они упорио поддерживали фикцію искреннихъ и сердечныхъ отношеній до техъ поръ, пока и этой фикціи не разрушний ихъ откровенные отзывы о последнемъ направленіи Гоголя. Сплетии А. О. Смирновой подбавили масла въ огонь, и Гоголь имълъ жестокость написать С. Т. Аксакову, что онъ всегда "удивлялся излишеству" любви къ нему Аксаковыхъ, что онъ "никогда не былъ особенно отпровененъ (съ ними) и почти ни о чемъ томъ, что было близко душт (его), не говорилъ съ (иими), такъ что (они) скорте могли узнать (его) только какъ писателя, а не какъ человъка". Правда, послъ этого эпизода отношенія возобновились, и, пожалуї, стали даже болье простыми, но воть что писаль С. Т. Аксаковъ два дня спустя послѣ смерти Гоголя въ запискѣ, предназначенной для "одинхъ сыновей": "Я не знаю, любилъ ли кто-инбудь Гоголя исключительно какъ человѣка. Я думаю, нѣтъ; да это и невозможно... Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого изтъ пикакого дела; конечно, бывали исключительныя мгновенія, но весьма р'ёдкія и весьма для немногихъ... Вотъ до какой степени Гоголь для меня не человъкъ, что я, который въ молодости ужасно боялся мертвецовъ, я, постоянно боявшійся до сихъ поръ нъсколько ночей посль смерти каждаго знакомаго человъка, не могъ произвести въ себъ этого чувства!"

Итакъ, мы полагаемъ, что и вліяніе молодого покольнія, и вліяніе сношеній съ Гоголемъ было сильно преувеличиваемо. Личность Аксакова виолить сложилась къ сорокальтиему возрасту. Главньйшія измъненія, происшедшія въ пемъ за посльдиія двадцать льтъ, произведены были годами и бользиями. Старость уравновьсила страсти; "сльпота и деревня" удалили дьятельнаго и любившаго жизнь старика отъ житейской сусты; воспоминанія о пережитомъ представляли какъ бы нькоторую замьну привычныхъ ощущеній. Бользиь сдылала то, чего не могли сдылать ни совыты Гоголя, ни рость литературы; старикъ принялся за литературную дыятельность въ единственно для него возможной формъ воспоминаній. Конечно, эти воспоминанія стоили ему меньше труда, чымъ когда-то переводъ Филоктета или сатиръ Буало. Онъ диктоваль ихъ, повинуясь внутренней потребности, желая поддержать въ себь полноту жизни. Литературная слава пришла для него черезчуръ

поздно и столько же удивила, сколько обрадовала. Талантъ, который внервые открыла въ немъ публика, онъ въ себъ "всегда зналъ", по его собственному выражению; но размфровъ своего таланта онъ не думалъ преувеличивать и после неожиданнаго успеха, — и это делаетъ величайшую честь его правственному характеру и его здравому смыслу. Не много найдется писателей, которые до такой степени оставались бы самими собой и въ жизии, и въ литературной деятельности, какъ С. Т. Аксаковъ. Выше мы перечислили тѣ качества, которыя дѣлаютъ его сочиненія драгоцівннымъ памятникомъ прошедшей жизни Къ этимъ качествамъ надо прибавить еще одно, и самое главное: правдивость, которая всегда была кореннымъ догматомъ нравственнаго кодекса Аксакова. Благодаря этому свойству, отъ воспоминаній Аксакова въеть подлинною жизнью, и самъ онъ какъ живой рисуется въ этихъ воспоминаніяхъ. И въ немъ такъ же, какъ въ его герояхъ, есть и темныя и свътлыя стороны, и одив перазрывно связаны съ другими; и онъ — "не великій герой, не громкая личность", но гораздо болье, чъмъ они, онъ "жилъ", жадно винтывалъ въ себя внечатлѣнія жизни и широко подфлился ими съ потомствомъ. Правда, не только во "всемірномъ зрфлищь, но и на болье ограниченной сцень родной исторіи судьба отвела ему сравнительно скромную роль; о достоинствъ этой роли можно быть разнаго митиія; но нельзя забыть о ней, не рискуя потерять нъсколькихъ звеньевъ изъ сложнаго процесса нашего общественнаго развитія.

Любовь у "идеалистовъ тридцатыхъ годовъ".

Есть деятели, для которыхъ подробная біографія, доканывающаяся до самыхъ питимныхъ мыслей, чувствъ и поступковъ героя, можетъ оказаться жесточайшимъ возмездіемъ. Таковы, напр., герои г. Н. Барсукова, сфренькія и черненькія души которыхъ этотъ самоотверженный біографъ обнажаетъ передъ потомствомъ съ рѣдкими въ наши дни чувствами почтенія и преданности. "Идеалистамъ тридцатыхъ годовъ" нечего опасаться наивности или коварства подобныхъ біографовъ. И отъ нихъ осталась не мало того, что называютъ "грязнымъ бъльемъ", не мало и охотниковъ перемывать его. Но въ результатъ этого перемыванія получается совсемь не то внечатленіе, какое производять "житія" г. Барсукова. Наши "идеалисты" недаромъ были идеалистами. Каковы бы они ни были по своимъ природнымъ склонпостямъ и по своему воспитанію, -они знали себя лучше и судили себя строже, чемъ это могло бы сделать самое взыскательное потомство. Со всфии своими недостатками, слабостями и паденіями-они остаются для насъ лучшими людьми своего времени, и мы чтимъ въ нихъ духовныхъ отцовъ и дъдовъ лучшихъ людей нашего времени. Конечно, по мфрф ближайшаго знакомства съ ними наше преклонение перестаетъ быть безусловнымъ; можетъ быть, иной разъ оно даже перестаетъ быть и преклоненіемъ. За героями мы начинаемъ разглядывать людей; иконописныя черты, которыми зацечатлёлись ихъ лики въ нашей фантазін, начинають стушевываться, и передъ нами тъмъ ярче выступають живыя человъческія фигуры. Въ концъ концовъ они становятся ближе къ намъ, эти "идеалисты", — настолько ближе, что у иныхъ критиковъ возникаетъ непреодолимая потребность похлонать ихъ по плечу и пожурить ихъ по-пріятельски.

Зачамъ же, однако, непреманно натыкаться на Сциллу, чтобы избатнуть Харибды? Излишиюю фамильярность можно понять разва какъ

своего рода реваншъ за излишнее поклоненіе. Но оправдать ее нельзя и этимъ соображеніемъ. Въ нашихъ этюдахъ мы постараемся воздержаться и отъ того, и отъ другого. Будемъ лучше помнить, что заблужденія и ошибки того покольнія - это наши собственныя ошибки, ошноки пашего общества; и что если мы не повторяемъ ихъ теперь въ той же формв, то только потому, что за насъ ихъ продвлали "идеалисты тридцатыхъ годовъ". Отвлеченный характеръ идеализма такова главная ошибка, которую ставять обыкновенно на счетъ поколънію тридцатыхъ годовъ. Мы возьмемъ для наблюденій ту область интимной жизни, -- можетъ быть, единственную область, -- въ которой отвлеченный идеализмъ тридцатыхъ годовъ поневолъ соприкасался съжизненными интересами, - область сердечныхъ отношеній "идалистовъ тридцатыхъ годовъ". Насъ будетъ интересовать здѣсь, конечно, не скандалезная хроника амурныхъ приключеній, а то душевное настроеніе, которымъ сопровождались у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ ихъ романы. Мы постараемся проследить, какъ отразилась на серезныхъ связяхъ того поколѣнія его общая, основная ошибка и какъ она разнообразилась у различныхъ представителей поколфиія сообразно ихъ личнымъ особенностямъ.

І.- Н. В. Станкевичъ.

Чрезвычайно благодарный источникъ мы имвемъ для сердечноп исторін родоначальника идеализма тридцатыхъ годовъ. Въ инсьмахъ къ другу, недавно умершему Я. М. Невърову, Станкевичъ сохранилъ намъ непрерывную исповъдь души почти за все время своей сознательной душевной жизиц: отъ студенчества почти до самой кончины (1831—1840 гг.). Правда, въ инсьмахъ этихъ описываются больше душевныя настроенія, чтмъ реальныя причины, ихъ вызвавнія. Однако, съ помощью біографа Станкевича (Анненкова), мы можемъ проследить по нимъ шагъ за шагомъ возинкновеніе, развитіе и исходъ всфхъ трехъ романовъ, изъ которыхъ состоитъ сордечная біографія Станкевича. Въ первый разъ это было очень юная дъвушка, "безъ дальняго образованія, неглупая, простодушная". 18-льтній Станкевичь едва успъль влюбиться въ нее, какъ уже замътиль, что онъ влюблень, собственно, въ созданіе своей фантазін. Въ ея груди, по его словамъ, онъ "нашелъ сердце иное, чуждое тъхъ святыхъ думъ, которыя такъ любишь"; онъ даже готовъ былъ заподозрить въ ея взаимности "простой интересъ, чувство занимательнаго"; "подвергалъ ее тяжелымъ непытаніямъ" и кончиль, послѣ нфсколькихъ тяжелыхъ еценъ, рфши-

тельнымъ разрывомъ. Онъ винилъ себя въ томъ, что не принялъ вовремя мфръ противъ развитія чувства, и рфшилъ виредь быть остороживе. Это, однако, не помъщало ему сейчасъ же втянуться въ новый романъ, съ которымъ раздълаться оказалось не такъ легко. Съ свъжей раной въ сердцъ Станкевичъ не могъ отказать себъ въ удовольствін "наслаждаться братской бесьдой" съ дівушкой, которую на этотъ разъ нельзя было обвинить въ неспособности "глубоко чувствовать". Горячая и порывистая, готовая то принести себя въ жертву. то устроить сцену ревности, новая поклонница Станкевича скоро показала ему, что дело идетъ вовсе не о "братской любви". Станкевичъ снова даваль себф обфты благоразумія, прекращаль бесфды и визиты и снова возобновляль ихъ, но все было напрасно. Дело дошло до того. что его стали обвинять въ неосторожности, въ неблагородствъ, въ простомъ волокитствъ и даже въ желаніи обмануть. Исходъ изъ этого страннаго положенія помогла найти сама увлеченная Станкевичемъ дъвушка. Въ одномъ изъ порывовъ своего великодушія, — за которымъ. конечно, последоваль опять приливь бешенаго чувства, - она возбудила симнатію къ Станкевичу въ одной изъ своихъ подругъ. Этому чувству суждено было оказаться взаимнымъ; разными перипетіями, то вспыхивая, то погасая, оно длилось у Станкевича до самаго отъезда за границу. Принеся много огорченій прежцей поклонниць Станкевича, доведя ее до серьезнаго нервнаго разстройства, этотъ романъ не принесъ счастья и ея сопериццъ. На этотъ разъ Станкевичъ очнулся отъ своего чувства уже слишкомъ поздно, чтобы отступать назадъ: онъ уже объяснился и оставалось сдълать послъдній шагъ. Но этого шага Станкевичь не сдълаль. Онъ не повель, однако, дъла и къ разрыву, такъ какъ это слишкомъ дорого стоило бы отдавшей ему сердце дъвушкъ, къ тому же серьезно заболъвшей. Отъъздъ за границу былъ однимъ изъ удобныхъ предлоговъ отсрочки; а объ остальномъ позаботилась судьба. Незадолго до своей собственной смерти Станкевичъ получилъ извѣстіе о томъ, что его невѣста умерла, и принялъ его, какъ вѣсть объ освобожденін себя отъ тяжелаго правственнаго долга. Біографъ Станкевича намекаетъ, что на исходъ болѣзни могло имъть вліяніе и охлажденіе Станкевича.

Какъ видимъ, романы Станкевича сложились довольно грустио. Изъ трехъ участищъ своихъ романовъ одну онъ призналъ недостойной себя; другая была достойна, по къ ней не лежало его сердце; третья, наконецъ, и была достойна, и усиъла овладъть его сердцемъ, но не усиъла привязать его къ себъ всецъло. Такимъ образомъ, при всемъ разнообразіи виъшнихъ поводовъ, исходъ и, какъ увидимъ, самый ходъ романовъ былъ у Станкевича довольно однообразенъ. Оставимъ же теперь виѣшніе поводы въ сторонѣ и углубимся въ состояніе души Станкевича: можетъ быть, здѣсь мы найдемъ объясненіе этого однообразнаго сердечнаго процесса, такъ быстро приводившаго отъ увлеченія къ разочарованію.

"Любовь" -- это слово, кажется, чаще какого-либо другого упоминается въ письмахъ Станкевича до середины 30-хъ годовъ (т. е. до 22-хъ лътняго возраста). Но далеко не всегда оно имфетъ у него свой обыкновенный смыслъ. Любовь для Станкевича-это прежде всего міровая сила, давшая жизнь міру и всему, что въ немъ живо. Въ человъкъ любовь--это высшій и лучшій способъ чувствовать свое единство съ міромъ; въ то же время это и высшее проявленіе пренмущества человъка, какъ существа сознательнаго, надъ остальными частями мірозданія. Культивируя въ себѣ человъческое, т. е. то, что возвышаетъ человъка надъ вселенной, мы исполняемъ высочайшую задачу, возложенную на пасъ Провиденіемъ. А это человюческое заключается въ любви, дружбъ и искусствъ. Итакъ, любовь, какъ реальное, гръшное чувство, есть только поводъ испытать чисто человфческія ощущенія; и, конечно, эти ощущенія сами по себъ несравненно выше вызывающаго ихъ повода. Въ концѣ концовъ, любовь для Станкевича есть только "пгра души съ самой собой". Имъя въ запасъ этотъ аргументъ, онъ смъло пдетъ навстрфчу всфмъ разочарованіямъ; онъ даже открыто предпочитаетъ разочарованіе очарованію. Чувство должно постоянно возвышать душу; а для этого лучше, если оно будеть всегда оставаться неудовлетвореннымъ. "Наше мечтательное счастье лучше дъйствительнаго уже и потому, что мы, вфроятно, наслажденія въ этомъ такъ называемомъ счастьи не нашли бы". "Какъ прекрасно отказаться отъ счастья толпы, создать себъ свой міръ и стремиться къ нему, хотя не достигая!" Для этихъ целей совершение не годится бурное, сильное чувство; достаточно "прекраснаго призрака въ душѣ". "Пусть искра остается: она освъщаетъ мракъ жизни; но не раздувай ее до пламени: она сожжеть тебя! Лучше потушить вовсе - взойдеть другое, кроткое сіяніе".

Въ этомъ правилѣ, формулированномъ раньше завязки перваго романа, заключается ключъ къ объясненію всѣхъ сердечныхъ псторій Станкевича. Во всѣхъ ихъ онъ искалъ "прекрасныхъ призраковъ", находилъ "земное чувство" и торопился "разбить упонтельный сосудъ, поднесенный любовью", чтобы имѣть право почувствовать себя "выше толпы счастливцевъ". Такимъ образомъ, и испытанныя по дорогѣ "жизненныя непріятности" обращались на пользу душѣ, будучи "разведены

поэзіей сердца". Единственное, съ чъмъ не могъ примириться Станкевичъ, это то, что и его слабое сердце упорно не хотѣло ограничиваться одной "ноэзіей". "Право, въ пашъ глупый въкъ трудио отличить чувство отъ фантазіи,—пишетъ онъ;—по крайней мѣрѣ въ пашъ вѣкъ фантазія такъ скоро обращается въ дѣйствительное чувство, что можетъ сдѣлаться дѣйствительнымъ несчастьемъ... Лелѣй приэракъ два, три года,— и онъ сдѣлается тебѣ жизнью, и тебѣ больно будетъ разстаться съ этимъ спомъ, какъ съ вѣрнымъ другомъ, котораго существованіе необходимо для твоего счастья". Но съ этимъ обиднымъ несовершенствомъ природы Станкевичъ усердно боролся и успѣшно "удушалъ свое чувство", очищая мѣсто въ душѣ для игры "чисто человѣческихъ" ощущеній.

Послѣ этихъ замѣчаній намъ петрудно будеть представить себѣ общую схему всяхъ сердечныхъ исторій Станкевича. Дъло начинается съ неопредъленнаго душевнаго томленія. Это "неопредъленное, полупоэтическое состояніе" часто служить предметомь описаній въ письмахъ Станкевича. "Въ моемъ чувствъ господствовала безнадежность соединиться съ тъмъ, къ чему душа стремилась, а къ чему-ей-сй не знаю",такъ характеризуеть онъ это свое состояніе наканунь перваго романа. Поздиве это настроеніе становится опредвлениве. "Дай Богь, чтобы нашлось существо, которое бы достойно замънило для меня красоту всего созданія, сосредоточило бы на себъ и усилило бы святое, врожденное чувство любви", пишетъ Станкевичъ передъ третьимъ романомъ. "Странно подумать, другъ мой, что оно (чувство любви) истощится въ тщетномъ стремленін къ необъятному, къ безотвѣтному, нли-что тапиственный отвать этого необъятнаго, наконецъ, не будеть слышимъ душъ, требующей близкаго, видимаго, ощутительнаго!.. Не пожмешь руки великану, называемому вселенной; не дашь ей страстнаго поцелуя; не подслушаешь, какъ бьется ел сердце! Выть можетъ, есть путь къ ней, -- но если есть, то онь лежить черезъ бездну уничтоженія, а ей предшествуєть подвигь жизни!" Такимъ образомъ, космическая любовь принимаеть человическія очертанія и переносится въ "diesseits". Но порывы неудовлетвореннаго чувства не останавливаются и на этомъ. Станкевичъ молить у Провидѣнія бури, грозы. хочетъ "любви грозной, палящей". "Пускай бы опустошительный огонь ея прошель по всему инчтожному бытію моему, разрушиль слабыя узы, которыми оно опутано, испепелилъ томительное горе и разсъяль безпокойные призраки, блуждающіе во мракъ душевномъ". Однако, въ этомъ пароксизмѣ сердечной горячки Станкевичъ не забываетъ ввести "въ бесъду съ Богомъ хитрыя ограниченія". Пусть душевная

буря не разрушаеть "красоты внутренней жизни" и не обращаеть въ прахъ "высокаго сознанія души"; или, лучше, "да будеть воля Божья! Можеть быть, я не ностигаю бъдствій такой любви".

Но воть, наконець, вымаливаемое у Провидбнія чувство посъщаеть душу Станкевича. Оно встръчаетъ здёсь различный пріемъ. Въ первый разъ Станкевичъ имфетъ видъ человфка, котораго "не надуешь". "На этой недала ималь удовольствіе видать одну прекрасную даму, иншетъ онъ пріятелю.—Ты поминшь стихи Гёте: Doch welch ein Glück geliebt zu werden, und lieben - Götter, welch ein Glück! Увы, при этомъ случав не могу повторять этихъ стиховъ! Эти глупыя изжности для меня скучны". Скоро, однако, "прекрасная дама", къ удпвленію Станкевича, оказывается дамой его сердца. Въ другой разъ онъ будетъ осторожите, "Что можеть быть отрадите, какъ бестда съ итжиою, кроткою душою, послъ волненія бурнаго, послъ разрыва съ міромъ". Но "міръ" и туть подстерегаеть Станкевича. "Кроткое существо, котораго дружба могла бы быть такъ сладостна", хочетъ не дружбы, а любви, и начинаетъ упорно "преслъдовать" Станкевича земною страстью и ревностью. Въ третій разъ, наконецъ, Станкевичъ сознательно идетъ навстръчу новому чувству.

Каковъ бы ни былъ, однако, приступъ къ сердечной исторіи, самая исторія постоянно развивается у Станкевича одинаковымъ образомъ. Онъ начинаетъ "рефлектировать". И чувство, и предметъ, его вызвавшій, подвергаются самому строгому анализу. На первый разъ, впрочемъ, достаточно было проанализировать предметъ, и изъ недостаточности причины можно было вывести недостаточность слъдствія. "Условій (нужно) слишкомъ много, чтобы искренно интересоваться давушкой, любить ея душу и погружаться въ наслаждение ея образомъ, видъть въ ней истипно-прекрасное произведение и льстить самолюбію своему, что это прекрасное умфетъ меня цфинть и чувствуетъ ко миф влеченіе". "Если пайдется идеаль, и если я не буду имъ отвергнуть, если любовь ея будетъ равна моей, -- то одну только ее осчастливитъ моя любовь, но за-то ее-сдълаеть богиней". И во второй разъ Станкевичь продолжаеть дожидаться своей "богини", но на этоть разь онъ уже не имфетъ основацій объяснять недостаточность чувства недостопиствомъ сюжета; порой онъ даже готовъ считать себя "существомъ, не стоющимъ любви и не могущимъ платить ин за чью женскую любовь". Но такое настроение скоро проходить, и Станкевичь возвращается къ прежнему объяснению. "Я мелкимъ чувствомъ довольствоваться не могу, а для высокаго чувства нужна женщина съ высокими достопиствами". II Станкевичь принимается разсчитывать, сколько должно

быть лать его идеалу, и черезъ сколько лать онь съ нимъ встратится. А до тахъ поръ "жизнь моя станетъ стремленіемъ къ одной цали -быть достойнымъ ея", этого "единственнаго созданія, которое совершенно наполнить душу". Наконецъ, Станкевичъ встръчаеть это созданіе, видить впереди новую жизнь, готовъ проникнуться чувствомъ, и онять разочарованіе,-разочарованіе въ своемъ чувствѣ, а не въ предметь его. "Это была фантазія, а не чувство во всей силь, которое неистребимэ... Я истребилъ въ душѣ моей образъ, который могъ только растерзать ее. Можетъ быть, съ инмъ истребилось во мив и много хорошаго; но если бы я позволиль жить въ себѣ этому чувству, тогда истребилось бы во мит все. Но это была фантазія! Любовь не забывается такъ скоро. Я право вдвое больше думаю о Кантъ, меня вдвое больше мучить выводь категорій, чамь это чувствованьице, которое было и прошло"... На этотъ разъ Станкевичъ ошибался. "Чувствованьице" его спова вспыхнуло, привело его къ объяснению,--и опять потухло, успъвши, однако, вызвать взаимность. Станкевичъ разсуждаль: "любовь --вёдь это родъ религін, которая должна наполнять каждое мгновеніе, каждую точку жизни. Иначе нельзя понимать любовь человъку, уже приведенному къ какой-либо стецени сознанія. Но для того, чтобы испытывать подобную любовь, надо быть болже развитымъ. Любовь должна исходить отъ душевнаго богатства, а не отъ душевной бъдности... Естественно, что такой любви я чувствовать не могу". Такъ старался объяснить себъ Станкевичъ недостаточность своего чувства, которую совстыть уже нельзя было на этотъ разъ объяснить себъ несовершенствомъ предмета любви. "Сколько святости, прекраснаго душевнаго развитія имфеть Л. Б. ¹). Я вправф сирашивать себя: почему ты ея не любишь?.. Но отъ этого не больше любви въ моемъ сердцѣ, и я остаюсь при прежиемъ рѣшеніи, закрывая себѣ глаза предъ следствіями... Бракъ не по любви есть лицемфрство".

много "прозапческаго, существеннаго горя" приносили Станкевичу эти непредвиданныя вмашательства "міра" во впутреннюю "поэзію" его души. Онъ мучился угрызеніями совасти, терзаль себя, упрекаль въ пеосторожности, въ ватренности и т. д. Но, въ конца концовъ, "мірской" элементъ быль выпроваживаемь изъ того "алтаря души", въ который могъ "входить израдка одинъ первосвященникъ". Въ душа Станкевича водворялось снова привычное равновасіе. Сперва это состояніе осложивлось своеобразнымъ чувствомъ душевной свободы, пріятнымъ и грустнымъ въ одно и то же время. Предметъ любви стано-

¹⁾ Одна изъ сестеръ Бакупипа.

вился снова "дороже сердцу", превращаясь въ "прекрасный призракъ", достаточный для того, чтобы сохранить душу отъ нравственнаго усыпленія, но слишкомъ отвлеченный для того, чтобы нарушить душевный покой и номѣшать игрѣ "человъческихъ" ощущеній. Шиллерь зарапѣе санкціонироваль это состояніе души, и ero Resignation постоянно подвертывается подъ неро Станкевича въ такія минуты. "Zwei Blumen — Hoffnung und Genuss... Два цвътка существують для человъка-надежда и наслажденіе; кто сорваль одинь цвітокь, тоть не требуй другого... Безъ перваго, безъ надежды, по крайней мъръ безъ сознанія правоты своей, для меня нътъ счастья: слъдовательно, другого цвътка я не долженъ срывать". "Мив кажется, я собьюсь съ пути моего, если стану наслаждаться молодою жизнью, если яркими цвътами усыплю мою юность". Мало-по-малу, однако, удовлетворенность побъды надъ низшими стремленіями проходить и сміняется томящимь чувствомъ душевной пустоты. Надежда, дъйствительно, остается единственнымъ огонькомъ, мерцающимъ въ этой пустынф; и подъ ея вліяніемъ пустыня скоро начинаетъ населяться новыми созданіями фантазін. Другими словами, почва созръваетъ постепенно для повой сердечной исторін.

Съ годами и съ быстрымъ развитіемъ бользии, сведшей 27-льтияго Станкевича въ могилу, ифсколько монотопная періодичность его душевныхъ настроеній осложняется, однако, новымъ элементомъ, "Затворять для міра душу" легко было юношів, у котораго вся жизнь была впереди; но чемъ дальше, темъ отчетливее становилось у Станкевича горькое сознаніе, что жизпь, дъйствительно, уходить безвозвратно, и что этой дъйствительной жизни не могуть замфиить ея отраженные призраки. Слишкомъ поздно для себя Станкевичъ началъ понимать, что "человвиеское" его романтическаго кодекса и "человвиеское" дъйствительной жизни должны, ножалуй, помъняться мъстами. Онъ соглашается, наконецъ, признать, что, "кажется, нужно что-то от в ліра для полноты счастья". Его вкусь къ "отвлеченной поэзін" устунаеть въ последние два-три года жизни обновленному интересу къ "положительному". Онъ начинаетъ теперь даже осуждать "лишиее занятіе собой", "грфшную любовь къ спокойствію" и все настойчивфе и настойчивке повторяеть въ своихъ письмахъ постоянный принтвъ: "не рефлектируй много"; "если трудно становится рашить что-нибудь, переставай думать и экиви". "Какъ чувствоваль Гёте, что мы линого, слишкомъ много готовимся къ жизни и не усифваемъ жить! Онъ чувствоваль это, а мы--npovie?" И Станкевичь ставить одинь вопросительный знакъ и два восклицательныхъ.



Н. В. Станкевичъ.



Но, увы, этотъ воиль души вырывается слишкомъ ноздно. Новаго насгроенія Станкевича хватаетъ только на то, чтобы безъ всякихъ рефлексій предаться (за границей) послѣднему—на этотъ разъ вполиѣ реалистическому — роману съ хорошенькой и живой нѣмкой, Бертой, "Поэзія души" остается въ этомъ рочанѣ совсѣмъ въ сторонѣ. А затѣмъ приходитъ смерть и какъ будто нарочно пресѣкаетъ эту богатую и тонкую душевную жизнь наканунѣ новаго фазиса въ ел развитін—и въ развитін всего интеллигентнаго русскаго общества.

II.—В. Г. Бълинскій.

I.

Мы видъли, что отвлеченный идеализмъ какъ нельзя болѣе подходиль къ мягкой, бользиенной натурь Станкевича. Это быль, выражаясь словами Герцена, "побъдный вънокъ на предсмертномъ челъ юноши". Самъ Станкевичъ, подводя итоги своей жизни, выражался объ этомъ суровъе. "Я инкогда не любилъ", -писалъ онъ въ письмъ къ Бакуницу (9-го января 1838 г.). "Любовь у меня всегда была прихоть воображенія, потіха праздности, игра самолюбія, опора слабодушія интересъ, который одинъ могъ наполнить душу, чуждую подлыхъ потребностей, но чуждую и всякаго истиннаго, субстанціальнаго (говоря языкомъ философскимъ) содержанія. Дойствительность есть поприще настоящаго, сильнаго человъка - слабая душа живеть въ jenseits, въ стремленін-и стремленін пеопредѣленномъ; ей нужно что-то (потому что въ ней самой нътъ ничего опредълениаго, что бы составляло ея натуру и потребность); (но), какъ скоро это неопредъленное сдълалось etwas, опредъленнымъ, душа опять выбивается за предълы дъйствительности. Это моя исторія; вотъ явная причина всей бъды". Какъ видимъ, Станкевичъ очень отчетливо понималъ причину своихъ неудачь въ любви и формулировалъ ее совершенно такъ, какъ могли бы заключить о ней и мы сами изъ предыдущей характеристики.

Мы теперь переходимъ къ "настоящему, сильному человъку", натуръ котораго вовсе не былъ сроденъ отвлеченный идеализмъ. Намъ представить узнать, какимъ образомъ этотъ представитель романтическаго покольнія ушелъ отъ той "бъды", — приложенія къ жизии романтическаго кодекса, — отъ которой не удалось уйти Станкевичу, и какимъ образомъ изъ міра фантазін онъ выбрался на "поприще дъйствительности".

Что Бълинскій отъ увлеченія метафизикой перешель къ увлеченію "дъйствительностью", сперва "разумпой", а нотомъ и "реальной", это извъстно всъмъ. Очень часто повторяется также и то, что свои теоретическія уб'яжденія Б'ялинскій пережиль сердцемь и что всякая перемвна взглядовъ стоила ему тяжелыхъ душевныхъ страдацій. Въ этомъ видятъ особенность цъльной натуры Бълинскаго и доказательство замфчательной добросовъстности его мысли. Но никто изъ повторяющихъ эти наблюденія біографовъ Бълинскаго не указаль, до какой степени реальны были причины душевныхъ страданій Бѣлинскаго и какъ непосредственно діалектика его мысли вытекала изъ "діалектики жизни". Сердечная исторія Бълинскаго до сихъ поръ остается перазсказанной; а въ ней, какъ мы думаемъ, надо искать ключа къ правильному объяспенію развитія его теоретическихъ взглядовъ. Большая часть матеріала, необходимаго для такого объясненія, была уже въ рукахъ Л. Н. Пыпина. Но время, когда почтенный историкъ писалъ свою біографію Бѣлинскаго, не нозволило ему воспользоваться этой частью собраннаго имъ матеріала. Съ тъхъ норъ, однако, прошло цълыхъ двадцать лътъ. Обнародование матеріаловъ, подобныхъ письмамъ Бълинскаго къ жень, показываеть, что теперь пора уже снять завысу, скрывавшую отъ потомства душевную жизнь одного изъ замфчательнфицихъ нашихъ общественныхъ дъятелей. Попытавшись разработать содержание этихъ писемъ, авторъ настоящей статьи скоро увидълъ, что правильно освътить ихъ можно только съ помощью предыдущей сердечной исторіи Бълнискаго. Важитйшимъ матеріаломъ для этой исторіи служить неизданная переписка Бълинскаго съ семействомъ Бакуниныхъ. Благодаря любезному содъйствію П. А. (ныпъ покойнаго) и Н. С. Бакуниныхъ, авторъ не только имълъ возможность воспользоваться этимъ матеріаломъ, но получилъ также не мало драгоцьиныхъ словесныхъ указаніи и разъясненій по новоду его содержанія. Въ уединенномъ ялтинскомъ домикъ и на него нахиуло атмосферой Прямухина, очаровавней когдато Бълинскаго. Пожелтввшіе почтовые листки развернули передъщимъ неожиданно-яркую картину былого: казалось, жизнь въ этихъ четкихъ строкахъ все еще трепещетъ и старыя сердечныя раны все еще сочатся кровыю...

Π.

Бълинскій началь съ той же ультраромантической теоріи любви, которую мы видъли у Стапкевича. Любовь, по этой теоріи, была средствомъ для сліянія съ духомъ, проникающимъ міръ,—средствомъ воз-

выситься до "абсолютной жизии духа". Самъ по себъ, "въ идеъ", этотъ духъ есть ивчто отвлеченное, неуловимое, философствоваль Белинскій: постигнуть его можно только "въ явленін". "Нуженъ, следовательно, нзвъстный образъ", въ которомъ бы воплотился духъ; а всего полнъе онъ воплощается въ "образъ человъческомъ". "Почему же пуженъ человъкъ другого пола", --это пріятели объясияли себѣ приблизительно такъ же, какъ объясиялъ происхождение любви одинъ изъ собесъдииковъ въ платоновскомъ "Ипръ". Природа создала людей расколотыми на двѣ половины: любовь есть встрѣча такихъ предназначенныхъ судьбой другъ для друга "двойчатокъ", "половинчатыхъ натуръ"; нодобная любовь обязательно должна быть взаимной и вести къ полному сліянію "родныхъ душъ". Встръча съ "родной душой" пріобръла, такимъ образомъ, въ глазахъ друзей мистическій характеръ; такой встрѣчи ждали тъмъ съ большимъ истеривніемъ, что, по теоріи, только съ ся помощью можно было "нерейти въ полную жизнь духа". Житейскій опыть заставилъ впоследствін ввести поправки въ эту теорію или и вовсе отъ нея отказаться. Бълинскій въ концъ 1837 г. призналь, что "у міродержавнаго промысла изтъ лабораторій для подобныхъ двойчатокъ" и что для каждаго существуеть не одна, а множество болбе или менбе родственныхъ душъ; встрфча съ каждой изъ нихъ можетъ возбудить любовь, болбе или менбе счастливую и раздбленную. Станкевичь въ началь слъдующаго года шель еще далье: "Я не держусь за старыя мечты о любви, писаль онъ, -- не вфрю половинчатымъ натурамъ; человъкъ развитой, свободный, способный любить, встръчаетъ случайно женщину и начинаетъ любить ее - точно такъ же опъ могъ встратить и полюбить другую. Если въ ней начинаютъ ему нравиться вск пустяки-это не значить "половинчатая душа" пли что-нибудь родное, а привычка. Высочайшее въ ней для него есть она сама, т. е. ея человъческая душа, душа въ тълъ, въ образъ, вся она-но уже зная ее долго, очень натурально, что отдаешь ей преимущество передъ всфми, что другая съ тъми же достоинствами инкогда не можетъ истребить памяти первой, радко заманить ее".

Отъ подобныхъ "натуральныхъ" объясненій любви пріятели были еще далеки въ тотъ моментъ, съ котораго начинается нашъ разсказъ. Любовь была окружена ореоломъ чего-то тапиственнаго, чего-то скрывающаго въ себѣ глубокую мистическую тайну природы.

Дъйствительность далеко не соотвътствовала требованіямъ теорін. Въ дъйствительности, сердечная исторія друзей представляла въ то время рядъ "паденій" и "возстаній", вспышекъ чувственности и приливовъ раскаянія. Весной 1836 г. Бълинскій былъ въ періодъ одного

изъ такихъ "наденій" и готовъ былъ "впасть или въ бъщеное, изстуиленное отчаяніе, или въ мертвую апатію". Въ это время новый другъ, М. Бакунциъ, "принялъ искреннее участіе" въ его сердечныхъ дълахъ. Онъ "призывалъ Бълинскаго къ возстанію, говоря, что видить въ немъ зародышъ великаго", и "настоятельно звалъ" къ себъ въ тверскую деревию Бакуниныхъ, Прямухино. Тамъ онъ разсчитывалъ "пробудить" Бѣлинскаго "отъ его постыднаго усыпленія и указать ему на новый для него міръ нден". Извастную роль въ этомъ "пробужденін" должно было сыграть и женское общество сестеръ Михаила Александровича. Бълинскій пріфхаль въ концф лфта и провель въ Прямухниф цфлыхъ три мъсяца. Результаты этой поъздки для внутренней жизии Бълинскаго оказались огромные, хотя и не совсёмъ такіе, на которые разсчитываль "Мищель". "Я ощутиль себя въ новой сферф, увидель себя въ новомъ міръ", — такъ характернзоваль свое впечатльніе Бълинскій; "душа моя смягчилась, ея ожесточеніе миновало и она сділалась способною къ воспріятію благихъ впечатлівній, благихъ цетинъ" (см. продолженіе этой цитаты у Пыпина, І, 171). Бълинскій, дъйствительно, "воспресъ" въ Прямухинъ: но "не новыя утъшительныя иден" фихтіанства, которыя проповъдывалъ Мишель, были главной причиной пробужденія Бѣлинскаго, а пепосредственныя и новыя для него ощущенія. вызванныя "гармоніей" прямухинской жизни. Ощущенія были, впрочемъ, далеко не "гармопичны"; ихъ сложность самъ Бълицскій характеризуетъ впосабдствін словами: "Эти три мъсяца 36 года, всв до одного дня и часа... были для меня адомъ, но и теперь отъ одного воспомпнанія о нихъ я чувствую вѣяніе рая".

Дъло въ томъ, что, чѣмъ больше идеализировалъ Вълинскій "гармонію и блаженство" прямухниской жизни, тѣмъ въ болѣе яркомъ свѣтѣ выступало передъ нимъ его собственное "недостоинство". Что такое былъ онъ для нихъ, —безпріютный бѣдиякъ, не прирученный семейной лаской, болѣзненно самолюбивый и болѣзненно робкій, съ сердцемъ, не облагороженнымъ правильнымъ восинтаніемъ, съ умомъ, не культивированнымъ правильной школой? Ему казалось, въ его минтельности, что всѣ, такъ же какъ и онъ, чувствуютъ это разстояніе между нимъ и собою; понятно, каково было его чувство, когда самъ Мишель, педавній другъ, избиралъ его педостатки предметомъ своихъ остротъ и шутокъ. "О, ты воизалъ миѣ ножъ въ сердце и, воизая, поворачивалъ его, какъ бы веселясь моими муками... Я любилъ и пенавидѣлъ тебя... Я долженъ тебѣ напоминть случаи, гдѣ ты рѣзалъ меня... Не буду говорить, какое дѣйствіе это производило на меня. Въ первое мгновеніе это всегда бывало страданіемъ, бѣшенствомъ... а за всѣмъ этимъ слѣдовала апатія,

отупъніе, отвращеніе отъ жизни и самого себя. И каждый разъ, когда ты упижалъ меня передъ всфин нами своими грубыми выходками, я чувствоваль къ тебъ болфе нежели досаду, болфе нежели негодование,что-то похожее на непависть. Я писалъ вторую мою статью, оканчиваль ее, не могь себъ уяснить хорошо идеи любви къ женщинъ, начало которой чувствоваль въ самомъ себф; два дня жилъ я въ себф, сосредоточенный, съ сладкою болью въ груди, съ сладкимъ страданіемъ въ душѣ, я чувствовалъ, мыслилъ, я ощущалъ въ себъ присутствіе внутренней жизни; два дня, Мишель, два дня, съ неохотою, съ досадою отрывался отъ нера даже для того, чтобы идти $my\partial a$ (къ сестрамъ), и что же! Въ эти два дня ты нарочно преследовалъ меня кощунствомъ, смъхомъ, ношлыми шутками". "Самыя лютыя мон минуты были", -нишетъ Бълпнскій въ другомъ письмъ, , когда ты читалъ съ ними понфмецки: тутъ уже не лихорадку, но цфлый адъ ощущалъ я въ себф, особенио когда ты имълъ армейскую неделикатность еще подтрунивать надо мной при всъхъ, не догадываясь о состояніи моей души". Надо прибавить, что и Бълнискій не догадывался о состояніи души своего друга; ему не могло придти въ голову, что Мишель уже ревнуетъ его къ своимъ сестрамъ; онъ и не подозрѣвалъ того остраго и тяжелаго чувства, которое заставляло друга бъжать отъ общества въ ть минуты, когда индивидуальность Бѣлинскаго проявлялась въ выгодномъ свѣтѣ, когда онъ декламировалъ, увлекался импровизаціей или читалъ сестрамъ Бакунина свои статьи о любви. Мишель, въ свою очередь, делаль надъ собой усилія, "хвалиль статьи, улаживаль ихъ чтеніе", — "зная, что мон статьи есть самая лучшая, блестящая и самая сильная моя сторона, что только тутъ-то я могу высказать мой энтузіазмъ, мою прекрасную душу, и что только этимъ я въ состояніи увлечь женщину"...; но въ концъ-концовъ онъ не выдерживалъ, исчезалъ и приходилъ къ концу чтеній "въ тоскъ и апатін", "приписывая эту апатію отсутствію въ себѣ эстетическаго чувства".

Къ страданіямъ оскорбленнаго самолюбія и неудовлетвореннаго чувства присоединился еще "грозный призракъ внѣшней жизии" (т. е. матеріальной нужды), который въ свою очередь "отравлялъ" Бѣлинскому всѣ "лучшія минуты" пребыванія въ Прямухинѣ. Въ этихъ "житейскихъ" тревогахъ Бѣлинскому еще трудиѣе было признаться другу, чѣмъ въ мукахъ своего сердца, такъ какъ но романтическому кодексу подобныхъ вульгарныхъ причинъ для душевныхъ волненій не полагалось. Такимъ образомъ, Бѣлинскій тщательно старался скрывать отъ всѣхъ свое душевное состояніе и тѣмъ еще болѣе усиливалъ въ себѣ сознаніе своего одиночества, своей оторванности отъ окружавшей его жизперадостной молочества, своей оторванности отъ окружавшей его жизперадостной моло-

дежи. Съ обычной своей склонностью къ самообвинению онъ ръшилъ, что хорошо и истинно все то, чёмъ живутъ и во что вірять его молодые хезяева, а дурно и ложно все то, что его отъ нихъ отдѣляетъ. "Прямухинская гармонія и знакомство съ пдеями Фихте", — пишетъ онъ ифсколько позже М. Бакунину, -,,благодаря тебф, въ первый разъ убъдили меня, что идеальная-то жизнь есть именно жизнь дъйствительная, положительная, конкретная, а такъ называемая (на философскомъ жаргонъ друзей) дъйствительная жизнь есть отрицаніе, призракъ, ничтожество, пустота. И я узналь о существованіи этой конкретной жизни для того, чтобы узнать свое безсиліе усвоить ее себь; я узналь рай для того, чтобы удостовърнться, что только приближение къ его воротамъ,--не наслажденіе, но только предощущеніе его гармоніп п его ароматовъ, есть единственно возможная моя жизнь". И даже это приближение къ райскимъ воротамъ приводило Бѣлицскаго въ самое добросовъстное смущеніе, "какъ человъка, который бы вздумалъ надъть на себя царскую порфиру, тогда какъ пастоящее и дъйствительное его одвяніе было - одинъ развъ рогожечный куль". Съ такими чувствами Бѣлинскій вернулся изъ Прямухина въ Москву. Понятно, что подобныя ощущенія не могли дать пищи чувству, "начало котораго" ощутиль въ себъ Бълинскій по отношенію къ одной изъ сестеръ своего друга. "Чувство моего недостопнства было слишкомъ глубоко во мив, и мив казалось, что смвхъ и презрвніе всвхъ и каждаго ожидали меня за мою дерзость". Но... "никакое чувство не естественно безъ надежды"; и надежда, скрываемая даже отъ самого себя, жила въ душт Бълинскаго и постепенно разгоралась, по мъръ того, какъ испытанныя страданія отодвигались въ прошлое, а услужливая фантазія восполияла то, чего не хватало въ дъйствительности. Съ трепетнымъ ожиданіемъ, не лишеннымъ нѣкотораго любонытства, Бѣлинскій прислушивался къ голосу сердца; то ему казалось, что чувство его "возрастеть, освятить и просвътить все бытіе" его, "дасть силу и волю, жизнь и блаженство, вытвенить все призрачное" и введеть въ высшую, дъйствительную жизнь духа; то, напротивъ, онъ убъждался, что чувство его "стоитъ на одномъ мъстъ", что "это призракъ, обманъ": "но именно въ то-то время", —прибавляеть Бѣлинскій, — "я и ощущаль что-то въ себъ, когда увърялся, что во миъ инчего не было". Шутки знакомыхъ барышень, получившихь оть Мишеля самыя точныя свъдънія, --- ихъ "аллегорін и иносказанія" довершили діло. Бізлинскій уединился отъ друзей, ему "было тяжело и безсмысленно все, что было чуждо Прямухина"; словомъ, онъ самымъ настоящимъ образомъ заболълъ тою "отрадною болъзнію, которая лучше всякаго здоровья". "Вопросами,

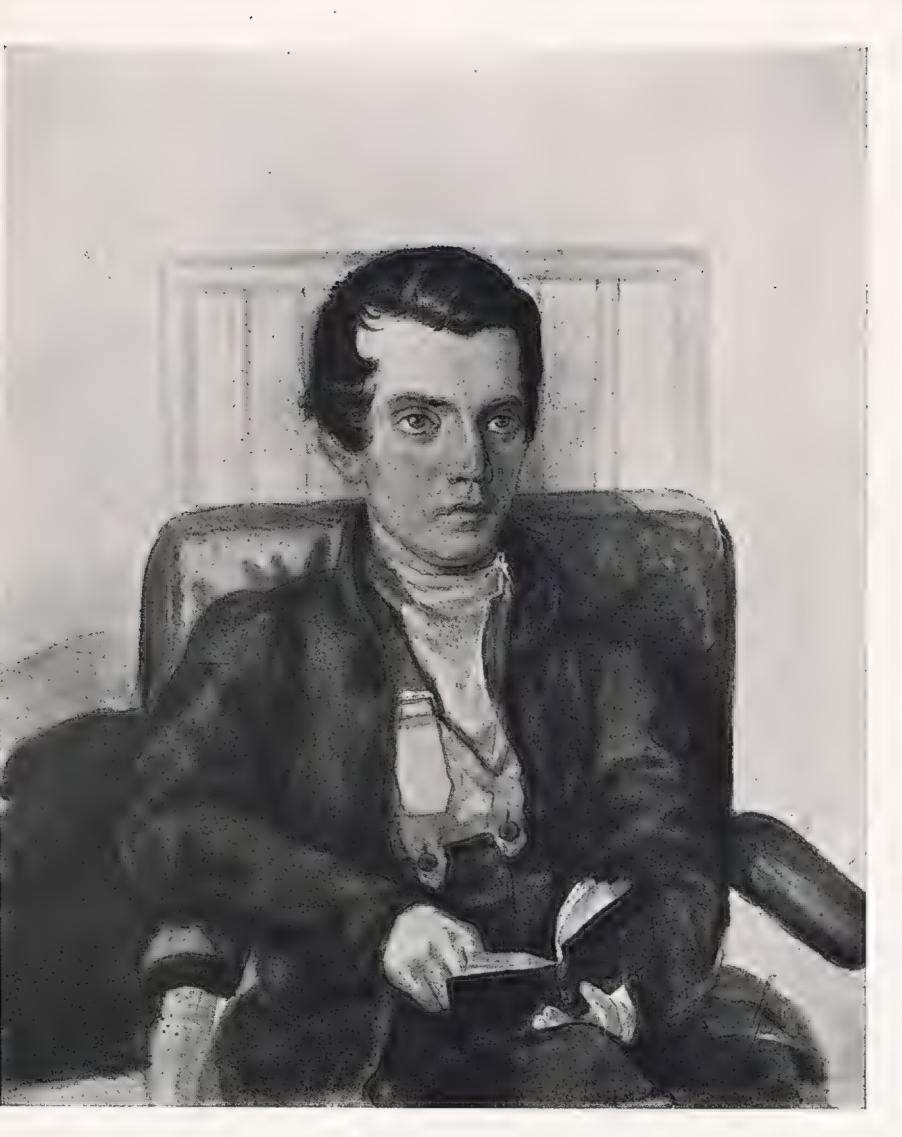
полувопросами и намеками" онъ старался разузнать у Мишеля чтонибудь относящееся къ предмету его чувства. По Мишель, какъ нарочно, продолжаль дразнить и мучить своего пріятеля, хотя "въ иныя минуты" и "лилъ въ больющую душу" Бълинскаго "бальзамъ участія". Выражаясь прозаически, Бълпискій ловиль "кой-какія выраженія" Бакунина, которыя могли подать ему "далекую и темную надежду". Въ такомъ положеній было діло, когда Бакунинъ снова побхаль въ деревию. "Отъ твоего пріфзда я ожидаль чего-то важнаго для себя, такого, въ чемъ не могъ сознаться самому себъ. Ты возвратился, и твоя потздка ничего не рашила для меня; но ты сказаль, что онт любять меня, что я вошель въ ихъ жизнь". Кажется, вскоръ послъ этого случился эпизодъ, который долженъ былъ положить конецъ мечтаніямъ Бълинскаго, "Однажды я остался ночевать у Боткина", —такъ разсказываеть объ этомъ Бълинскій. Боткинь завель съ гостемь разговоръ, неожиданно разоблачившій передъ Бълинскимъ действительное положеніе діла. "Послушай, Білинскій, давно хотіль я тебі сказать: Мишель мит сказываль, что ты любишь его сестру, но что, по несчастію, она тебя не любить: не это ли причина твоего безсилія перейти въ полную жизнь духа?" "Я никогда не питалъ увъренности и въ то же время всегда ожидалъ отрицательной развязки", -- увъряетъ Бълинскій; "но, несмотря на то, слова Боткина бользненно потрясли меня". Къ сердечному огорченію присоединились опять денежныя затрудненія, займы у пріятелей, которые "жгли руки и душу": кончилось все это новымъ "наденіемъ" Бѣлинскаго. "Ужасное время", вспоминаеть онь объ этомъ. "Дома я жить не могъ, потому что видълъ тамъ нужду. Заниматься не могъ, потому что червь подтачивалъ во мив корень жизии. Съ постепеннымъ ожесточениемъ моей души усиливалась во миж чувственность"... Белинскимъ овладело какое-то спокойствіе отчаянія; къ лучшимъ друзьямъ онъ чувствовалъ полную холодность, равнодушио разстался съ ними и вывелъ изъ этого заключеніе о полномъ своемъ нравственномъ банкротствъ. Въ довершеніе всего онъ заподозрилъ въ себѣ опасную болѣзнь и рѣшился ѣхать льтомъ 1837 г. на Кавказъ, чтобы льчиться минеральными водами.

III.

Новздка на Кавказъ была для Бълинскаго началомъ новаго правственнаго "возстанія", болже прочнаго, чъмъ предыдущія. Уже на полупути, съ первымъ въяніемъ весны, душа его вновь "растворилась для любви". Онъ замъчалъ въ себъ давно небывалую отзывчивость къ

нскусству и жизни. "Душа больла сознаніемъ гадости прошедшей жизни", но это прошедшее какъ-то сразу далеко отодвинулось. Въ своемъ далекф, на досугф, Бфлинскій могъ спокойнфе осмотрфться среди обломковъ, упфлфвинхъ отъ его правственнаго крушенія, и попытаться скленть изъ нихъ повую систему жизни. Надъ вопросомъ о своей "чувственности" онъ всего менфе задумывался: побфда надъ ней представлялась ему деломъ нетруднымъ. Трудие было привести въ порядокъ свои матеріальныя обстоятельства; временами они продолжали доводить Бѣлинскаго до отчаянія. Но и туть онь даваль себѣ обѣты быть аккуратнымъ. Главнымъ вопросомъ оставалась, конечно, "внутренняя жизнь духа". Бѣлинскій ин на минуту не поколебался еще въ увъренности, что "жизнь духа" есть единственное, что "существенно и реально"; все прочее есть "мечта, призракъ". Попрежнему онъ былъ увъренъ и въ томъ, что къ внутренней жизни духа должна вести фидософія и любовь, , что одно и то же, потому что высшая степень любви есть ощущение безконечнаго",—а философія есть сознание безконечнаго. Судьба не дала ему войти посредствомъ любви въ сознаніе безконечнаго, но, по теорін кружка, въ этомъ случав оставался еще исходъ-страданіе. Страданіе есть, правда, только "низшая, неполная ступень къ истинной жизни духа"; но Бълинскій "въритъ", что этимъ иутемъ онъ "выстрадаетъ себъ полную и истиниую жизнь духа". Итакъ, "не счастія, не блаженства, какъ прежде, а страданія" молнтъ онъ теперь себѣ у Провидѣнія на всѣ лады и при всякомъ удобномъ случав. Въ этомъ "высокомъ страдацін" перазділенной любви "духъ долженъ перегоръть какъ въ горинлъ, и приготовиться къ той же цали, но только другимъ путемъ-къ абсолютному блаженству".

Съ возстановленіемъ душевнаго равновъсія верпулась и жажда къ дружескимъ изліяніямъ. Бѣлинскій написалъ Бакуницу письмо, въ которомъ "раскрыль душу", и въ "чаяніи утѣшенія" нетерпѣливо ждалъ отвѣта. Наконецъ, отвѣтъ пришелъ, но онъ "обдалъ холодомъ" Бѣлинскаго. Мишель рѣзко отдѣлялъ себя отъ друзей (Бѣлинскаго и Станкевича), сообщалъ о своемъ окончательномъ и полномъ возрожденіи и въ то же время заявлялъ имъ о своемъ рѣшительномъ намѣреніи разойтись съ пими, какъ съ безнадежно падшими. Себя Бѣлинскій готовъ былъ причислить къ "падшимъ", но Станкевичъ—падшій —это было уже слишкомъ. Все существо Бѣлинскаго возмутилось противъ гордыни Мишеля. "Я вспомиилъ, что за разность убѣжденій ты разрывалъ и не такія связи... Въ первый разъ представилось мнѣ, что идея для тебя дороже человѣка". Оно такъ и слѣдовало по теоріи; но тутъ непосредственное чувство Бѣлинскаго въ первый разъ возстало противъ теорественное чувство въ первый разъ возстало противъ теорественное чувственное чувство въ первый разъ возстало противъ теорественное чувственное чувственное



В. Г. Бълинскій (1837—1838 г.).

тическихъ выкладокъ ихъ кружковой философіи. Непосредственное чувство говорило Бѣлинскому, что "человѣкъ дороже идеи, что основаніемъ дружбы, какъ и всякои любви, должна быть безсознательная симпатія, влеченье—родъ недуга". Бѣлинскому, конечно, еще не приходило въ голову, каковы могутъ быть дальнѣйшія послѣдствія этого инстинктивнаго протеста; но подъ первымъ внечатлѣніемъ письма Мишеля онъ написалъ ему рѣзкую отповѣдь. Тутъ вылилось все, что цѣлый годъ скоилялось въ душѣ Бѣлинскаго, со времени его поѣздки въ Прямухино. Бакунинъ былъ задѣтъ за живое и тронутъ. На признапія онъ отвѣчалъ признапіями, не менѣе интимными и трудными. Это снова помирило съ нимъ Бѣлинскаго. По возвращеніи въ Москву друзья одно время поселились даже на одной квартирѣ. "Никогда наша дружба не была въ лучшемъ состояніи, какъ тогда", писалъ внослѣдствіи Бѣлинскій.

Разумфется, примирение состоялось не только на почвъ чувствъ, а также и на почвъ мысли. Основной предметь спора выяснился уже во время переписки (въ ноябръ 1837 г.), до личнаго свиданія. Бълинскій, какъ мы видели, даваль себе обеты благоразумія и высказываль твердое намфреніе привести въ порядокъ свою "вифшиюю жизнь"; въ этомъ опъ видблъ "единственное для себя условіе и возможность перехода въ абсолютную жизнь". Но Бакунинъ взгляпулъ на дъло иначе. Не быть въ состояніи отрашиться отъ "внашией жизни" звачило, въ глазахъ пріятелей, принадлежать къ толпф, быть "пошлякомъ", человъкомъ, неспособнымъ возвыситься до высшей жизни духа. Вотъ почему объты воздержности и аккуратности, которые даваль себъ Бълинскій на Кавказъ, показались Бакунину не лъкарствомъ отъ "паденія", а, напротивъ, г песомибинымъ доказательствомъ того, что паденіе было полнымъ и окончательнымъ. Воздержность, аккуратность—разва это точка зрфнія ходячей нравственности, или, какъ пріятели говорили сокращенио, "нравственная точка зранія"? Для высшей нравственности, для "жизни въ духф", предписанія обыденной морали не только необязательны: подчиняться имъ прямо безиравственио и равняется убійству въ себъ духа, грфхомъ противъ духа. И Бълинскій горячо протестоваль противь обвинения его въ этомъ грехф; нужно прочесть тирады, которыми онъ разражается по этому поводу противъ филистерства (Пыпинъ, I, 186). Онъ готовъ былъ согласиться, что ошнося, "слишкомъ много ожидая себф отъ перемфиы вифшией жизни", что "только благодать есть основа и условіе истинной жизни" и что "правственная точка зрвнія" должна быть "уничтожена во имя благодати". Но, принявъ эту сектантскую терминологію своего друга,

Бълинскій никакъ не могъ рышить вопроса о своемъ личномъ положеніи. Между "правственной точкой зрвнія" тольы и состояніемъ "благодати", въ которомъ находились избранные, не могло быть пичего средняго. Къ которой же изъ двухъ неравныхъ половинъ человъчества долженъ быль причислить себя Бълпискій? Состояніе "правственности" было "ношло"; это было, —онъ чувствоваль, — не его состояніе. Но, положа руку на сердце, онъ шикакъ не могъ утверждать и того, что находится въ состоянін "благодати", въ которомъ такъ привольно чувствовалъ себя Мишель. Мишель, по его тогдашиему сознанію, былъ безконечно выше его, и самую дружбу къ себъ Вакунина онъ "почиталъ списхожденіемъ" съ его стороны. Итакъ, Бѣлинскій находился въ какомъ-то промежуточномъ состоянін, не предусмотрѣнномъ философіей друга. Естественно, что всв силы своей мысли и чувства онъ употребиль на то, чтобы выяснить самому себф это промежуточное состояніе. Была ли это подготовительная ступень къ высшей жизни"? Было ли это доказательство невозможности ея достигнуть? И какъ возвыситься до полной жизни духа? И виновать ли онъ, если для него она недостижима?

Одно было, прежде всего, ясно для Вѣлинскаго — это то, что его личная жизнь сложилась иначе, чфмъ жизнь друзей, и что отсюда вытекаетъ и разница въ пріемахъ самовоспитанія. "Кто развивался ненормально, тому необходима борьба съ вившностью, потому что привычки целой жизни глубоко въздаются въ наше существо". "У тебя, напр., темпераменть гармоническій, а отчего?" — обращался онъ къ Мишелю, "Оттого, что твой отецъ" и т. д.—следовалъ анализъ условій наслъдственности и восинтанія Бакунина. "А мой отецъ цилъ, велъ жизнь дурную...; и оттого я получиль темпераменть нервическій", и поэтому "миб трудибе, нежели тебф, достижение совершенства". Отсюда Бълинскій дълаль выводь, что "судя о ближнемь, чтобы не отклониться отъ истины, должно брать въ соображение всф обстоятельства, органическія, природныя, воспитанія и вифиней жизни...; нсключительность въ этомъ случав есть деспотизмъ". Но, дальше, -"принявъ въ соображение всъ обстоятельства", – что же следовало заключить? Способенъ или неспособенъ былъ Бѣлинскій къ "высшей жизни духа?" Этотъ самый жгучій вопросъ вызываль, конечно, и самыя мучительныя колебанія. То Бълинскій признаваль себя , столько же способнымь къ жизин абсолютной, сколько наклоннымъ къ чувственности"; то за одной изъ этихъ сторонъ своей натуры признаваль возможность перевёса. "Я не хочу доказывать. говориль онь одинь разь, -- что кто не рождень съ гармоническимъ темпераментомъ, тому нътъ полной жизни; иътъ, я увъренъ и убъ-

жденъ, что духъ всегда долженъ торжествовать надъматеріею, что онъ можеть переманить самый темпераменть, на зло природа". Но другоп разъ, на промежуткѣ нѣсколькихъ педѣль, мы слышимъ отъ Бѣлинскаго діаметрально противоположное признаніе. "Иногда приходить мить мысль, очень подлая, если она есть глухой голосъ моего эгонзма (т. е. способъ самооправданія); мысль, что такъ какъ развитіе человъка (совершается) во времени и въ обстоятельствахъ общественныхъ, то ужъ не должно ли мню быть именно такою дрянью, каковъ я есть, чтобы жить не даромъ для общества, среди котораго я рождень? Въдь все, что ин есть, есть всладствіе законовъ необходимости, и должно быть такъ, какъ есть?" Такимъ образомъ, "глухой голосъ собственнаго эгонзма" подсказываетъ Бѣлинскому первое практическое приложение знаменитаго гегелевскаго положения, что "все дъйствительное разумно". Тотчасъ же являются и признаки душевнаго облегченія, вызываемаго этой "подлой" мыслыю. "Повторять цалую жизнь: "я неучъ, я дуракъ, я жалокъ, я смѣшонъ", — глупо и пошло. Буду хорошъ и дуренъ молча... Въ чорту жалобы, пемощь, отчаяніе; надежда, твердость, сила-вотъ что я долженъ ощущать теперь въ себъ: и въ самомъ дълъ, если я ихъ еще и не ощущаю теперь, то увъренъ, что ощущу". Но насколько еще не прочно у Бѣлинскаго и это новое настроеніе, -- такъ же, какъ и теорія, на которой оно основано, -- видно изъ того, что въ томъ же инсьмъ, въ сосъднихъ строкахъ, мы встръчаемъ онять и старыя мысли. Бѣлинскій онять возвращается къ пдев, что онъ переживаетъ подготовительную ступень къ "абсолютной жизни" и что за неимѣніемъ "любви" онъ долженъ подняться на высшую стуцень съ номощью "страданія". "Борьбы, страданія, слезъ, затаенныхъ мукъ сердца — вотъ чего прошу теперь я у судьбы и воть черезъ что надъюсь я очиститься и перейти въ высшую жизнь духа". Высшая жизнь духа все еще остается для Бълинскаго единственнымъ царствомъ истипной "дъйствительности", тогда какъ "пошлая" жизпь толны попрежнему считается "призрачной". Для промежуточнаго состоянія, открытаго въ себъ Бълнискимъ, онъ начинаеть теперь употреблять слово "прекраснодущіе" — терминъ, заимствованный Станкевичемъ изъ лексикона ифмецкаго романтизма. Вслфдъ за Станкевичемъ и Бълинскій придаеть этому термину смыслъ порицанія прежияго настроенія друзей. "Прекраснодушно" все, что не естественно, не просто, не нормально, не дъйствительно, а только призрачно; словомъ, "я тенерь понимаю",—пишетъ Бълцискій, — "отчего Станкевичь въ письмъ своемъ ко мив сказалъ, что прекраснодущие есть самая подлейшая вещь въ міре. И онъ подводить подъ понятіе

"прекраснодушія" сплошное отрицаніе Бакунинымъ условій вифшией жизни. Мишель порицаль его за иден объ "аккуратности"; Бѣлипскій нападаетъ на его неаккуратность или върнъе дътскую довърчивость и къ обстоятельствамъ и къ людямъ. Бакунинъ презрительно выражался по поводу заботы Бълнискаго о "гривенникахъ"; Бълнискій поднимаеть перчатку, рисуеть ему ту тяжелую обстановку, въ которой вопросъ о "гривенникахъ" принимаетъ острый характеръ, и рѣзко критикуетъ безцеремонное отношеніе Мишеля къ пріятельскому карману. "Ца, Мишель, по своимъ дъйствіямъ, ты истинно "прекрасная душа", а это совебыть не гармонируеть съ твоими идеями; это значить, что ты еще не перепесь въ жизнь своихъ убъжденій". Въ какую жизнь? — долженъ быль спросить Бакунинь: въ пошлую, призрачную жизнь толны? Но до этой жизни ему не было дѣла; а Бѣлинскій этой жизнью не могъ пожертвовать отвлеченной идев. На этомъ пунктв друзья никакъ не могли понять другь друга и расходились, не окончивъ спора. Мищель въ самыя благодушныя свои минуты не могъ въ душт не считать Бтлинскаго неисправимымъ грфшникомъ противъ "духа"; а Бфлинскій, при всемъ своемъ поклоненін авторитету друга, начиналъ догадываться, что "дъйствительность" совсъмъ не тамъ, гдъ ищетъ ся Мишель. Его "духъ утомился отвлеченностью и жаждалъ сближенія съ дійствительностью", ему знакомой и доступной. Такимъ образомъ, всв элементы переворота были уже налицо къ осени 1837 года,-къ тому времени, когда Бълинскій и Бакунинъ, после взаимныхъ объясненій, поселились на одной квартиръ.

За лъто Бакунинъ прочелъ нъсколько сочиненій Гегеля, и его новыя иден оказали Бълпискому совершенно неожиданную помощь. Онъ окончательно утвердили Бълинскаго въ тъхъ мысляхъ, которыя уже приходили ему въ голову, какъ самое естественное разрѣшеніе его теоретическихъ и личныхъ сомивній. Въ гегеліанской "двиствительности" Бѣлинскій нашелъ средство избавиться отъ отвлеченности "фихтіанизма". "Ты первый уничтожиль въ моемъ понятін цѣну опыта и дъйствительности, втащивъ меня въ фихтіанскую отвлеченность", писаль Бълинскій впоследствін Бакунину, — "и ты же первый быль для меня благовъстникомъ этихъ двухъ великихъ словъ". "Фихтіанизмъ" Мишеля послужилъ основой "прекрасподушія" Бѣлинскаго; теперь гегеліанство Бакунипа должно было сдалаться началомь его освобожденія изъ философскаго плѣна. Фихтіанизмъ, съ его автономіей личности, съ его признаніемъ личнаго "я" за единственную дѣйствительность, естественно приводиль къ тому раздълению людей на овецъ и на козлицъ, на возрожденныхъ и падшихъ, просвътленныхъ

жизьню духа и погрязшихъ въ пошлой житейской прозъ,—на которомъ основывалось философское высокомъріе Бакунина. Напротивъ, міровой духъ Гегеля, развивающійся въ "конкретной" дъйствительности, сообщающій ей "необходимость" и "разумность", —одинаково оправдывалъ существованіе высокаго и низкаго, возвышеннаго и пошлаго, совершеннаго и несовершеннаго, какъ различныхъ "моментовъ" проявленія одной и той же абсолютной субстанціи. "Подлая" мысль Бѣлинскаго, что и ему найдется хотя и скромное, по все-таки законное мѣстечко въ этомъ безконечно развивающемся мірѣ конкретныхъ явленій, казалось, получала въ повомъ ученій философское оправданіе. А всѣ разногласія его съ друзьями и съ самимъ собой являлись необходимыми "моментами" въ развитіи духа.

Сказанное достаточно объясняеть ту страстность, съ которой Бфлинскій ухватился за свое толкованіе гегелевской "действительности". Это толкованіе окончательно освобождало его отъ "немощи и отчаянія", окончательно давало ему "твердость и силу". Но понятно такъ же, какъ долженъ былъ отнестись къ подобному толкованию Бакунинъ. Для него это было только новое доказательство безсилія философской мысли Бълинскаго. "Конкретная" (т. е. цълостная) дъйствительность Гегеля для Бакунина, разумфется, не имъла ничего общаго съ "реальной" дъйствительностью обыденной жизии. Искать въ этой реальной дъйствительности какой-то "разумности" значило- признаваться въ своей приверженности къ ней и въ неспособности возвыситься до истинной жизии духа. Съ такимъ человъкомъ Бакунинъ не хотблъ больше жить нодъ одной кровлей. Воспользовавшись переиздомъ Билинскаго въ институть (гдв тоть получиль учительское мфсто), Мишель, "какъ бы украдкою", "не сказавши объ этомъ" Бълинскому ин слова, переселился къ Боткину. "Противъ меня начинается сепаратная коалиція", "обо мит начинаются толки и пересуды, моя особа подвержена анализу", такъ изображаетъ это время Бѣлинскій. Мишель "сталъ наказывать" его "явнымъ презрѣніемъ и присоединиль къ коалиціи Аксакова". Скоро друзья вынесли противъ Бълинскаго обвинительный вердиктъ. Они объявляли ему, что у него ивтъ эстетическаго чувства. Они доказывали Бълпискому, что онъ не имфетъ права "писать и печататься—но недостатку объективного наполненія". Словомъ, они "добирались" до такихъ тайниковъ души Бѣлинскаго, которыхъ даже онъ самъ не касался въ самомъ разгаръ своихъ самообвиненій. Впечатльніе получилось совершенно противоположное тому, на какое можно было разсчитывать. Бълинскій изнемогаль оть недовфрія къ самому себъ, нока дъло не касалось его "задушевныхъ убъжденій", -- тъхъ сторонъ

его натуры, гдъ онъ "ощущалъ въ себъ присутствіе Божіе", и отъ прикосновенія къ которымъ его "маленькое я исчезало, и слова, полныя жара и силы, рфкой лились съ языка" его. Правда, онъ чувствоваль себя безоружнымъ противъ философскихъ аргументовъ Мишеля, но эти "нарадоксы" его не убъждали болъе, а только выводили изъ себя, приводили въ "бъщенство и досаду". Подъ вляніемъ усиленныхъ нападокъ пріятелей Бълинскій окончательно въ себя увфроваль. "Мъсяцемъ раньше", - признавался онъ по поводу всфхъ этихъ обличеній, -"это меня заръзало бы; но во мит уже совершился великій процессъ духа, и я въ нервый разъ созналь свою силу, самобытность и дюйетвительность". "Я быль въ новомъ для меня состоянін,—н торжествоваль свътлый праздникъ воскресенія, въ которомъ не было нц твин горя и грусти, но одна чистая, безграничная и святая радость, словомъ, это было лучшее время моей жизни, цвътъ моего бытія". Благодаря этому настроенію, Бѣлинскій, неожиданно для себя и для друзей, нашель въ себъ силу "опереться на самого себя". На приговоръ друзей онъ анеллировалъ къ Станкевичу; Боткинъ скоро перещелъ на его сторону. За то нерасположеніе Мишеля тімь болье усплилось; и скоро обстоятельства сложились такъ, что нерасположение это едфлалось для Бълинскаго источникомъ новыхъ сильныхъ страданій.

IV.

Въ йонф 1838 г. въ Москву пріфхало семейство Бакуннцыхъ. Чувство Бълинскаго всныхнуло съ новой силой. Первая встръча послъ двухъ лътъ разлуки вызвала, правда, довольно неопредъленныя ощущенія. "Помню: мой приходъ жестоко смутилъ ее, такъ жестоко, что я не могь не замѣтить этого, хотя мое смущеніе было еще больше, такъ что я едва держался на ногахъ и миъ казалось, что полъ подо мною колеблется. Это смущение я приняль въ хорошую сторону; но чувство всегда върно, инкогда но обманываетъ въ дълахъ сердца: во мит было только смутное движение радости, какое-то не вытанцовывающееся ощущеніе, какъ будто мысль недоговоренная, прекрасные стихи безъ конца. На другой день я вспоминаль объ этомъ случав уже безъ всякаго движенія, какъ о встрѣчь съ знакомымъ, не больше, —и выводилъ изъ этого, что моя любовь мелка, пошла и недостойна даже меня самого". Но не прошло изсколькихъ дней, какъ Бълинскій долженъ былъ убъдиться, что это заключеніе невърно. "Пытка пачалась" снова. "Я ръшительно въ ложномъ положени: или въ состоянии равнодушия, очень нохожаго на бездушіе, или въ тоскт безотрадной, въ какомъ-то ила-

ксивомъ созерцаніи моего дряннаго я". "Я не могу любоваться ею объективно, какъ чуднымъ, прекраснымъ созданіемъ Божінмъ: я могу или смотръть на нее безчувственно, анатически, или съ смертельною тоскою. Неужели же видать ее -- есть условіе того небольшого счастья, которое еще дано на мою долю?.." ..Оставалось бы наслаждаться объективнымъ созерцаніемъ и блаженствовать имъ, оставалось бы читать про себя эти стихи: "ужель не можно мий глазами слидовать за ней и въ тишинъ благословлять ее на радость и на счастье и сердцемъ ей желать всф блага жизни сей: веселый миръ души, безпечные досуги, все-даже счастів того, кто избрань ей, кто милой дово дасть название супруги". Но увы! мнъ приходили на память другие стихи, воть эти ,,я не могу скитаться одиновимь, въ страданьяхъ жить наделідою одной, духъ обольщать наградъ візнцомъ далекимъ, —я не могу... увы! я весь земной! Миф грудь пужна, миф надобны объятья, миф надо сердца върнаго отвътъ, чтобъ темпые разсчеты, предпріятья грълъ, освъщаль души невинной свътъ!"—Это думаль я -животное, пошлякъ!" "Нътъ, братъ, "недоступно свята для людскихъ вожделвиій, дорога для земли и ея наслажденій!".. Нфтъ, никакую женщину въ мірф не страшно любить, кром'в ея. Всякая женщина, какъ бы ни была она высока, есть женщина: въ ней и небеса, и земля, и адъ. --а это чистый, свътлый херувимъ Бога живаго, это небо, далекое, глубокое, безиредѣльное небо, безъ малъйшаго облачка, одна лазурь, осіяпная солицемъ!"

Передъ этой любовной тоской бладивло даже впечатлание новаго удара, наиесениаго Бълпискому Мишелемъ. Тотчасъ послъ свиданія съ семействомъ Бакуниныхъ Бълицскій прочель у Боткина письмо Мишеля, въ которомъ тотъ выключалъ его изъчисла своихъ ближайшихъ друзей и, наоборотъ, включалъ одного общаго знакомаго, который даже не чувствоваль къ Бакунину инкакой особой симиатін. Это "такъ живо тронуло и оскорбило" Бълнискаго, что Боткинъ "сталъ утвшать" его "всфин доводами логики". Чувство обиды держалось, однако, недолго. "Проснувшись на другой день, я вдругъ ощутилъ себя въ свободномъ элементв жизни, гдв исчезають всв личности, случайности, гдв все понимаешь, все любишь"... Дёло въ томъ, что эта обида была последней каплей, переполинвшей чашу. Переворотъ, назревавшій въ Бълинскомъ съ осени 1837 г., наконецъ, совершился. Бакунинъ далъ ему новое яркое доказательство того, что можно жить "въ духф" - н совершенно не понимать явленій дійствительности. Философскій авторитетъ пріятеля быстро падаль, и самая личность его входила въ рамки явленій дъйствительности, внутри которон для Бълинскаго все становилось понятно и законно. "Все старое только тенерь предстало

мит объективно", пишеть опъ немедленио Бакунину. "Я быль, я стональ подъ твоимъ авторитетомъ. Онъ былъ тяжелъ для меня, по и необходимъ. Я освободился отъ него только 16-го числа этого мѣсяца (письмо писано 20-го іюня), —т. е. созналъ свое освобожденіе". П онъ спашить развить свою новую философію личныхъ отношеній. "Ограниченность есть условіе всякой силы... Такъ и человъкъ: его достоинства есть условіе его недостатковъ, его недостатки есть условіе его достопиствъ. Меня оскорбляло твое безграничное самолюбіе, а теперы оно для меня залогъ твоего высокаго назначенія... Да, я теперь люблю тебя такимъ, каковъ ты есть, люблю тебя съ твоими недостатками, твоею ограниченностью... Мишель, люби и ты меня такимъ, какъ я есть... уважай мою индивидуальность, мою субъективность, будь снисходителенъ къ самой моей пепросвътленности. Люби меня въ моей сферъ, на моемъ поприщъ, въ моемъ призваніи, каковы бы они ни были... Другъ М., мы оба не знали, что такое уваженіе къ чужой личности... Я простиль тебя за все, потому что поняль необходимость всего, что было". "Тенерь я глубоко понимаю, развиваетъ Бълинскій ту же мысль въ поздибинемъ письмъ, - что всякій правъ и никто не виновать, что нъть ложныхь, ошибочныхь мивній, а есть лишь моменты духа. Кто развивается, тотъ интересенъ каждую минуту, даже во вефхъ своихъ уклоненіяхъ отъ истины. Пошлы только тф, которыхъ мивнія и мысли не есть цвътки, плоды ихъ жизни, а грибы, наростающіе на деревахъ". Но, сифшить прибавить Бълнискій, —, и эти люди миж теперь не пошлы, даже не жалки, въ презрительномъ смыслъ этого слова... Когда въ душћ любовь, то и ихъ любишь объективно, какъ необходимое явленіе жизни". Таково было происхожденіе и первоначальный смысль увлеченія Бълинскаго "разумной дъйствительностью". Онъ самъ хорошо чувствовалъ, что увлекается, и самъ указываль источникь своей односторонности. "Туть вмѣшалась моя личность", пишеть онъ въ томъ же письмѣ; "тутъ говорили раны, глубокія раны моей души".

Едва ли Бакунпиъ удовлетворился всёми этими объясненіями. На теоретическія упражиенія Бёлинскаго онъ смотрёль довольно пренебрежительно, а личныя побужденія, ихъ вызывавшія, продолжали казаться ему довольно низменными. Миръ состоялся, но безъ тѣхъ изліяній, которыми въ былое время друзья уничтожали взаимныя недоразумѣнія. У обоихъ остался смутный осадокъ взаимнаго педовольства другъ другомъ.

При этихъ условіяхъ Бѣлинскій не сразу повѣрилъ искренности полученнаго имъ приглашенія снова навѣстить Прямухино. Однако же

онъ побхалъ. Къ чему повела эта вторая побздка, легко догадаться но только-что изображенному душевному состоянію Бѣлинскаго. За два года въ немъ многое перемѣнилось. Онъ уже не былъ больше той "прекрасной душой", которая въ 1836 г. жадно упивалась прямухинской "гармоніей". Онъ уже зналъ себя, больше вфрилъ своему инстинктивному чувству и гораздо меньше — своимъ философскимъ построеніямъ. Онъ несравненно ясиже видёлъ, что совершалось кругомъ него, и гораздо трудиве поддавался склонности идеализировать окружающее. Сравнивая свои новыя впечатленія въ Прямухине со старыми, опъ не могъ не почувствовать, что точно завъса спала съ его глазъ: онъ находиль теперь бёлымъ многое, что привыкъ считать чернымъ по старой намяти, и наобороть. Прежде они съ Мишелемъ никакъ не могли понять сердечныхъ страданій старшей сестры Бакунина, происходившихъ не отъ философскихъ сомивній, а просто отъ пеудачнаго брака. Теперь Бълинскій только удивлялся дерзости, съ какой онъ позволяль себъ тогда изрекать сужденія и осужденія по этому поводу. Прежде простая, по глубокая привязанность другой сестры къ ('танкевичу казалась для пріятелей педостаточно проникнутой пдеей; теперь Бѣлинскій только такую любовь и готовъ быль считать надежной и очень подозрительно относился къ попыткамъ другихъ сестеръ жить не только чувствомъ, но и мыслью, подъ вліяніемъ Мишеля. Прежде, наконецъ, Бѣлинскій вмѣстѣ съ Мишелемъ будировалъ противъ отца семейства, старика, восинтаннаго на энциклопедистахъ и старавшагося охранить дочерей отъ вреднаго вліянія сына и его неблаговосинтаннаго пріятеля. Теперь онъ рашительно приняль сторону родителей противъ Мишеля и прошикся уваженіемъ къ старику Бакупппу. "Давно уже знаю", — пишетъ онъ Бакунину-отцу, вернувшись изъ Прямухина,— "что я худо зарекомендоваль себя вамъ въ первый прівздъ въ Прямухино... и только недавно узналъ, что многое, очень многое оправдывало ваше обо мив мивніе и ваше ко мив чувство. Прошедшаго не воротишь и я не буду говорить объ немъ. Жизнь есть великая школа, и благо тъмъ, которые умъютъ нонимать ея мудрые, хотя пногда и жестокіе уроки!... Не удивляйтесь же, почтенный старецъ, если и во мив вы нашли значительную перемвну, не видавши меня почти два года... Въ эти два года я узналъ много такого, чего прежде и не подозрѣвалъ. У меня есть убѣжденія, за которыя я готовъ отдать жизнь мою, но... я уже умью уважать чужія убъжденія и любить людей каждаго на его мъстъ и въ его сферъ".

Исходъ сердечной исторіи Бѣлинскаго зависѣлъ теперь отъ того, на чью сторопу склонятся сестры Бакунина. При огромпомъ вліяніи Ми-

шеля, естественно было, что онъ стали смотръть на Бълинскаго его глазами. Скоро Бълинскій получиль несомивниыя доказательства этого. Передадимъ этотъ эпизодъ его собственными словами. "Защемъ разговоръ о порывѣ, который увлекаеть летать по звѣздамъ. Какъ-то, не помню, замфчено было, что смерть удовлетворить вполиф этому порыву. Я замфтиль А. А. (имя сестры, интересовавшей Бфлинскаго), что нельзя опредалить, како мы будемь безсмертны, хотя и можно върнть, что будемъ безсмертны и что будемъ безсмертны въ тълъ, при условін пространства и времени, и что, слідовательно, летаніе по звъздамъ есть мечта, а не мысль. Вдругъ отвъчаютъ на мое замъчаніе, но отв'вчають не мив и никому, а всякому и каждому, кто бы ни почель это отвѣтомъ себѣ. Отвѣтъ или возражение состояло въ томъ, что инчего нельзя и не должно опредфлять, потому что когда что-либо опредълить 1), то станетъ самому гадко и ношло, жакъ говорить Мишель. Этоть отвъть мив, адресованный безлично, быль совстмъ не возражениемъ, потому что я именно это-то и замътилъ;- но что нужды, отвѣтъ или возраженіе было тѣмъ не менѣе сказано такимъ тономъ, въ которомъ выказывались и совершенное уничтожение моей мысли, безъ всякаго уваженія къ ней, и совершенное убъжденіе въ справедливости своей мысли, и, наконецъ, какая-то жалость, какое-то состраданіе къ моей сабиоть и что-то вродь наставленія мив и что-то такое, какъ будто нелъпость моего мивнія оскорбительна для слуха другихъ. Но я никогда не съумфю выразить того, что было лестнаго для меня, моей личности и моего самолюбія въ этомъ тоць, а въ немъ было много, много... и говоря все это, были такъ прекрасны, такъ очаровательны, что тяжелое и пепріятное внечатлівне, смутнвшее н поразившее меня, было тёмъ тяжеле и непріятиве". Словомъ, это быль -- Мишель, говорившій устами сесторь; и этого было достаточно, чтобы сразу вернуть Бѣлинскому всю трезвость сужденія. "Оню" были для него неприкосновенны; "всякое ихъ слово, всякій постунокъ" Бѣлинскій готовъ быль "принимать на въру"; ихъ онъ "не смѣлъ судить"; имъ онъ "смѣлъ только удивляться". Но на Мишеля въ нихъ онъ смъло обрушился всею силою своей безпощадной критики. Въ этомъ заключалось и оправданіе его святотатства: "если я приписалъ имъ начто призрачное, недостойное ихъ, то причину этого нашелъ въ тебъ", заявлялъ опъ позже Мишелю; "а все святое, прекрасное приписать одной ихъ дивной субстанціи и бомесетвенной непосредствен-

^{1) &}quot;Опредъленіе" на философскомъ языкъ друзей противополагалось "субстанцін", какъ единичное явленіе—общей сущности.

ности". Въ первый моментъ Бълинскій не замѣтилъ, что результаты его критики идуть гораздо дальше, чѣмъ готовъ былъ признать самъ онъ въ приведенной фразѣ. Въ самомъ дѣлѣ, это была формулировка его впечатлѣнія въ терминахъ старой теоріи. По новой выходило не такъ: "призрачное" въ ней не противополагалось "субстанціальному" и "недостойное"—"прекрасному и святому". По новой теоріи хорошее неразрывно связано съ дурнымъ въ "конкретной дѣйствительности"; недостатки и достоинства людей составляютъ одно живое цѣлое. И Бѣлинскій скоро долженъ былъ замѣтить, что его новыя чувства лучше формулируются по новой, чѣмъ по старой теоріи. Очарованіе было разрушено; въ "нихъ" онъ видѣлъ теперь людей, а не идеалы. Въ другомъ мѣстѣ писемъ онъ это призналъ невольно. "Цѣнить —значитъ понимать, а понимать—значитъ видѣть не призракъ, отвлеченный отъ живого образа, а самый живой образъ…"

Такимъ образомъ, вторая повздка въ Прямухино освободила Бълинскаго отъ того преклоненія, къ которому его обязывали сердечныя воспоминанія первой повздки; это преклоненіе только и могло держаться на памяти сердца, такъ какъ съ новымъ настроеніемъ Бълинскаго опо совсѣмъ не вязалось. Послѣдняя живая нить, связывавшая Бълинскаго съ его педавнимъ прошлымъ, была теперь порвана и переворотъ въ немъ долженъ былъ окончательно совершиться, когда проплошло въ семьъ Бакуниныхъ событіе, которое нѣсколько задержало открытое признаніе этого переворота.

1.

Въ серединъ августа 1838 г. Бълинскій получилъ извъстіе о смерти одной изъ сестеръ Бакунина, — той самой невъсты Станкевича, о которой мы упоминали въ предыдущемъ очеркъ. Эта смерть "глубоко и религіозно потрясла" Бълинскаго и на время отвлекла его отъ его собственной внутренней исторіи; она вызвала въ то же время наружу весь тотъ запасъ иѣжности и любви, который Бълинскій свято хранилъ въ глубинъ своей души по отношенію къ обитателямъ Ирямухина. Цѣлую недѣлю онъ не могъ ии о чемъ думать, кромѣ смерти Л. А. За невозможностью прямыхъ, личныхъ изліяній "рука тянулась невольно къ неру", и письма Бълинскаго къ Мишелю превращаются въ непрерывный дневникъ, проникнутый такимъ душевнымъ паоосомъ и согрѣтый такимъ горячимъ чувствомъ, передъ которымъ даже инсьмо самого Мишеля по тому же поводу кажется слабымъ и блѣднымъ. Отъ воспоминаній Бълинскій постоянно переходитъ къ разсужденіямъ и отъ

разсужденій къ воспоминаціямь; ему представляются "эти тонкія посинблыя уста", чудится "этотъ грустный голось", наибвавшій нечальныя пбени, возстають въ воображеніи различныя подробности ся похоронь... "Ни за что не хочется приняться—все бы думаль о ней или писаль къ тебъ," — пишеть Бѣлинскій на третій день по полученіи скорбной вѣсти; а на слѣдующій день онять встрѣчаемь: "Душа рвется къ тебѣ, къ вамъ. Вѣдь я твой, вашъ, родной всѣмь вамь? Да, теперь я узналь это очень ясно... Миѣ кажется, что я бы должень быль у васъ быть эти дии". На другой день все то же: "Засыцаю съ мыслію о ней и просыпаюсь съ тѣмъ же. Ипогда и самъ не знаю, о чемъ именно думаю, знаю только, что о чемъ-то важномъ, вникаю—и вижу, что все о томъ же".

Какъ мы только-что сказали, новый подъемъ чувства Бфлинскаго замедлиль его разрывь съ прешлымь; но тоть же подъемь чувства скоро сделаль этоть разрывь неизбежнымь и окончательнымь. Дело въ томъ, что со стороны Мишеля это чувство не только не встратило сочувственнаго отклика, но въ своихъ "сухихъ" отвътахъ онъ все яснъе и ясиће давалъ понять Бѣлинскому, что его участіе въ семейныхъ дѣлахъ Бакунина является неумъстнымъ и непрошеннымъ. Въ одномъ изъ последующихъ писемъ онъ прямо заявлялъ, что "сестры для него слишкомъ святой предметъ, чтобы онъ могъ говорить о нихъ со всякиль». Снова Бѣлинскій быль оскорблень въ лучшихъ своихъ чувствахъ; но теперь онъ былъ уже далекъ отъ того недовфрія къ себф, которое заставляло его смирять свое самолюбіе передъ самыми обидными приговорами пріятеля. Теперь онъ уже не могъ "добродушно повърнть", что онъ "ношлякъ, пичтожный человъкъ" - нотому только, что его "кровь горяча, а сердце требуетъ любви и сочувствія". Внечатлънія друзей (Боткина и Клюшникова) подтвердили его собственное внечатлъніе относительно Бакунина; Станкевичъ изъ-за границы какъ бы санкціонироваль возстаніе противь романтическаго прекрасподушія, противъ философской истериимости и претензій на геніальность. Бълинскій вступиль въ рышительную борьбу съ прежинить своимъ авторитетомъ и "изумилъ" его тономъ своихъ писемъ, языкъ которыхъ долженъ былъ показаться Бакунину "новымъ, неожиданнымъ, смълымъ". "Во миз вдругъ выговорилось то, что только прежде чувствовалось", говорилъ Бълинскій внослъдствін про этотъ моментъ своей жизни. Н какъ бы спѣша высказать бывшему другу все то, что накопилось въ душт, Бълинскій онять принимается инсать ему огромныя инсьма-"длинныя диссертацін", —какъ называеть ихъ Мишель, —полныя тъхъ разсужденій о разумной денствительности, которыя читатель можеть

найти у А. Н. Иынина (І, 227—237). Теперь и его сердечная исторія представилась ему въ совсемъ иномъ светь, чемъ прежде. Въ своемъ чувствъ онъ видълъ теперь вовсе не средство перейти въ высшую жизнь духа, а просто-на-просто "бользнь", отъ которой "хотълъ начать лъчиться". Въ своемъ гоненіц на всякую претензію и ходульность онъ готовъ былъ даже заподозрить самый источникъ своего чувства; онъ находилъ теперь, что это чувство онъ "развивалъ въ себъ насильственно", что оно "не развивалось безсознательно, не закрадывалось въ сердце украдкою, непосредственно, нормально и просто". "За это я и поилатился поделомъ: будь простве и добросовъстиве съ собою и самовольно не давай себъ того, въ чемъ судьба отказываеть". Бълинскій подвергнуль теперь анализу и все то. что мучило его въ отношеніяхъ къ нему сестеръ Бакунина, — и нашелъ, ему казалось, простую разгадку, которую скрывалъ отъ него до сихъ поръ лишь авторитетъ Мишеля, "Отвъчать на вопросы о нижъ и о ней по отношению ко мив ты не могь потому, что нечего было отвъчать; и ты, чтобы не остаться въ неизвъстности насчеть "дъйствительности", сочинилъ или вывель изъ разума своего, увфряя меня, что "я имъ родной по духу, и духъ мой сталъ ближе къ ихъ духу, и онъ замътили и почувствовали это приближение". Можетъ быть, это и такъ, только я инчего этого не зам'ятилъ и не почувствовалъ. Слитіе духомъ, какого бы рода оно ни было, всегда найдеть себъ форму, въ которой и выразится. Для этого довольно слова, взгляда, движенія: но я ничего этого не видълъ, а что видълъ, то и теперь заставляетъ меня глубоко и тяжко страдать... Есть безконечно мучительное и, вмъстъ съ тъмъ, безконечно отрадное блаженство узнать, что насъ не любять, но тамъ не менже цвиятъ, намъ сострадаютъ, признаютъ насъ достойными любви и, можеть быть, въ иныя минуты, живо созерцая глубину и святость нашего чувства, - горько страдають отъ мысли, что не въ ихъ волъ его раздёлить... Такое къ намъ отношение трепетно, свято боготворимаго нами предмета особенно важно для насъ и для того, чтобы, переживя эпоху испытанія, успоконвши и уровнявши порывы мучительной страсти, мы могли бы, какъ магометанинъ къ Меккъ, обращать на этотъ боготворимый предметъ взоры нашего духа съ грустнымъ, но сладостнымъ чувствомъ, и въ святилищѣ своего духа носить его образъ свътлымъ, безъ потемивнія, всегда достойнымъ обожація. во всемъ лучезарномъ поэтическомъ блескф его святого значенія; чтобы, при воспоминаніи о пемъ, въ минуту грустнаго раздумья, у насъ въ душв было свътло, легко, блаженно, а не возставало какое-то жгучее чувство обиды, оскорбленія... И что же?-мое чувство... говорить мив, что не мой удълъ даже и эта печальная радость и это грустное утъшеніе. Какъ нарочно, Боткинъ подкрѣпилъ во миѣ это чувство фактомъ. Ты сказалъ ему, что она писала къ тебъ изъ Москвы, что мой приходъ смутилъ ее и что, зная о моемъ къ ней чувствъ, ей непріятно (или тяжело, можетъ быть) было меня видъть. Понятно! Такъ непріятно видіть человіку собаку, которую онъ изуродоваль пулею, подстрѣливъ ее по ошибкъ вмъсто зайца... Я могу о себъ думать и меньше, чемъ стою, и больше, чемъ стою, но какъ бы то ин было, но у меня душа человическая, и она стоила бы лучшаго отзыва, большаго вниманія..." "Смфшно жаловаться", прибавляеть Бфлинскій, "но я не жалуюсь: я только хочу обогатить тебя фактомъ дѣйствительности; смѣшно просить, чего не хотять дать, но я инчего и не прошу: я только хочу показать тебф, что не все то бываеть, что бы, казалось, должно быть... Всякій чувствуеть, мыслить и поступаеть, какъ знаетъ и какъ хочетъ: смѣшное на сторонѣ того, кто этимъ огорчается и хочеть для себя перевернуть дёйствительность. Но я ничего этого не хочу. Я не плакса — я умѣю страдать и не падать, я много могу вынести... "Да, я счова начинаю вършть, что и моя буря пройдеть мимо, чтобы ярче засіяло солнце моего духа, и ири одной этой мысли его лучи, еще слабые и бледные, пробиваются сквозь мглистыя тучи, заволокшія его". "Не всімъ суждено любить (т. е. влюбиться), быть любимыми и жениться по любви, почувствованной и сознанной прежде, чъмъ вошла въ голову мысль о женитьбъ; но..." "кромъ пошлаго разсчета, есть еще разсчеть человъческій:.. разсудокъ не есть единственный выходъ изъ состоянія чувства, но то и другое можеть действовать въ даду, не мѣшая одно другому". Иначе говоря, Бѣлинскій началь признавать возможность для себя другой любви, болве "простой" н "нормальной". "Тюбовь, основанная на сознательномъ пониманіи любимаго субъекта", кажется теперь ему "порожденіемъ логическихъ хитросилетеній и самолюбивыхъ эгонстическихъ потребностей. Женщина не мужчина, и чтобы понимать и любить ее, надо понимать и любить ее, какъ женщину, просто, а не какъ идеалъ или геропию. Кто видаль въ любимой женщина идеаль, того любовь могла заключать въ себф много глубоко-петинныхъ элементовъ, но въ своей цълости было что-то уродливое, неестественное". И сравнивая простое, пожалуй, даже черезчуръ простое чувство одного изъ своихъ пріятелей съ своимъ, Бълинскій ръшается выговорить: "я еще не увъренъ, на которое (чувство) взаимность или отвътъ женщины возможите, на мое или на его".

Все это значило, что сердечная исторія Бѣлинскаго становилась для него пережитымъ фактомъ его жизни. Но несмотря на всѣ пере-

песенныя страданія, онъ ни за что пе согласился бы вычеркнуть этотъ фактъ изъ своего прошлаго. "Благодарность ей, благодарность имъ,"-инсаль онь, какь бы прощаясь съ прошлымь и подводя итоги своей исторін; "она и онт возбудили вст силы моего духа, открыли самому мит все богатство моей природы, привели въ движение вст тайные родинки заключенной во мит безконечной силы, безконечной любви и заставили ихъ бить и разливаться обильными волнами... Пусть онъ меня забудуть, вычеркнуть мое имя и мой образь изь списка своихъ восноминаній — что нужды? — Оно во мнь, хотя и не со мной. Таинство совершено, великій актъ духа совершился, остальное не такъ важно. Моего у меня никто не отниметь, потому что мое въ духв. Да, въ моемъ духѣ, въ его невѣдомыхъ, сокровенныхъ глубинахъ и она, и оню, и я буду носить ихъ въ душт моей, доколт буду жить, докол'я будеть биться и трепетать и пламенть огнемъ жизии горячее сердце". И этого письма Бѣлинскаго (10 сентября 1838 г.) его другъ не оцфинлъ, какъ должно. Въ отвфтъ, онъ называлъ Бфлинскаго "жалкимъ добрымъ малымъ, котораго ожидаетъ скорая и неизбъжная погибель въ пошлой дёйствительности"; попытки теоретическаго самооправданія его считаль смішными и несносными, обвиняль Білпнскаго въ непрошенномъ вмѣшательствѣ въ семейныя дѣла, упрекалъ его въ томъ, что сестры "перестали быть для пего святынею", и выражалъ отъ ихъ и своего лица чувство оскорбленія по поводу "обвиненій" Бѣлинскаго. Бѣлинскій отвѣчалъ письмомъ отъ 12 октября съ эпиграфомъ: "еще одно последнее сказанье и летопись окончена моя". Дружбу съ Мишелемъ Бѣлинскій объявляль здѣсь цоконченной навсегда, а предолженіе спора считаль безполезнымь: "въ логикѣ я не силенъ, а фактовъ ты не любишь... Погодимъ, носмотримъ — пусть теорію каждаго изъ насъ оправдаеть наша жизнь". На предсказанія Бакунина о его жалкой будущности онъ отвѣчалъ той тирадой, полной чувства собственнаго достоинства, которая приведена отчасти Пыпинымъ на стр. 236-237. Тамъ же чувствомъ проникнутъ и отвътъ его по новоду личныхъ отношеній. "Во миф. Мишель, тоже есть и самолюбіе и гордость. Не только съ оправданіями и разъясненіями, но даже и съ любовью, дружбою и даже простымъ знакомствомъ ни къ кому навязываться не буду. У меня есть даже и сила--это я недавно узналъ: я, хотя съ кровью, но могу оторвать на-чисто отъ сердца все, что составляло его жизнь, оторвать навсегда. Если меня не поняли, не умъли или не хотъли понять моего поступка – пли, наконецъ, не хотъли дать себъ труда отдълить его отъ побужденія, если самъ по себь онъ показался дуренъ, - то жаль, а дълать нечего". "Онъ никогда

не понимали меня, поэтому неудивительно, что не поняли и теперь. Я, можеть быть, и виновать передъ ними, что не поняль моихь отношеній къ нимъ, тѣмъ болѣе, что онѣ никогда не говорили миѣ, чтобы между мною и ими существовало какое-нибудь родство и дружескія отношенія. Онѣ оскорбились—и этимъ открыли миѣ глаза на дѣйствительныя отношенія между мной и ими: быть такъ! но я все-таки передъ ними чистъ и правъ и, кромѣ ошибки въ понятіи отношеній, ни въ чемъ не виновать передъ ними". "Попрежнему, онѣ — лучшее видѣніе моей жизни, лучшее чудо ея, первѣйшій и главиѣйшій интересъ, и я люблю, уважаю ихъ и интересуюсь ими гораздо болѣе, нежели сколько то нужно для моего счастія и спокойствія".

Этимъ объяснеціемъ отношенія между Бѣлинскимъ и семействомъ Бакуниныхъ оборвались на пѣсколько лѣтъ. Когда они возобновились, характеръ этихъ отношеній былъ уже совсѣмъ иной. Намъ необходимо будетъ познакомиться и съ этими поздиѣйшими отношеніями для выясненія послѣдующей сердечной исторіи Бѣлинскаго. Но предварительно мы должны нѣсколько остановиться: уже въ этомъ мѣстѣ нашего разсказа мы можемъ точнѣе формулировать тѣ ноправки въ біографіи Бѣлинскаго, которыя вытекаютъ изъ сопоставленныхъ нами данныхъ.

Обыкновенно изображають увлеченіе Бълинскаго теоріей "разумной дъйствительности", какъ результать вліянія его друзей; иъкоторые критики думали даже объяснить временный онтимизмъ Бълинскаго воздъйствіемъ той соціальной среды,—обезпеченной и самодовольной. въ которой воспитались его друзья. Въ дъйствительности оказывается, что Бълинскій выработалъ свою теорію въ противоположность возэртніямъ друзей, однихъ склопилъ на свою сторону, съ другими поссорился по поводу этой теоріи. А "философскій другъ" (Бакуминъ), внушившій, по общему мижнію, свою теорію Бълинскому,— на дълѣ считалъ ее, въ обработкъ Бълинскаго, искаженіемъ своей подлинной мысли и доказательствомъ низменности натуры Бълинскаго. Наконецъ, разинца соціальнаго положенія Бълинскаго и его друзей была сознана имъ съ самаго начала и послужила первымъ толикомъ къ созданію имъ особой теоріи.

Обыкновенно считають, затвиъ, то же увлеченіе Бѣлинскаго теоріей "разумной дѣйствительности" — высшимъ проявленіемъ отвлеченности идей кружка, апогеемъ господствовавшаго въ кружкѣ преклопенія нередъ нѣмецкой абстрактной философіей. На дѣлѣ "разумная дѣйствительность" Бѣлинскаго сохранила очень мало философскаго и была, наобороть, реакціей его натуры противъ отвлеченности кружковыхъ

теорій, — ближайшимъ средствомъ выхода изъ этой отвлеченности, за которое онъ и ухватился со свойственнымъ ему жаромъ. Важно было изъ "фихтіанской" метафизической дъйствительности выбраться на широкое поле "конкретной" дъйствительности — хотя бы подъ знамецемъ Гегеля. Оріентироваться среди явленій этой конкретной дійствительности и приложить къ нимъ правственный и общественный критерій было уже не такъ трудно, какъ совершить этотъ первый теоретическій скачокъ. "Разумфется, кто къ инстинктуальному проникновенію присоединить сознательное, черезъ мысль, тотъ вдвойна овладаетъ дфиствительностью; но главное-знать ее, какъ бы ни знать, и этого знанія нельзя достигнуть одною мыслью—надо жить, надо двигаться въ живой дъйствительности, быть естественну, просту". Такъ опредълялся для Бълинскаго смыслъ его перехода къ новой точкъ зрънія. "Напрасно ты твердишь, что я отложиль мысль въ сторону, отрекся отъ нея навсегда и пр. и пр... Ты создалъ себѣ призракъ и колотишь себъ по немъ, въ полной увъренности, что бъешь меня. Это наконецъ, смъшно и скучно. Повторяю тебъ: уважаю мысль и цѣню ее, но только мысль конкретную, а не отвлеченную". Этотъ результать навсегда остался прочнымъ пріобрътеніемъ Бълинскаго, тогда какъ фаталистическое толкованіе ученія о необходимости всего существующаго очень скоро было имъ брошено.

Естественнымъ выводомъ изъ двухъ сдѣланныхъ поправокъ является третья. Часто представляютъ, что теоретическій фатализмъ, пережитый Бѣлинскимъ, быль чѣмъ-то въ родѣ цѣлаго фазиса, пережитаго развитіемъ русскаго общества,—необходимымъ послѣдствіемъ гегеліанства и его господства у насъ въ извѣстиые годы. На дѣлѣ, фатализмъ Бѣлинскаго не вытекалъ самъ собой изъ гегеліанства и не былъ изъ него выведенъ даже ближайшими друзьями Бѣлинскаго. Такимъ образомъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло не столько съ неизбѣжной данью, отданной нашимъ обществомъ иѣмецкой метафизикѣ, сколько просто съ чертой изъ біографіи Бѣлинскаго, объясияемой особенностями его личной исторіи.

Наконецъ, истолкованное въ этомъ смыслѣ, увлеченіе разумной дѣйствительностью не можетъ болѣе считаться какой-то несчастной случайностью, временнымъ отклоненіемъ въ развитін Бѣлинскаго. Это—скорѣе необхобимая ступень и несомиѣнный шагъ впередъ по пути къ реализму поздиѣйшихъ годовъ Бѣлинскаго: первый зрѣлый илодъ, органически созданный его жизнью; нервый прочный результатъ тяжелои душевной борьбы за міровоззрѣніе, наиболѣе подходившее къ его исихическому складу. Въ своей теорін Бѣлинскій только подвелъ итоги

своего жизненнаго опыта; уже и потому онъ не могъ отъ нея отказаться, что это значило бы для него отказаться отъ знанія самого себя, своей "силы" и своей "ограниченности".

Но пора вернуться къ эпилогу первой сердечной исторіи Бѣлинскаго, служащему въ то же время вступленіемъ ко второй исторіи, которую намъ еще предстонтъ изложить.

VI.

Прошло три года послъ описаннаго разрыва съ М. Бакупинымъ. Бѣлинскій успѣль пройти всв стуцени увлеченія "разумной дѣйствительностью", сдблалъ изъ этого взгляда самые крайніе выводы и почувствоваль, что зашель въ тупой уголь. Его томило глухое чувство недовольства самимъ собою, и къ этому чувству присоединилось все болье и болье обострявшееся ощущение душевной пустоты. Его слава, какъ критика, достаточно упрочилась въ литературныхъ кругахъ, чтобы создать ему болже обезнеченное матеріальное положеніе. Но и съ этой стороны его все болже начинала тяготить обязательная журнальная работа къ сроку, темъ больше, что съ этимъ связывалось чувство зависимости отъ издателя, — "клевавшаго его сердце, какъ коршунъ Прометея". Первое чувство удовлетворенности литературной славой прошло и сманилось скептически равнодушныма отношеніемъ къ читателю. Въ довершеніе всего, здоровье Бълинскаго, чъмъ дальше, тамъ больше расклеивалось. Въ итога, Бълинскій снова переживаль въ 1841 году то же переходное состояніе, въ какомъ мы его видъли въ 1837--38 гг.

Бъ Прямухина тоже произошло не мало переманъ. Предметь сердечной страсти Бълинскаго сдалался предметомъ такой же и столь же неудачной страсти его друга В. П. Боткина. На этотъ разъ, впрочемъ, причина неудачи заключалась въ самомъ Боткинъ. Это была какая-то страниая исторія. Посла довольно бурнаго объясненія Боткинъ получилъ согласіе — и самымъ комическимъ образомъ растерялся. Такая быстрая развязка, какъ мы уже знаемъ изъ исторіи романовъ Станкевича, была не въ правилахъ романтическаго кодекса. Разница была только въ томъ, что у Боткина не было того тонкаго самоанализа, какой мы видали у Станкевича, что обычную въ кружка Grübelei онъ приманялъ, не только какъ средство добросовастной работы падъ самимъ собой, но и какъ весьма практическій способъ выйти изъ затрудинтельнаго житейскаго положенія. Наконецъ, у него было больше чувственности, хотя въ рашительные моменты онъ удивительно легко подчиняль ея порывы разсудочному разсчету. Все это и отразилось на его исторіи съ А. А. Бакуниной. Получивъ согласіе на бракъ, Боткинъ усердно сталъ предлагать своему предмету братскую любовь и поклоненіе втрующаго. Голось страсти вернулся къ нему не раньше, чтмъ ему удалось уговорить А. А. отложить окончательное решение подъ предлогомъ необходимости — провёрить чувство. И снова, какъ только новый порывъ вызывалъ новый откликъ чувства, Боткинъ пугался и принимался—довольно неискренно—толковать о благоразумін. Дёло кончилось, послѣ долгихъ страданій А. А., вмѣшательствомъ родителей и формальнымъ предложеніемъ, которое было принято, послѣ нѣкоторыхъ колебаній но поводу купеческаго происхожденія жениха. Но этотъ неходъ только окончательно испортилъ взаимныя отношенія Б. и А. А. н едва не привелъ къ довольно трагической развязкѣ съ ея стороны. Послѣ этого Боткинъ формально отказался отъ своихъ претензій, повидимому, не безт участія Мишеля. Въ теченіе всей исторіи Бѣлинскій, кажется, стояль на сторонъ Боткина; надо думать, что онъ только и зналь эту исторію въ томъ видъ, какъ передаваль ее последній. Какъ бы то ни было, эта исторія, по собственнымъ словамъ Бѣлинскаго, "окончательно добила въ немъ всякую вфру въ чувство".

При такихъ обстоятельствахъ завязались у Бфлинскаго новыя сношенія съ обитателями Прямухина. Посредникомъ послужиль на этотъ разъ младшій братъ М. Бакунина, молодой офицеръ, расположившій къ себѣ Бълинскаго своимъ умъньемъ жить, не справляясь ин съ какими отвлеченными теоріями. Въ немъ Бълинскій видълъ какъ бы второе исправленное изданіе своей собственной юности; онъ переживалъ съ нимъ душой тв радости жизни, которыхъ лишила его въ свое время "проклятая рефлексія". Въ шутливо-покровительственномъ тонъ, который установился въ сношеніяхъ Бълинскаго съ Н. А. Бакунинымъ, было много ифжности отца или старшаго брата; но было и ифчто другое. Въ беседе съ юнымъ другомъ Белинскій безсознательно искалъ средства расшевелить ослабъвшія струны своего собственцаго сердца, п быстрое сближение съ Н. А. было первымъ предвъстиемъ того, что въ опустошенномъ сердцѣ Бѣлинскаго скоро вновь зазеленѣютъ свѣжіе молодые побѣги. Окончательный разсчеть съ прошлымъ долженъ былъ послужить предисловіемъ къ этому повому сердечному расцвѣту. Разсчеть этоть быль окончень только съ одной стороны, --со стороны самого Бълинскаго. Но что, если въ Прямухинъ его встрътять не какъ "наглеца, самовольно ворвавшагося" въ семейныя тайны, а какъ стараго добраго друга, если ему скажуть, что "већ его любять" тамъ; если, въ отсутствіе Мишеля (бывшаго за границей), сама А. А. ръинтся написать ему, что она "открыда въ себъ новую способность ненавидъть то, передъ чъмъ раньше преклонялась?" Поздно, очень ноздно приходитъ это вырванное горькимъ опытомъ жизни признаніе; но, можеть быть, лучше поздно чъмъ никогда? Отвъть мы найдемъ въ перепискъ Бълинскато съ прямухинскими обитателями.

Обернуться на прошлое-такова была первая потребность сердца, вызванная въ Бѣлинскомъ сближеніемъ съ Н. А. Бакунинымъ. Мы не слышимъ, однако, примиряющихъ потъ въ этомъ первомъ обращения къ прошедшему. Натъ въ немъ и проклятій, а только одно горькое чувство обиды за неудавшуюся личную жизиь. "Недавно заглянулъ въ кину монхъ инсемъ, возвращенныхъ мит Мишелемъ, и былъ пораженъ", — пишетъ Бѣлинскій 6-го апрѣля 1841 г. "Боже мой, сколько жизни изжито, — и все по пустякамъ! И какую глупую роль игралъ я, какъ много было во мит любви и какъ мало благородной гордости"... "Малаго я не хотълъ и лишился всего, и нечъмъ помянуть юность. Назади и впереди пустыня, въ душф холодъ, въ сердцф перегорфлые уголья"... "Въ душв страсти огонь разгорался не разъ, но въ безилодной тоскв онъ сгорѣлъ и погасъ". "Да,--ии одного образа, который бы я могъ назвать евоимъ и милымъ, я одинъ въ мірѣ, мое сердце ин для кого не бьется, потому что для него не билось ин одно сердце... Я очерствѣлъ, огрубѣлъ, чувствую на себѣ ледяную кору... Внутри все оскорблено и ожесточено; въ воспоминанін один промахи, глупости, униженія, поруганное самолюбіе, безплодные порывы, безумныя желанія. Я никого, впрочемъ, не виню въ этомъ, кромъ себя самого и еще судьбы. Такова участь всъхълюдей съ напряженной фантазіей, которые не довольствуются землею и рвутся въ облака. Мой примъръ долженъ быть для васъ поучителенъ. Спфшите жить, пока живется". И Бфлинскій полу-шутя, полу-серьезно развиваетъ философію наслажденія жизнью, въ которой "женщинъ" достается не особенно почетная роль. "Было время, когда женщина была для меня божествомъ, и миѣ какъ-то странно было думать, что она можеть синзойти до любви къ мужчинъ. хотя бы онъ быль геній, а теперь-это уже не божество, а простоженщина... существо, на которое я не могу не смотръть съ нъкотораго рода сознаніемъ своего превосходства... Хороши и мы, но оню еще лучше... Одной нужна перетянутая талія и черненькіе усики, другой-умъ, талантъ, геній, героизмъ, и почти ин одной-простое любящее сердце, здравый, но не блестящій умъ, благородство, —словомъ, мужчина, которому довърчиво и безпечно могла бы она отдаться, на котораго спокойно и увтренно могла бы опереться. Поэтому, часто онт не любять техь, которые ихъ любять, и отдаются темь, которые ихъ

обманываютъ... Сколько въ жизни встръчается прекрасиъйшихъ женственныхъ личностей въ обладании у скотовъ—и спросите каждую изъ нихъ — рѣдкая не сознается въ томъ, что ее любилъ достойный человъкъ, котораго она отвергла... Все ложь и обманъ, — все, кромъ наслаждения. — и кто уменъ, будучи молодъ и крѣпокъ, тотъ возьметъ полную дань съ жизии, и въ лѣта разочарования у него будетъ богатый запасъ воспоминаний" (ср. другие отрывки у Пыпина, II, 129—130).

"Ледяная кора" начинаетъ таять въ концф 1841 г. Бълинскій получаетъ отъ Н. А. приглашение прівхать въ Прямухино. Собственноручныя приниски сестеръ Н. А. къ этому письму вызываютъ въ душъ Бълинскаго цълый взрывъ заснувшаго чувства. "Я все тотъ же, что н быль", увъряеть Бълинскій, "все та же прекрасная душа... сердце мое еще не отказалось отъ вфры въ жизнь, ни отъ мечтаній". И онъ мечтаеть о томъ, чтобы "забыться дня на два оть мученій жизни, отдохнуть усталою душой, снова увидать такъ давно милые душа образы, которые иногда видятся сквозь житейскій туманъ, словно ангельскіе лики въ облакахъ". Но "сознаніе" тотчасъ вступаетъ въ свои права и "покоряетъ сердце". Сознаніе напоминаетъ Бѣлинскому, что эти мечты не должны отвлекать его отъ дъйствительности. "У всякаго человъка должень быть свой уголокь, куда бы онь могь укрываться отъ ненастья жизни; вашъ уголокъ особенно прекрасенъ. Но уголокъ и должень быть уголкомъ, а не міромъ". "Такъ вонъ же изъ мирной и тихой пристани, гдъ только илъсень зеленая, тина мягкая да квакающія лягушки. Дальше отъ нихъ-туда, гдѣ только волны да небо,--предательскія волны, предательское небо! Копечно, разсудокъ говорить, что гдф бы ни утонуть, все равно; но я лучше хотълъ бы утонуть въ морф, чамъ въ лужь. Море — это дъйствительность; лужа — это мечты о дъиствительности. Вы, о мой итенецъ неоперенный... ушли отъ жизни въ свой маленькій уголокъ: боюсь за васъ. Въ этомъ уголкъ хорошо быть гостемъ и отдыхать отъ борьбы съ жизнью, но не жить въ немъ".

И Бълинскій снова сэблался прямухинскимъ гостемъ, и душть его онять становилось "больно и сладостно" при одномъ воспоминаніи о проведенномъ тамъ времени. "Зимняя поъздка меня переродила; я поздоровълъ и помолодълъ",—писалъ онъ въ мартт 1842 года Боткину. Появилось и чувство, "давно знакомое" Бълинскому и предвъщавшее у него потребность въ сердечной жизни. "Ноетъ грудь, но такъ сладко, такъ сладострастно... Словно волны пламени то нахлынутъ на сердце, то отхлынутъ внутрь груди; но эти волны такъ влажны, такъ освъжительны..." Причины "повой болъзни" не могли быть непонятны для

Бълинскаго: недаромъ "опытъ сорвалъ" для него "покровъ съ жизни" и "разоблачилъ" ея тайны. "Мучительный зензухтъ" Бѣлинскаго на этотъ разъ принялъ самую конкретную форму. "Знаешь ли что", -иншеть онь Боткину вь томь же письмь; "да что и говорить—знаешь... Оть того-то я такъ и люблю говорить съ тобою, что не успѣешь сказать перваго слова, какъ ты уже выговариваешь второе... Знаешь ли, когда пора человъку жениться? - Когда онъ дълается песпособнымъ влюбляться, перестаеть видѣть въ женщинъ "ее", а видитъ въ ней просто (имя рекъ)", и т д. Мысль о женитьбѣ съ этихъ цоръ все болъе овладъваетъ Бълинскимъ. Какъ нарочно, въ ноябръ 1842 г. молодой Бакунинъ увъдомляетъ его о своей помолвкъ. Шутливый отвътъ Бълицскаго чрезвычайно характеренъ для его тогдашняго настроенія. "Заръзали, осрамили, опозорили вы насъ", пишетъ опъ Н. Бакушину. "Женится, онъ женится! А мы-то что же, чѣмъ же мы-то хуже васъ? Вотъ, поди ты, служи отечеству и проливай за него рѣки чернильныя! Какой-инбудь эдакой глуздырь женится, а ты посвистывай въ страшной, холодной нустоть своей ненавистной квартиры, въ пріятномъ сообществъ съ своимъ лакеемъ. Велишь поставить самоваръ, и что положишь въ чайникъ, да и велишь вынить его человику, а самъ одиваться, да и бъжать куда-нибудь отъ самого себя. Ахъ вы, негодный глуздырь! Надуль, заразаль!.. Это, однакожь, страшно - я за вась дрожу. Мив кажется, что въ вашемъ положенін у меня шумбло бы въ ушахъ, все вертълось бы въ глазахъ, кровь прорвала бы жилы и хлынула бурнымъ потокомъ. Я думаю, вы вынете карманъ изъ илатка (sic), и въ карманъ жена и въ илаткъ жена. Я бы на вашемъ мъстъ умеръ съ голода — не сталь бы ничего исть, боясь въ каждомъ куски видить жену... Воображаю, какъ я былъ бы хорошъ въ вашемъ положеніц!... Ну, полно врать! Руку вашу, любезнъйшій Н. А.! Вы готовитесь выпить лучшій бокаль жизин; отъ души желаю вамь на дит его найти не улетучивающуюся ижну божественнаго напитка, а счастіе, простое, тихое, въ себъ самомъ замкнутое, ни для кого не бросающееся въ глаза, счастіе! Все воликое на землѣ божественно, а все божественное просто. Боже сохрани не понять этого и ожидать отъ любви чудесь сама любовь есть чудо... Одно почитаю долгомъ сказать вамъ: страшитесь, какъ върной гибели, все найти въ одномъ. Я насчетъ этого "одного" только фантазироваль, и теперь отчасти радь, что все кончилось фантазіями, нбо я глуно фантазпроваль, заключая все въ одномъ".

Эти размышленія не помъщали Бълинскому стремиться еще разъпобывать въ Прямухниъ. «Вы видъли меня совсъмъ не тъмъ, что я теперь 1), и темъ сильнее во мие желаніе вновь познакомить васъ съ собою и вновь познакомиться съ вами", писалъ онъ сестрамъ 8-го марта 1843 г., послѣ того какъ ему не удалось осуществить своего памфренія. "За невозможностью личныхъ сношеній" между инми и Бѣлинскимъ завязалась "письменная бесѣда", въ которой онъ договорилъ то, что оставалось еще недоговореннаго во взаимныхъ отношеніяхъ. Прошлое остается прошлымъ: таковъ смыслъ этихъ разъясценій со стороны Бълинскаго. "Вы правы,—пишеть онъ А. А.,— въ томъ и жизнь, что она безпрестанно нова, безпрестанно измъняется: это и мой основной принципъ жизни, и я радъ, что онъ также и вашъ. Только та и живуть, которые такъ думають. Старое — Богь съ нимъ: оно хорошо и прекрасно только въ той мърѣ, въ какой было прямою или косвенною причиною новаго, а само-по-себѣ — прочь его!" II въ слъдующемъ письмъ Бѣлинскій опять возвращается къ этому деликатному пункту, съ тъмъ, чтобы уже не оставить насчетъ его пикакихъ сомнъній: "Мое робкое самолюбіе, — къ чему тапться, — не чуждо опасенія, чтобы тінь моего прошедшаго, въ глазахъ вашихъ, когда-нибудь и какъ-нибудь, благодаря моей неловкости и тому, что я называю въ себъ страстностью, не отбросилась на мое настоящее и будущее". Въ виду этого онъ объясняеть страстность, какъ вообще господствующую черту своей натуры. "Естественно, что въ отношенін къ женщинамъ эта страстность ярче и эксцентричнъе; по перетолковать ее чъмъ-нибудь другимъ, болъе серьезнымъ, или оскорбиться ею - значитъ не понять меня... Я, меньше чемь кто другой, могу ручаться въ будущемъ за свою изръдка довольно сильную, но чаще расплывающуюся натуру; но я за одно уже смѣло могу ручаться — это за то, что если бы Богъ снова излилъ на меня чашу гифва Своего и, какъ египетскою язвою, вновь поразиль меня этою тоскою безь выхода, этимь стремленіемь безъ цѣли, этимъ горемъ безъ причины, этимъ страданіемъ, презрительнымъ и унизительнымъ даже въ собственныхъ глазахъ, — я уже не могъ бы выставлять наружу гной душевныхъ ранъ, и нашелъ бы силу навсегда бъжать отъ тъхъ, кого могъ бы оскорбить или встревожить мой позоръ. Я и прежде не чуждъ былъ гордости, но она была парализована многими причинами, въ особенности же романтизмомъ и религіозными уваженіеми ки таки называемой "виутренцей жизни", этимъ исчадіемъ німецкаго этонзма и филистерства... Прежде, чьмъ западеть въ душу чувство, я выговариваль его всего, такъ что ин-

¹⁾ Дѣло въ томъ, что къ этому времени колебанія и сомивнія Бѣлинскаго закончились переходомъ его въ "новую вѣру" и выработкой окончательнаго "соціальнаго міровоззрѣнія".

чего и не оставалось. Это значить, что не было ни одного могучаго чувства, которое охватило бы все существо мое и отняло бы языкъ. Теперь ужъ такое чувство даже страшно, хотя я солгалъ бы, увъряя, что не желаю его. Что бы я съ нимъ сталъ дълать, съ моею дряблою душою, съ моимъ дряннымъ здоровьемъ, моею бъдностью и моею совершенною расторженностью съ дъйствительностью нашего общества. Я человъкъ не отъ міра сего. И потому вполит убъдился, что для меня не можетъ быть никакого счастія, и что въ самомъ счастіи для меня было бы одно несчастіе... Но отказаться отъ желанія счастья, котораго невозможность такъ математически ясна для меня, — еще нѣтъ силъ, и сохрани Богъ, если не станетъ ихъ на совершеніе этого послѣдняго и великаго акта".

VII.

Самочувствіе не обманывало Бълинскаго. Если ин реставрировать старое чувство, ни обойтись вовсе безъ чувства было невозможно, оставался единственный выходъ — въ новомъ чувствъ были налицо: "Семейнаго знакомства у меня мало, однакожъ и часто бываю въ обществъ женщинъ, очень добрыхъ и очень милыхъ, но которыя только возбуждаютъ во мнъ глубокую, тоскливую жажду женскаго общества". "Съ горя, чтобы любить хоть что-нибудь, завелъ себъ котенка и иногда... играю съ нимъ". Наконецъ, оно пришло, это чувство, и оказалось такимъ, какого и жаждалъ Бълинскій, какъ основы "простого, тихаго счастья".

Это была не "влюбленность" въ старомъ смыслѣ, а то, что Бѣлинскій назваль въ одномъ изъ цитированныхъ выше писемъ "человѣческимъ разсчетомъ". "Въ моей любви къ вамъ",—пишетъ онъ къ своей будущей женѣ 1),—"нѣтъ ничего огненнаго, порывистаго, по есть все что нужно для тихаго счастья и благороднаго человѣческаго (а не анатическаго) спокойствія. Только съ вами могъ бы я трудиться, работать и жить не безъ пользы для себя и для общества, только съ вами не тратились бы понапрасну мои лучшіе дии и не тонуль бы я въ апатической лѣни. Только съ вами любилъ бы мой тѣсный уголъ, неохотно бы оставлялъ его и радостно, нетериѣливо возвращался бы въ него". И въ другомъ письмѣ Бѣлинскій такъ же откровенио и почти тѣми же словами формулируетъ свои надежды. "Я отъ брака съ вами

 $^{^{1}}$) Объ этой перепискъ съ невъстой см. инже отдъльную статью.

инкогда не ожидалъ восторговъ, да и Богъ съ инми, съ этими восторгами; не стоять они того, чтобы гнаться за ними; я ожидаль отъ жизни вдвоемъ съ вами существованія мирнаго, яснаго, теплаго, охоты къ труду и любви къ своему углу, или, какъ французы говорять, къ своему очату". Бълинскій усталь дожидаться и хотфль, наконець, съ боя взять то счастье, въ которемъ такъ долго отказывала ему судьба. Онъ, который быль твердо увъренъ, что для него, "составляющаго что-то среднее между мужчиной и женщиной", добиваться женской любви---, напрасные хлоноты", -- вдругь вызваль къ себъ женскую симнатію. Теперь представлялся случай приложить къ дблу ту философію, которую онъ проповъдовалъ молодому Бакунину. Конечно, мы встрътимъ ту же философію и въ нисьмахъ къ певфстф. "Жизнь коротка и обманчива-ловите ее или послъ не расканвайтесь". "Всякое важное обстоятельство въ жизни есть лоттерея, особенно бракъ. Нельзя, чтобы рука не дрожала, опускаясь въ тапиственную урну за страшнымъ билетомъ: но неужели же слъдуеть отторгивать руку потому, что она дрожить?" "Кто не стремится, тотъ не достигаетъ; кто не дерзаетъ, тотъ не получаетъ". "И потому, пойдемъ впередъ безъ оглядокъ п будемъ готовы на все - быть человфчески достойными счастья, если судьба дастъ его намъ, и съ достоинствомъ, по-человъчески, нести несчастье, въ которомъ никто изъ насъ не будетъ виноватъ".

Вст обстоятельства сложились такъ, чтобы побудить Бълинскаго вести свою новую исторію къ возможно быстрой развязкь: и острое чувство одиночества, все болже овладъвавшее имъ, и стремление упорядочить свою жизнь и свой трудь-спастись отъ убивавшей его работы заноемъ и отъ отдыховъ за преферансомъ; къ тому же вели и "страстность" его натуры и созданная имъ философія "дъйствительности". Еще весной 1843 г., какъ мы видъли, онъ ждалъ и боялся новаго чувства, жаждаль его и "математически" доказываль его невозможность; осенью онъ быль уже "женихомъ" ("какой гнусный терминъ") и вызываль этимъ шутливыя преследованія знакомаго женскаго общества. Весной онъ еще порывался въ Прямухино; въ концѣ августа онъ посладъ туда только запоздалый отвътъ въ нфсколькихъ строкахъ, въ которомъ сухо увъдомлялъ, что его намъреніе "не можетъ сбыться". Н даже переводъ, Consuelo, сдъланный А.А. какъ будто съ цълью доказать, что новая въра Бълинскаго, "пророчицей" которой была Жоржъ-Зандъ, не осталась безъ вліянія на женское населеніе Прямухина, - и этотъ переводъ, не во-время отданный на попеченіе Бѣлинскаго, никогда не увидълъ свъта. Тъни прошлаго окончательно отступили передъ новой дѣйствительностью.

Бълинскій такъ сифшиль овладіть этой дійствительностью, что даже форсировалъ естественное развитіе своего чувства. Его отношенія къ будущей женъ развивались льтомъ 1843 г. гораздо быстръе, чъмъ ихъ знакомство другъ съ другомъ. Въ самомъ дель, что онъ зналъ о ней въ то время? Ей было уже 32 года. Бълинскаго это только радовало, какъ гарантія болфе прочной привязанности, облегчало сближеніе и снимало отвътственность за послъдствія союза. Она находила себя некрасивой: Бѣлинскій рѣшительно былъ противоположнаго мизиія. Она считала себя дикаркой: и это было на руку Бълинскому, всегда чувствовавшему себя неловко въ большомъ обществъ. Она была бъдна и не умъла хозяйничать: эти возраженія съ ея стороны вызывали въ Бълинскомъ только веселое настроеніе. Серьезиве было то, что она гадала Бълинскому на картахъ объ ихъ будущемъ счастьъ: но Бълинскій и это готовъ быль считать милой наивностью. Наконецъ, онъ находиль въ ней тьму душевныхъ достоинствъ, которыя она въ себъ отрицала: этотъ вопросъ должно было рёшить будущее. Понятно, что при этихъ условіяхъ будущее было темно, и условленный между знакомыми незнакомцами союзъ, дъйствительно, сильно походилъ на "лоттерею". Бълинскій, разумбется, не могь не замбчать и не тревожиться этимъ. "А въдь А. В. (сестра невъсты) была права, — замъчаетъ онъ однажды,--упрекая васъ, что вы не говорили со мною откровенно о будущемъ. Я было не разъ думалъ начинать такіе разговоры, да какъ-то все прилиналь языкь къ гортани... Эти разговоры... болфе и болфе сближали бы насъ другъ съ другомъ. А то меня всегда и постоянно мучила мысль, что мы не довольно близки другь къ другу, что мы ребячимся, сбиваясь немного на провинціальный идеализмъ".

Дъйствительно, слъды "провинціальнаго идеализма" не виолить еще изгладились въ первыхъ инсьмахъ Бълинскаго къ певъстъ. Въ своемъ новомъ положеніи Бълинскій, очевидно, чувствуетъ себя довольно неловко. "Вы думаете, привычка дъло легкое и скорое?" "Все былъ не женатъ, а то вдругъ женатъ", повторяетъ Бълинскій подколеснискую фразу, и вообще Подколесниъ такъ и просится подъ перо обоихъ корреспоидентовъ. "Всякій мужчина передъ женитьбой есть Подколесниъ; только одинъ лучше, другой хуже умъстъ скрывать это. Я, разумъстся, всъхъ хуже". Нъжности рѣшительно не удаются Бълинскому, а шутки выходятъ ужасно тяжелы; опъ, наконецъ, принимается подробитыщимъ образомъ описывать свою квартиру, нетербургскую погоду, разсчитывать, когда придетъ его письмо и когда получится отвътъ, и т. п. "Странное дъло! въ мечтахъ я лучше говорю съ вами, чъмъ на письмъ, какъ нѣкогда заочно я лучше говорилъ съ вами, чъмъ на письмъ. Какъ

не замѣчая, что это указываеть на то, какая еще разница остается между "мечтами" и дѣйствительностью, Бѣлинскій приходить къ успоконтельному выводу. "Тенерь я ноняль, что мы лучше всего умѣемъ говорить о томъ, чего у насъ нѣтъ, и что мы совсѣмъ не умѣемъ говорить о томъ, чѣмъ мы полны".

Скоро, однако, опыть представиль Бѣлинскому "тысячу первое доказательство", "что нътъ пичего общаго между міромъ фантазін н міромъ дійствительности". Чувству Білинскаго предстояло "выдержать строгій экзаменъ". Какъ видно изъ писемъ, Бѣлинскій настанваль на ускоренін свадьбы. Возникъ вопросъ, гдф вфичаться, въ Москвф ли, при всемъ синклитъ родственниковъ невъсты, или въ Петербургъ, изъ котораго Бѣлинскій не могъ выѣхать по своимъ отношеніямъ къ Отмечественнымъ Запискамъ. Будущая жена Бълинскаго доказывала необходимость вънчаться въ Москвф-такими аргументами, которые подняли страшную бурю въ душѣ Бѣлинскаго, довели его чуть не до смертельныхъ прицадковъ и временами заставляли его делать "тщетныя усилія-всиомнить, кого же и что же любиль я въ васъ". "По встмъ соображеніямъ, союзъ съ вами сулиль мив тихое и спокойное счастье. Но увы!--мы еще не соединены, а я уже глубоко несчастень и страдаю такимъ страданіемъ, котораго и возможности прежде не подозрѣвалъ. Я получиль ударь съ такой стороны, съ которой никогда и не ожидаль его". "Меня убиваеть мысль, что вы, кого считаль лучшею изъ женщинь, что вы, въ рукахъ которой теперь счастье и бъдствіе всей моей жизни, что вы, которую я люблю, -вы раба мивній московскихъ кумущект, салопницъ и тетушекъ. Вотъ чемъ Богъ наказалъ меня за мон гръхи, а не тъмъ, что вамъ 32 года и что вы больны... И тяжка наказующая меня десница".

Такимъ образомъ, "съ облаковъ" Бѣлинскій "упалъ на землю и больно ушибся". "Но любовь побѣдпла все". "Никогда такъ глубоко и живо не сознавалъ и не чувствовалъ я неразрывности узъ, которыми связанъ съ вами — не даннымъ словомъ, не тѣмъ, что далеко зашелъ въ монхъ отношеніяхъ къ вамъ. — а монмъ къ вамъ чувствомъ". И Бѣлинскій обнаруживаетъ все то богатство нѣжности, на какое способна была его кристальная душа. Онъ подыскиваетъ смягчающія обстоятельства, онъ находитъ ихъ въ условіяхъ воспитанія, въ житейской обстановкѣ Москвы, этой "дистанціи огромнаго размѣра". Къ внѣшнимъ условіямъ онъ относитъ все дурное въ личности невѣсты, а все хорошее записываетъ въ активъ ея собственной натуры; онъ обѣщаетъ себѣ въ будущемъ полную перемѣну, онъ готовъ даже ожидать ее въ настоящемъ, каждую минуту, въ каждомъ новомъ письмѣ, котораго

дожидается съ обычнымъ своимъ нетеривніемъ. Опъ, наконецъ, беретъ назадъ вев евои обвиненія, кается во вевхъ своихъ грубостяхъ, улаживаетъ вев препятствія, достаетъ денегъ, документы, цужные для въичанія, дописываетъ диемъ и ночью срочныя статьи для журнала и назначаетъ день своего отъвзда въ Москву. Въ этотъ моментъ, наконецъ, является желанное согласіе неввсты прівхать въ Петербургъ. Но вмъсть съ тъмъ обрывается и переписка, такъ что намъ остается совершенно неизвъстнымъ, какой осадокъ остался въ душт Бълинскаго отъ встать испытапныхъ имъ треволненій и нерестали ли ему "лтать въ голову" пушкинскіе стихи:

Смирились вы, моей весны Высокопарныя мечтанья, И въ поэтическій бокаль Воды я мпого подмъшаль. 1)

III.—А. И. и Н. А. Герцены.

T.

И по своей натуръ, и по складу своихъ идей А. И. Герценъ занимаеть въ семьй "идеалистовъ тридцатыхъ годовъ" совсимь особое мфето. Онъ жилъ, пока они мечтали, и занимался политикой, въ то время какъ они философствовали. Ту "чашу паслажденій", передъ которой они стояли въ нервшительности, онъ смвло выпиль до дна: и если на диб онъ нашелъ горькій осадокъ, то эта горечь инчего не нивла общаго съ позднимъ сожалвніемъ о пропущенной даромъжизни. Это, напротивъ, давали себя знать старыя, плохо залъченныя раны, панесенныя подлинными фактами жизни, богатой и мыслями, и чувствами. Такимъ образомъ, на этотъ разъ мы будемъ имъть дъло съ дъйствительными, а не воображаемыми страданіями сердца; мы увидимъ, что и причины, вызвавшія эти страданія, были черезчуръ даже реальны. П, тъмъ не менъе, и въ этомъ случат изучаемое нами душевное настроеніе носить несомивнный колорить идеализма тридцатыхъ годовъ. Герценъ былъ первый, который нанесъ этому идеализму самые рашительные удары; но прежде, чамь онь същимь раздалался, ему тоже пришлось его пережить. Любопытно, что въ этомъ случав

¹⁾ Кое-какія дополнительныя указанія см. въ стать о переписк Б. съ невъстой.

первенствующая, активная роль принадлежала не ему, а ей. Измученный житейскими треволиеніями, Герцень на минуту склонился передъсилой сосредоточенной женской любви. Можно себѣ представить, какъвелика была эта сердечная сила, покорившая себѣ энергичную натуру Герцена. Но, при всемъ томъ, его подчиненіе было непродолжительно, и столкновеніе реалистическаго взгляда на чувство съ идеалистическимъ привело къ тяжелой семейной драмѣ.

Можетъ быть, покажется черезчуръ смѣлымъ, что мы хотимъ цересказывать, послф "Былого и Думъ", личную исторію ихъ автора. Оправданіе этой рѣшимости заключается въ самомъ характерѣ герценовской автобіографін. "Думы" слишкомъ заслоняють въ ней "былое"; нашисанная много времени спустя, она часто смотрить на прошлое глазами послѣдующаго времени; помимо воли автора, "Dichtung" часто получаетъ въ ней перевѣсъ надъ "Wahrheit". Вотъ почему добросовѣстный біографъ Герцена долженъ будеть провёрить и пополнить "Былое и Тумы" другими автобіографическими показаніями, современными описываемымъ событіямъ и им'єющими поэтому характеръ непосредственности. Первое мъсто среди этихъ первоисточниковъ біографіи Герцена принадлежить перепискъ его съ невъстой, Нат. Ал. Захарыной, на протяженіп 1835—1838 гг. Продолжаясь почти непрерывно изо дня въ день, не прекращаясь иногда ин днемъ, ни ночью, ни утромъ, ни вечеромъ, — эта переписка представляетъ единственный въ своемъ родъ "человъческій документь". Ея значеніе для біографін призналь самъ Герценъ. "Инсьма — важивйшій документь нашего развитія и моей жизни,-пишеть онъ невъстъ въ началъ 1838 года. Туто я весь, какъ былъ" 1). Дальнъйшимъ, тоже непосредственнымъ памятипкомъ душевнаго настроенія Герцена служить его "Дневникъ" 1842—1845 годовъ Наконецъ, сообщенія подруги рацияго дітства Герцена, Т. И. Пассекъ 2), также пополняють наши свъдънія нъсколькими важными чертами. Мы разумбемъ здбеь чисто фактическія показанія Пассекъ, такъ какъ противъ общаго освищения фактовъ въ ся воспоминанияхъ можно еще спорить; не мишаетъ здись вспомнить и то, что отношения самого Герцена къ автору воспомицаній были очень неровныя. Въ двадца-

¹⁾ Часть переписки А. И. Герцена съ Н. А. Захарьиной (1835, 1836 и первые 2 мѣсяца 1837 гг.) папечатана въ Русской Мысли за 1893, №№ 1, 3, 4, 6—8, 11, и 1894, №№ 1, 4, 8. Продолженіе начато печатаніемъ въ Новомъ Словю, 1896, №№ 4, 5. Благодаря любезности редакціи, которой приносимъ глубокую благодарность, мы имѣли возможность ознакомиться и съ остальной, очень значительной частью переписки (1837—1838) въ рукописи.

²) "Изъ дальнихъ лътъ", 3 тома. Спб. 1878—1889.

тыхъ годахъ онъ сердечно привязанъ къ кузинъ, въ тридцатыхъ охладъваетъ и послъ ея брака начинаетъ даже относиться къ ней враждебно; потомъ возвращение обонхъ въ Москву и личныя песчастия Т. П. (смертъ мужа) возстановляютъ въ сороковыхъ годахъ дружеския отношения; близкими эти отношения никогда уже не дълаются, по это не мъщаетъ Герцену отдаватъ Т. П. должное въ его воспоминанияхъ о раннемъ дътствъ и первой юности.

Главный нашъ источникъ, переписка, начинается со времени вятской ссылки Герцена. Прежде чѣмъ воспользоваться этимъ источинкомъ мы должны представить себѣ, какъ сложились личности обонхъ корреспондентовъ къ началу переписки.

II.

"Одна мысль ярко свътить въ моей фантазін", писаль Герценъ невъсть въ февраль 1838 года: "мы-жертвы искупленія всей ихъ (т. е. родителей) фамилін, и наши страданія смоють ихъ иятна". Въ религіозную одежду облечена здісь глубоко-вірная мысль. Дійствительно, сердечныя страданія обонхъ Герценовъ были отдаленнымъ последствіемъ ихъ происхожденія и воснитанія; оба они платились за грѣхи предковъ и за ту соціальную обстановку, продуктомъ которой опи были. Барская прихоть дала имъ жизнь; эта же прихоть обставила ихъ рапніе годы совершенно различными условіями воспитанія, одинаковыми только въ томъ отношенін, что оба вспоминали объ этихъ годахъ съ отвращениемъ и ненавистью. Александръ Герценъ воспитывался въ дом'в своего отца, стараго чудака и богача И. А. Яковлева; возл'я него оставалась и его мать, простодушиая и мягкосердечная и мяка. Отецъ Наташи рано умеръ, а старшій законный братъ посифинлъ отправить маленькихъ дътей съ ихъ матерями въ глухую деревию; только случайно, изъ милости, Наташа осталась въ Москвѣ на хлѣбахъ у старой княгини Хованской, которой поправилось, что девочка ласково на нее смотрела своими большими, не по летамъ серьезными глазами. Постороннимъ людямъ должно было казаться, что кузенъ и кузина устроились какъ цельзя лучше. Александръ былъ баловнемъ всего дома; за Наташей княгиня готова была дать въ цриданое треть своего очень значительнаго состоянія. Но, какъ видно, воспитатели черезчуръ настойчиво требовали "благодарности" и слишкомъ подчеркивали свое "великодушіе", чтобы упрочить себф мфсто въ сердцахъ дфтей. Естественнымъ результатомъ этой политики было то, что дѣти слишкомъ рано узнали, чей хлѣбъ они ѣдятъ, и хлѣбъ этотъ сталъ имъ горекъ.

Послѣдствія этого открытія для Александра и Наташи были такъ же различны, какъ непохожи были ихъ натуры, ихъ положеніе и личности ихъ воснитателей; но въ обоихъ случаяхъ результатомъ было одностороннее и болѣзненное развитіе природныхъ задатковъ.

По-своему отецъ любилъ Герцена; но эта любовь оставалась тайной для сына до самаго его ареста въ 1834 году, т. е. до 22-хъ лѣтъ. До этого времени, по собственнымъ словамъ Герцена, онъ былъ "совершенно чукой въ родительскомъ домф" и "на каждомъ шагу", ежеминутно рисковалъ встрѣтить "оскорбленія,—да такія, которыя могли бы отправить въ сумасшедній домъ взрослаго". Съ какой-то особенной изобратательностью отець употребляль весь свой недюжинный умъ, все свое тонкое знаніе людей, чтобы пресладовать все и всахъ въ дом'ь, отыскивая у каждаго самыя слабыя струны, самыя больныя мъста. За что мучилъ людей и самого себя этотъ озлобленный чудакъ н чъмъ именно онъ былъ озлобленъ, -этого вопроса такъ и не могъ ръшить самъ Герценъ. "Унесъ онъ съ собой въ могилу какое-нибудь восноминаніе, которое никому не довфриль, — или это было просто слъдствіе встрівчи двухъ вещей, до того противоположныхъ, какъ XVIII въкъ и русская жизнь, —при посредствъ третьей, ужасно способствующей капризному развитію, - помъщичьей праздности?" Послъдними словами Герценъ наводитъ насъ на историческое объяснение, которое послб него новторялось не разъ. "Въ Россін, -- говоритъ онъ, -- люди, подвергнувшіеся вліянію этого мощнаго западнаго в'явнія (XVIII столатія), не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы въ чужихъ краяхъ, праздные зрители, испорченные для Россін западными предразсудками, для Запада-русскими привычками, они представляли какую-то улиную ненужность и терялись въ искусственной жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и въ нестериимомъ эгонзмъ". Нельзя не согласиться съ върностью этого наблюденія; опо безусловно правильно относительно той соціальной среды, надъ которой сделано Герценомъ.

Какимъ же сдѣлала Герцена обстановка его дѣтства? Двадцати илти лѣтъ онъ еще всиоминаетъ объ условіяхъ своего воспитанія, какъ объ одномъ изъ "чудищъ, которыя сосуть его сердце". Къ этому времени онъ относитъ происхожденіе всѣхъ тѣхъ чертъ своей натуры, которыя онъ въ себѣ осуждалъ. "Оскорбленія и обиды развили во миѣ жгучее самолюбіе и стремленіе къ власти, и съ тѣмъ вмѣстѣ дали миѣ эту притворную наружность, по которой рѣдко можно догадаться, что происходитъ въ моей душѣ". Отсюда же онъ ведетъ свою склоиность къ сарказму. "У людей истинно добродѣтельныхъ,—находимъ въ письмѣ

30-го япваря 1838 г., —пронін нѣтъ; также пѣтъ ея и у людей, живущихъ въ эпохи живыя. Пронія или отъ холода души (Вольтеръ), или отъ ненависти къ міру и людямъ (Шекспиръ и Байронъ). Это отзывъ на обиду, отвѣтъ на оскорбленіе, по отвѣтъ гордости, а не христіанина". Легко догадаться, откуда выведены эти психологическія наблюденія.

Привыкцувъ выносить, на половинь отца, "благосклонность и милосердіе" своихъ легитимныхъ родственниковъ, Герценъ за то бралъ свой реваншъ на половинъ матери, а также въ людской и дъвичьей. Здъсь развивалась въ немъ на свободѣ привычка властвовать; здѣсь онъ привыкъ также не знать удержу своимъ страстямъ и ин въ чемъ себф не отказывать. Этому писколько не противоръчать его собственныя утвержденія, что здась же развилась у него и ненависть къ барскому деспотизму и къ холодному разврату. То были проявленія витшияго насилія, противъ которыхъ онъ становился на сторону "простыхъ н слабыхъ"; но среди этихъ самыхъ слабыхъ и простыхъ онъ нервенствоваль по праву, испытывая на этомъ силу и огонь своей натуры. Послъ, въ университетъ, онъ съ такой же удачей пріобръталь вліяніе на "равныхъ" себъ, и сознаніе своего торжества, по его собственнымъ признаніямъ, было одинмъ изъ главныхъ побужденій, втянувшихъ его въ студенческую жизнь. При этихъ условіяхъ въ Герценф рано сложились увъренность въ себъ и опытность сердца. Онъ даже готовъ быль, льть въ восемнадцать, считать себя состарившимся душой и свысока смотрѣлъ на всякое простое, непосредственное, напвное движеніе сердца.

Но гдѣ же были элементы идеализма, сдѣлавшіе Герцена такимъ, какимъ мы его знаемъ? Этихъ элементовъ было слишкомъ достаточно въ натурѣ Герцена, по въ жизнь они должны были пробиваться, какъ контрабанда, вопреки всѣмъ условіямъ воспитанія. Прежде всего, надо замѣтить, что религія пе принадлежала къ числу этихъ элементовъ. Въ домѣ стараго вольтеріанца соблюдали лишь изъ приличія один обряды, и маленькій Герценъ вспоминалъ о религіи только разъ въ годъ, на Страстной недѣлѣ. Романовъ Герценъ поглотилъ достаточное количество въ самые раниіе годы; двѣнадцати лѣтъ онъ уже непыталъ романтическое чувство къ одной шестнадцатилѣтней барышивъ, пріѣзжавшей къ нимъ въ домъ изъ нансіона по воскресеньямъ. Такимъ образомъ, въ любви онъ привыкъ съ дѣтства видѣть не одну чувственность. Но кругомъ него долго не было никакого женскаго общества, кромѣ общества кузины Тани, у которой уже былъ къ тому времени свой Евгеній Онѣгинъ. Нѣсколько лѣтъ спустя Герценъ пробовалъ перемѣ-

нить роль конфидента на болбе ибжную роль, но девятнадцатильтней барыший не было интереса ноощрять чувство семнадцатильтняго кузена. Оставалась дружба, которой Герценъ и предался со всфиь ныломъ своей души, "потому что, кромф нея, уже некуда было дфть иламени". Близкимъ другомъ Герцена съ 13 лфтъ на всю жизнь сдфлался его младшій сверстникъ, Н. И. Огаревъ. Они сошлись на мечтахъ о славф, о дфятельности на пользу человфчества.

Драмы Шиллера и запрещенные стихи Пушкина были знакомы обоимъ; но на ряду съ Карломъ Моромъ и съ маркизомъ Позой у Герцена явились и болье реальные герон. Французскій учитель научиль его поклоняться дъятелямъ великой революціи, а приговоръ надъ декабристами окончательно "разбудиль ребяческій сонь души" и даль мечтамъ самое реальное направленіе. Съ этимъ багажомъ молодой Герценъ явился въ университетъ — первымъ глашатаемъ политической мысли среди поколфиія, только-что принимавшагося искать въ метафизикъ не то руководства, не то лъкарства отъ сердечныхъ влеченій. Метафизика была Герцену совершенно чужда; господствовавшая тогда натурфилософія Шеллинга вызвала въ немъ только интересъ къ естественнымъ наукамъ. Что же касается сердечныхъ влеченій, онъ отводилъ имъ очень второстепенное мъсто въ своей будущей жизни. Въ то время, какъ другіе даровитые сверстники искали въ любви мистическаго средства — слиться со вселенной, Герцент съ Огаревымъ давали другъ другу на Воробьевыхъ горахъ свою знаменитую клятву --пожертвовать жизнью борьбѣ за общественныя идеп.

Такимъ вышелъ Герцепъ изъ своего дѣтскаго возраста. Совсѣмъ ниую печать наложили годы воспитанія въ домѣ княгини на его будущую подругу. "Душа женщины большею частью несравненно чище души мужчины. — инсалъ ей впослѣдствін Герценъ, сравнивая свое и ея воспитаніе. — Чего мужчина не переиспытаетъ до окончанія школьныхъ лѣтъ: чувства притупляются, эгоизму раздолье, религін нѣтъ. А дѣва въ своемъ затворничествѣ чиста, какъ ласточка; неопредѣленная мечта ея религіозна, свята, — такова и любовь, и эгопзму мало доступна".

Жизнь у княгини Хованской была, дёйствительно, настоящимъ затворничествомъ для маленькой сироты. II ея воспитаніе "началось съ упрековъ п оскорбленій"; и здёсь послёдствіемъ было "отчужденіе отъ людей, недовёрчивость къ ихъ ласкамъ, отвращеніе этъ ихъ участія, углубленіе въ самое себя". Семилётнимъ ребенкомъ дёвочка хотъла бёжать отъ своей "благодётельницы"; потомъ она обтерпёлась, научилась безпрекословно повиноваться всёмъ впёшнимъ ограниченіямъ, ко-

торыми до мелочей обставлена была ея жизнь, но душой осталась чужда всему, что ее окружало. По наружности-это было болфзиенное, молчаливое, забитое существо, никогда не улыбавшееся, ко всему равнодушное: "холодная англичанка", какъ прозвалъ ее одно время бойкій кузенъ. Но въ душт у нея совершалась упорная, мучительная внутренняя работа. Воображение дополняло то, чего недоставало въ жизни; мало-по-малу дівочка создала себів свой внутрепній міръ, привыкла имъ довольствоваться и вводила въ него только самыхъ близкихъ людей. Весь запасъ сердечной теплоты, которую не на что было расходовать, она внесла въ свое отношеніе къ религіи. Очень рано поэтому религія перестала быть для нея простымъ обрядомъ и сдълалась средоточіемъ встхъ помысловъ, встхъ движеній ся сердца. Это была единствениая область, въ которой оффиціальныя обязанности д'явочки совнадали съ ен душевными потребностями; немудрено, что она отдаласъ исполненію этихъ обязанностей съ горячностью, которая озадачивала п даже шокировала ея покровителей. "Съ техъ поръ, какъ номию себя,-пишеть она въ 1838 г.,--я была чрезвычайно богомольна, несмотря на то, что мив не хотвлось вытверживать молитвъ наизусть, когда приказывали, не хотёлось по порядку креститься и кланяться. Леть 13-14 молитва моя была уже совершение безсловесиа, безжеланиа... слезы лились ръкой, я обращала взоръ къ Нему, но уста молчали. Я не находила, не знала, чего просить себъ и на что, я жеила Имъ и жедала Eго, настолько, насколько могла тогда обнять душа". Даже во сит продолжалось иногда это состояніе религіознаго экстаза и облекалось въ конкретныя формы. Десятилътнимъ ребенкомъ, напр., Наташа видить сонъ: она одна среди поля въ маленькой тесной хижине. Ей страшно, она чего-то ждетъ и смотритъ въ окошко. Вдругъ слышенъ голосъ: ндетъ Спаситель. И дъйствительно, Спаситель, — "такой, какъ пишется", - приближается къ цей въ сіяніи, онъ ее благословляеть и самъ передъ ней преклоняется; ей легко и весело, и она просыпается. II на-яву она начинаетъ грезить о комъ-то, кто придетъ и освътитъ сіяніемъ ея жизнь. "Найти существо, въ которомъ бы все носило печать Создателя, печать яркую, не стертую землею, душу, достойную внолив быть храмомъ божества- одинмъ словомъ, существо, которому бы я не видала подобныхъ, — вотъ единственное желаніе, которое я имала съ 14 латъ". Читателю припоминается что-то знакомое при сопоставленіи этихъ цитатъ. Я номогу ему: передъ нами геропня Le Rêve, перенесенная изъ обстановки готическаго храма и средневъковыхъ мистическихъ вфяній въ захолустную Москву двадцатыхъ годовъ.

Ученіе Наташи велось очень плохо и, такъ же какъ двоюродный

брать, она усвоивала изъ него только то, что подходило къ ея настроенію. Въ то время, какъ учителя Герцена знакомили его съ запрещеннымъ Пушкинымъ и съ декабристами, съ Дантономъ и Робесньеромъ, отецъ Навелъ развивалъ въ Наташѣ вкусъ къ религіозному мистицизму. Это былъ старый дьяконъ, бѣднякъ, обремененный семьей, но сохранившій полное равнодушіе къ благамъ міра сего. Въ домѣ княгини его считали немного полоумиымъ и побанвались его вліянія на Наташу. Еще незадолго до ея замужества высказывалось опасеніе, какъ бы онъ не увлекъ ее въ монастырь. Для Наташи это былъ посланникъ изъ другого міра, родного ея душѣ; по цѣлымъ часамъ она заслушивалась его вдохновенныхъ рѣчей, уносившихъ ее далеко отъ окружавшей прозы и мелочей жизии. Въ этой папряженной внутренней жизии заключалась разгадка ея кажущейся апатіи и равнодушія ко всему "внѣшнему".

Вліяніе религіозно-восторженнаго отца Павла скоро осложнилось другимъ вліяніемъ -- романтически-восторженной институтки, приглашенной въ учительницы къ подраставшей Наташъ. Живая, увлекающаяся, Эмилія Аксбергъ мечтала совстить не о небесныхъ радостяхъ, и монастырь представлялся ей вовсе не ступенью къ высшей жизни, а развѣ только могилой неудачной любви. О любви она и заговорила съ своей молодой ученицей, и при томъ о любви весьма реальной, потому что предметомъ ея служилъ Герценъ. Это было лучшимъ способомъ постепенно открыть глаза Наташъ на ея собственную сердечную тайну. Когда ей было только девять лать, четыриадцатильтній кузенъ подариль ей Священную Исторію, надписавъ на первомъ листь: "милой сестриць въ знакъ намяти". "Ко мит ходилъ діаконъ (извъстный намъ о. Цавелъ), — разсказываетъ Наташа о послъдствіяхъ этого подарка; — тутъ же я п начала каждый урокъ читать съ нимъ (эту Священную Исторію), и непремѣнно посмотрю на первый листокъ. Потомъ Езоновы басни, и тамъ "милой сестрицъ" — и тамъ глядбла, не наглядблась на эту подпись, потому что меня никто не зваль ни сестрой, ни милой. Эта подпись смягчала и страхъ, который я имфла къ тебф; повфрищь ли, больше всфхъ на свфтф боялась п стыдилась (тебя)". Естественно, что дівочка жадно прислушивалась къ разсказамъ о братъ и горячо привязалась къ "больщой кузинъ" Танъ, которая сдълалась для нея источникомъ всъхъ свъдъній о томъ, "что говорить и какъ думаеть Александръ Ивановичъ". Но скоро Татьяна Истровна вышла замужъ и ухала изъ Москвы; въ этотъ моменть явилась Эмилія, которая совстив уже иначе рашилась мечтать объ Александръ, "Сначала она пспугала меня, — пишетъ Наташа, —

нотомъ я увидъла въ ней также поклонищу твою еще до меня; съ этимъ счастьемъ не могло тогда инчто сравниться. Классы наши, бесъды, прогулки, все это начипалось и кончалось тобою. Потому-то я ничему и не выучилась, что учила только тебя. Бывало, почь целую насквозь мы проведемъ съ ней, не снавши, говоря только о тебъ". Легко представить себъ тему этихъ долгихъ бесъдъ. Пылкая институтка то мечтала о себъ, то великодушно уступала Александра смущенной учениць. О дъйствін этихъ разговоровъ тоже не трудно догадаться. Нѣсколько времени спустя Эмилія писала уже своей молодой подругь: "Наташа, ты любинь Александра, я давно говорила, что твое чувство къ пему выше дружбы, теперь это ясно. Будь счастлива!" "Прощай, когда такъ, Emilie, - ты не понимаешь меня, спрячу мою святыню, мит больно, когда называють ее обыкновеннымъ, пошлымъ именемъ любви... И какъ она могла настолько пасть, чтобы мое чувство, эту высокую дружбу къ брату, дружбу, изъ которой я не хочу ни капли удълить никому на свъть, которой нътъ подобной на земль, - а она называетъ любовью! Какая глупость, — я слыхала и читала о любви, насколько выше мое чувство этой любви! Я никогда не буду любить; никогда не пойду замужъ, — оттого, что Александръ мит братъ, что мое чувство-дружба". Такъ размышляла Наташа и настойчиво "принялась всемь на светь уверять и доказывать дружбу". "Не помогало", прибавляеть она туть же.

Какъ видимъ, дѣтскіе годы Наташи развили въ ней преимущественно потребности сердца; потребности эти удовлетворялись религіей и тѣмъ, что она называла дружбой. Подводя штоги своему воспитанію, она писала за два мѣсяца до свадьбы: "Друзья мић замѣнили все то, что составляетъ жизнь, отъ азбуки до перваго шага въ свѣтѣ. Миѣ было все чуждо, кромѣ чувства. Другіе учили буквы, я учила сердце, тѣ учили намятью, я учила душою, и внутренній міръ ширился; другіе, выходя изъ школы, вступаютъ въ залу Благороднаго Собранія; я—прямо изъ теплыхъ объятій дружбы перешла въ твои, Александръ".

Сравнивъ эти итоги съ итогами развитія Герцена, мы найдемъ поливійній контрастъ. Въ этомъ контрастѣ заключается объясненіе всѣхъ послѣдующихъ отношеній обоихъ кузеновъ. Прежде чѣмъ пойти дальше, мы еще разъ резюмируемъ его словами Герцена.

"Вотъ юноша—пылкій пламенный. Огромный гипподромъ открытъ передъ нимъ, онъ полонъ надеждъ, силенъ какими-то пророчествами, увлеченъ дикими страстями, которыя еще не привыкли тѣсниться, скрываться въ груди, - гордъ, независимъ, ничему не покорится. все хочетъ себѣ покорить, самолюбивъ. Слава—его цѣль; міръ идей — его

міръ. Что можеть этого юношу покорить, обуздать? Несчастія, — онъ ихъ принимаеть какъ средство закалить душу; счастье —это дань ему, онъ его принимаеть какъ заслуженное".

"При самомъ началѣ юношества встрѣчаетъ онъ ребенка, оставленнаго всѣми, песчастнаго, котораго первое воспоминаніе—гробъ, котораго первое впечатлѣніе—гнетъ постороннихъ людей. Опъ его встрѣчаетъ со слезою па глазахъ, въ траурномъ платъѣ. И юноша проходитъ, страсти не дозволили ему видѣть ангела въ этомъ ребенкѣ... Кто скажетъ, что этому ребенку предоставлено будетъ пересоздать юношу?"

III.

Пересоздать Герцена любовью -- до этого было еще далеко въ первой половинѣ тридцатыхъ годовъ. "Тогда еще любовь не могла проникнуть сквозь тройную броню-гордости, славы и общихъ идей", замъчаетъ самъ Герценъ. Въ 1833 году онъ писалъ Огареву: "Любовь меня не поглотить; это занятіе пустого мъста въ сердцъ; иден со мной. нден -я." Такая декларація слишкомъ противорфчила и мягкому темпераменту Огарева и романтическому кодексу времени. Огаревъ отвъчаетъ: "Герценъ, ты или шутишь, или не понимаещь ни любви. ни самого себя. Вникии въ идею этого слова -любовь. Если она и поглотить тебя, то не уничтожить ничего благороднаго; она очистить тебя. какъ жрецы очищали жертвы, которыя готовились богу". Это возраженіе не упичтожило, однако, настроенія Герцена; еще въ 1835 году, въ началъ своей переписки съ Наташей, онъ иншетъ ей (по поводу любви Эмилін къ его пріятелю Сатину): "у него душа не моя, —онъ можеть быть счастливь въ тесноте семейнаго круга, а мив, мив нуженъ просторъ".

Нужно было, чтобы изъ этого взгляда, т. е. изъ отношеній къ женщинамъ, бывшихъ его последствіемъ, вытекъ цёлый рядъ поступковъ изъ которыхъ каждый легъ тяжелымъ камнемъ на совести Герцена: тогда только самоуверенность покипула Герцена, и ему пришлось, для облегченія нравственныхъ терзаній, ухватиться за соломинку, протянутую ему "ребенкомъ". Случай устранвалъ такъ, что любовь Наташи неожиданно являлась на выручку въ моменты самыхъ тяжелыхъ душевныхъ коллизій. Вотъ та причина, по которой Герценъ "склонялся болъе и болье" передъ любовью Наташи и "паконецъ палъ на кольни передъ ея высотой".

Первый изъ этихъ поступковъ прошелъ для Герцена довольно

легко, -, едва оцаранавъ", чтобы выразиться его же словами, сказанными по другому поводу. Среди довольно разсфянной жизни, "нечистый душой", онъ обратилъ внимание на сестру одного изъ своихъ друзей. Она тосковала по женихф, онъ не могъ отказать себф въ удовольствін сделаться утешителемь, заставиль ее забыть жениха, увлекся сердечными бестдами и довель ее до признанія. Потомъ онъ охладтль, она не воздержалась отъ упрековъ, онъ сталъ ею тяготиться. Кузина Таня доказывала, что разрывъ разобьетъ сердце молодой дфвушки; Герценъ возражаль, что было бы безсмысленно ришаться на бракъ безъ любви. Въ дурномъ расположении духа онъ встрътился, вскоръ послъ ареста Огарева и наканунъ своего собственнаго ареста, съ Наташей, и тутъ въ первый разъ убъдился, къ своему удивленію, что можеть найти у нея помощь. Правда, она отсылала его за утъшеніемъ къ небу, до котораго ему тогда было еще далеко, и приписывала его настроеніе аресту Огарева, что было только отчасти върно. Но главное, Наташа оказалась не флегматичной и не холодной, какою онъ представляль ее себъ раньше, и горячо поддержала его своимъ сочувствіемъ. Въ то же самое время Тапя его осуждала, Огаревъ сидаль въ тюрьма, а больше никого не было близкихъ. Это была, конечно, еще не развязка: о развязкъ позаботились обстоятельства. "Я обрадовался, когда меня взяли писаль онь Наташь спусти полтора года изъ Вятки, - думая, что разлука заставить ее забыть (меня)". Этоть разсчеть, по свидательству Т. П. Пассекъ, не оправдался. "Съ разбитой жизнью, она тихо догорала, отдавшись одной религи... она осталась върна воспоминанию, а, можеть быть, и чувству". Самъ Герценъ сперва колебался между самообвиненіемъ и самооправданіемъ. "Развѣ я виноватъ, что опибся, принявъ неопредаленное чувство любви за любовь ко ней? Разва я виновать, что она такъ далека отъ моего идеала?" Съ послъднимъ Наташа была безусловно согласна: кто же могъ быть близокъ къ идеалу ея Александра? Но тогда Герценъ начиналъ обвинять себя. "Нътъ, я неправъ, - писалъ онъ ей, - поо ты не знаешь встхъ обстоятельствъ. Я быль далекь оть обмана; но я виділь, что она еще не удовлетворяеть тому требованію, которое я ділаю существу, съ конмъ я могь бы слить свою жизнь. Зачемъ же я увлекъ ее? Зачемъ не остановилъ, прежде нежели она, убъжденная въ моей любви, сказала, что она любить меня? Можеть въ этомъ участвовало самолюбіе?" Вирочемъ, когда Герценъ дълалъ эти признанія, съ нимъ происходили уже новыя событія, въ которыхъ признаться было трудите. Передъ важностью этихъ свъжихъ событій побледивли и стерлись воспоминанія прошлаго. Года черезъ два Герценъ уже смълъе отзывался о своемъ увлечении. "Тутъ,

собственно, дурного ничего нѣтъ!.. Это — юношеская выходка, это — потребность любви, принимающая плоть въ уродливомъ опытѣ... Я не обманывалъ ее, я обманывалъ себя... Она прежде любила кого-то съ усами, потомъ меня безъ усовъ; есть надежда, что теперь любитъ третьяго... (Всего) страниѣе, какъ могъ я думать объ этой бѣлокуренькой дѣвочкѣ, знавши тебя". Эти обидныя строки непохожи на поэтическую страницу, посвященную воспоминанію о "Гаэтанѣ" въ "Быломъ и Думахъ"... Время не вывѣтрило еще изъ нихъ всего раздраженія, вызваннаго въ душѣ Герцена сознаніемъ собственной виновности.

Девять мфсяцевъ тюремнаго заключенія закрфиили у Герцена виечатлъніе, произведенное Наташей наканунт ареста. "Это лучшая эпоха моей жизни, — писаль онъ изъ Вятки, — она была горька для монхъ друзей, но я былъ счастливъ... Тамъ я былъ высокъ и благороденъ... твердо переносилъ все и... твердо выдержалъ искушенія..." Онъ не имълъ теперь поводовъ упрекать себя за "развратъ, несовстмъ порочный" только потому, что "не быль холоднымь". Исторія его любви развязывалась сама собою. Онъ успълъ узнать, какое мъсто занимаетъ въ сердив двоюродной сестры, которую считалъ прежде ребенкомъ. Сперва онъ былъ тронутъ, потомъ заинтересовался ею. Такимъ образомъ, къ следующему свиданью, накануне ссылки (9 апреля), онъ быль уже подготовлень, и оно сразу сохратило разстояніе между нимь и Наташей. Онъ не могъ не замътить, какое напряженное чувство Наташа внесла въ это последнее свиданье передъ долгой разлукой. "Ты правду пишешь, —писаль онь ей мъсяць спустя, —что въ послъднее свиданье ты, забывъ говорить, высказала все. Да, Наташа, я все поняль, — и на что были слова. Можеть, не все сказала бы ты, можеть, они ослабили бы то, что мы понимали тою высшею симпатіей, тою гармоніей душъ, которая такъ сблизила наши существованія". "Я все понять", — чего только не могли значить эти слова для Наташи? Въ сущности, это значило, какъ выразился Герценъ почти три года спустя: "я быль увърень въ твоей любви, прежде нежели ты сказала".

Виочатлівніе, произведенное на Герцена, было сильно, но оказалось очень непрочнымь. Въ Вяткі потянулась опять старая жизнь. "Душа, натянутая 9 місяцевь, опустилась", и Герцень снова получиль основаніе себя упрекать. По цілымъ місяцамъ Наташів приходилось тщетно ждать писемь изъ Вятки. Наконець, Герцень кончиль "эту оргію нісколькихъ місяцевь преступленіемь", и "преступленіе", какъ это ни странно, рішило судьбу его отношеній къ Наташів. Діло въ томь, что онь онять почувствоваль живізішую потребность въ ея чувствів, какъ въ противоядін противь неудовлетворившихъ его отношеній.

"Здъсь есть одна премиленькая дама, -- писаль Герценъ Наташъ осенью 1835 года, — а мужъ ся больной старикъ, она сама здъсь чужая, н въ ней что-то томное, милое, -- словомъ, довольно имфетъ качествъ, чтобы быть геронней маленькаго романа въ Вяткъ, — романа, коего авторъ честь имфетъ пребыть, заочно цфлуя тебя". Мало-по-малу, "герония маленькаго романа выросла въ большое угрызение совъсти". такое, какія Герценъ не привыкъ ценытывать раньше. Побъда далась слишкомъ легко, чтобы Герценъ усивлъ узнать и оцфинть душевныя качества отдавшейся ему женщины. Онъ узналь ихъ позже, по той широтт чувства, съ какой она перепесла разрывъ. Тогда сильнъе заговорила и совъсть. На первый разъ онъ испыталъ только острое чувство пеудовлетворенности. "Опостылъли миъ эти объятія, которыя сегодня обнимають одного, а завтра другого, гадокъ сталь поцълуй губъ, которыя еще не простыли отъ вчерашнихъ поцълуевъ", — такъ писаль Герцень Наташт уже въ началт декабря 1835 года, не открывая еще ей вполит своей новой тайны. Въ этомъ настроенін надо искать причины того, что его чувство къ сестрѣ, остановившееся на точкъ замерзанія или даже увядшее послѣ 9-го апръля, вдругъ начинаетъ развиваться неровными и, какъ опъ самъ выразился, "судорожными" скачками. 12-го октября онъ разсказываеть Наташт свой сонъ, въ которомъ вятскій пріятель сомнівается, что она ему сестра и называеть его "дружбу" "одиниъ обманомъ себя и другихъ". Черезъ день у него вырываются, при сильнъйшемъ возбужденін, "сумасшедшія" ръчи. "Я дошель до величайшей нелвности. Любить-можно ли жить съ моею душою, съ монмъ бъщенствомъ безъ любви? Любить—стало быть. Но мысль соединить свою жизиь съ жизнью женщины обливаеть меня хододомъ. Понимаешъ ди ты глупост. любви, которая не ищетъ поднаго обладанія предметомъ своимъ? Это чорть знасть что! Воть туть сенчасъ и откроется нелфпость, до которой я дошелъ: есть среднее чувство между земной любовью и дружбой". И затъмъ, черезъ нъсколько строкъ, онъ въ упоръ ставить своей Наташф вопросъ: "Вфришь ли ты этому чувству между любовью и дружбой? Еще болье, я сдълаю вопросъ страшный. Оттого, что я теперь, въ сію минуту, безумный, пиаче онъ пе сорвался бы у меня съ языка. Вфришь ли ты, что чувство, которое ты имжешь ко миж, одна дружба? Вфришь ли ты, что чувство, которое я ниво къ тебв, одна дружба? Я не вврю",

Каковъ же былъ отвѣтъ Наташи и какъ у нея перешла "дружба" въ "любовь"? "Слава Богу, — пишеть Александръ, получивши этотъ отвѣтъ, — твоя душа такъ высока и чиста, что она не поняла вполню (моего безумнаго письма)". Дѣйствительно, Наташа поняла это письмо



А. И. Герценъ.



по-своему. Она поняла, что въ немъ рѣчь идетъ о двухъ совсѣмъ разныхъ вещахъ: во-первыхъ, Герценъ говоритъ о необходимости любви для себя, а во-вторыхъ, спрашиваетъ ее о силъ и глубинъ ся чувства. На первое она напоминаетъ ему его прежийя выражения въ письмахъ: "Нфтъ, любить я не долженъ; это исковеркаетъ меня всего"...,Я очень боюсь этого чувства, оно либо потухнеть, либо сожжеть меня". "Прочитавъ это,--прибавляетъ она,--я еще болъе склонилась передъ тобою, ты еще выше сталь, —что за душа! До какой степени самоотверженіе! Съ твоимъ огненнымъ характеромъ... отдать себя вовсе человъчеству, побъдить страсти, заглушить... голосъ сердца!.. Теперь ей становится страшно за Александра. "Ты забыль, что ты уже не свой... нъть, погоди любить, мой Александръ, докончи начатое тобою". Немного спустя она готова примириться и съ любовью, но все еще не доходить до мысли, что это-любовь къ ней. "Люби, люби, плыви по морю любви... можеть, волны его вознесуть корабль твой къ небесамъ!.. Приди иногда взглянуть на чистыя, безмятежныя струн ручья... прислушайся къ журчанію его, ты узнаешь голось знакомый, родной, голось твоего друга, твоей Наташи". На второй вопросъ, какъ глубоко ея чувство, она отвъчаеть сміло, безь колебаній, безь страха; она только удивляется, что Александръ точно не върнтъ ел чувству, точно бонтся, что она не выдержить экзамена. "Върую, върую, что насъ съ тобой соединяетъ дружба, дружба самая высокая, которой истъ примера... Ежели это чувство болфе, выше дружбы, я не умфю назвать его, но вфрь ему"... "Да что же такое любовь? Неужели это выше того, какъ я люблю тебя, пеужели идеалъ любви можетъ быть прекрасиве тебя, неужели я могу любить болье?... нътъ, нътъ, нътъ!.." "Въ душь моей одно чувствовыше любви къ тебъ-любовь къ Богу; но эти два чувства такъ тъсны, такъ соединены между собою; безъ любви къ Богу я не могу любить тебя; безъ любви къ тебф-не могу любить Бога. Если дружба не можеть такъ сблизить два существа, ни подняться такъ высоко, -- пусть это будеть чувство между земною любовью и дружбой".

Можно было понимать это какъ угодно. Можно было понять и буквально, что Наташа предоставляеть Александру плавать по "морю любви", сама оставаясь на берегу. Мечтала же она о "соединеній въ небъ". На землів это развязывало руки. Цільнії мізсяць спустя послів этой переписки, въ самомъ конці года, Герцень утішаль Наташу свонить портретомь, писаль ей, что разлука ихъ не кончится Вяткой и гдів-то въ отдаленной перспективіть мечталь, "когда все пройдеть",— склонить свою голову на грудь Наташи, "ежели она не будеть принадлежать другому" ("Фу, мерзость какая", — замітиль самъ Герцень

но поводу послѣдняго выраженія, перечитавь его два слишкомь года спустя). Отвѣтъ Наташи быль все тоть же. Ей было все равно, когда и какъ совершится земное соединеніе. "Самъ Богь обручиль наши души, онъ создаль насъ другъ для друга, и если здѣсь намъ суждена разлука, тамъ, мой другъ, намъ вѣчное соединеніе,—тамъ, въ отчизиѣ"!

О земномъ соединеніи скоро заговорилъ самъ Герценъ. Чувство его, послѣ новой остановки, снова сдѣлало судорожный скачекъ впередъ, и опять этотъ скачекъ былъ вызванъ развитіемъ вятскаго романа. 18-го января 1836 года умеръ старый мужъ вятской геропни. 15-го января Герценъ иншетъ страстное и рѣшительное письмо Наташѣ. Теперь онъ больше не бонтся соединить свою жизнь съ жизнью жепщины. "Я удрученъ счастьемъ, моя слабая земная грудь едва въ состояніи перенесть все блаженство, весь рай, которымъ даришь ты меня. Мы поняли другъ друга! Намъ пе нужно, вмѣсто одного чувства, принимать другое. Не дружба, любовь! Я тебя люблю Natalie, люблю ужасно, сильно, насколько душа моя можетъ любить. Ты выполнила мой идеалъ, ты забѣжала требованіямъ моей души... Да, наши души обручены, — да будутъ и жизни наши слиты вмѣстѣ. Вотъ тебѣ моя рука, она твоя, вотъ тебѣ моя клятва, —ея не нарушить ни время, ни обстоятельства".

Конечно, эта клятва являлась логическимъ выводомъ изъ всего хода переписки, хотя для Наташи въ клятвъ не было надобности. Она нужна была Александру; едва ли случайно онъ связывалъ себя обътомъ въ то самое время, какъ его вятская подруга освобождалась отъ своего. Романъ его не удовлетворилъ; по его словамъ, онъ давно "разглядѣлъ, что это не любовь, что ему такое чувство узко, что отъ него пахнетъ помадой, а не живой розой". "Тогда-то, -- прибавляеть онъ къ этимъ словамъ, -- судорожно требовалъ и себѣ иной любви, и на всъ эти требованія душа отвѣтила — Наталія". Этоть отвѣть явился теперь еще болъе кстати, чъмъ въ исторіи съ Гаэтаной. Опираясь на любовь На-- таши и на свою клятву, Герценъ пріобръталъ право писать впослъдствін: "Когда умеръ старикъ, я опоминдся; тогда поступилъ я какъ честный человъкъ; я давалъ ей руку друга... много разъ говорилъ довольно ясно о тебъ, показывалъ браслетъ, медальонъ". Кто же былъ теперь виновать, что "она не умъла принять" дружеской руки и дълала видъ, что не понимаетъ герценовскихъ намековъ? "Ея взоръ, разсказываетъ Герценъ поздиће, -- останавливался съ какой-то взволнованной пытливостью на мий, будто она ждала чего-то — вопроса... отвъта... Я молчалъ"...

Мы уже имфли случай видфть, что Герценъ неохотно останавли-

вался на самообвиненін. У него какъ-то всегда находились смягчающія обстоятельства; отъ самообвиненія онъ незамѣтно переходиль къ самозащить, а затьмъ и вообще - изъ обороны къ наступленію. Обвинять себя онъ могь только тогда, когда его прощали и оправдывали. Такъ и случилось на этотъ разъ: вотъ причина, почему непривычное для него чувство собственной виновности разрослось теперь до небывалыхъ размфровъ и причинило ему сильифишія душевныя страданія. "Эта встрфаа, признавался онъ поздиве, — проскользнула бы, едва оцарапавъ: надо было, чтобы, какъ улика, быль передъ глазами человъкъ во всей славъ, сіянін,... и я смирился". Такимъ образомъ, вятская исторія объясняетъ самому Герцепу, какимъ образомъ онъ, спльный, опытный, увфренный въ себъ, склопился передъ "ребенкомъ" и подчинился настроенію Наташи. "Сначала я считалъ себя равнымъ тебѣ, — пишетъ онъ весной 1838 года, -- сначала я гордо полагался на свое вліяніе и достониство (35 и 36 годы), съ того времени ты все росла, и я ужъ очутился на колфияхъ, не смфя стать рядомъ, - и это-то глубокое чувство смиренія передъ ангеломъ преобладаетъ теперь въ каждой строкв. Откуда оно? Вымарий изъ моей жизни исторію Медвюдевой (вятской геронии). -и любовь далеко не приняла бы религіознаго направленія".

"Религіозное направленіе", которому мало-по-малу подчинился Герценъ, было съ самаго начала господствующимъ у Наташи. Любовь Герцена явилась для нея исполненіемъ дітскихъ сновъ и дівнческихъ мечтаній. Любить—значило въ ея глазахъ просто повиноваться Божьей воль, предназначившей ее для Него ("Его" и "Тебя" она всегда пишеть съ большой буквы въ своихъ письмахъ). "Любовь моя не родилась во мит уже на землт, нттъ: я была рождена съ нею, я принесла ее въ міръ съ собой, она существовала до рожденія моего". Недаромъ, умирая, отецъ благословилъ малолѣтнюю спроту образомъ св. Александра. Александръ былъ, слъдовательно, предназначенъ судьбей быть руководителемъ ея на землъ; опираясь на него, ей суждено было перейти изъ временной жизии въ вѣчную. Вотъ почему она относилась такъ твердо и спокойно ко всемь случайностимь земной любви. Собственно говоря, все, что было ей нужно, давала ей дружба Александра. "Я чувствовала, что я сестра тебъ, и благодарила за это Бога... Но Богъ хотълъ открыть мив другое небо, хотвль показать, что душа можеть перепосить больше счастія, что ивть границь блаженству любящимь его, что любовь выще дружбы... О, мой Александръ, тебф знакомъ этотъ райдуши, ты слыхалъ пъснь его, ты самъ пъвалъ ее, а мнъ въ первый разъ освъщаеть душу его свъть, я — благоговъю, молюсь, люблю". Такимъ образомъ, декларацію Александра Наташа приняла съ чувствомъ глубокаго смиренія

и съ сознаніемъ собственнаго недостопиства, — съ тѣмъ сознаніемъ и чувствомъ, которое продиктовало нѣкогда ея любимыя слова: "откуда мнѣ сіе... се раба твоя; буди мнѣ по глаголу твоему".

Небесное и земное совершенно перемфиалось теперь въ чувствф Наташи. Прежде въ молитвъ она отогръвала душу; теперя вся жизнь сдълалась одной непрерывной молитвой, "не сжатой назначеннымъ часомъ, не связанной словомъ". Религіозные экстазы превратились въ какія-то мистическія видінія любви. Портреть Александра сділался иконой, "животворнымъ образомъ", передъ которымъ Саша (горинчиая), повъренная ся любви, зажигала лампаду подъ праздникъ. Его письма она называла ихъ "посланія Апостольскія и Твон". "Со взглядомъ на письмо твое ужъ я поднимаюсь, свътлью... и нотомъ съ каждымъ словомъ свътъ увеличивается, съ каждымъ словомъ я выше, выше, наконецъ, все измфияется, самый воздухъ, окружающій меня, наполняется какою-то святостью, какимъ-то небеснымъ ароматомъ". И сходить посяв этпхъ минутъ винзъ къ княгицъ, — это то же, что съ Сіона возвращаться къ пдолоноклонникамъ. Наташа не всегда умфетъ падфть личину, часто она и винзу безпричинно улыбается, не слышитъ разговоровъ, не отвѣчаетъ на вопросы; говорить съ людьми кажется ей унизительнымъ, такъ же какъ употреблять шищу.

"Обыкновенная моя жизнь пересоздалась любовью къ тебѣ въ чистѣйшій гимнъ",—пишеть Наташа въ августѣ 1836 г. Дѣйствительно съ середины этого года ея письма проникиуты глубокимъ лиризмомъ, настроены на самый высокій тонъ. "Почти каждое письмо — иоэма, — характеризуетъ ихъ Герценъ;— чувство вырывается изъ души стройно, какъ изъ арфы и, главное, ты не чувствуешь, что пѣснь льется. Это такъ естественно въ тебѣ, какъ любовь ко миѣ". Вотъ, для примѣра, нѣсколько этихъ стихотвореній въ прозѣ.

"Часто вечеромъ сижу на берегу одна, и думы несутся къ тебѣ, несутся толпою, какъ жаворонки улетаютъ въ зеленые края. Иногда, кажется, ты теперь въ раздумьѣ на конѣ, или стрѣлою разсѣкаешь воздухъ, иль, усталый, тихо ѣдешь домой, а дома нѣтъ никого: никто не летитъ тебѣ навстрѣчу, ничьи поцѣлуи не стираютъ пыль съ лица твоего, иѣтъ груди склонить голову... грустно тебѣ, ангелъ мой, грустно! Ну, воображай же за то, что я мыслями, душою лечу къ тебѣ и стираю пыль съ тебя и не смѣю дохнуть, чтобы не помѣшать заснуть тебѣ"...

"Востокъ мой заалѣлъ, и душа блѣдиѣла въ твоихъ лучахъ и купалась въ твоемъ сіяпін, и теперь она потонула въ тобѣ, какъ та звѣздочка въ солицѣ. И что намъ земля, люди, тысяча верстъ, смерть, когда мы въчно вмъстъ, въчно одна душа, одна любовь, одинъ ангелъ, въчно, въчно! О божество мое, мой Александръ, върншь ли, иныя минуты и готова летъть на небо, не видавшись съ тобой на землъ? Не въ душной кельъ, не въ земныхъ оковахъ встрътить тебя, а чистымъ, небеснымъ ангеломъ и тамъ у Бога уготовать жилище тебъ!.."

"Вчера, исповѣдавшись священнику, я долго послѣ читала, исповѣдовалась Самому Богу, молилась, молилась... и заснула. Вдругъ такъ исно и громко говорятъ миѣ, что ты пріѣхалъ. Лечу, кажется тѣла на миѣ нѣтъ, такъ легко; и вотъ ты, мол. Александръ... На тебѣ былъ видъ просвѣтленный, выражающій цѣлое небо любви... ты простеръ ко миѣ руки, я бросилась въ твои объятія, какъ во врата небесныя, и легкую, какъ перо, ты взялъ меня на руки и принесъ въ комнату, гдѣ слышалась музыка... Тихо отворила Саша ко миѣ дверь, но я просиулась, сердце билось громко, часто, небо уже свѣтлѣло, розовая лента перепоясывала лазурь, благовѣстили къ заутрени, и мысль сообщенія со Христомъ обняла все существо мое..."

"Наступаеть вечерь — меня береть тоска — какъ долго ждать еще утра... Восходить солнце — сердце замираеть, отъ нетерпънія готова плакать, скоро-ль увижу конець дня. И такъ медленно, медленно переступаеть время, п я все жду то утра, чтобы ждать вечера, то вечера, чтобы ждать утра!.. (транно смотръть на эту сцену, на хлопоты, на всё дъйствія людей, —казалось бы, все должно умолкнуть и съ благоговъйнымъ трепетомъ ждать твоего пріъзда. Люди, люди —вы всегда люди..."

"Сколько передумаешь, перечувствуешь, и въ одинъ часъ сколько пролетить тайныхъ невъдомыхъ міровъ, прекрасныхъ, дивныхъ; –а дни цѣлые проходятъ безъ того, чтобы перелить тебъ хоть одну мечту, и всѣ онѣ отлетаютъ безъ отзыва опять туда, къ своему источнику. Хотя бы и люди дали просторъ писать ¹), но развѣ мертвое слово, которое, Богъ знаетъ, въ чьихъ не было устахъ, кѣмъ не было писано, — естъ сосудъ, могущій вмѣстить столько жизни и свѣта? Что предприметъ человѣчество, чтобы выразить любовь?.. Ангелъ мой! я забыла писать. Гдѣ я сижу, оттуда не видно ничего, кромѣ неба и чуть-чуть краевъ кровель домовъ. Наши куда-то уѣхали, передо мною твой портретъ.— Что предприметъ человѣчество, чтобы выразить любовь? эта мысль такъ заняла меня, я положила перо, черты твоп слились съ небомъ, съ солнцемъ... забудь, забудь хоть па минуту все и представь себъ, во-

¹⁾ Корреспонденція велась тайно и была обставлена всяческими затрудненіями.

образи... но какъ же назвать это, не умѣю выразить, Александръ, и слова такого иѣтъ... но, все равно, какъ ни скажу, ты поймешь меня! Итакъ, все забудь, никуда не смотри кромѣ вотъ на это небо, на солнце... что прекрасиѣе ихъ въ природѣ? Вообрази теперь, какъ черты твои, изображенныя карандашемъ на бумагѣ, отдъляются... свѣтлѣютъ... горятъ, горятъ огнемъ святой любви; о, какъ горятъ... сливаются еъ голубымъ свѣтомъ, съ огненными лучами... и вотъ, ты — небо, ты — солице; солице и небо—твой образъ!.. вся природа —твой ликъ, огненный, лучезарный. Я не могла с...снтъ свѣта, закрыла глаза; не могла выносить своего ничтожества — заплакала, и эти капли слезъ еще не высохли; вотъ онѣ—на полу.—Прощай, ѣдутъ".

Можно было бы безъ конца выписывать цѣлыми страницами эти грезы, сливающія въ одно небо и землю, любовь и молитву, паноминающія тѣ иллюстраціи къ дантовскому "раю", въ которыхъ ангелы рѣютъ крылами въ безпредѣльномъ воздушномъ пространствѣ, полномъ сіянія и блеска, — гдѣ даже тѣнь есть только меньшая степень свѣта.

"Когда Данте терялся въ обыкновенной жизни, ему явился Виртилій и рядомъ отдетвій повель его въ чистилище; тамъ слетъла Беатриче и повела его въ рай. Вотъ моя исторія, вотъ Огаревъ и ты". Такъ писалъ Герценъ въ сентябрт 1836 года, въ началт того перерожденія, на которое онъ надъялся при помощи любви. Теперь намъ пора познакомиться съ тъмъ, въ какой степени это перерожденіе совершилось.

IV.

"Тройная броня — славы, гордости и общихъ идей" все еще охраняла Герцена въ началѣ переписки съ Наташей отъ подчинения непосредственному чувству. Какъ таяла гордость передъ уроками жизни, это мы отчасти уже знаемъ. Остается узпать, что сталось съ мечтами о славъ и съ прежнимъ строемъ общихъ идей.

Очень долго Герценъ стоить на прежней, извъстной намъ точкъ зрънія. "Твоя жизнь, — иншеть онъ Наташь въ октябрь 1836 года, — нашла себъ цъль, предъль, твоя жизнь выполнила весь земной кругъ, въ моихъ объятіяхъ должно исчезнуть твое отдъльное существованіе отъ меня, въ моей любви потонуть должны всъ потребности, всъ мысли... Но жизнь моя еще неполна... Сверхъ частной жизни на миъ лежить обязанность жизни всеобщей, универсальной, дъятельности во благо человъчества, и мию одного чуветва было бы мало". И въ ян-

варъ 1838 г. та же нарадлель выражена въ еще болье ръзкой формъ. "Что жизнь дёвы безъ любви? Молитва или любовь, третьяго вамъ нать. Мужчина поприще - слава". И Наташа съ инмъ совершенно согласна. "(Въ тебъ) вся моя наука, все образование, вся жизнь... Я инчего не знаю, ничего не видала, кром'в тебя". "У меня одинъ талантълюбовь"; "въ письмахъ монхъ все одно и то же, --- только то у меня п есть". Gehorsam ist des Weibes Pflicht — вспоминается ей въ горькую минуту; и Александръ, сообразно съ этимъ, въ рфшительныя минуты посылаеть ей "приказанія". Въ его глазахъ она— "прелестное дитя", которому "не дано плодовъ дерева добра и зла", которое незнакомо съ "страданіемъ отъ мысли". Когда онъ строитъ проекты путешествія вдвоемъ, — ей онъ оставляєть наслажденіе природой, себѣ -наблюденія надъ людьми. Когда онъ составляеть проекть ся дальнъйшаго образованія, въ программу входять поэзія п религія, романы п исторія. "Пуще всего—не науки",—прибавляеть онъ.—"Богь съ ними; всь онь сбиваются на анатомію и ръжуть трупь природы; науки холодны и худо идуть къ идеальной жизни, которой я хочу тебъ".

Мало-по-малу это сознаніе умственнаго превосходства уступаеть сознанію правственной несостоятельности. Все враждеби в Герценъ начинаетъ относиться къ своему "холодному воспитанію", направившему всю страсть души на теорію и науку, развившему умъ, но не образовавшему сердца. "Благодаря высокому направленію, которое дала твоя любовь моей душф,--пвшеть онъ въ іюлф 1837 года,--я всякое чувство ставлю гораздо выше мысли и ума". Теперь и слава, какъ торжество ума, кажется ему недостойной задачей жизни, и онъ готовъ пожертвовать ею чувству, "Въ сторону всф прочія, прежнія мечты подъ клеймомъ самолюбія и эгонзма. Ты мит нужна-больше инчего не нужно. Скажи, чемъ ты хочешь меня,--темъ я и еделаюсь. Хочешь ли славыя пріобрату ее и брошу ка твоима ногама, хочешь ли, чтобы весь рода человъческій не зналь, что я существую, чтобы мое существованіе все было для одной тебя, — возьми его, оно твое"... Вотъ отвътъ Наташи на это письмо. "Ни твоя слава, ни твое отшельничество не нужны миъ; все равно для меня, царь ты или пастухъ — выбирай самъ". Но выборъ не такъ дегокъ, какъ это сгоряча показалось Герцену; и тотчасъ же начинается въ немъ борьба. "Странная вещь, — замъчаетъ онъ мъсяцъ спустя: - душа человъческая похожа на маятникъ, сдъланный изъ разныхъ металловъ, которые влекутъ его по разнымъ направленіямъ въ одно п тоже время...Одинъ элементъ моей души требуетъ поэзін, гармонін, т. е. тебя и больше ничего не требуеть, и голось его сладокь, чисть... Но рядомъ съ этимъ голосомъ-другой, отъ котораго, сколько я самъ себя

ни увфряю, не могу отделаться и который силенъ... онъ требуетъ власти, силы, обширный кругь дѣйствія. Бѣда, кто въ ранней юности былъ такъ неостороженъ, что пустилъ этотъ голосъ въ свою душу, когда онъ незамѣтно похвалами товарищей, школьными успѣхами прокрадывался въ нее... Малъйшій усибхъ-это проклятое чувство "я оцъпенъ" будить его, опять раздаются литавры и пламенная фантазія чертить вдали воздушные замки... Ну, молчи же голосъ самолюбія... отъ тебя душа трепещеть и волиуется бользненно". И опять Наташа первая идеть навстричу этому чувству, признаеть законность этого голоса. "О, Александръ, вижу, со всею высотою и святостью Наташи — тебъ мало Наташи. Мало: что хочешь, говори. Боюсь я, будешь ли ты вполить счастливъ, когда и разлуки не будетъ, когда и голову свою ты склоиншь ко мий на грудь". И она готова уничтожиться, "исчезнуть", чтобы не стоять на пути Александра. Она первая находить, что быть чиновинкомъ — для него слишкомъ обыкновенно, что онъ долженъ инсать, она убъждена въ великомъ значеніи его будущихълитературныхъ трудовъ. Такимъ образомъ, она наводитъ Герцена на болфе споконную оцънку его призванія. "Неужети это одно броженіе буйной, пеугомонной гордости? Нътъ ли чего-нибудь высшаго, — не есть ли это сознание силы, не есть ли и это голосъ Провиданія, повелавающаго быть даятельнымъ звеномъ... Видь есть же люди, которыхъ не манитъ общирная дъятельность, оттого, что они не могуть отпечатать свою физіономію на обстоятельствахъ, оттого что и физіономін у нихъ своей натъ... Есть люди высокіе, можетъ быть, самые высочайшіе изъ людей, которые внутри своей души находять міръ жизни и даятельности, въ созерцанін проводять жизнь, и эти-то созерцанія развиваются теоріями, пересоздающими понятія человфчества... Къ этимъ людямъ принадлежить Огаревь, но не я. Во мит съ ребячества поселилась огненная діятельность, діятельность вні себя. Отвлеченной мыслью я не достигну высоты, я это чувствую; но могу представить себъ возможность большаго круга, которому бы я могъ сообщить огонь души. Какой это кругъ, все равно, лишь бы не ученый; мертвая буква и живое слово разделены целымъ моремъ. Разумеется, я подъ ученымъ занятіемъ не понимаю литературы. Однако, и въ самой литературной діятельности ифтъ той полноты, которая есть въ практической дъятельности". И что же отвъчаеть на эти признанія Наташа? "О, дивный, дивный Александръ!.. Нътъ, не страшитъ меня буря души твоей; несись, несись туда, куда влечеть тебя ея стремленье; ея голось въренъ"...

Проходить съ полгода, и Герценъ дѣлаетъ уступку, которой отъ

него не требовала Наташа. За это время изъ Вятки онъ цереведенъ быль во Владимірь, а изъ Владиміра тайно фздиль въ Москву. Послф трехъ лътъ разлуки Наташа свидълась съ своимъ Александромъ (3-го марта 1838 г.). Едва вернувшись во Владиміръ, весь охваченный впечатлѣніемъ свиданія, Герценъ пишетъ 5-го марта: "Вздоръ мое литературное призваніе, Богъ съ шимъ, писать можно отъ скуки, мое призваніе-ты... О Наташа, что ты сделала со мной, последнее свиданіе кончило пересозданіе; возьми же своего Александра, онъ разсчитался со всёми, онъ весь твой, владей имъ, Natalie"... И теперь очередь плакать наступаеть для Александра... Черезъ мфсяцъ оцять встрфчаемъ въ его письмф: "Еще двф огромныя побфды въ моей душф. Во-первыхъ, я равнодущенъ сталъ къ прощенью. Владиміръ, Неаполь, -- все равно, ты будешь со мною. Чтмъ независимте человткъ можетъ стать отъ людей, тамъ выше. Во-вторыхъ, вопросъ, о которомъ я тебъ писалъ много разъ, --служить или изтъ ("службу" Герценъ тогда считалъ необходимымъ средствомъ для "практической деятельности"), — вовсе исчезъ; онъ больше, нежели разръшился-уничтожился".

"По мъръ возраста нашего въ міръ духовномъ, — писала Наташа около того же времени, -- мы должны уничтожаться въ здешнемъ міре; но мфрф увеличенія тамъ, должны умаляться здівсь. Потому-то намъ и необходимо отречься отъ всего, что утучняетъ внёшняго человъка". Такимъ образомъ, отречение отъ земной славы было, по мысли Наташи, лишь вившинит признакомъ постепеннаго переселенія на небесную "родину". Отъ дътскихъ лъть эта мечта доживаеть до самой свадьбы. Четырнадцатильтияя дывочка обратилась когда-то, подъ вліяніемъ нахлынувшаго чувства, къ "большой кузинъ" съ неожиданнымъ предложеніемъ: "умремте, Татьяна Петровна". И двадцатилътняя влюбленная просить своего жениха: "послушай, умремь тогда, пожалуйста, умремь, по исполненіи всего; невозможно жить на земль"... Кажется, ни одна такъ не проникаетъ всей переписки, не чувствуется такъ за всякимъ словомъ, какъ эта. Когда у ней ифтъ надежды на свиданіе, она твердить стихъ Козлова: "не дождалась, и умерла". Когда надежда является, она мечтаетъ о томъ, чтобы съ однимъ взглядомъ, съ однимъ долгимъ поцелуемъ перейти въ другую жизнь. Дождавшись, наконецъ, свиданія, она переживаеть минуты недоумфиія: "Не сонь ли? ифтъ... я дождалась, и не умерла... жить ли еще?.. Или ждать еще?.. Даразвѣ у Бога есть еще?.. Ты сказаль "жить"... Если быты не сказаль "жить", я бы лежала теперь въ гробу"... И, дѣйствительно, она сильно заболѣваетъ. "Они боялись эти дни, что я сойду съ ума, плакали обо миъ, умоляли меня ужинать, пить лакарство"... И когда рашена, накопецъ.

свадьба, эта мечта не уничтожается, а принимаетъ только новую форму.

Въ этомъ вопросѣ Герцену трудиъе было сойтись съ Наташей, чъмъ въ вопросф о славъ. Онъ не могъ принять первой буквы той аксіомы, на которой она строила свое отношение къ жизни. "Твои дътскія уста привыкли къ молитвъ, писалъ онъ ей весной 1837 года, — ты вдохнула въру при первой мысли, можетъ, еще до нея; она тебъ даласъ, какъ всему міру, откровеніемъ; ты ее приняда чувствомъ, и это чувство наполнило и мысль, и любовь. Со мною было обратно... До 1834 года у меня не было ин одной религіозной иден; въ этотъ годъ, съ котораго начинается другая эпоха моей жизни, явилась мысль о Богф: что-то неполонъ, педостаточенъ сталъ мив казаться міръ, долженствовавшій вскорѣ грозно наказать меня. Въ тюрьмѣ усилилась эта мысль. потребность евангелія была сильна, со слезами читаль я его, но не вполнъ понялъ: доказательствомъ тому "Легенда" 1). Я выразумълъ самую легкую часть - практическую правственность христіанства, а не самое христіанство. Уже здісь, въ Вяткі, шагнуль я далье, и моя статья "Мысль и Откровеніе" выразила религіозную фазу гораздо высшую... Но при всемъ томъ-до молитвы далеко"... "Я говълъ дурно, разсвянно,-прибавляетъ Герценъ черезъ пъсколько дней, -нътъ, намъ уже трудно сродниться съ церковными обрядами; все воспитание, вся жизнь такъ противоположны этимъ обрядамъ, что редко сердце беретъ въ нихъ участіе". И Герценъ спокойно подписываетъ свое письмо: "твой до гроба", не подозрѣвая, что наносить этимъ ударъ въ самое сердце Наташи. Только за гробомъ начиналось для нея полное торжество любви. И она съ грустью пишеть однажды: "Ты постигаешь меня, но это желаніе, это стремленіе туда останется тобѣ чуждо навсегда".

Дъйствительно, протестъ противъ загробныхъ фантазій былъ первымъ движеніемъ Герцена. Онъ грозилъ разссориться навсегда съ Эмиліей, которая въ 36-мъ году продолжаетъ вести бесъды 30-го года и желаетъ Наташъ умеретъ. Въ октябръ 1837 года онъ читаетъ выговоръ по тому же поводу самой Наташъ. "Мы похожи на дитя, которое, не понимая хорошо слъдствій, высъкаетъ огонь надъ бочкой пороха; смотри, какъ легко нъсколько разъ въ нашей перепискъ являлось слово смерть, а въдь это слово ужасное... Нътъ, перестанемъ играть этой чудовищной мыслью". Но и съ "чудовищной мыслью" онъ начинаетъ мало-по-малу свыкаться, особенно съ тъхъ поръ, какъ прини-

¹⁾ Легенда о св. Өеодоръ напечатана дважды: въ первопачальномъ видъ въ воспоминаніяхъ Т. И. Пассекъ и въ исправленной редакціи въ Русской Мысли, 1881, декабрь.

маетъ аксіому, на которой она построена у Наташи. "Я переплавленъ тобою въ другую форму, —пишетъ Герценъ въ февралѣ 1838 г., — ... религіозность твоей любви—вотъ что имъло такое вліяніе... Поглощая любовь, я вмѣстѣ поглощалъ молитву и сдѣлался христіаниномъ".

Теперь и мысль о смерти перестаетъ казаться Герцену "чудовищной". Въ письмѣ 11-го октября 1837 г. мы уже встрѣчаемъ уступку взгляду Наташи, хотя и съ оговоркой. "Я боялся прежде смерти, она худо согласовалась съ монми самолюбивыми мечтами, но когда явилась нстипная любовь, процикнутая вфрой, — выше и чище понята была жизнь, и гробъ потерялъ свой ужасъ". Въ началѣ января 1838 г. въ письмѣ изъ Владиміра онъ уже окончательно усвонваетъ мечту Наташи. "Теперь я весь твой, нать людей, и они мна не нужны. Я всемъ друзьямъ сказалъ прощайте, такъ какъ сказалъ мечтамъ о славъ, о поприщѣ, о дъятельности — прощайте... Кончено! Я искалъ великаго, и нашель въ тебъ, я искалъ святого и изящнаго, и нашель въ тебъ. Итакъ, прощай весь міръ... теперь моя жизнь-одна апотеоза Наташи... Великій Боже, въ прахъ повергаюсь, благодарю я Тебя; возьми тогда мою душу въ цвъть лъть, я узналь Тебя и мірь въ ней... Одинь поцълуй, одинъ... и съ нимъ смерть". "Да, Александръ, --- писала Наташа, прочтя эти торжественныя слова,-ты за полгода не похожъ былъ на тепершняго Александра; не могу тебф выразить, что со мною было, какъ я получила отъ тебя письмо отъ 5-го января — оно лучшее изъ всфхъ... въ немъ ты божественъ, великъ, славенъ, святъ, въ немъ ты мой совершенный Александръ".

Y.

Мы не поняли бы вполнъ переворота, совершившатося въ "полгода" съ Герценомъ, если бы не приняли въ разсчетъ внъшнихъ обстоятельствъ, при которыхъ этотъ переворотъ произошелъ. Назръвалъ онъ давно, но совершился окончательно только послъ перевода во Владиміръ. "Хорошо, что я переведенъ, — признавалъ самъ Герценъ. — Надобно было круто перевернуть мою жизнь". Возвращеніе изъ Вятки, такъ же какъ и высылка туда, пришлось удивительно кстати. "Выъхавъ за вятскую заставу, я много земли стряхнулъ съ себя", иншетъ Герценъ, перебравшись во Владиміръ... "Какъ перемънилось наше положеніе съ тъхъ поръ, какъ я оставилъ Вятку, замъчаетъ онъ еще мъсяцъ спустя, — не только 800 верстами, но 800 обстоятельствами мы стали ближе... Тамъ... я былъ слишкомъ веселъ, и слишкомъ грустенъ; здъсь я восъресъ".

Въ носледнихъ словахъ Герценъ намекаетъ на свой вятскій романъ, который и быль самымъ главнымъ изъ обстоятельствъ, замедлявшихъ его "возрожденіе". Дало въ томъ, что, оставаясь въ Вятка, онъ никакъ не могь решиться съ этимъ романомъ покончить: отсюда целый рядъ терзаній, постоянно возраставшихъ и подъ конецъ доведшихъ его до невыносимато правственнаго состоянія. Рядъ признаній по этому поводу тянется черезъ всѣ вятскія письма. Въ сентябрѣ 1836 года Герценъ пишеть: "Правда, съ самой весны она (Медвъдева) не слыхала отъ меня ни одного слова, которое бы могло ее более завлечь; но и то правда, что она отъ этого страдаетъ, отъ этого больна; она, безъ того столь несчастная, не зная о тебф, воображаеть, что я влюблень въ Иолину (одну молодую дъвушку, пріятельницу Герцена въ Вяткъ). Я думалъ сказать о тебф прямо, но это все равно, что дать рюмку яда. Воть твой идеальный Александръ". Къ поябрю преступление и наказание выростають въ душѣ Герцена. "Я въ монхъ глазахъ преступникъ, еще хуже обманщикъ, и это иятно я скоблю съ сердца, а оно безпрерывно выступаетъ. Всего хуже, что я не имълъ твердости сказать ей прямо о тебъ. Тысячу разъ я былъ готовъ на это и не могъ. Что же за роль теперь моя - роль того человжка, котораго ты называещь совершеннымъ, божественнымъ? Выбора нътъ: или убить ее однимъ словомъ, или молчаніемъ и полуобманомъ играть подлую роль, выжидая время. Я рѣшился на последнее. Туть вполив я наказань". Въ следующемъ 1837-мъ году ин факты, ин настроенія не измфилются. "Вотъ я онять черенъ какъ ночь, вотъ опять темная мгла обняла душу, -- встръчаемъ въ письмъ отъ 6-го сентября, - не могу стереть съ намяти этотъ гадкій проступокъ, — и тъмъ хуже, что кромъ раскаянія, не сдълано ни одного шага къ ея спасенію".

Наконецъ, въ ноябрѣ наступаетъ кризисъ. Отъ Наташи приходятъ вѣсти, одна другой тревожнѣе. Ее сватаютъ, женихъ торгуется, наконецъ сторговался, готовятъ приданое, возятъ по магазинамъ, заставляютъ спдѣть съ женихомъ. Наташа молчитъ, въ ужасѣ ждетъ прямого вопроса, готовится къ тому, что ее, послѣ отказа, выбросятъ на улицу. Старая княгиня замѣчаетъ по ея адресу, что "тотъ будетъ убійцей, кто ее (княгиню) огорчитъ", знакомые наперерывъ убѣждаютъ ее подумать о выгодѣ предложенія; священникъ, на вопросъ княгини,— не грѣхъ ли будетъ обвѣнчатъ; насильно, отвѣчаетъ, что "это будетъ богоугодно—пристроить сироту" и т. и. На Герцена все чаще находятъ пароксизмы бѣшенства. "Удивительное созданіе человѣкъ,— иншетъ онъ 13-го ноября,—обремененный горемъ онъ ѣстъ, пьетъ, еще больше смѣется, когда разсказываютъ смѣшное,—и иной стоитъ возлѣ

и не примъчаетъ, что раздирающій огонь готовъ сверкнуть изъ черена н что вмъсто крови льется въ сердцъ зажженная съра. А люди говорятъ, что кошки живучи"... На слъдующій день напряженіе разряжается "первый разъ отроду" слезами и истерикой передъ вятскими друзьями. Правда, къ вечеру Герценъ узнаетъ изъ письма Наташи, что "туча прошла",-женихъ отказался; но двйствіе кризиса продолжается. Съ ощущениемъ больного, оправляющагося отъ тяжелой болфзии (и онъ въ самомъ дълъ только-что пережилъ физическую бользиь и послъ 14-го ноября опять двѣ недѣли болѣлъ), Герценъ передумываетъ въ уединеніп вет тъ мысли, которыя приносять свой плодъ послъ переселенія во Владиміръ. И онъ находить опять, что вятскій романъ всему стонтъ на дорогъ. "Вотъ третій годъ продолжается комедія съ Медвъдевой... Гдт же твердость? Сказалъ ли я ей: идите своей дорогой, любви у меня къ вамъ ифтъ, я люблю ангела и послф этой любви ваща — глупость, нельпость или разврать. Ньть... Я дюлаль намени-какъ будто для того, чтобы едалаться интереснае. Ха, ха, ха... а они-то удивляются мна. Grace, grace pour moi. Уроды, тани, отойдите прочь, раздайтесь передъ образомъ небеснымъ, передъ ангеломъ!" Словомъ, Герценомъ овладъла та потребность искупленія вины, которая приводить людей къ публичному показнію. Черезъ нѣсколько дней онъ получиль извѣстіе о своемъ переводъ во Владиміръ. "Медвъдева больна съ тъхъ поръ, какъ узнала о моемъ отътадъ,-и я долженъ смотртть на ея страданія, какъ человъкъ, который бы обокраль отца семейства, проциль бы деньги и послъ долженъ смотрѣть, какъ тъ умирають съ голода. Утѣшить я не могъ и не хотфлъ... Вечеромъ я пошелъ къ Витбергу (извъстному художнику, сосланному въ Вятку) въ кабинетъ и разсказалъ ему все, и кончивъ, я всталъ передъ нимъ, какъ осужденный на казнь. Да, я хотълъ до послъдней капли выпить унижение и наказание; я заслужилъ его! Но душа высокая у Витберга; я ждаль камень, а онь бросился въ мон объятія и мы плакали. Онъ взялся послѣ моего отъѣзда все уладить, т. е. сказать ей о тебѣ ¹). Когда кончился нашъ разговоръ, за которымъ я цять разъ утиралъ потъ, я пришелъ въ свою комнату... бладный, руки дрожать, грудь палита огнемь, даже глаза сдалались мутны. Я глубоко страдалъ... гордость унижена... Но надобно разъ пройти черезъ все это, -- и оно ужъ будетъ прошедшее".

И дъйствительно, все это быстро сдълалось прошедшимъ для Герцена во Владиміръ. "Вятка - какъ тънь въ фантасмагоріи, — пишеть

¹⁾ Изъ "Былого и думъ" видно, что Герценъ объяснился съ М. письменно наканунъ исповъди Витбергу; въ этотъ день "она не выходила и сказалась больной".

онъ черезъ $2^{1/2}$ мъсяца нослъ переъзда, — меньше, меньше: точка, ничего. Будто все это я гдф-то читалъ, и въ книгф этой величественныя черты Витберга, слезы Медвъдевой, улыбка Полины; читая, я увлекся, воображаль, что все это въ самомъ деле; дочиталь-явилась прежняя жизнь, и книга оставила смутное воспоминание". Во Владиміръ онъ постоянно твердить, что доволень собою. Здешняя жизнь моя строга, какъ въ монастырћ, я очень доволенъ собою съ прівзда во Владиміръ". Онъ увъренъ теперь, что "не падетъ пизко", и пе разъ объщаетъ Наташъ, что старое не повторится. Весь нылъ души сосредоточивается теперь на мысли о Наташъ. Сперва его цъль — свиданіе. Онъ назначаетъ его на лъто -- въ деревенской обстановкъ, въ имъніи киягини. Но скоро этотъ срокъ начинаетъ ему казаться черезчуръ долгимъ. "Теперь и и эти и сколько м сяцевъ не могу переждать, необходимость видъть тебя жжеть. До мая долго-хочу вхать на-дияхъ и работаю, но все еще безъ усп \pm ха, и душа стонетъ, сердце рвется. \mathcal{A} баловень, Наташа". Накопецъ, тщетно прождавъ разрѣшенія ѣхать, онъ устранваетъ, совершенно экспромитомъ, тайное свидание 3-го марта, о которомъ мы упоминали выше. Для Наташи, мы видъли, это свидание все, о чемъ она могла мечтать на землъ: для Александра это только начало новыхъ, еще болве жгучихъ желаній. "Я не могу больше быть съ тобой въ разлукъ, -- твердить отъ теперь въ своихъ письмахъ, -- не могу инчемъ заниматься, все поглотилось великою мыслью... Не знаю, какъ убить время... Какъ ижкогда мысль близкаго свиданія поглощала все, такъ теперь мысль соединенія". И онъ рфивется прямо заговорить съ отцомъ о своей любви: получая изъ Москвы уклончивые отвъты, онъ скоро освоивается съ мыслью, которая вначалъ кажется ужасною Наташь, — жениться "безъ благословенія". Исторія новаго сватовства ведеть событія впередь съ головокружительной быстротой. Княгиня принимаетъ предложение новаго жениха, объявляетъ Наташъ, что "все кончено, слово дано", и поздравляеть ее "помъщицей третьей части ея пивнія". Наташа спокоїно и даже весело отказываеть; ее запирають наверху, и она празднуетъ тамъ начало освобожденія, пока винзу идутъ семейные совъты родственниковъ и оханія приживалокъ. "Я восхищаюсь своимъ заточеніемъ... Это совершенно новое чувство независимости ташить меня". На Александра, напротивь, эти событія дайствують какъ удары бича. Онъ вдетъ въ Москву и, вернувшись ни съ чъмъ, опять переживаеть пароксизмы бъщенства. Наконецъ, все готово, нъть только метрическаго свидътельства Наташи, безъ котораго священникъ не соглашается вѣнчать. О свидѣтельствѣ хлоночутъ московскіе друзья, со дня-на-день оно придеть; но Герцень не можеть ждать и нѣсколькихъ

дией. "Нѣтъ, довольно страданій, пе могу больше, вся моя чугунная твердость раздробилась, я гибну безъ тебя, гибну, гибну... Фу. какая буря мятется въ душѣ, и какъ больно, больно... Я схватилъ бутылку вина и выпилъ ее заразъ, — этого я давно не дѣлалъ... Кончите же, Бога ради, Бога ради, кончите. Пріѣзжай на авось, авось-либо сладимъ... Ну слушай, ежели не сладимъ, — ты, мой ангелъ, тверда, — есть средство... выпьемъ вмѣстѣ, ты слабѣе, ты выпьешь меньше и тогда въ одинъ мигъ "къ Богу Отцу". Эти строки написаны 30-го апрѣля 1838 года; черезъ нѣсколько дней Герценъ спова скакалъ въ Москву, 7-го мая совершился побѣтъ Наташи изъ кияжескаго дома и 9-го мая Герцены обвѣнчались во Владимірѣ.

Цфлая полоса жизни была теперь отжита; со свадьбы Герценъ начиналь новую эпоху своего существованія. Подводя итоги прошлому, онъ любилъ представлять себф въ это время контрастъ его съ настоящимъ, какъ противоположность языческого и христіанского міра. Юность, съ которой онъ прощался, — это быль, по архитектурному сравненію одного изъ первыхъ владимірскихъ писемъ, — его Акрополь, — "такой же изящный, какъ аоннскій, такой же вольный, такой же языческій". Возмужалость, въ которую онъ вступалъ, это былъ "Сіонъ". Къ Акрополю вели "Пропилен" --его детство; къ Сіону привели годы ссылки, бывшіе его "путемъ къ святымъ мфстамъ". Во Владимірф Герценъ еще разъ вернулся къ этой параллели и разработалъ ее въ великолбиномъ, иластическомъ, глубоко продуманномъ и прочувствованномъ отрывкъ "Изъ римскихъ сценъ" 1). Въ двухъ дѣйствующихъ лицахъ діалога воплощены два противоположныхъ міровоззранія, которыми Герценъ привыкъ отмѣчать два фазиса своей жизни. Молодой философъ Мевій, "классикъ со всёмъ реализмомъ древняго міра", преклоняется передъ жизнью природы, передъ "великимъ закономъ, великой энергіей ея развитія". Его другь, Лициній, представитель "романтическаго воззрвиія", посылаеть той же природв проклятія за ея "нелвиое" рвшеніе - "вложить духъ, разумъ въ безволосую обезьяну и оставить ее обезьяной". Одинъ сившитъ насладиться жизнью и находитъ полное удовлетвореніе въ мысли, что жизнь -сама себѣ цѣль; другой носитъ въ себъ чувство глубокаго оскорбленія за то, что онъ, разумное существо, есть безцальный и безсмысленный продукть природы. Одинъ усноканвается на мысли, что человѣкъ есть часть природы, что матерія есть "чрево, изъ котораго духъ развился", и что, какова бы ни была

¹⁾ Напечатанъ въ воспоминаніяхъ "Изъдальнихъ лѣтъ" Т. П. Пассекъ, т. II, стр. 71 и слѣд.

судьба отдъльной личности, — "для вселенной изтъ смерти". Другой, исходя изъ убъжденія, что человъкъ важите всей природы, не можетъ примириться съ ограниченностью его организаціи въ пространствѣ п времени, съ необходимостью полнаго исчезновенія его, съ тланностью встхъ его стремленій, мыслей и чувствъ. Оба одинаково перестали чтить старыхъ боговъ; но первый водвориль на покинутомъ олимийцами престоят языческій "Разумъ", второго не удовястворяєть пи философскій скептицизмъ, ни научный агностицизмъ, ни даже отвлеченный деизмъ; онъ грустить по потерянной вфрф и готовъ поклопиться христіанскому "Логосу". Отъ философіи бесьда переходить къ общественнымъ вопросамъ; и здѣсь политические идеалы Мевія блѣдиѣютъ передъ соціальными пдеалами Лицинія. Защитникъ республиканской свободы древняго Рима раздфляеть предразсудки онтимата противъ "дешевой крови" римскаго продетарія; напротивъ, провозвѣстникъ грядущей религіи любви, братства и равенства становится на сторону бъдныхъ и угнетенныхъ. Такимъ образомъ, перепося въ эпоху своего романтизма самый зрълый илодъ своего предыдущаго политическаго развитія, Герценъ-мпстикъ торжествовалъ сердцемъ полную побъду падъ Герценомъ-реалистомъ. Этому торжеству не пришлось, однако, быть окончательнымъ. Немного лъть прошло, и Герценъ-реалистъ снова восторжествоваль умомь надъ Герценомъ-мистикомъ. Законность "романтическаго воззрвнія" онъ продолжаль признавать, но подъ условіемъ, чтобы это воззрвніе не выходило изъ предвловъ извъстнаго возраста. "Однъ сухія и недаровитыя натуры не знають этого романтическаго періода, инсаль онь гораздо позже, въ 50 годахъ; -ихъ столько же жаль, какъ и тѣ слабыя и хилыя существа, у которыхъ мистицизмъ переживаетъ молодость и остается навсегда. Въ нашъ въкъ съ реальными натурами этого не бываетъ".

Не случилось этого и съ реальной натурой Герцена. Ея, этой натуры, онъ не могъ передълать, несмотря на всѣ требованія сердца; и она, естественно, тотчасъ вступила въ свои права, какъ только голосъ сердца сдѣлался менѣе настойчивъ и громокъ.

VI.

Чувство, овладъвшее такъ всецъло Герценомъ, развилось въ немъ и окръпло подъ вліяніемъ совершенно исключительныхъ обстоятельствъ. Этими обстоятельствами были его вятскій романъ, разлука съ друзьями, удаленіе отъ руководящихъ литературныхъ и общественныхъ круговъ, словомъ, все то, что заставляло его поневолъ оставаться наединъ съ

собой и погружаться въ совершенно несвойственное его натуръ запятіе, которое хорошо было извастно московскимъ романтикамъ подъ измецкимъ названіемъ — Grübelei. Друзья и знакомые Герцена, не знавшіе и не принимавшіе во винманіе этихъ исключительныхъ обстоятельствъ, очень единодушно раздъляли мифије, что подобное чувство для Герцена невозможно -- или что оно должно быть у него случайнымъ и временнымъ. "Витбергъ увфрялъ,--пишетъ Герценъ Наташф,-что я никогда не буду сильно любить и что мои мечты самолюбія всегда возьмуть верхъ цадъ мечтами любви". Другая знакомая старушка, П. А. Эрнъ, --, искренно жалбеть о тебь (Наташь). ... потому что я вътренный человъкъ и слишкомъ молодъ". Въ другой формъ то же самое думають и друзья. "Кетчеръ говорить, что никогда не предполагалъ столько чувствъ во миъ". Emilie считаетъ даже нужнымъ предупредить объ этомъ Наташу. "Наташа, любовь проходитъ... вѣрь миѣ",--говоритъ она ей. Да и самъ Герценъ не можетъ отдёлаться отъ той же мысли въ черныя свои минуты. "Что будетъ со мною, — думалъ я, и холодъ бъжаль по членамь, — ежели черезь много льть я скажу: "любовь прелестная мечта юношества, по она не переходить, какъ и вев мечты, въ совершеннольтие" — и утрачу любовь и въру?" Наташа далека отъ подобныхъ мыслей и наведениая на нихъ Герценомъ, она отворачивается отъ нихъ съ трепетомъ. "Что за мысль посътила твою душу, вотъ страшная, вотъ, о какая мысль... я невольно вздрагиваю, вспоминая о ней",—такъ отвѣчаетъ Наташа на только что приведенныя слова. "Тебъ потерять въру и любовь! Никакъ не могу я представить этого живо, а и то отъ ужаса домить грудь. "Ты не переживешь любовь", сказалъ мив голосъ съ неба. "Ты не переживешь любовь", говорю я тебъ. Прежде я могла вообразить, какъ бы ты пересталъ меня любить... Теперь не могу вообразить этого: знаю, что ты разлюбить не можешь, върю этому, какъ тому, что есть Богъ".

Было что-то трагическое въ этомъ столкновеніи сомнѣнія и увѣренности,—сомнѣнія, основаннаго на хорошемъ знаніи себя, и увѣренности, основанной на томъ же, хотя и не опиравшейся на знаніе жизни. Слова Наташи, какъ и слова Герцена оказались пророчествомъ: одинъ не сохранилъ напряженности чувства, другая не пережила любви.

Такой хорошій паблюдатель, какъ Герценъ, не могъ, конечно, не видѣть зародыша драмы въ глубокой разницѣ натуръ ихъ обоихъ. Переписка пачинается и кончается одинмъ и тѣмъ же сравненіемъ: Наташа соединенная съ Александромъ—это "голубь, привязанный къ ракетъ", по образному выраженію Герцена. И на протяженіи всей переписки Герценъ дълаетъ безуспѣшныя попытки предупредить драму,

нознакомивъ Наташу заранъе съ настоящимъ, а не идеальнымъ Александромъ. "На что же ты, Наташа, въ письмахъ такъ хвалишь меня, иншеть опъ въ самомъ началѣ 1836 года, -- это тяжело читать; увѣряю тебя, что только въ твоей небесной, божественной душь отразился я такимъ совершеннымъ... Люби меня такъ, какъ я есть, люби меня съ недостатками, Наташа, и объ этой-то любви говори мив... Не придавай мив болве, нежели сколько есть въ душв моей, чтобы послв съ горестью не увидъть педочета. Горько смотръть художнику на свое произведеніе, когда оно не вполив выразиле его идеалъ. Но что произведение для художника? Одна мысль, одна фантазія—и другія мысли уже толиятся въ головъ. А любить такъ, какъ ты любишь меня, можно разъ. Страшно туть видъть невыполненный идеаль, - странию, ибо на него потрачена не одна мысль, а вся душа, вся жизнь... Возьми меня земного, люби меня, я отдаю тебь себя, но болье не могу сдылать... Я хотыль бы быть ангеломъ, чтобы увеличить этотъ даръ, --- но я человѣкъ, и далеко не совершенный. Самыя эти огненныя страсти, которыя такъ жгутъ мою грудь, такъ направляють ее къ изящному и великому, — часто влекуть меня въ пороки н... послю я раскаиваюсь, но не импою силь прямо стать противь нихь". И онь не разь повторяеть въ своихъ письмахъ: "остановись, довольно: ежели еще шагъ, тебъ надобно будетъ оставить Александра на землъ"... По Наташъ трудно сойти съ своей высоты и стать на точку зрвнія Александра. Міръ, созданный ея воображеніемъ и чувствомъ, для нея единственно-возможный. И эту жизнь мечты она ни за что не хочеть промънять на жизнь дъйствительности. Ипогда это восторженное настроеніе, это чувство счастья такъ сильно охватываетъ ее всю, что самая тоска разлуки бледиветъ передъ нимъ; Наташа становится почти равнодушной къ свиданию и готова предпочесть свое настоящее безвастному будущему. Ионятно, что признація Александра сначала скользять въ ея сознаніи, не возбуждая никакого отзыва. Она очень скоро мирится съ его грѣхами: "одинъ Христосъ безгръшенъ". Потомъ она начинаетъ доказывать, что онъ преувеличиваетъ, что, наконецъ, самое сознаніе вины есть уже искупленіе и что, подкрипленный ея любовью, онъ болже падать не будеть. Когда и послъ всего этого доносятся къ ней изъ Вятки все ть же бользиенные стоны, она останавливается въ недоумьнін; потомъ недоумћије переходитъ въ страхъ, въ ужасъ, у ней опускаются руки, она не знаетъ, что делать, и ощущаетъ приступы смертельной тоски. Пока она не чувствуеть серьезности положенія, у ней еще есть охота протестовать, возмущаться, ободрять. "Неужели въ самомъ деле, Александръ, горсть людей, ихъ шумъ, ихъ пустое веселье могутъ хотя

насколько-инбудь заставить тебя забыться, облегчить твое сердце, спрашиваеть она. -- Это -- черта не твоей души! Оправданье ли иншешь ты: "Не могу, я не ты!" Кто же "Александръ", кто этотъ Александръ?— Онъ братъ, опъ другъ, онъ отецъ, онъ образователь, спаситель и хранитель Наташи, онъ все ея, она безъ него ничто... а ты говоришь: я не ты!.. Дай Богъ, чтобы это было только сказано, а не подумано и еще менфе почувствовано! Возстани, что спинии, воспряни, Александръ, мой Александръ! Я не могу выносить этого "я не ты", я даже зачеркнула это на письмѣ. Я не ты, — то есть я не люблю тебя, мы чужіе"... И весь день, и всю ночь Наташу преслідують эти три слова. Два мѣсяца спустя (26-го января 1838 г.), она вновь ломаетъ голову надъ словами Герцена "я мраченъ, какъ ночь". "Улетфла-ль твоя Наташа домой, оставивъ тебя одного скитаться въ чужбинф, иль больна она, грустна, иль тебя разлучають съ нею? Взгляни, она надъ тобою, прислушайся" и т. д. И она рисуеть ему близкое свиданіе и молить его улыбнуться. Все это пишется насколько дней посла того, какъ Наташа прочла въ письмѣ Герцена слѣдующія строки: "страдальческій голосъ мой несся къ тебъ иногда, и ты его не понимала. Да, это я вижу по твоимъ отвътамъ: ты въ себъ искала причицу мрачныхъ минутъ монхъ, тогда какъ ясно, изъ какого источника онъ шелъ". И вотъ, свиданье (3-го марта) приходить и проходить, а источникь угрызеній Герцена продолжаеть точить попрежнему слезы. Еще черезъ два мѣсяца у Наташи вырывается какой-то вопль въ отвѣтъ на эти постоянныя самообвиненія. "Неужели и Его кровь, и Его смерть, и мон слезы, молитва, любовь-инчто не исцаляеть!.. Кончено... ради Бога, кончено! Твоя грусть послѣ 3-го марта сдѣлалась мнѣ еще невыносимѣе. Александръ, сжалься, не страдай, то есть не заставляй страдать Наташу!... Что еще нужно для твоего искупленья? Говори, говори, вѣдь неужели же никакою ценою нельзя выкупить? О, чего бы то ни стоило,-все приношу на крестъ. ...Ну, вотъ какъ я льюсь слезами... Ну, скажи же мив: "Паташа, твой Александръ чистъ какъ серафимъ, въ немъ ничего, кромѣ свѣта, любви, Бога и смиренья". Ну, скажи же миѣ это, ангелъ мой. О... тяжело".

И по усићвъ увѣрить Наташу въ своемъ несовершенствѣ, Герценъ, дѣйствительно, сдѣлалъ надъ собой, какъ мы знаемъ, рѣшительное усиліе убѣдить себя, что онъ перелитъ Наташей въ повую форму. Въ дѣйствительности, разницы темперамента и всего склада мыслей никогда не обнаруживались въ перепискѣ такъ яспо, какъ именно послѣ свиданія 3-го марта. Прежде этому мѣшалъ слишкомъ возвышенный тонъ писемъ, къ которому какъ-то не шли реальныя подробности. Те-

нерь, послѣ свиданія, тонъ сразу становится проще, ребячливѣе. "Вдали манилъ призракъ, теперь онъ превратился въ дѣйствительность", такъ формулируетъ Герценъ свое впечатление свидания; и относительно Наташи онъ замфчаетъ: "ты начинаешь любить свою жизнь, даже свое лицо,--и во всемъ этомъ ты любишь меня". Но и пріобратя болье реальный характеръ, чувство обонхъ корреспондентовъ, такъ же, какъ н ихъ мысли, продолжають оставаться глубоко различными; и различіе становится тамъ виднае, чамъ мельче подробности, по новоду которыхъ оно обнаруживается. Герценъ, напримъръ, полушутливо-полусерьезно обвиняеть невъсту въ кокетствь, потому-что въ ранній часъ свиданія она была не въ напильоткахъ. "Я не вижу доблести, — прибавляеть онь по этому поводу,--не заботиться о красоть. Покуда душа въ формъ, форма должна быть изящиа". Но на этотъ разъ и исихологія Герцена, и его оправданіе совершенно не попадають по адресу. Наташа сидвла всю ночь передъ свиданіемъ, не раздіваясь, у окна, изъ котораго можно было замѣтить приходъ Герцена. "Пожалуй, тебъ непремѣнио хочется, чтобы совершенное забвеніе не только туалета, но и себя называлось конетствомъ", - отвѣчаетъ она: "да будетъ". Но Герценъ серьезно озабоченъ этимъ равнодушіемъ Наташи къ своей внѣшности и къ парядамъ. "Ты слишкомъ хлопочешь о моихъ нарядахъ; на что они тебъ",--иншетъ она ему. "Зачъмъ ты вовсе отворачиваешься отъ жизпи, --- возражаетъ онъ ей. -- Ты худо понимаешь поэзію роскоши... Призпаюсь откровенно, люблю нышность". "Я сама полюбовалась бы собою (въ брилліантахъ), — отвъчаетъ Наташа, — да вотъ эта въчная, неразлучная съ роскошью мысль: на головъ моей брилліанты, а тысячи несчастныхъ не имфють чфмъ голову прикрыть отъ стужи... при этой мысли я съ ужасомъ сброшу съ себя украшенія". Различіе обнаруживается и въ мечтахъ о будущей семейной жизни. "Будущее... является мив почти всегда безъ людей, —пишеть Наташа...— Чтобы никого не было... ни даже друзей... Послъ, долго спусти, пусть придутъ... Цълую ночь, далеко отъ всъхъ, чтобы не слыхать никого было, открытое окно, вся стфна открытая, иль вся природа открытая, я подлѣ тебя, ты мнѣ будешь говорить, будешь глядѣть на меня... Потомъ день, я пе отойду прочь, нфтъ, нфтъ, -- о какъ страшно будетъ тогда и на мигъ оставить тебя, день, цёлый день... потомъ опять ночь, опять день... и потомъ родина!.. Ну какъ ты мит скажешь: Наташа, повдемъ туда-то? Зачвмъ? Имъ надо вздить въ гости. Скажешь: пойдемъ объдать — о нътъ!.. Жили же пустынники въ лъсахъ, одни, не имъя никакого сообщенія съ людьми, почему же мы не можемъ жить такъ?". Жизнь отшельника, конечно, была не по вкусу Герцену. Объ уединенін и онъ писаль не разь, по объ уединенін на время, за которымь видивлось ему возвращеніе не "на родину" (т. е. на небо), а въ кинучую общественную жизнь. Противъ беззаботной жизни онъ ничего не имѣлъ, но напоминалъ, что такую жизнь можетъ дать только богатство... "Тебѣ незнакома жизнь; богатство это свобода... свобода не заниматься хозяйствомъ, а хозяйство пятнаетъ саломъ..." Такъ или иначе, относительно ближайшаго будущаго оба были согласны; разница во взглядахъ угрожала на этомъ пунктѣ только въ туманномъ далекъ.

Но быль другой пункть, и самый важный, въ которомъ это столкновеніе совершилось немедленно и причинило не мало страданій Наташь. Она смотръда все по старому на характеръ ихъ чувства. "Ты представишь меня Богу такой, какою онъ хочеть, шишеть она въ серединъ марта 1838 г., — ежели бы я не имъла этой въры, какъ бы любовь моя ин была необъятна, я не отдала бы себя тебъ-даже сказавши: "люблю". Чувство Герцена выражается совершенно иначе. "Я не могу болъе переносить разлуку,--твердить онъ,--чувствую, что пылающая душа жиеть тало, я весь болень, огонь льется въ жилахъ. Нфтъ, Наташа, ты не знаешь этой стороны любви... У тебя поднимается рука инсать: "ну, такъ послѣ поста (т. е. свадьба)". А я смотрю на эти слова, и слезы, и кровь струятся. Зачемъ мы виделись после 3-го марта, зачемъ я цьловаль тебя, зачымь рука моя смыла обыть твой стань?.. Да неужели ты спокойна?" -,,Въ этомъ письмѣ ты недостоинъ меня, -отвѣчаеть Наташа.—Все это любовь, но гдъ же въра, гдъ Богъ? Была ли бы я твоя Наташа, если бы я была не нокойна? Любовь моя до того сильна и свята, что я часто забываю, что ты не подлѣ меня. Я такъ тьсно слита съ тобою, что незамътна разлука. До твоего письма я была покойна, теперь мучусь... Нътъ, ты не любишь меня моей любовью... Я знаю, это любовь, но отбрось изъ нея то, что мучитъ тебя; люби, какъ и люблю". И еще черезъ итсколько дней она прибавляетъ: "Я не прощаю тебф этой любви... Обними еще достойно твою невфсту, и не расканвайся, что обнядъ... Ахъ, Александръ, я не могу постигнуть тебя!.. "

Эта маленькая размолвка, за нѣсколько дней до свадьбы, какъ бы резюмируеть основной диссонансъ всей переписки. Она потонула скоро въ ощущеніяхъ новой жизни, но для этой жизни она была нехорошимъ предзнаменованіемъ. "Вѣрь, — писалъ Герценъ осенью 1837 года,—недолго еще продолжится первый томъ твоихъ страданій, а второй—онъ еще не начиналея". Нечаянно Герценъ сказалъ здѣсь горькую правду. Второй томъ начался послѣ свадьбы, и страданія были въ этомъ томѣ не тѣ, какъ въ первомъ. Про прежнія Герценъ могъ выразиться: "надобно признаться, что въ нашихъ страданіяхъ больше

блаженства, нежели горести". Ко "второму тому" эта характеристика была бы совсёмъ неподходящей.

Между первымъ и вторымъ актомъ семейной драмы Герценовъ наступаеть, впрочемь, довольно продолжительный антракть. Первый акть мы возстановили по "Перепискъ" 1835—1838 гг.; второй становится намъ извъстенъ изъ "Дневника" 1842--1844 гг. Между "Перепиской" и "Дневинкомъ" проходять четыре долгіе года, богатые событіями п очень слабо освъщенные сохранившимися біографическими матеріалами. Когда занавъсъ снова подшимается надъ личной исторіей Герценовъ, мы уже застаемъ совсёмъ иную обстановку, иныя положенія действующихъ лицъ, иныя чувства и мысли. Какъ въ плохой драматической пьесь, насъ оповъщають задинмъ числомъ о томъ, что случилось въ промежуткъ. Чтобы судить объ этомъ самостоятельно, намъ остается попробовать самимъ проникнуть за кулисы. Это не совсёмъ невозможно. Напечатапная въ разныхъ мѣстахъ переписка обоихъ Герценовъ съ третьими лицами даетъ отрывочные штрихи, вскользь брошенные намеки, изъ сопоставленія которыхъ можно получить ифкоторое понятіе объ утраченной полной картинъ. Сюда относятся письма Герцена къ Витбергу, обоихъ Герценовъ къ Огареву и къ жеив владимірскаго губернатора Куруты, съ семьей котораго они сошлись довольно близко, письма Натальи Александровны къ ея московской подругъ Кліентовой.

Слабфе всего освъщають эти источники первый годъ семейной жизни Герценовъ: и это молчаніе – такъ же краснорфицво, какъ могъ бы быть самый подробный разсказъ. "Заброшенные въ маленькомъ городкъ, тихомъ и мирномъ, мы вполиъ были отданы другъ другу",вспоминаеть объ этомъ времени Герценъ. Мечты объ уедипенной жизни: вдвоемъ, которымъ предавалась Наташа, казалось, были теперь осуществлены вполиж. Полиое препебрежение къ "хозяйству", долгія протулки за городомъ, среди природы, длинные зимніе вечера вдвоемъ за кипгой, ни одного утаеннаго чувства, ни одной неразделенной мысли,чего же было больше желать? И все это давалось само собой, казалось такимъ естественнымъ, какъ кажется здоровье человѣку, который никогда не больлъ. Когда все это прошло, тогда только Герцену стало ясно, что это быль "крайній предёль возможнаго личнаго счастья" п что "коснуться" этого предала можно было только нечаянно. Нока онъ просто быль доволень и спокоень. Старые грахи были отпущены, повыхъ еще не успѣло накопиться. Проблема жизни, казалось, была разрфшена міровозэрфніемъ, которое отдавало распоряженіе жизнью въ руки верховной воли. "Мон желанія остановились. — говорить Герцень; —

мит было довольно, я жилъ въ настоящемъ, ничего не ждалъ отъ завтрашняго дня, беззаботно вфрилъ, что онъ и не возьметъ ничего". Весной 1839 г. пріфхаль во Владиміръ Огаревъ съ своей молодой женой, и состоялось давно желанное свидание друзей. Нѣсколько инсемъ, написанныхъ къ Огареву по этому поводу, освъщаютъ намъ тогдашиее пастроеніе Герценовъ: опо все то же, какъ и настроеніе переписки съ Наташей; въ теченіе года въ немъ ничего не измѣнилось. Если бы даже у насъ не было этихъ писемъ, о томъ же самомъ свидътельствовало бы знаменитое колфиопреклонение четверыхъ друзей передъ расиятіемъ, -преклоненіе, показавшееся Огаревымъ такимъ театральнымъ, хотя его искренность наглядно доказывалась радостными слезами свиданія. Настроеніе друзей, дайствительно, было такъ сильно и искренно, что самъ наблюдательный Герценъ не замѣтилъ ничего принужденнаго въ поведенін жены Огарева. Самою собою разумфлось, что губернаторская илемянница, блиставшая на провинціальныхъ раутахъ, должна стоять на высоть мистической экзальтаціи, созданной ифсколькими годами вятской переписки. То же самое настроеніе обнаруживается и въ тогдашнихъ литературныхъ произведеніяхъ Герцена. Это было время созданія религіозно-соціальныхъ драмъ, въ которыхъ апостолъ Павелъ воскрешаль для новой въры разочарованнаго оцтимата Лицинія и сапожникъ-квакеръ (Фоксъ) воспитывалъ въ аристократъ Пениъ творца диссидентской "Утопін", перенесенной на дъвственную почву Америки. Любовь и вфра переплетались въ этихъ драмахъ съ идеями соціальной реформы: Герценъ былъ правъ, когда говорилъ впоследствін, что инкогда, -- даже въ пору самаго пышнаго расцвъта личнаго счастья, --- общественныя стремленія его не оставляли.

Увы, эти драмы были такъ же недолговъчны, какъ и создавшее ихъ настроеніе. 9-го мая 1840 г. Герценъ все еще праздноваль вторую годовщину своей свадьбы, какъ "день полнаго духовнаго возрожденія, начало гармонической жизни и блаженства, которому конца не видать". Но между первой и второй годовщиной протъснилось уже немало обстоятельствъ, которыя грозили подконать "гармоническую кизнь и блаженство" въ самой основъ. Конецъ имъ наступилъ даже слишкомъ скоро.

VII.

13-го іюня 1839 года у Натальн Александровны родился первенецъ Саша. Около того же времени Герценъ получилъ разрѣшеніе жить въ столицахъ; во второй половинѣ 1839 года и въ началѣ слѣдующаго

онъ уже успѣлъ побывать въ Москвѣ и Петербургѣ но два раза. Оба эти факта положили конецъ безоблачной владимірской идилліп. Для Натальи Александровны начались материнскія заботы и огорченія; по неволѣ и по охотѣ, она сосредоточила всѣ свои интересы на дѣтской. Для Герцена кончился періодъ одиночества; онъ верпулся къ старымъ друзьямъ, завелъ новыя отношенія и принялъ самое горячее участіе въ борьбѣ литературныхъ и общественныхъ партій. Естественнымъ послѣдствіемъ этого должно было быть ослабленіе интереса къ семейной жизни,— и такимъ образомъ была подготовлена почва для драмы.

"Я не люблю разсвянную жизнь, — иннетъ Наташа владимірскимъ друзьямъ, только-что прібхавъ въ Москву;--она лишаетъ истинныхъ, душевныхъ удовольствій и дарить за шихъ пустыми, сухими". И въ дальнъйшихъ инсьмахъ повторяется все то же. "Я еще ръшительно не была нигдф, и ифтъ желанія, по Александръ непремфино хочетъ свозить меня въ театръ"... "Я до сихъ поръ не вижу инчего, кромф дфтской"... "Далве десяти шаговъ отъ своего крыльца я не была ингдъ". II Герцепъ пишетъ: "Много видвять я здвсь, живу разсвянио, а обдиая Наташа такъ вполив посвятила себя (ашв, что не участвуеть ни въ чель". Такимъ образомъ, съ первыхъ же шаговъ по возвращени въ столицу Герценъ онять зажилъ отдъльной духовной жизиью. Наташа "инчего не видить"; онъ, напротивъ, видить очень много, и всѣ эти впечатлънія ложатся, накошляются и растуть преградой между нимъ и ею. "Я въ хлонотахъ, дела и безделья много, то и другое отнимаетъ у меня, право, часовъ 28 въ сутки". Сначала онъ еще минутами тоскуеть по Владиміру. Москва встрѣтила его непривѣтливо; отъ нея пахиуло чёмъ-то чужимъ, и опъ временами не прочь перепестись мыслью въ только-что брошенный уголокъ, отдохнуть тамъ "не отъ устали, а отъ треска, шума и хлонотливаго безделья". Но скоро это чувство улегается: Герценъ рашительно отдается впечатланіямъ столичной жизни. Изъ Владиміра Наташа въ восхищеніи писала когда-то своей московской подругф, что Александръ не разстается съ ней даже и на два часа въ теченіе цълой педъли. Теперь, въ письмахъ изъ Москвы къ владимірскимъ друзьямъ она, напротивъ, ифсколько разъ новторяеть: "Александра вовсе не вижу"... "Александра почти не вижу здёсь, не живетъ вовсе дома, сделалъ много новаго знакомства". Какъ же она къ этому относится? До времени, она совершенио спокойна. "Слава Богу, — пишетъ она, — Александръ помирился съ Москвой". Ей только самой не хочется пускаться, вследь за нимъ, въ светъ; не хочется даже, чтобы слишкомъ часто ходили къ ней и нарушали ея одиночество. "Миф ин секунды не даютъ остаться одной", -- иншетъ она

съ легкой досадой, подъ впечатлѣніемъ частыхъ визитовъ. Естественно, что, при всѣхъ общественныхъ талаптахъ Герцена, его домъ не едѣлается салопомъ. У Свербеевыхъ, у Елагиныхъ опъ будетъ встрѣчаться, иѣсколько лѣтъ спустя, съ московскими литературными знаменитостями; но когда, сверхъ обыкловенія, ему захочется принять у себя одну изъ этихъ знаменитостей (Чаадаева), его будетъ шокировать собственная домашияя обстановка. Для параднаго обѣда онъ нарочно купитъ серебряные канделябры, а жену посадитъ за особый столъ — съ дѣтьми.

Въ 1840-мъ году, впрочемъ, такой исходъ едва ли представлялся воображению Герценовъ. Московская суетия—это было положение временное: съ окончательнымъ устройствомъ жизни оно должно было прекратиться. "Я жду съ истеривниемъ того времени, когда наша жизнь польется опять тихо, стройно", писала Наталья Александровна. И, казалось, ея ожиданиямъ суждено было сбыться. По волѣ отца, Герценъ поступилъ на службу и переселился въ Петербургъ,—чужой, незнакомый городъ, пепріятно оттолкнувшій его отъ себя при первомъ знакомствъ. Ноневолѣ опъ сталъ отдавать больше времени семъѣ; опять начались уединенныя прогулки, катанья на взморье, домашнія тête-à-tête. "Побывавши въ Петергофѣ, въ Парголовѣ, нагулявшись до-сыта, мы сѣли дома и забываемъ, что мы въ Петербургѣ: опять тихая, уединенная, трудолюбивая жизнь", пишетъ Н. А. въ сентябрѣ 1840 года, четыре мѣсяца спустя послѣ пріѣзда.

Это было такъ только по видимости; на дълъ основы личнаго счастья были уже подкованы. Послъ московскихъ впечатлъній Герценъ не могъ больше паходить полнаго удовлетворенія въ семейной жизни. Онъ принялъ чувство Наташи какъ существующій фактъ, какъ что-то должное, неизмѣнное и необходимое: принялъ, сложилъ его въ архивъ и предался другимъ, новымъ ощущеніямъ окружающей жизни. Между тъмъ, любовь Наташи была требовательнѣе, чѣмъ ему казалось и чѣмъ казалось ей самой. Эта любовь требовала не простого признанія, а постояннаго дѣятельнаго обнаруженія, и не встрѣчая— или встрѣчая все рѣже—активныя проявленія чувства, она оскорблялась. Въ Москвѣ и даже въ Истербургѣ обстановка жизни не давала развиться этимъ скрытымъ диссонансамъ; но скоро условія перемѣнились, и внутренній разладъ быстро вышелъ наружу.

Какъ извъстно, одно вскрытое на почть письмо новело за собой новую ссылку Герцена. Изъ Истербурга ему пришлось въ срединъ 1841 года перевхать въ Новгородъ. На этотъ разъ впервые судьба распорядилась Герценомъ противъ его желанія. Пребываніе въ Вяткъ, во Владиміръ, какъ мы знаемъ, вполит удовлетворяло потребностямъ

его впутренией жизни. Ссылкой опъ спасался отъ прошлой жизни и готовился къ будущей. Теперь эта подготовка была закончена: въ сознаніи полнаго расцвѣта своихъ сплъ Герценъ хотѣлъ теперь дѣйствовать,—и Новгородъ являлся на пути досадной, невыпосимой помѣхой. Черныя мысли бродили въ его головѣ; онъ скрывалъ ихъ отъ Наташи, но глухое недовольство жизнью невольно отражалось въ неровностяхъ настроенія. На Наташу, больную двумя неудачными родами, это не могло не вліять; она должна была видѣть, что безсильна поддержать въ немъ бодрость, — и тоже пріучилась скрывать отъ него свое огорченіе. Такимъ образомъ, онъ сердился, она грустила: оба таились другъ отъ друга. Герценъ сталъ повѣрять свои мысли дневнику; чувства Наташи выливались слезами.

"Господи, какіе невыпосимо тяжелые часы грусти разъвдають меня", встрѣчаемъ въ дневникъ. "Слабость ли это, или послѣдствіе того развитія, которое приняла душа моя, или, наконецъ, мое законное правообразъ отраженія во мив окружающаго? Неужели считать мою жизнь оконченною, неужели все волнующее, занимающее меня, всю готовность труда, всю необходимость обнаруженія-схоронить, держать подъ тяжелымъ камиемъ, пока пріучусь къ немоте, пока заглохнуть потребности?.. Я долженъ обнаруживаться, ту, пожалуй, но той же необходимости, по которой инщить сверчокъ". "Мий одиночество въ кругу звърей вредно", замъчаетъ Герценъ въ другомъ мъсть дневника. "Моя натура по превосходству соціабельная. Я назначень для трибуны, форума, какъ рыба для воды. Тихій уголокъ, полный гармонін и счастія семейной жизни, не наполняеть всего, - и именно въ ненаполненной доль души, за неимъніемъ другого, бродить цьлый міръ-безплодно и какъ-то судорожно... Я чувствую исихологическую необходимость ахать въ большой городъ; надобны люди, и вяну, во мит бродить какая-то неупотребленная масса возможностей, которая, не находя истока, подинмаеть со дна души всякую дрянь, мелочи, нечистыя страсти".

Но куда же дѣлось міровоззрѣніе, примирявшее Герцена съ неизвѣстностью будущаго? Увы, отъ этого міровоззрѣнія въ Новгородѣ не осталось и слѣда. Герценъ завидуетъ "дѣтски-религіознымъ людямъ", которымъ "жить чрезвычайно легко". Самъ онъ не принадлежитъ къ нимъ больше. Позднѣе онъ разсказалъ подробио этотъ переворотъ, совершившійся съ нимъ въ Новгородѣ и круто приведшій его отъ мистицизма къ самому неумолимому реализму. Чтеніе Фейербаха ("Wesen des Christenthums") окончательно санкціонируетъ эту ломку убѣжденій, временно навѣянныхъ обстоятельствами. Новыя убѣжденія являются для Герцена своего рода возвращеніемъ къ старымъ привычкамъ мысли, усвоеннымъ съ дътства. Вотъ почему опъ разорвалъ со старымъ ръзче и рѣпительнѣе, чѣмъ кто-либо другой изъ людей его поколѣнія. Бѣлинскій, мы видѣли, вышелъ въ одно время съ Герценомъ на путь реализма. Но у Бѣлинскаго это была реакція жизип противъ системы; у Герцена это полная замѣна одной системы другой. Встрѣтившись, они не поняли въ первую минуту другъ друга, и Герценъ рѣзко протестовалъ во имя жизненныхъ требованій противъ теоретическаго увлеченія Бѣлинскаго "разумной дѣйствительностью". Но скоро разъленилось, что въ "дѣйствительности" Бѣлинскаго иѣтъ ничего философскаго; напротивъ, за "реальностью" Герцена стояло цѣлое міропониманіе, шедшее гораздо дальше и отрицавшее гораздо послѣдовательнѣе старыя заблужденія и предравсудки.

"Если глубоко всмотраться вы жизнь, —такъ резюмируеть дневникъ эти новыя мысли, -- конечно, высшее благо есть само существованіе... Когда это поймутъ, -- ноймутъ, что въ мірт иттъ ничего глупте, какъ препебрегать настоящимъ въ пользу грядущаго. Настоящее есть реальная сфера бытія. Каждую минуту, каждое наслажденіе должно ловить, душа безпрерывно должна быть раскрыта, наполняться, всасывать всеокружающее и разливать въ него свое. Цюль экизни--экизнь". И съ этой точки зранія Герцень рашительно возстаеть противь "фантомовь", которыми "піэтисты" стращають человіческое воображеніе. Зачімь бороться противъ "страстей?" Что можетъ быть граховнаго въ этомъ дарт природы? "Въ огит увлеченья есть прелесть: живешь вдесятеро"; больше человъчности — въ страсти, побъдившей человъка, чъмъ въ страсти, имъ побъжденной. И во имя чего пужно побъждать въ себъ страсти? Во имя отвлеченной морали? Но это сухо, нечеловфчио. Во имя общественнаго порядка? Но онъ можетъ измѣниться и изъ неразумнаго стать раціональнымъ: общественный порядокъ -- не цѣль, а средство для удовлетворенія цёли, которая состоить въ достиженіи человъческаго счастья. Правда, люди часто ищуть счастье въ стремленіи къ темъ же "фантомамъ": въ пожертвованін будущему настоящимъ, въ подчиненій законамъ, извиб паложеннымъ на человъческую волю. Въ дъйствительности, счастье заключается въ "полнотъ наслажденія", п чтобы оно было полно, человъкъ долженъ сливаться съ общей жизиью. Привязывать свое счастье къ жизни отдъльнаго человъка или къ отдъльному чувству значить ввъряться слъпой судьов и ставить себя въ зависимость отъ ся случайныхъ, безсмысленныхъ ударовъ. "Неужели для человѣка только и дано въ удълъ, что любиться, и развъ одна любовь дасть Grundton всей жизни? На все есть время. Зачъмъ этотъ человъкъ не раскрылъ свою дущу общимъ, человъческимъ интересамъ,

зачать онъ не дорось до нихъ? Зачать и женщина эта построила весь храмъ своей жизни на такомъ песчаномъ грунта? Какъ можно имать единымъ якоремъ спасенія индивидуальность чью-нибудь?—Все отъ того, что мы дати, дати и дати".

Знала ли Наташа, что иншетъ Александръ въ кингв, которую она подарила ему для дневника? Во всякомъ случат, если она даже только предполагала это изъ случайныхъ оговорокъ Герцена, то для ея грусти была налицо достаточная причина. Отъ ся міровоззрѣнія, усвонвъ которое, Александръ едълался ея Александромъ, — здъсь не оставалось камня на камив. Какъ будто совсвмъ никогда не было ни вятской нерениски, ни прежнихъ "паденій", ни прежнихъ мистическихъ экстазовъ. Все было разрушено сразу и безвозвратно. Если только это старое міровоззрвніе продолжало, въ глазахъ Наташи, придавать смыслъ ихъ союзу, то теперь союзъ долженъ былъ лишиться всякаго смысла. Что же дълалъ Герценъ, чтобы возстановить идейную связь; скрывалъ ли онъ свои новыя мысли или, напротивъ, старался, чтобы Наташа ихъ возможно поливе усвоила? Повидимому,--пи то, ни другое. Герценъ быль слишкомь занять своей собственной внутренней работой и не присматривался къ тому, что делалось въ душе его жены. "Часто заставаль я ее у кровати Саши съ заплаканными глазами", писаль онъ много времени сцустя; "она увъряда меня, что все это отъ разстроенныхъ первовъ, что лучше этого не замбчать, не спрашивать.. я вбрилъ ей"... черезчуръ охотно. Конечно, не теоретическія разногласія сами по себф вызывали у Наташи эти слезы; по ея теоретическія воззрѣнія были слишкомъ тьсно переплетены съ ея любовью: Герценъ одновременно подвергалъ испытанію то и другое. Какъ прежде, горе Наташи приняло форму самообвиненій. "Я чувствую, вижу, что не могу развлечь тебя, тебѣ скучно — я понимаю это, я оправдываю тебя, но мив больно... Я знаю, что ты меня любишь, что тебв меня жаль, но ты не знаешь, откуда у тебя тоска, откуда это чувство пустоты, ты чувствуещь обдиость своей жизни, и въ самомъ дълъ, что я могу едълать для тебя?" II разъ высказанныя, эти "Grübeleien" снова и спова возвращались: "только что я забываль ихъ, -говорить Герценъ, --они снова поднимали голову, совершенно инчамъ не вызванные, и когда они проходили, я впередъ боялся ихъ возвращенія". Только поздифе онъ понялъ, что эти "черные призраки" — не случайность, не простое недоразумбніе и даже не следствіе одного только болезненнаго состоянія Наташи, --что "корни" ихъ лежали "глубже, въ ея характерь, въ ея восинтании". И тогда ему приходилось винить себя за то, "что не умъть осторожно, иъжно ихъ вырвать". По поздивйшему замъчанію

Герцена, "это быль кризись, бользиенный переходь изь юности вы совершеннольте; она не могла сладить съ мыслями, точившими ее". и "я", прибавляеть Герценъ, "не только не помогъ ей въ это время. а напротивъ, далъ поводъ развиться сильные и глубже всымъ" этимъ терзаніямъ, которыя "поставили ее на край чахотки".

VIII.

О "поводъ", на который намекаетъ здъсь Герценъ, разсказано въ III томѣ воспоминаній Т. П. Пассекъ (стр. 87). Это случилось тотчасъ послѣ переселенія изъ Новгорода въ Москву. Подъ 29-мъ іюля 1842 г. находимъ въ дневникѣ слъдующую замътку. "Ничего не дълаю, а внутри сдълалось и дълается много. Я увлекался, не могъ остановиться- и послѣ ахнулъ. Но въ самомъ раскаянін есть что-то защищающее меня передъ собою. Не ть ли единственно удерживаются, которые не имфютъ сильныхъ увлеченій? И почему мое увлеченіе было полно упоенія, безумнаго bien-être, на которое обращаясь, я не могу его проклясть... Пусть положительное законодательство назначаеть плети и цъни... мы должны съ иной точки взглянуть на паденіе, на искушеніе... Люди, развившіеся до современности, не хотятъ... безсознательныхъ уступокъ положительному законодательству, преданію etc. Все хотять провести черезь гориило сознанія; съ этимь вмѣстѣ дътскія върованія, готовыя понятія о добрь и злъ уничтожаются". Мы видимъ, Герценъ очень скоръ на оправдание своего поступка; онъ даже подводить его подъ свой новый моральный кодексъ. Но какъ въ исторін съ Медвідевой, "наказаніе идеть рядомъ съ проступкомъ". "Подъ 13-мъ августа Герценъ говорить объ "угрызеніяхъ за послъднюю глупость". Иока-это для него все еще только "глупость"; и поздиве онъ замъчаетъ: "я никогда не придалъ бы огромной важности гадкому, но безсладному поступку, если бы онъ не прибавиль ей страдація". Настоящая казнь начинается, когда узнаеть о поступкъ Наташа. По обыкновенію, она молчить и плачеть. Герценъ принисываеть это потрясенію, произведенному третьими неудачными родами. Сперва онъ тоже молчить, "не находить силь вынести этоть видь" ифмого страданія, "отъ него приходить въ какое-то горячечное состояніе" и "уходить съ какою-то тяжестью въ груди, въ головъ". Но, наконецъ, опъ хочеть объясниться — и встрачаеть прежніе Grübeleien. "Я теба не нужна, напротивъ, всегда больная, страждущая. Я тебъ порчу жизнь, лучше было бы избавить отъ себя". Онять всилываетъ у ней увфренпость, что она не подходить для Герцена, что ему нужна другая, болѣе энергичная натура. Герценъ просить, убъждаеть, требуеть, по скоро ему приходится убъдиться, что у него "иътъ больше той самодержавной власти, съ которой" опъ "могъ прежде заклинать мрачныхъ духовъ". "У ней нъть въры въ меня", -замвчаетъ онъ, раньше чвиъ догадывается, почему это такъ вышло. Наконецъ, опъ догадывается, ходитъ нѣсколько дней, какъ "колодинкъ, приговоренный къ кнуту, передъ наказайемъ", и рѣшается въ концѣ концовъ на полную псповѣдь. Подъ 21-мъ япваря (1843) находимъ замътку: "Вчера мы долго, долго и скорбно говорили. Я раскрываль всв раны, всв угрызенія, нанесенныя минутами паденія. Мало-по-малу становилось на душф свфтлфе; я какъ-то выросталь, ощущалъ всю мощь свою, всю любовь свою и всю ея любовь, обиявшую нимбомъ существо мое. И мы проведи минуты высокаго блаженства, все прошедшее было забыто, мы были хороши, какъ въдень свадьбы". И онъ спокойно переходить къ своимъ книгамъ, къ своимъ литературнымъ работамъ, къ салоннымъ встрфчамъ и спорамъ, которыми полонъ дневникъ. Скоро оказывается, однако, что забвеніе прошлаго онъ торжествоваль слишкомъ посившно. 4-го марта въ дневника записано "еще ужасное и тяжелое объяснение съ Наташей". "Я думалъ, все окончено, давно окончено; но въ сердцъ женщины не скоро пронадаетъ такое оскорбленіе. Она плакала, — отчаянно, горько плакала, я уничтожаль себя: состраданіе, любовь, мучительное угрызеніе, бішенство, безуміе—все разомъ терзало меня". Въ этомъ смѣшанномъ чувствѣ обвиненіе себя все еще перемішивается съ обвиненіемъ ея, и порывы страсти чередуются съ минутами анатін, въ которыя Герценъ готовъ все бросить. "Что же ей, когда я такъ чисто покаялся, когда это уже давнопрощедшій факть? Зачемь подрываться подь другого?.. ", Человъкъ съ глубокимъ сознаніемъ своей вины... просить, чтобы его судили, распяли; онъ... попимаетъ, что наказаніе должно быть... онъ не возмутится, а просто приметъ казнь", потому что "подозрѣваетъ, что ему легче будеть по ту сторону наказанія, что казнь примиряеть, отрізываетъ прошедшее отъ грядущаго... Но сила карающая должна на томъ и остановиться; если она будеть продолжать карать, если она безпрестанно будеть ему напоминать гнусность его поступка, -- по страшному реактивному дъйствію падній возмутится, онъ самъ себя начисть реабилитировать... Что онъ прибавить къ своему раскаянію? Чёмъ ему циаче примириться?.. Человъкъ, которому иътъ прощенія, долженъ заръзаться нли глубже погрязнуть въ пороки-иного выхода ему ифтъ". И у Герцена совершенно опускаются руки. "Въ такія минуты я, долго изнемогая, дохожу до мыслей слабыхъ. Миж бы хотвлось уфхать одному изъ Москвы, не видать, не знать и отдохнуть такъ. Мив становится страшно въ компать". Нъсколько дней спустя выдается опять день свътлый, какъ день свадьбы; а затъмъ, черезъ мъсяцъ,—снова пароксизмъ грусти, еще болье спльный. "Ея грусть принимаетъ видъ безвыходнаго отчаянія. Бывало за слезами слъдовали свътлыя слова. Я пе зпаю, что миъ дълать. Ни моя любовь, ин молитва къ ней — не помогаетъ. Я гибну правственно уничтоженный, флетрированный. Каплю елея на раны, каплю воды на алканье... изнемогаю. Я шутя, безсознательно, буйствуя, развизалъ руки пизкой натуръ своей, разбилъ зданіе всей жизни, и не умълъ сохранить, потому что слишкомъ много дано было... Она бываетъ жестка, безнощадна со мной, — много надобно было, чтобы довети до этого ангельскую доброту". Заставить себя чувствовать иначе—оказывается совсъмъ не въ воль Наташи; не разъ Герценъ замьчаетъ, что она хочетъ простить — и не можетъ, что у ней "иътъ силъ и средствъ забыть, примириться истинно, простить безслъдно".

Въ довершение всего, Герцену приходится дрожать за самую жизнь Наташи. "Ен здоровье разрушается наглазно; она тлѣетъ — одна надежда у меня на лѣто и путешествіе". "Я стою со всѣмъ благомъ моей жизни... на весениемъ льду, и эти минуты внутренняго тренета—ихъ ничѣмъ инчто не вознаградитъ. Страшный скептицизмъ остается результатомъ всего этого, и ни занятія, ничто не мощно побѣдить боль".

Въ этомъ тяжеломъ душевномъ настроеніи застала Герценовъ пятая годовщина ихъ брака. Этотъ пятый годъ былъ тяжелъ,—пишетъ Герценъ,—онъ раздавилъ послѣдніе цвѣты юности, послѣднія упованія... Да, да, послѣдніе листы облетѣли: будетъ ли весна и новый листъ, могучій по возврату,—кто скажетъ?"

Гораздо нозже Герценъ воть какъ отвътиль на этоть вопросъ. "Разумъется, мы не могла возвратиться къ весениему, юному владимірскому отшельничеству. Шиллеръ правъ: "май жизни цвътеть одинъ разъ", но есть еще другіе цвъты,—не майскіе,—которые распускаются въ іюнъ, іюлъ, августъ; они на своемъ мъстъ такъ же красивы и благоуханны, какъ весениія віолетки и ландыши на своемъ". Прежнее чувство было убито тъма испытаніями, которыя поставилъ ему Герценъ; но оно замънилось новымъ, которое имъло свою привлекательность. "Ихъ существованіе удержалось сожальніемъ другъ о другъ; одно утьшеніе, доступное имъ, состояло въ глубокомъ убъжденіи необходимости одного для другого, для того чтобы какъ-ино́удь нести крестъ... Это уже не былъ бракъ, ихъ связывала не любовь, а какое-то глубокое братство въ несчастій; ихъ судьба тъсно затягивалась и держалась вмъстъ тремя маленькими, холодными рученками и безнадежной

пустотою около и впереди". Кажется, Герценъ имѣлъ въ виду свои собственныя отношенія, когда писаль эту прочувствованную характеристику одной знакомой новгородской семьи.

Время затянуло мало-по-малу свъжія раны. Герцены оба утомлены были правственно и физически, оба знали теперь цѣну страданіямъ, оба нуждались въ покоѣ в отдыхѣ. Онъ научился лучше цѣнить свое семейное счастье: она постепенно мирилась съ крушеніемъ юпошескихъ идеаловъ. Одпа меньше требовала, другой больше готовъ былъ дать. Чѣмъ невозвратимѣе были утраты въ прошломъ, тѣмъ больше дорожили оба остаткомъ жизии. "Душа, какъ корабль,—замѣчаетъ Герценъ,—что ин побѣжденная буря, то ближе къ разрушенію. Матросы становятся лучше, а дерево хуже".

Успоконвшись отъ домашнихъ бурь, Герценъ тямъ энергичнъе могъ теперь предаться литературной и общественной даятельности. Эпизоды личной исторіи все ръже и ръже попадаются въ диевникъ 1844 и 1845 годовъ. Герценъ весь погруженъ въ борьбу. Прежде онъ спорилъ, старался убъдить и убъдиться самъ: теперь онъ убъжденъ, спорыему надовли, литературные противники превращаются для него въ общественныхъ враговъ, разногласія приводять къ разрыву, партіп опредъляются окончательно и во всеоружін стоять другь противъ друга. Но Герцена уже перестаетъ удовлетворять и эта черипльная и словесная война. "Двйствительнаго дъянія, на которое мы бы были призваны, ифтъ; выдыхаться въ вфиномъ плачф, въ сосредоточенной скорби — не есть дёло. Что же мий дёлать въ Москве?.. Мий даже люди выше обыкновенныхъ начинають быть противцы: этотъ сустный, сорокалътній парень Хомяковъ, просмѣявшійся цѣлую жизнь и ловившій целъпый призракъ русско-византійской церкви, делающейся всемірной,--повторяющій одно и то же, погубившій въ себъ гигантскую способность,—и Аксаковъ, безумный о Москвѣ, ожидающій не ныиче-завтра воскресенія старинцой Руси, перенесенія столицы и чорть знасть что". "Всякій разъ, какъ я вижу Чаадаева, — записываетъ Герценъ черезъ ивсколько дней, — я содрогаюсь. Какая благородная и чистая личность, и что же? Тяжелая атмосфера съверная сгибаетъ (эту личность) въ ничтожную жизнь маленькихъ преній, пустой траты себя словами о ненужномъ, ложной замвной истиннаго двла и слова... Чвмъ больше, чъмъ внимательнъе всматриваещься въ лучшихъ, благородивйшихъ людей, тамъ ясиве видишь, что это неестественное распадение съ жизнью ведеть къ идіосинкразіямь, ко всякимь субъективнымь блажнямъ... Одинъ никого не любитъ, а влюбленъ, теоретически хочетъ жениться во что бы то ни стало, другой выдумываетъ другую мнимую



Н. А. Герценъ (1847 г.).



муку и носится съ нею; все это одинаковымъ образомъ свидътельствуетъ о совершенномъ недостаткъ истинныхъ, всепоглощающихъ занятій... Ни у кого ніть собственно практическаго діла, которое было бы принимаемо за дело истинное, вовлекающее въ себя все силы души. И Герцена тянетъ подальше отъ этой жизни, отъ этихъ людей. Въ Москвъ ему становится такъ же душно, какъ было душно въ Новгородъ. Старая мысль о путешествін въ теплые края, въ Италію, снова начинаеть дразнить воображение. "Вхать вдаль" — нужно было и для того, чтобы поправить здоровье Наташи, и для того, чтобы удовлетворить этимъ порываніямъ души на европейскій просторъ, и, наконецъ, для того, чтобы очистить атмосферу разнаго рода личныхъ отношеній. Въ 1845 году Герценъ окончательно разорвалъ съ славянофилами, которые стали теперь для него политическими врагами. Въ 1846 году начался разладъ съ ближайшими друзьями, Грановскимъ и другими, которые не хотили разстаться съ "фантомами" юности и не ришались принять всихъ выводовъ герценовского реализма. Съ своимъ философскимъ и политическимъ радикализмомъ Герценъ оставался одинъ или почти одинъ: его сторону приняли только Огаревъ и Наташа, -- послъдняя, кажется, не безъ оговорокъ по адресу личнаго характера Герцена, сыгравшаго свою роль въ порча дружескихъ отношеній. Конечно, на сторои в Герцена стояло молодое покол внимательно сл вдившее за его журнальной проповѣдью реализма. Но личныхъ связей съ молодежью у него было немного, и онф не могли удерживать его на родинъ. Послъ смерти отца (6-го мая 1846 г.) не удерживалъ его и недостатокъ денежныхъ средствъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ заграничный паспорть быль у Герцена въ карманф, и 21-го января 1847 года онъ двинулся въ путь. За границей разыгрывается и эпилогъ семейной драмы.

IX.

Попытка изобразить эпилогъ семейной исторіи Герценовъ уже была сдълана П. В. Анненковымъ ¹). По, несмотря на то, что за Анненковымъ остается преимущество очевидца,—мы рѣшаемся думать, что картина ему не удалась. Если вѣрить его наблюденіямъ, скромная, робкая хозяйка дома превратилась за границей въ блестящую туристку и, освободившись раньше самого Герцена отъ старыхъ основъ правственнаго быта, бросилась въ ногоню за спльными ощущеніями. Намъ

11

 $^{^{1}}$) Въ его статьт въ $B.\ Eвр.$ "Замъчательное десятилътіе", перенечатанной въ "Воспоминаніяхъ и очеркахъ", т. III.

кажется, что, рисуя эту банальную фигуру взбалмошной женщины, бросающей добродътельнаго мужа для демоническаго любовника, Анпенковъ вовсе не зналъ того, что было у Герценовъ въ прошломъ, и совершенно не понялъ того, что видълъ въ настоящемъ. О томъ и другомъ намъ извъстно теперь гораздо больше, чъмъ могло быть извъстно Апненкову; вотъ почему мы можемъ спокойно игнорировать его разсказъ. Остается еще одна, высшая инстанція, въ которой истипа должна быть окончательно возстановлена. Мы разумѣемъ неизданную до сихъ поръ часть "Былого и думъ",—ту, "для которой" Герценъ "писалъ всъ остальныя", которую онъ самъ еще въ 1866 году предполагалъ опубликовать въ болѣе или менѣе пепродолжительномъ времени и которая, къ сожалѣнію, до сихъ поръ остается подъ спудомъ. Иѣтъ никакого сомпѣнія, что содержаніе этой части будетъ гораздо ближе къ подлиннымъ документамъ, чѣмъ къ впечатлѣніямъ сторонняго наблюдателя.

Настроеніе, овладѣвшее Натальей Александровной за границей, очень ярко рисуется въ письмахъ къ И. А. Тучковой, второй женѣ Огарева, тогда еще очень молодой дѣвушкѣ. "Неудовлетворенность"— вотъ общій тонъ этого настроенія, этотъ тонъ замѣтилъ и Анненковъ, но онъ не могъ видѣть почвы, на которой "пеудовлетворенность" Наташи возникла и выросла. И это немудрено, потому что Наталья Александровна съ своей обычной замкнутостью тапла въ себѣ секретъ этого настроенія и высказывалась одной только Тучковой. "Только съ тобой я такъ могу говорить",—пишетъ она своей новой подругѣ; "ты меня поймешь, оттого что такъ жее слаба, какъ я: но съ другими, кто сильнѣе и слабѣе, я бы не хотѣла такъ говорить, не хотѣла бы, чтобы они слышали, какъ я говорю; для нихъ я найду сюжетъ другой". И не разъ она сама удивляется порывамъ своей откровенности.

Откуда же явилась эта потребность сердечныхъ изліяній другому? Что лежало на душѣ Наташи, что ей необходимо было перелить въ родную душу? Почему этимъ повѣреннымъ души былъ теперь не мужъ, а подруга? Все это объяснятъ намъ сами письма.

Прежде всего, въ этихъ письмахъ мы встрѣчаемъ все ту же, хорошо знакомую намъ Наташу московской "переписки"; въ 1848 году она остается такой же, какой была десять лѣтъ раньше. Содержаніе внутренней жизни, конечно, совершенно иное, чѣмъ прежде; но попрежнему внутренняя жизнь преобладаетъ надъ внѣшней; попрежиему калейдоскопъ впечатлѣній гнететъ и давитъ Наташу, и ей бы хотѣлось уйти отъ житейской суеты въ тѣсный кругъ близкихъ людей. "Меня пугаетъ мое равнодушіе",—пишетъ она; "такъ немногое, такъ немногое меня интересуетъ: природа—только не въ кухнѣ; исторія—только

не въ камеръ, потомъ семья, потомъ еще двое, трое, вотъ и все"... "Всв республики, революцін, все въ этомъ родв-мив кажется чулочнымъ вязаньемъ; то же дъйствіе производять на меня, ну, Кавепьякъ, Наполеонъ, тамъ еще не знаю кто: это синцы, на котерыхъ нанизаны, маленькія самомальйшія петли, — и вяжутся, вяжутся... нитки топкія, гнилыя, тамъ порвется, здась порвется, вса ахаютъ, кричатъ, бросаются поднимать, а петли рвутся и распускаются больше; узель на узлъ-да какой грязный чулокъ-то!" "Наше общество теперь, какъ арлекинъ-- ужасная пестрота. Я люблю разнообразіе, а арлекиновъ не люблю. Двое, трое-это много, съ къмъ хочется поговорить немного; съ другими у меня дѣлается удушье. Въ ихъ присутствіи я чувствую только тягость существовація"... "Миф надофли китайскія тфин; я не знаю, зачемъ и кого я вижу; знаю только, что слишкомъ много вижу людей, не могу сосредоточиться ин на одну минуту... Приходить вечеръ, дъти укладываются: ну, кажется, отдохну,--нътъ, ношли бродить хорошіе люди, — и отъ этого пуще тяжело, что хорошіе люди... Чувствую, будто дымъ кругомъ бродитъ, глаза фстъ, дышать тяжело, а уйдуть---ничего не останется. Настаеть завтра---все то же"... Мы видимъ, никакіе питересы не привязываютъ Наташу къ окружающей жизни: опа находить въ ней только внёшнюю суету, "мышиную бъготию"; люди и факты идуть мимо нея, какъ "китайскія тфин"; они только утомляють ее, не развлекая, точно "капель весною". Но эта жизнь становится для нея решительно невыносимой, когда въ душе начинаетъ шевелиться что-то новое, что-то такое, къ чему надо прислушаться, въ чемъ надо разобраться, -а всему этому стоитъ на дорогь житейская сутолока. Ей хочется уйти куда-нибудь подальше, быть "совершенно одной", чтобы "не мѣшало" никакое "прикосновеніе", — "ни милое, ни постылое": только тогда она можеть "дышать полнъе и шире". "Я немногаго хочу, нъсколько часовъ въ день себъ, себф, т. е. чтобы я могла другому ихъ отдать, какъ я хочу, -остальное время я готова слушать, пожалуй".

Все это были симптомы рѣшительнаго правственнаго переворота, подготовленнаго всей предыдущей жизнью. Надо себѣ представить положение женскаго поколѣнія тридцатыхъ годовъ, для того чтобы понять значеніе и необходимость этого переворота въ Наташѣ.

Положеніе женской молодежи того времени было очень нелегко. Лишенная высшей и даже средней школы, дома учившаяся только языкамъ, читавшая въ лучшемъ случат только романы, она не имъла достаточной подготовки, чтобы жить жизнью вта и идти, въ мысли и въ чувствт, объ руку съ мужской молодежью. Къ участію въ серьезныхъ

чтеніяхъ и спорахъ молодыхъ людей не допускали дівушекъ простыя требованія приличія, не говоря уже о подготовкъ. Между тъмъ, результаты юношескихъ споровъ были далеко не безразличны для барышень. Женщина играла въ этихъ спорахъ очень важную роль; теоретически ей предоставлялась рель высшаго существа, предназначеніемъ котораго было пересоздать мужчину. Среди табачнаго дыма и за стаканами вина рфшались вопросы, какъ женщина должна любить: то отъ нея ждали любви по Шиллеру, то она должна была чувствовать по Гегелю, то ей рекомендовалось проникнуться настроеніемъ Жоржъ-Зандъ. И все это предъявлялось одному и тому же женскому ноколънію на очень короткомъ промежуткѣ времени въ одинаково безусловной, догматической формъ, Сколько же нужно было такта и искренности, мягкости и врожденнаго благородства, чтобы, не прибъгая къ лицемърію, удовлетворить ожиданіямъ молодыхъ людей—и остаться въ то же время самими собю? Очень часто происходили, въ результать, ть трагическія педоразумьнія, которыя Герцень такъ мьтко охаракте ризоваль по поводу брака Огарева. Молодой человѣкъ замѣчалъ послѣ свадьбы, что существо, которое онъ считалъ самымъ близкимъ, не понимаетъ первыхъ буквъ того языка, на которомъ онъ говоритъ съ ней. "Онъ принимался наскоро будить женщину, но большей частью только пугалъ или путалъ ее. Оторванная отъ преданій, отъ которыхъ она не освободилась, и переброшенная черезъ какой-то оврагъ, инчемъ не наполненный, она вфрила въ свое освобождение... Ея растерянныя мысли, безсвязно взятыя изъ Жоржъ-Зандъ, изъ нашихъ разговоровъ, никогда ни въ чемъ пе дошедшія до ясности, вели ее отъ одной нелѣпости къ другой, къ эксцентричностямъ, которыя она принимала за оригинальную самобытность, къ тому женскому освобождению, въ силу котораго онъ отрицають изъ существующаго и принятаго на выборь, что имъ не нравится, сохраняя упорно все остальное". "А мы",--прибавляеть Герцепъ, -, думаемъ, что сдфлали дфло и проповфдуемъ ей, какъ въ аудиторін".

Совствиь иначе совершилась эмансипація Наташи. Для нея переходъ быль особенно круть отъ мистицизма переписки къ герцеповскому реализму сороковыхъ годовъ. О новомъ міровоззрѣніи она догадалась только тогда, когда въ кругу близкихъ ей отношеній явились факты, сами по себѣ разрушавшіе старое міровоззрѣніе. "Не въ книгѣ и съ книгой освободилась она, а ясповидѣніемъ и жизнію. Певажныя испытанія, горькія столкновенія, которыя для многихъ прошли бы безслѣдно, провели сильныя борозды въ ея душѣ и были достаточнымъ поводомъ внутренней глубокой работы. Довольно было легкаго намека, чтобы отъ

послѣдствія къ послѣдствію опа доходила до того безбоязненнаго пониманія истины, которое тяжело ложится и на мужскую грудь. Она грустно разставалась съ своимъ иконостасомъ, въ которомъ стояло такъ много завѣтныхъ святынь, облитыхъ слезами печали и радости; она покидала ихъ не краснѣя, какъ красиѣютъ большія дѣвочки своей вчерашней куклы. Она не отвернулась отъ нихъ, она ихъ уступила съ болью, зная, что она станетъ отъ этого оѣдиѣе..., что она дружится съ суровыми, равподушными силами, глухими къ ленету молитвы, глухими къ загробнымъ упованіямъ. Она тихо отняла ихъ отъ груди, какъ умершее дитя, и тихо опустила ихъ въ гробъ, уважая въ нихъ прошлую жизнь,—поэзію, данную ими... Она и послѣ не любила холодно касаться до нихъ, — такъ, какъ мы минуемъ безъ нужды ступать на земляную насыпь могилы".

Χ.

Мы отчасти уже видъли, чего стоила Наташъ эта "внутренияя ломка и перестройка встхъ убъжденій". Принесла ли она эту жертву на алтарь любви или истины, мы навърное не знаемъ; какъ бы то ни было, жертва была слишкомъ тяжела. На ивсколько лвтъ Наташа совершенно обезсилъла; все въ ней точно замерло и оцъпенъло. Поъздка за границу понемногу освободила ее отъ этого моральнаго столбияка. "Въ Италін было мое возрожденіе",--пишеть она Тучковой; это была для нея "вторая молодость, которая ярче, реальные и богаче нервой". Вмасть съ этимъ обновлениемъ души явилась и потребность чувства, но новаго, свъжаго и вполит свободнаго чувства. Эта-то потребность своей собственной, личной жизни и просится неудержимо наружу въ инсьмахъ Наташи къ Тучковой. "Довольно умирать, хотфлось бы жить", твердить она. "Хочу жить, жить своей жизнью, жить, насколько во миф жизни". И вотъ совъты, которые она теперь даетъ своей молодой поклонинцъ, жертвующей собою-роднымъ. "Въ тебъ такая бездна жизни, но какое произвольное самоуничтожение? Это страшно больно ставить во мић вверхъ дномъ все... Оскорбительно предоставлять жизни сдѣлать изъ тебя, что она захочетъ или что ей случится; я бы хотела сделать нзъ жизин твоей, что ты хочешь... Наконецъ, какъ человъкъ, ты не имъешь права уничтожать себя, оттого что окружающіе не удовлетворяють тебя. Что тебь до нихъ, развъ ты — не ты? Помоги имъ сочувствіемъ, синсхожденіемъ, а бросать себя подъ поги...!" Легко догадаться, почему у Наташи явилась "страшиая потребность" написать эти строки: содержание ихъ такъ близко и больно чувствовалось ею

самой. Она тоже жаждеть теперь независимости отъ всякихъ стѣсненій и привязанности по свободному выбору. "Пль у сокола крылья связаны, иль пути ему всѣ заказаны", — цитируетъ она; "отчего жъ ща свѣтъ глядѣть хочется, облетѣть его душа просится?" "Чувствую себя свѣжо, ярко и юно", — встрѣчаемъ въ другихъ, иѣсколько поздиѣйшихъ письмахъ; "жизнь хороша, не правда ли?"

Это размятченное пастроеніе требовало выхода, обпаруженія, а поделиться имь было решительно не съ кемъ. Знакомые Александра не искали сближенія съ Наташей и ограничивались обменомъ любезностей. "Вёдь какіе все добрые", — пронически замечаетъ Наташа, — "какъ занимаются монмъ здоровьемъ, коликой, глухотой. Прекрасный случай показать участіе". Самый интересный посётитель Герцена — Тургеневъ, но... "странный человекъ... часто, глядя на него, миё кажется, что я вхожу въ нежилую комнату: сырость на стёнахъ, и пропикаетъ эта сырость тебя насквозь, ни сесть, ни дотронуться ни до чего не хочется, хочется выйти поскорте на светъ, на тепло. А человекъ онъ хорошій".

Свъть и тепло Наташа встрътила въ молоденькой Тучковой — и буквально въ нее влюбилась. "Только въ тебъ", — пишетъ она ей, — "нашла я товарища, только такой отвътъ на мою любовь, какъ твой, могъ удовлетворить меня; я отдалась съ увлеченіемъ, страстно, — а они всв такъ благоразумны, такъ мелки". Но и эта "утвшительница души" (Consuelo de mia alma, называла ее Наташа) скоро утхала, и Наташа онять оспротвла. Осенью 1848 года она спова сближается съ женой горячаго поклонника Герцена, нѣмецкаго поэта Гервега, только-что нашумъвшаго у себя на родинъ представителя молодой Германіи. "Мало женщинъ, съ которыми миб такъ хорошо, какъ съ ней", — иишетъ Наташа. Она "любитъ" и ея мужа: "широкая натура, съ нимъ мив даже хорошо молчать, мысль не задвваеть за него, не спотыкается", — не то, что съ Тургеневымъ. Присутствіе Гервега, стало быть, не тяготить ее, не стасняеть ея потребности въ свобода, въ уединенін. Скоро онъ становится своимъ человѣкомъ. Получивъ нисьмо о соединенін Тучковой съ Огаревымъ, вотъ какъ она празднуетъ эту радостную повость. "День быль чудесный, я одёлась, падёла бёлыя, чистыя перчатки, не могла дождаться другихъ, пошла гулять, накуипла цвътовъ, отнесла ихъ Эммф (женф Гервега); миф хотфлось весь свътъ усыпать цвътами, взяла съ собой Георга (такъ его звали) и пошла съ нимъ по Champs Elysées. Это единственные люди, съ которыми я не могла не подблиться тамъ, что происходило во мив... Эмма въ постели, у нея родилась дочь Ада. — Ну, такъ вотъ пошли мы съ

Георгомъ, веселые, какъ дѣти, дѣлали тысячу плановъ, шли, шли, и пришли въ погребокъ и вышили съ нимъ на радости бутылочку. Я смотрю на все съ гордостью, – республика и публика мић кажутся вздоромъ,—у меня почти иѣтъ желаній, хотѣлось бы погулять съ вами въ хорошенькомъ мѣстѣ и только".

Можно ли было бы догадаться, что это веселое скерцо служить прелюдіей къ мрачному финалу? Какъ видимъ, въ Георгѣ не было ничего демоническаго—и это оказалось хуже, чѣмъ если бы въ немъ демоническое было. Но мы должны поневолѣ остановиться; здѣсь изсякаетъ нашъ матеріалъ, и занавѣсъ опять на два года опускается надъ отношеніями Герценовъ. Онъ открывается далѣе только для двухъ короткихъ сценъ, но и ихъ достаточно, чтобы судить о развязкѣ пьесы.

Теплая птальянская ночь съ 7-го на 8-е іюля 1851 года. На пустынной площади въ Туринъ Герценъ, только-что прівхавшій изъ Парижа, ждеть карету, въ которой должна вернуться къ нему изъ Ниццы его жена. Она теперь тоже несеть въ родную пристань остатки разбитой жизни, спасается отъ сознанія непоправимой ошибки. "Одного взгляда, двухъ-трехъ словъ было за глаза довольно... все было понято и объяснено; я взяль ея небольшой дорожный мешокъ, перебросиль его на трости за синну, подаль ей руку и мы весело цошли по пустымъ улицамъ въ отель... На накрытомъ столф стояли двф незажженныя свычи, хлюбь, фрукты и графинь вина; мы зажгли свычи и, съвши за пустой столъ... разомъ вспомнили владимірское житье... Много, долго говорили мы... точно после разлуки въ несколько летъ; день давно сквозилъ яркими полосами въ опущенныя жалюзи, когда мы встали изъ-за пустого стола"... "Теперь мы подавали другъ другу руку, не какъ заносчивые юноши, самонадъянные и гордые върой въ себя, върой другъ въ друга и въ какую-то исключительность нашей судьбы,а какъ ветераны, закаленные въ бою жизни, испытавшіе не только свою силу, но и свою слабость"... "Прошедшее не корректурный листъ, а пожъ гильотины; после его паденія многое не сростается и пе все можно поправить... Оно остается, какъ отлитое въ металлъ... Дайте нному забыть два-три случая, такія-то черты, такой-то день, такое-то слово, — и онъ будетъ юнъ, смълъ, силенъ... а съ ними онъ идетъ, какъ ключь ко дну. Не надобно быть Макбетомъ, чтобы встръчаться съ тънью Банко. Тъни-не уголовные суды, не угрызенія совъсти, и несокрушимыя событія памяти... Да забывать и не нужно: это слабость, это своего рода ложь. Прошедшее имбеть свои права, оно факть, съ нимъ надобно сладить, а не забыть его, — и мы иги къ этому дружными шатами... Вновь отправляясь въ путь, мы, не считаясь, раздълили нечальную ношу былого... Внутри наболѣвшихъ душъ сохранилось все для возмужалаго, отстоявшагося счастія. Но ужасу и тупой боли еще яснѣе разглядѣли мы, какъ мы неразнимчато срослись годами, обстоятельствами, чужбиной, дѣтьми... Слезы печали, не обсохнувшія на глазахъ, соединяли еще повой связью: чувствомъ глубокаго состраданія другъ къ другу".

Меньше года прошло со времени свиданія въ Туринъ. Мы стоимъ у постели больной Наташи. Послѣ новыхъ испытаній, послѣ погибели въ морф двоихъ дфтей вмфстф съ матерью Герцена, послф неудачныхъ родовъ-у ней развилась скоротечная чахотка. Въ последній разъ она бесъдуеть на инсьмѣ съ своей милой Консуэлой, чтобы передать ей свое душевное настроеніе. Вотъ нісколько строкъ изъ этого письма. "Вставать и ходить пѣть силь, -- а душа такъ жива и такъ цолца--- не могу молчать, Послѣ страданій, которымъ ты, можеть, знаешь мѣру, нныя минуты полны блаженства. Всв вфрованія юности, детства не только сверинлись, но прошли сквозь стращныя, невообразимыя испытанія, не утративъ ни св'яжести, ни аромата — расцв'яли съ новымъ блескомъ и силой. Я инкогда не была такъ счастлива, какъ теперь"... И опа перебираетъ свои воспоминанія дітства, —и, какъ когда-то въ домѣ княгини Хованской, -- вездѣ находить его. "Какъ медленно возвращаются силы", приписываеть она за итсколько дней до смерти. "Тюнь уже не далеко, перенесу ли? А мив хотвлось бы жить для него, для себя, -о дътяхъ уже не говорю. Жить для него, чтобы зальчить всь раны, которыя я ему напесла; жить для себя, потому что я узнала его любовь, какъ никогда, довольна ею, какъ никогда".

Герценъ былъ правъ: тутъ, на этомъ смертномъ одрѣ разрѣшалась проблема новаго брака, вырабатывался союзъ, основанный не на "мадменномъ покровительствъ" мужчины и не на "уклончивомъ молчаніи" женщины. Но сколько же страданій пришлось перенести и вызвать прежде, чѣмъ эта проблема была, наконецъ, вполиѣ сознательно поставлена лучшими представителями того поколѣнія? Правъ былъ, очевидно, Герценъ и въ этомъ своемъ обращеніи къ потомству. "Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашаго существованія? А между тѣмъ, наши страданін—почка, изъ которой разовьется ихъ счастье... О, пусть они остановятся съ мыслью и съ грустью передъ камиями, нодъ которыми мы уснемъ: мы заслужили ихъ грусть!"

Памяти А. И. Герцена.

(9 января 1870-9 января 1900).

Тридцать лѣтъ тому назадь, 9 января 1870 года скончался въ Парижѣ А. И. Герценъ. Онъ умеръ какъ-то случайно, на перепутьѣ, — какъ жилъ въ свои послѣдије годы. Жизнь отняла у него столько личныхъ привязанностей и сокрушила столько идейныхъ начинаній, а подъ конецъ такъ круто отхлынула отъ него въ другое русло, что онъ давно уже остался одинъ, безъ близкихъ друзей, безъ вѣрныхъ единомышленниковъ, безъ учениковъ и продолжателей, даже безъ какихъ-инбудь опредѣленныхъ жизненныхъ цѣлей, которымъ онъ могъ бы отдать свои вѣчно жаждавшія дѣла руки и голову. Его послѣднія письма дышатъ апатіей отчаянія. Какъ будто все, что было трагичнаго въ его положеніи, въ его характерѣ, сгустилось надъ его головой, чтобы лишить его правственнаго сопротивленія передъ слѣпой силой, заносившей надъ нимъ руку для рокового удара. Такая богатая жизнь — и такая одинокая смерть! Философъ сказалъ правду, что самое невъролтное изъ всего—это то, что случается въ дѣйствительности.

Семьюдесятью восемью годами раньше въ томъ же Нарижѣ умиралъ другой народный трибунъ, въ разгарѣ великой жизненной борьбы, тайну усиѣха которой онъ уносилъ съ собой въ могилу. Нарижъ его зналъ и Парижъ пришелъ его оплакать. Народъ почувствовалъ послѣ его смерти, что для своихъ великихъ людей онъ долженъ создать особую національную усыпальницу: одна изъ лучшихъ церквей города была обращена въ Пантеонъ, и великій трибунъ легъ въ немъ первый. Народная гвардія дала при его похоронахъ залпъ изъ двадцати тысячъ ружей: "всѣ стекла полонались; казалось въ ту минуту, что церковь сокрушится надъ гробомъ". Жизнь точно хотѣла замереть на мигъ надъ прахомъ того, кто умѣлъ проводить въ ней такія глубокія борозды.

И Герценъ умѣлъ это... и не могъ. И что хуже всего,—онъ зналъ самъ лучше всѣхъ и то, что онъ умѣетъ, и то, что онъ не можетъ. Прибавьте къ этому еще горячее, глубокое убѣжденіе его въ томъ, что онъ долженъ дѣлать то, что умѣлъ и чего не могъ, — и вы получите попятіе о великой душевной драмѣ, жертвой которой палъ этотъ человѣкъ, этотъ гигантъ.

За тѣ сорокъ иять лѣтъ, которыя отдѣляютъ "анинбалову клятву" ребенка-Герцена отъ мрачной "резиньяцін" его кончины, — эта драма прошла, конечно, черезъ много перипетій. Мы видимъ первые юпошескіе порывы, которые смѣняются скоро житейскимъ опытомъ изгнанника. Житейскій опытъ этотъ въ первый разъ ведетъ Герцена-чиновинка къ открытому разрыву съ окружающей дѣйствительностью. Онъ рѣшаетъ, что "пора кончить комедію".

Дѣйствительно, дальше мы видимъ "драму". Чиновникъ превращается въ добровольнаго эмигранта и сразу попадаеть на блестящій праздникъ европейскаго радикализма. Но, съ своимъ обычнымъ ясновидѣніемъ, онъ скоро разсматриваеть подъ праздничнымъ нарядомъ будицчное настроеніе; мишурный блескъ мѣщанскаго убранства становится ему противенъ. Онъ чувствуетъ себя чужимъ на этомъ пиру и снова уходитъ въ себя.

Тутъ нежданио-негаданно набъгаетъ новая волна русской жизни и высоко поднимаетъ Герцена падъ европейской дъйствительностью. Онъ снова въ своей стихіи: гдѣ-то вдали ему брежжитъ огонекъ пдеала, и онъ рвется къ этому огоньку напроломъ, нанося направо и палѣво богатырскіе удары, разя враговъ, призывая друзей, "живыхъ" — подъ общее знамя. Онъ полонъ самыхъ радужныхъ надеждъ; онъ въритъ въ себя и въ свой народъ; мечты юности кажутся ему близкими къ осуществленію. Онъ живетъ и дышитъ всѣми порами своего существа.

И снова смолкаеть буря. Wilde Jagd уносится куда-то въ пространство, куда уже не можеть проникнуть жадный взоръ Герцена, и только по временамъ онъ слышить отдаленные раскаты грома, да волны очередного прилива выбрасывають на "тотъ берегъ" одиночныя жертвы далекихъ кораблекрушеній. И это все оказываются другіе люди, "чужого, незнакомаго" покольнія, говорящіе какимъ-то пепонятнымъ языкомъ о невъдомыхъ вещахъ. Понять ихъ можно, можно часто и сочувствовать, но къ нимъ не лежитъ душа Герцена. И такъ умираетъ онъ, чужой своимъ и чужимъ, одинокій обломокъ исчезнувшей породы.

Но съ нимъ не умираетъ правдивая, потрясающая новъсть его душевной драмы; не умираетъ память о томъ, чѣмъ сумѣлъ онъ быть, когда русская волна подняла его высоко. Можно только дивиться тому, какъ мало умерло въ Герценф съ его смертью, -если вспоминиъ, въдь, въ сущности, онъ говорить съ нами языкомъ своего времени, своего общественнаго круга, языкомъ современнаго ему міровоззрѣнія или даже ифсколькихъ поочередно смфинвшихся въ его время міровоззраній. Но дало въ томъ, что Герценъ никогда не умаль уложить своей мысли и своего чувства въ рамки какого-нибудь случайнаго и временнаго воззранія. Въ своемъ дневника сороковыхъ годовъ опъ уже находить случайными и временными тв идейныя формы, въ которыя тогда укладывалась борьба славянофильства и западинчества; поздибе, онъ найдеть такими же условными тѣ формы, въ которыя одфвалъ свою теорію современный ему европейскій радикализмъ. И при всемъ томъ его отрицание никогда не доходить до голаго скептицизма, потому что онъ всегда отрицаеть во имя чего-нибудь положительнаго, во что онъ върнтъ. Лучше, пожалуй, будетъ сказать, что онъ инчего не отрицаеть, такъ какъ умфеть найти положительное въ любомъ очередномъ міровозэрънін, не принимая въ то же время его доктринерства, его условности. Изъ замаго плохого матеріала одинмъ прикосновеніемъ своего ума, своей фантазін-онъ создаеть подъ часъ глубокую мысль, поразительно яркую и вфриую картину.

По гдж же источникъ этой свободы Герцена отъ подчиненія всему случайному и временному, гдж то, что ставило его при жизин выше текущей минуты, что надолго спасеть его отъ забвенія по смерти, надолго сохранить за нимъ привилегію быть "властителемъ думъ" нашего времени? Это – его широкій захватъ, та смѣлость, съ которой онъ бралъ жизиь такъ, какъ она есть, и не останавливался передърадикальными рѣшеніями вытекавшихъ изъ нея вопросовъ. Тонкій знатокъ человѣческой психологіи, Герценъ въ то же время врагъ всякаго оппортюнизма, врагъ компромиссовъ и временныхъ рѣшеній. Онъ видѣлъ далеко, — и еще дальше ставилъ цѣль, достойную своей дѣятельности. Вотъ почему жизнь, съ ея черепашьимъ ходомъ, долго не исчернаетъ его критики и не оставитъ позади его идеаловъ.

Русскія газеты, — даже такія, какъ "Новое Время" и "Россія", — нашли приличные случаю тонъ и выраженія, чтобы помянуть знаменательную годовщину. Попробуемъ подвести маленькій итогь всему сказанному—надо прибавить, впервые сказанному съ такой силой и значительностью въ русской печати объ усопшемъ учителѣ.

"Литературный юбилей,—-говорили 9 января "Русскія Вѣдомости",— есть своего рода экзаменаціонное испытаніе... "Изъ всѣхъ критиковъ— самый великій, самый геніальный, самый непогрѣшительный—время",

писалъ Бълинскій. Можно прибавить, что это—и самый строгій критикъ. Лишь немногіе избранцые выдерживають съ честью испытаніе на право быть читаемыми и перечитываемыми наравить съ современниками, а можеть быть и болте последнихъ. Лишь немногіе способны по истеченіи итьсколькихъ десятковъ леть возбуждать те чувства, которыя возбуждали въ своихъ современникахъ, производить грустное впечатльніе или воодушевлять, вызывать на размышленіе или поучать. Среди этихъ немногихъ избранныхъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ, несомить, занимаетъ Герценъ".

Въ то время какъ эти строки писались въ Москвъ, въ Петербургъ постоянный сотрудникъ "Россіи", г. Дорошевичъ, набрасывалъ, какъ нарочно, ноучительную иллюстрацію къ словамъ "Русскихъ Въдомостей". Онъ подтвердилъ на собственномъ примъръ вліяніе Герцена на современнаго читателя. "Кровь бросилась мит въ голову, слезы подступили мит къ горлу, —разсказываетъ г. Дорошевичъ о впечатлъніи, произведенномъ на него чтеніемъ "Съ того берега" за русской границей.—Передо мной открылся новый міръ, какъ открывается новый міръ всегда, когда вы открываете геніальную кингу. Передо мной счастливымъ, радостнымъ, взволнованнымъ вставалъ, въ величін слова и мысли, новый для меня писатель, мыслитель, художникъ, — умершій, безсмертный. Какое благородство мысли, какая красота формы"!

Я говориль раньше, что величіе Герцена не только въ этомъ и, конечно, не отъ одного этого "кровь бросилась въ голову и слезы подступили къ горлу" г. Дорошевича. Кто знаетъ,—при его крупномъ талантъ и при засвидътельствованной имъ теперь правственной возбудимости,—чъмъ могъ бы сдълаться г. Дорошевичъ, если бы эти впечатлънія повторялись чаще, а, главное, если бы они пришли во-время. Но г. Дорошевичъ прочелъ кингу, "поцъловалъ" ее- и... приближаясь къ границъ, выбросилъ за окошко. Не знаемъ, по сю сторону границы имълъ ли онъ случай перечитывать Герцена...

Во всякомъ случав, Герценъ блестяще выдержаль свой экзаменъ,— даже на такомъ недюжинномъ и требовательномъ читателв, какъ г. Дорошевичъ, на такомъ, новидимому, мало подготовлениомъ къ воспріятію Герцена экземилярв, какъ постоянный сотрудникъ "Россін" 1).

¹⁾ Къ признанію г. Дорошевича мы должны прибавить теперь и признаніе г. Old Gentleman'а, напечатанное въ № 261 его газеты и понавшееся намъ на глаза, когда эта замътка была уже набрана. "Герценъ—моя литературная любовь еще съ университетской скамьи. Въ послъдніе годы я вновь перечиталь его, и опъ много содъйствовалъ душевному перевороту, тяжко и болъзненно

Другой сотрудникъ той же газеты, г. Old Gentleman, взглянулъ на вопросъ съ иной, прямо противоположной стороны. Онъ предложилъ проэкзаменовать не Герцена современной Россіей, а современную Россію—Герценомъ.

Помию, — разсказываеть онъ, — въ Генућ встрѣтился я съ однимъ полякомъ, эмигрантомъ, который въ спорѣ со мною, нападая на Россію, цитировалъ изъ Герцена факты, касающіеся эпохи Николая І.—Развѣ можно приводить такіе аргументы, — возразилъ я, — вѣдь этому пятьдесятъ лѣтъ, все это давно прошло, старая правда стала для насъ неправдой.

"Неправдою, — усмѣхнулся полякт язвительно, — ну, если эта неправда отжила свой вѣкъ и обратилась въ историческій матеріалъ, тогда зачѣмъ же Герценъ запрещенъ у васъ въ Россіи".

Г. Old Gentleman, къ сожалѣнію, не сообщаеть намъ, какъ онъ отвѣтилъ на возраженіе своего собесѣдника. Но отъ себя онъ дѣлаетъ такой выводъ изъ разговора: "сдѣлать Герцена доступнымъ къ общему прочтенію и изученію — значить проэкзаменовать Россію, насколько шагнулъ внередъ народъ ея, "освобожденный по манію царя",—и убѣдиться въ огромности этого шага, Герценомъ предвидѣннаго, предсказаннаго и благословеннаго".

... es ist ein gross Ergötzen Zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht Und wie wir's dann zuletzt so herrlich weit gebracht,

какъ сказалъ бы гётевскій Вагнеръ.

Во мижнін, что пора сиять съ сочиненій Герцена тяготфющій на инхъ цензурный запретъ и едблать ихъ доступными русскому читателю, — въ этомъ мижнін сошлись всф писавшіе о Герценф органы русской печати. Г. Дорошевичь предлагаетъ отдфленію словесности академіи науки — "добиться пересмотра этого приговора" и "вернуть Россіи любящей и осторожной рукой ея достояніе". Г. Перцовъ въ "Новомъ Времени" находить даже, что такой возвращенный Россіи Герценъ, исправленный аd usum delphini, предстанетъ предъ читающей публикой въ совершенно повомъ свфтф,—именно въ томъ, въ которомъ

пережитому мною въ прошлую весну. Онъ указалъ миъ повыя цъли, новыя свътлыя точки, ради которыхъ стоитъ еще съ людьми жить и людское творить. Онъ указалъ мню, гдю грюхъ и гдю раскаяніе. Онъ научилъ меня не страшиться прошлаго и върить въ будущее. Я люблю его, какъ полубога. И, когда пришла 30-я головщина дня его смерти, мнъ страстно, мучительно захотълось сложить словесный гимнъ въ честь его, и Надсопъ пришелъ мнъ на помощь со стихомъ своимъ, и я заговорилъ". Можно сказать только: въ добрый часъ.

представляли себъ Герцена энцгоны славянофильства. "Только это личное знакомство съ Герценомъ, —говоритъ онъ (№ 8568 "Новаго Времени"), —можетъ устранить изъ мысли нашего общества общераспространенное фальшивое представление о немъ прежде всего, какъ о радикальномъ "бойцъ", и показать, что если въ Герценъ скрывался какой-либо боевой талантъ, то только тотъ, который нашелъ въ немъ Страховъ" (а именно талантъ "борца съ западомъ").

Увы, эту последнюю мысль питаетъ, по следамъ Страхова, не одинъ г. Перцовъ. Ея отчасти держится, съ той же ссылкой на Страхова, и г. Арабажинъ въ "Северномъ Курьере". И въ самомъ деле, отчего же Страхову съ его единомышленниками не нобивать "гнилой" Западъ сокрушительной критикой Герцена? Ведь, и господниъ пасторъ, по признацію Гретхенъ, говорилъ почти то же самое, что Фаустъ, "только немножко другими словами".

Когда, такимъ образомъ, разрушенъ будетъ магическій кругъ, осѣнявшій ореоломъ имя Герцена для однихъ и дѣлавшій его неприступнымъ—для другихъ, тогда, пожалуй, наступитъ время для осуществленія и другой мечты, высказанной г. Old Gentleman'омъ въ годовщину 9 января. Переносясь мыслью къ тому "бронзовому Герцену, что освящаетъ своимъ грустнымъ величіемъ таинственную тишину прелестнаго кладбища въ Ниццѣ", г. Old Gentleman кончилъ свою статью о Герценѣ такими словами: "конечно, если не мы, такъ дѣти или внуки наши дождутся торжественнаго дия, когда тѣло А. И. Герцена возвратится въ предѣлы Россіи, какъ возвратилось тѣло Мицкевича изъ Парижъ на краковскій Вавель, а тѣло Наполеона съ острова св. Елены—въ Парижъ. И какъ святы эти двѣ могилы для французовъ и поляковъ, такъ для Россіи станетъ пародною святынею могила возвращеннаго изъ загробной ссылки Герцена, и не зарастетъ къ ней, во вѣкъ не зарастетъ народная тропа"...

Хорошія слова, хорошія мысли... Но не знаемъ, почему намъ, когда мы читали въ "Россіи" эти слова и процитированныя г. Old Gentleman'омъ строфы надсоновскаго стихотворенія, вспоминался старый итальянскій анекдотъ, разсказанный болтливымъ Вазари. Вотъ этотъ анекдотъ, а можетъ быть и истинное происшествіе, въ подлинной передачѣ флорентійскаго историка искусства. Рѣчь идетъ о знаменитой статуѣ "Почи", одной изъ четырехъ, созданныхъ геніемъ Микель-Анджело для погребальной капеллы Джуліано и Лоренцо Медичи во Флоренціи.

"Что могу я сказать о "Ночи", — статув не только рвдкой, но единственной? Видвлъ ли кто-либо когда-нибудь античную или современную статую, которая была бы сдвлана съ такимъ искусствомъ, что

изображала бы не только покой снящаго, но также и скорбь и печаль человѣка, потерявшаго пѣчто дорогое и важное? Пусть же миѣ повѣрятъ, что именно такова эта "Ночь", затмившая всѣхъ, кто когда-либо пытался—не скажу превзойти ее, но хотя бы сравниться съ нею въ скульптурѣ или въ живописи... Ученѣйшія особы слагали въ честь ея не мало латинскихъ виршей и итальянскихъ строфъ, подобныхъ слѣдующимъ стихамъ неизвѣстнаго автора:

"Изваянъ Ангеломъ, кусокъ скалы бездушной Сталъ "Ночью": посмотри, какъ сладко Ночь та спитъ! Спитъ? Нътъ, живетъ обломокъ, Ангелу послушный: Не въришь? Разбуди: она заговоритъ!

"На каковые стихи Микель-Анджело отъ лица Ночи отвътилъ такъ:

"Мой сонъ миѣ сладокъ; радъ я, что не слышу, Не чувствую стыда и бѣдъ въ родной странѣ: Пусть буду кампемъ я,—оставь то счастье миѣ; Эхъ, не буди, пріятель! Говори потише!"

Да, пріятель, — погоди будить Герцена; говори потише, не пробуй экзаменовать Россію по его сочиненіямъ и мѣрить ее его аршиномъ.

По поводу переписки В. Г. Бълинскаго съ невъстой.

Въ теченіе своей недолгой жизии В. Г. Бълинскій нережиль двъ сильныхъ сердечныхъ привязанности. Въ объ онъ внесъ весь иылъ своей страстной натуры; объ сыграли въ его біографіи очень значительную роль. Но роль каждой изъ нихъ была далеко пеодинакова; и самый характеръ той и другой привязанности былъ такъ же различенъ, какъ не похожъ былъ самъ Бълинскій 40-хъ годовъ на Бълинскаго 30-хъ годовъ. Романтическая любовь 30-хъ годовъ "привела въ движеніе всъ тайные родники" душевной силы Бълинскаго-юноши и, такимъ образомъ, "открыла ему самому все богатство его натуры". Разсудительная любовь 40-хъ годовъ должна была дать зрълому общественному дъятелю "мирное, яспое, теплое существованіе, охоту къ труду и любовь къ своему углу". Бракъ былъ сознательной цълью этой любви, тогда какъ для прежней, по романтическому кодексу,—онъ долженъ былъ бы сдълаться "гробомъ".

Съ исторіей послѣдней сердечной привязанности Бѣлинскаго знакомять насъ инсьма его къ будущей женѣ. Трудно прибавить что-инбудь къ той яркой характеристикѣ, которую дѣлаетъ своему тогдашнему настроенію самъ Бѣлинскій въ этихъ письмахъ. Но на обязанности комментатора остается объяснить, какъ подготовлена была почва для такого настроенія всею предыдущею душевною жизнью Бѣлинскаго. Едва ли даже можно понять падлежащимъ образомъ смыслъ этого настроенія, не поставивъ его въ связь съ предшествовавшей сердечной исторіей Бѣлинскаго. Вотъ почему нѣсколько замѣчаній о томъ душевномъ переломѣ, который пережитъ былъ нашимъ критикомъ на короткомъ промежуткѣ—отъ середины 30-хъ годовъ до начала 40-хъ, будутъ нелишними для правильнаго пониманія его переписки съ невѣстой.

Въ серединѣ 30-хъ годовъ Бѣлинскій былъ начинающимъ юношей, не брезговавшимъ самой черной журнальной работой. Несмотря на

быстрый успахъ своихъ первыхъ литературныхъ статей, онъ не успалъ еще узнать себя и не довъряль своимъ силамъ. Его окружало общество, въ которомъ не было мъста для выгнаннаго студента, безпріютнаго бъдняка, принужденнаго биться изъ-за куска хлъба, — неблаговоснитаннаго плебея, лишеннаго всего, что считалось тогда необходимыми признаками хорошаго образованія и хорошаго тона. Конечно, молодые сверстники, выбсть съ нимъ проходившіе университетъ и заключившіе между собой союзъ дружбы во имя общихъ имъ всемъ идеаловъ, не могли дать ему почувствовать раздълявшее ихъ разстояніе. Но друзьями стояли ихъ семьи, въ которыхъ косились на дружбу съ Бълинскимъ; друзья оставались, при всемъ своемъ идеализмѣ, членами того же общества, въ которое Бълинскій не имфлъ доступа; помимо ихъ воли и сознанія, ихъ продолжало отделять отъ Бълинскаго все, чамъ ихъ сдалало домашнее воспитание, - все, чего требовали отъ нихъ понятія и привычки ихъ круга. Ихъ юношескій идеализмъ, какъ давно уже было замбчено, носиль оттвнокь аристократизма, свойственный ихъ соціальной среда. Борьба съ настоящей нуждой здась была неизвастна: занятія литературой, какъ средство къ жизни, вызывали презрвніе; наука. литература и искусство считались здась исключительно орудіемъ саморазвитія, а не предметомъ пропаганды; и менфе всего кружокъ склоненъ былъ признать выразителемъ своихъ мифиій товарища, усвоившаго эти мивнія съ чужого голоса и немедленно пустившагося кричать о нихъ на весь міръ и зарабатывать этимъ путемъ жалкіе "гривенники". Успахъ въ "толпа" могъ только раздражить друзей, презиравшихъ толпу и брезговавшихъ "дешевыми средствами", въ употребленіи которыхъ они видъли весь секретъ этого успъха. Недовольство журнальной двятельностью Бфлинскаго дошло до того, что однажды друзья объявили Бълинскому свое коллективное митніе, что опъ не имфетъ права печататься и что онъ лишенъ эстетическаго чувства.

Въ этомъ отношеній друзей къ Бѣлинскому заключался зародышъ пережитой имъ душевной драмы. Мы поймемъ, какъ эта драма должна была для него быть тяжела, если припоминмъ его отношеніе къ друзьямъ. До чрезвычайности скромный въ своемъ мивній о самомъ себъ, готовый думать, что "хуже его не было никого у Бога", Бѣлинскій началъ съ безусловнаго преклоненія передъ нѣкоторыми изъ этихъ друзей. Ихъ міросозерцаніе онъ принялъ цѣликомъ, какъ откровеніе свыше, и сужденіе друзей о самомъ себѣ должейъ былъ принять безирекословно, такъ какъ оно вытекало съ логической необходимостью изъ этого міросозерцанія По теорій, справедливо или несправедливо окрещенней въ дружескомъ кругу Бѣлинскаго именемъ "фихтіанизма",

надъ пошлой толпой возвышались немпогочисленныя избранныя существа, способныя ощущать въ себъ отборныя чувства, недоступныя обыкновеннымъ смертнымъ. Органомъ этихъ чувствъ высшаго порядка считалась у нашихъ романтиковъ 30-хъ годовъ-эстетическая способность; а когда романтическое настроеніе, во второй половинь этого десятилътія, вылилось въ философскія формулы, то высшая ступень духовной жизни получила название "абсолютной жизни", "жизпи въ духъ" или "состоянія благодати". Сравинтельно съ этой высшей жизнью въ духф, окружающая дфиствительность признана была "мнимой" и "пошлой": человъкъ, "погрязшій" въ этой дъйствительности, въ глазахъ кружка лишенъ былъ всякаго участія въ истинной жизни. Признавалась, правда, возможност: и промежуточнаго состоянія: человікь, отръшнвийся отъ пошлой дъйствительности, но еще не дошедший до истинной, находился, по теорін друзей, на низшей ступени духовной жизни, въ состояніи "прекрасподушія". Въ этомъ промежуточномъ состоянін считаль себя находящимся Бѣлинскій — и смотрѣль синзу вверхъ на счастливыхъ обладателей "благодати" и участниковъ "абсолютной жизни". Вывести изъ этого положенія и привести въ состояніе "благодати" должна была "любовь". "Любовь" — это было "сліяніе въ духъ" двухъ избранныхъ и предназначенныхъ другъ для друга существъ. При первой встръчъ эти существа сразу "узнавали" другъ друга, одновременно возгорались взаимнымъ чувствомъ и стремились къ соединенію. И Бѣлинскій слишкомъ настойчиво ждалъ, чтобы не дождаться желанной встричи. И ему встритилось существо изъ міра, который онъ и безъ того привыкъ считать "высшимъ": въ семьъ ближайшаго друга онъ нашелъ себъ "душу, родную по духу". До сихъ норъ все шло, какъ следовало по теорін. Къ фантазін, заранте настроенной на извъстный ладъ, вскоръ присоединилось и дъйствительное чувство. Любовь помогла дружбъ убъдить Бълинскаго въ истинности усвоеннаго имъ міровоззрѣнія. Связанный двойными узами любви и дружбы, Бълинскій заставляль себя закрыть глаза на то ръзкое несоотвътствіе, которое существовало между требованіями его натуры. условіями его житейской обстановки—и кружковой теоріей. Если же песоотвътствіе становилось ужь черезчурь замѣтнымь, то Бѣлинскій не колебался осудить самого себя и оправдать теорію; въ то время онъ готовъ былъ всегда "унизить себя" за то, "что должно бы было заставить его гордиться собою". Сердце было растерзано, — зато идея торжествовала, и, "утирая кулакомъ кровавыя слезы", Бълинскій "повторяль" за друзьями, "что жизнь блаженство" и что ему вмѣстѣ съ другими "чудо какъ хорошо жить" въ фантастическомъ мірѣ, который признавался друзьями за истинную дѣйствительность.

Нужны были тяжелыя разочарованія въ любви и дружбѣ, нужно было Бѣлинскому перенести цѣлый рядъ "оскорбленій въ самыхъ законныхъ и святыхъ стремленіяхъ и желаніяхъ", чтобы разрушилось это очарованіе кружка и чтобы Бѣлинскій получилъ возможность взглянуть на жизнь своими собственными глазами. Въ другомъ мѣстѣ мы излагали подробно исторію этихъ разочарованій и связаннаго съ ними крушенія старой теоріи 1).

Не повторяя сказаннаго тамъ, напомнимъ только, что дружба оказалась слишкомъ деспотичной, а любовь осталась нераздѣленной, — и что въ основѣ той и другой неудачи Бѣлинскій не могъ, наконецъ, не разглядѣть пренебрежительнаго отношенія къ собственной особѣ и вытекавшаго отсюда нежеланія сколько-нибудь войти въ его душевную жизнь. Онъ слишкомъ много давалъ — и слишкомъ поздно замѣтилъ, какъ мало получаль въ замѣнъ. "Боже мой, какую глупую роль игралъ я!" вспомпнаетъ опъ объ этомъ черезъ нѣсколько лѣтъ; "какъ много было во мнѣ любви и какъ мало благородной гордости".

Дъйствительно, преобладающимъ чувствомъ среди сердечныхъ неудачъ долго оставалось у Бълинскаго чувство собственнаго "недостоинства". Въ любви онъ не встрътилъ сочувствія: это значило для него, что онъ не заслуживаетъ любви избранной натуры и принадлежить къ "пошлякамъ". Дружба отнеслась къ нему свысока и признала "низменными" его отношенія къ "действительности". Онъ готовъ быль согласиться и съ этимъ, приводя лишь въ свою пользу смягчающія обстоятельства. Условія насл'ядственности не сложились ли для него самымъ невыгоднымъ образомъ? Рожденный съ дурными задатками, не развилъ ли онъ ихъ въ себъ, благодаря отвратительнымъ условіямъ своего воспитанія? И не определили ли роковымь образомь эти условія наследственности и воспитанія неуравновъщенность, "первичность" его натуры, въ противоположность счастливому, "гармоническому" душевному складу его друзей? Да, несомивино, съ такими задатками достижение высшей жизни для него педоступно, и одно стремленіе къ ней должно остаться его въчнымъ удъломъ.

Цалый рядь обстоятельствъ вывель, наконецъ, Балинскаго изъ этого состоянія самоуничиженія. Во-первыхъ, бить всегда по одному и тому же больному мѣсту, которое онъ самъ же обнаружилъ передъ друзьями, — значило, въ концѣ концовъ, притупить чувствительность.

¹⁾ См. выше, статью: "Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ".

"Глуно и пошло—повторять цёлую жизнь: я неучь, я дуракь, я жалокь, я смёшонь",—замёчаль, накопець, самъ Бёлинскій. Во-вторыхь, при всемъ своемъ ослёнленіи, Бёлинскій долженъ былъ замётить цёлый рядъ крупныхъ и мелкихъ несовершенствъ въ предметахъ своей любви и дружбы: мало-по-малу повязка спала съ его слазъ и онъ низвелъ съ пьедестала своихъ кумировъ.

Отношенія къ нему самому послужили при этомъ пробнымъ камнемъ. "Чувство всегда върно, никогда не обманываетъ въ дълахъ сердца": и это непосредственное чувство давно заставило Бълинскаго замътить недостатокъ деликатности въ обращении съ его душевными ранами. Бѣлинскій покаялся во всемъ, въ чемъ могъ, и готовъ былъ взвести на себя всякія небылицы. Но этого оказалось мало: друзья шли дальше и отрицали у него то, въ чемъ онъ не думалъ сомиъваться: отрицали все, что составляло его силу, какъ писателя. Это было уже слишкомъ. При всей своей готовности къ самообвиненіямъ, Бълинскій всегда быль чуждь ложной скромности. Онъ не могь не чувствовать, что онъ "уже не кандидатъ въ члены общества, а членъ его", и что у него есть свое дело и свое место, на которомъ онъ далеко не лишній. И то обстоятельство, что друзья этого не понимали, сразу показало Бълинскому, какой "необитаемый островъ" — ихъ маленькій кружокъ и сколько условнаго и напвнаго скрывается въ ихъ высокомфрномъ презрѣнін къ дѣйствительности. Теперь съ каждымъ днемъ онъ получалъ новыя доказательства, что друзья судили о дъйствительности, незная ея, п что, "стремясь рашать мыслію п мышеленісль — то, что понимается просто и легко — "инстинктивнымъ чувствомъ", они только "щелкались и стукались объ дъйствительность". Жестокая борьба съ нуждой уже давно показала ему, что "дъйствительность есть чудовище, вооруженное желфзиыми когтями и желфзными челюстями", и что она "мстить за себя насмъщливо, ядовито" тьмъ, кто не хочетъ съ ней знаться... Неудачи въ любви и дружбъ окончательно убъдили его въ томъ, что "не все то бываетъ, что, кажется, должно бы быть", что "между міромъ фантазін и міромъ дъйствительности ифтъ инчего общаго" и что "дфйствительность не лошадь, которою можно управлять по воль, а кучерь, который править нами и преисправно похлестываетъ насъ своимъ бичомъ". "Для меня пътъ ужаснве мысли", говориль Белинскій впоследствін, "какъ остаться у жизни въ дуракахъ, быть ея дюпомъ. Пусть бьетъ она меня, но я буду знать, кто и что она, и на удары буду отвъчать проклятіями. Это лучше, чтмъ позволить ей спеленать себя и убаюкивать, какъ ребенка". Итакъ, "надо жить, падо двигаться въ живой действительпости"; "ощущенія, волнованія жизни-это главное, а тамъ можно н пофилософствовать". И "съ ненасытнымъ любопытствомъ" Бѣлинскій началъ вглядываться въ эту дъйствительность, "прежде столь презираемую" кружкомъ. Въ этотъ самый моментъ подоспъло гегеліанство съ своей всеобъемлющей формулой о разумности всего существующаго, и Бълинскій "взревъль отъ радости". Въ знаменитой формуль онъ, наконецъ, пашелъ свое mot d'énigme. Для кружка вся окружающая дъйствительность была "пошла" и "призрачна"; для него она будетъ теперь вся силошь "разумна": "ничего изъ нея нельзя выкинуть и ничего въ ней нельзя похулить и отвергнуть". Съ этой разгадкой сразу все становилось понятно и просто; весь міръ, поставленный въ кружкѣ вверхъ ногами, возвращался теперь въ свое естественное положеніе. И для Бълнискаго "настаетъ время простыхъ признапійвъ томъ же, въ чемъ онъ признавался и прежде, но уже безъ всякаго самоуничиженія. Да, онъ не геній и не необыкновенный человъкъ, онъ какъ всю, - "простой, добрый малый"; онъ не можетъ достигнуть "абсолютнаго блаженства" путемъ мысли и путемъ излюбленнаго пріятелями "самоотреченія" (Entsagung, Resignation); онъ будеть искать его въ экизни, "не созерцательно, а дъятельно"; и найдетъ свое блаженство "не въ абсолютъ", не въ "рефлексін", а въ простомъ непосредственномъ наслажденін жизнью, безъ всякихъ справокъ о томъ, насколько въ индивидуальныхъ "частностяхъ" жизни отражается философское "общее". Прочь "добровольное отречение отъ своей сущности, своей самостоятельности, по причинъ разныхъ философскихъ вліяній. Кто илишеть подъ чужую дудку, тоть всегда дуракъ". "Къ чему философскія маски-будь всякій темъ, что есть". И Белинскій окончательно решиль, что. "каковъ бы ни быль, — онъ самъ по себъ, что ругать себя и кланяться другимъ на свой счеть-глупо и смъшно, что у всякаго свое призваніе, своя дорога въ жизни".

Въ этомъ настроеніи онъ почувствовалъ потребность "оторваться отъ родного круга", разорвать, хотя бы на время, старыя кружковыя связи. Прочь, дальше отъ нихъ—къ чужимъ людямъ, въ чужой городъ, гдѣ можно будетъ окунуться съ головой въ новую "дѣйствительность", невѣдомую и заманчивую, остаться наединѣ самому съ собой и сосредоточиться на своихъ собственныхъ, самостоятельныхъ, независимыхъ отъ дружескаго вліянія мысляхъ! Переѣздъ въ Петербургъ былъ для робкаго, непрактичнаго Бѣлинскаго геропческой попыткой—удовлетворить этой назрѣвшей душевной потребности.

Полный разсчеть со старымь должень быль быть последствіемь этого переёзда. Белинскій не признаваль въ себе самь способности

останавливаться на серединъ; не мудрено, что, какъ всегда, онъ и на этотъ разъ оказался "въ экстремъ". То, съ чѣмъ онъ съ гордостью носился нѣсколько лѣтъ, какъ съ "терновымъ вѣнкомъ страданія",— его нераздѣленная любовь, —тенерь уже представлялась ему "просто шутовскимъ колнакомъ съ бубенчиками", добровольно на себя надътымъ. Свою "абсолютность" онъ готовъ былъ, "еще съ придачею послѣдняго сюртука", отдать "за ту полноту, съ какой иной офицеръ сиѣшитъ на балъ, гдѣ много барышень и скачетъ штандартъ".

Шиллеръ сдълался "лютымъ врагомъ" Бѣлнискаго, и онъ мстилъ ему "за все то, отъ чего страдалъ во имя его" прежде. Идеальныхъ женщинъ Шиллера, помимо которыхъ для него прежде "не было женщины", онъ изъявлялъ теперь готовность промѣнять на слесаршу По шлепкину. "Что такое женщина", онъ "узналъ" теперь изъ "Ромео и Юліи"; легкомысленная лирика Гете и Гейне приводила его въ восторгъ.

"Напрасно влачишь ты въ печали томящей Часы драгоцѣнпые жизни летящей Затѣмъ, что своею ты милой забытъ. О, пусть возвратится пора золотая! Такъ нѣжно, такъ сладко цѣлуетъ вторая, — О первой не будешь ты долго грустить!"

Вт. Москвъ онъ уже проповъдывалъ, что надо относиться къ жизни просто, "не запоситься, брать что подъ руками, и за неимѣніемъ лучшаго, пировать, чѣмъ Богъ послалъ". Въ Петербургѣ онъ шелъ еще дальше и находилъ, что жизнь надо презирать, чтобы умѣть пользоваться ея благами. Все въ жизни относительно; страданія и наслажденія одинаково стушевываются передъ великимъ таниствомъ уничтоженія и смерти. "Жизнь—ловушка, а мы—мыши: инымъ удается сорвать приманку и выйти изъ западни, но большая часть гибиетъ въ ней, а приманку развѣ понюхаетъ... Нынѣшній день пашъ... будемъ же пить и веселиться, если можемъ".

Конечно, Бѣлинскій не могъ "инть и веселиться" послѣ такихъ разсужденій. На диѣ души его копился горькій осадокъ, и сердце щемило глухое ощущеніе внутренней нустоты. "Въ душѣ моей сухость, досада, злость, желчь, апатія, бѣшенство и пр. и пр. Вѣра въ жизнь. въ духъ, въ дѣйствительность—отложена на неопредѣленный срокъ— до лучшаго времени, а пока въ ней безвѣріе и отчаяніе". "Душа совсѣмъ раскленлась и похожа на разбитую скрипку—одиѣ щепки. Собери и склей—скрипка опять запграетъ, и, можетъ быть, еще лучше, — но нока одиѣ щепки". "Плохо, братъ, такъ илохо, что не зачѣмъ и

жить. Въ душѣ — холодъ, апатія, лѣнь непобѣдимая... И не люблю, и не страдаю... Надежды на счастье иѣтъ... не для меня счастье. Отъ него отказалась ужъ и услужливая моя фантазія". Эти и подобныя признанія постоянно вырываются у Бѣлинскаго въ шисьмахъ къ Боткину 1839—1840 годовъ.

"Одиако же", замѣчаетъ Бѣлинскій уже весной 1840 года, "впутри что-то дѣлается само собою". Дѣйствительно, на развалинахъ стараго міровоззрѣнія уже складывалось новое, которому Бѣлинскій вскорѣ и предался съ обычной своей горячностью. "Ты знаешь мою натуру", пишеть онъ осенью 1841 г.: "она вѣчно въ крайностяхъ"... "Я съ трудомъ и болью разстаюсь съ старой идеей, отрицаю ее до-нельзя, а въ новую перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита. Итакъ, я теперь въ новой крайности. Это—идея соціализма, которая стала для меня идеею идей, альфою и омегой вѣры и знанія"... "Мнѣ стало легче житъ", встрѣчаемъ въ письмѣ, наинсанномъ еще годъ спустя: "въ душѣ моей есть то, безъ чего я не могу жить,—есть вѣра".

Это было-очень много; но далеко еще не все, что нужно было Бълинскому, чтобы чувствовать себя удовлетвореннымъ. Прежде всего, по самому своему содержанію, новая въра вела за собою и новыя тернія. Я теперь совершенно созналь себя, поняль свою натуру. То и другое можеть быть вцолив выражено словомъ That, которое есть моя стихія. А сознать это-значить сознать себя заживо зарытымь въ гробу, да еще съ связанными назади руками". "Что мив въ томъ, что я увъренъ, что разумность восторжествуетъ, что въ будущемъ будетъ хорошо, если судьба вел'яла мн'я быть свид'ятелемъ торжества случайности, неразумія, животной силы? Что миж въ томъ, что моимъ или твоимъ дътямъ будетъ хорошо, если мит скверно, — и если не моя вина въ томъ, что мит скверно?" "Дайте... человъку сферу свойственной его способностямъ дъятельности, -- и онъ переродится". -- "Но эта сфера... ея негдъ взять. Этой сферы и теперь для меня нътъ, и никогда, никогда не будеть ея для меня"... Цълесообразная и разумная дъятельность, по теперешнимъ понятіямъ Бълинскаго, возможна только въ обществъ, сознательно преслъдующемъ свои общественные интересы; и прилагая эти понятія къ тому, что онъ видъль вокругь себя, Бълинскій окончательно приходиль къ безотрадному выводу, что онъ и все его покольніе суть жертвы "безалабернаго состоянія русскаго общества", что единственнымъ убъжищемъ отъ презираемой ими п презпрающей ихъ действительности можетъ быть только "необитаемый островъ", какимъ и былъ ихъ кружокъ, и что при этихъ условіяхъ, и сами они, и ихъ любовь и дружба, стремленія и даятельность - превращаются въ какой-то "призракъ". "Будь литература на Руси выраженіемъ общества, а слѣд. и потребностью его, — будь хоть сколько пибудь человѣческая цензура",—тогда было бы дѣло другое.

Къ сознанію своего безсилія присоединялось еще тяжелое чувство зависимости отъ поденнаго журнальнаго заработка. Необходимость "инсать второй листь, когда перваго уже правится корректура", невозможность "прочесть что-инбудь для себя", вмѣстѣ съ напоминаніями близкихъ людей: "читай. Виссаріонъ, а не то черезъ годъ тебѣ будетъ трудно писать", — все это временами вызывало у Бѣлинскаго отвращеніе къ перу и ногружало его въ совершенную апатію. "Миѣ кажется", замѣчалъ онъ, "дай миѣ свободу дѣйствовать для общества хотя на десять лѣтъ... и я, можетъ быть, въ три года возвратилъ бы мою потерянную молодость... полюбилъ бы трудъ, нашелъ бы силу воли"... Но, увы, это были одиѣ мечты. Въ дѣйствительности же Бѣлинскій сравнивалъ себя съ "Прометеемъ въ каррикатуръ". "Отечественныя Записки" — моя скала, Краевскій — мой коршунъ. Мозгъ мой сохнеть, способности тупѣютъ, и только "печаль минувшихъ дней въ моей душѣ, чѣмъ старъй, тѣмъ сильнъй".

"Печалью минувшихъ дней" была сердечная неудача Бълинскаго, инсколько не истребившая въ его душф потребности чувства. "Сквозь житейскій туманъ" все еще виділись ему милые образы, "словно ангельскіе лики въ облакахъ". И онъ сдёлаль даже попытку найти тлъющую искру въ потухшемъ неплъ своей старей привязанности. Онъ возобновиль прерванное знакомство, перенесся въ обстановку, одно воспоминаніе о которой было дорого его сердцу. Однако же, то, что онъ испыталъ, совсемъ не удовлетворило его сердечной потребности, а только сдѣлало ее болѣе жгучей. Онъ долженъ былъ только убѣдиться, что воспоминанія пе им'ьють болье силы надъ пимъ, что прошлое уже не можеть снова сделаться настоящимь. Онь быль уже не тотъ, что прежде, и старые друзья безсильны были пробудить въ немъ прежнія впечатлінія. Ему приходилось теперь "вновь знакомить ихъ съ собою и вновь знакомиться съ ними". "Вы правы", иншетъ Бълинскій особъ, бывшей предметомъ его первой привязанности: "въ томъ и жизнь, что она безпрестанно нова, безпрестанно измъняется... Только тф и живуть, которые такъ думають. Старое — Богь съ нимъ: оно хорошо и прекрасно только въ той мфрф, въ какой было прямою или косвенною причиною новаго: а само по себъ-прочь его!"

И, въ самомъ дѣлѣ, то новое, что призывалъ теперь къ себѣ Бѣлинскій всѣми силами души, нисколько не походило на старое. "Экстатическую, мистическую" любовь своей прошедшей юности онъ при-

знаваль теперь "возможной и действительной" только "какъ моменть, какъ вспышку, какъ утро, какъ весну жизни". Онъ не былъ, однако же, болве и твмъ ненавистникомъ женщинъ, какимъ сдвлало его на нъсколько льтъ крушение его "платонической любви". Романы Жоржъ-Зандъ указали ему середину между фривольнымъ и мистическимъ отношеніемъ къ женщинъ; — и эта середина состояла въ уваженіи въ женщинь свободной человьческой "личности". Отъ любви Бълинскій не требовалъ теперь "чудесъ" и не ожидалъ "слитія съ духомъ"; но онъ и не смотрълъ на нее больше, какъ на средство мимолетнаго наслажденія и не считаль "пиръ во время чумы-лучшимъ явленіемъ жизни". "Прежияя любовь не риомовала съ бракомъ, и вообще съ дъйствительностью жизии". Новая любовь должна была прежде всего упорядочить условія вибшияго существованія Бълинскаго: "разсудокъ туть играль роль не меньшую чувства, если еще не большую". Еще въ 1838 году Бълинскій предчувствоваль для себя возможность такой любви безъ влюбленности-и брака "по разсчету". "Не всфиъ суждено любить (т. е. влюбиться), быть любимымъ и жениться по любви, почувствованной и сознанной прежде, чфмъ вошла въ голову мысль о женитьбф; но... кромѣ пошлаго разсчета есть еще разсчетъ человѣческій, имѣющій въ виду удовлетвореніе лучшей стороны своей челов вческой природы; -- разсудокъ не есть единственный выходъ изъ состоянія чувства, но... то и другое можеть дъйствовать въ ладу, не мъшая одно другому". Эта идея кръпко засъла въ головъ Бълинскаго; въ 1841 г. онъ пишетъ: "не знаю, что собственно разумълъ Гегель подъ "разумнымъ бракомъ", но если я такъ понимаю его идею, то онъ-мужикъ умный. Любовь для брака дело не только не лишнее, но даже необходимое, но она имъетъ тутъ другой характеръ-тихій, спокойный: удалосьхорошо; не удалось-такъ и быть, не умирають, не делаются несчастными". Наконецъ, ровно черезъ годъ Бълинскій дълаеть уже откровенное примънение этой мысли къ себъ. "Знаешь ли, когда пора человъку жениться?" спрашиваетъ онъ Боткина и отвъчаетъ: "когда онъ дълается неспособнымъ влюбляться, перестаетъ видъть въ женщинъ "её", а видить въ ней просто (имя рекъ)". Еще годъ спустя Бѣлинскій уже завязаль свои отношенія къ будущей женѣ и повель ихъ форсированнымъ маршемъ къ возможно быстрой развязкъ.

Чего ожидаль Бѣлинскій оть этого брака? Онь самь разсказываеть объ этомъ невѣстѣ въ своихъ письмахъ къ ней 1). Но мы знали бы объ этомъ даже и въ томъ случаѣ, если бы этихъ писемъ вовсе не суще-

¹⁾ Ср. выше статью: "Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ".

ствовало. Чѣмъ далѣе, тѣмъ больше овладѣвало Бѣлинскимъ чувство одиночества. Холостая квартира становилась ему годъ отъ году постылѣе. Окончивъ срочную журнальную работу, онъ спѣшилъ бѣжать изъ дома, отъ "сообщества съ собственнымъ лакеемъ". Онъ пскалъ общества женщинъ, но знакомый ему женскій кругъ не давалъ работы натянутымъ нервамъ, —Бѣлинскій все чаще и чаще искалъ отдохновенія за карточнымъ столомъ. "Отработался, и два-три дня у меня болитъ рука", ппшетъ онъ въ 1843 г.: "видъ бумаги и пера наводитъ на меня тоску и анатію, дую себѣ въ преферансъ, ставлю ремизы страшные, ибо и игру знаю плохо, и горячусь, какъ сумасшедшій—на мѣлокъ я долженъ рублей около 300, а переплатилъ мѣсяца за два (какъ началъ играть въ преферансъ) рублей 150. Влагородная, братецъ, игра преферансъ! Я готовъ играть утромъ, вечеромъ, почью, днемъ, не ѣсть и играть, не снать и играть. Страсть моя къ преферансу ужасаетъ всѣхъ; но страсти илътъ: ты поймещь, что есть".

Изъ этого заколдованнаго круга — тяжелой работы и не менте изиурительнаго отдыха, — Бтлинскій чувствоваль, - его могла вырвать только семейная жизнь. Не могь онъ не чувствовать и того, что физическое существо его годь отъ году разрушается и шансы личнаго счастья становятся все меньше и меньше. Всякая охота пграть съ своими чувствами отпадала лицомъ къ лицу съ "этимъ страшиымъ, могильнымъ ощущеніемъ". "Былъ гртинокъ", иншеть Бтлинскій, — "любилъ я въ старину преувеличивать иное ради поэзіи содержанія и выраженія; но теперь Богъ съ нею, со всякою поэзіею — пемножко спокойствія, немножко веселости я предпочель бы чести — сильно страдать. Теперь настала пора, когда не до поэзіи, когда страшно увтриться въ прозаической дъйствительности собственнаго страданія, — а увтряешься противъ воли".

Таково было настроеніе Бѣлинскаго въ тоть моменть, когда начались его отношенія къ дѣвушкѣ, ставшей вскорѣ его женою. Утомленіе жизнью, стремленіе найти душевный покой въ тихой пристани брака, п "простой" взглядь на любовь, облегчавшій удовлетвореніе этого стремленія,—все это предшествовало новому чувству, это и вызвало его появленіе. Какъ видно изъ писемъ, вмѣсто тихой пристани Бѣлинскому пришлось на самомъ порогѣ брака выпести новую грозную бурю, которая едва пе кончилась новымъ и полнымъ крушеніемъ 1). Но это не остановило Бѣлинскаго; зажмуривъ глаза, онъ смѣло перешагнулъ порогъ. Для объясненія этого, кромѣ того, что говорится въ письмахъ,

¹⁾ См. названную статью.

мы можемъ тоже припомнить предшествовавшія признанія Бѣлинскаго. "Страстность составляетъ преобладающій элементъ моей прекрасной души. Эта страстность—источникъ мукъ и радостей моихъ; а такъ какъ, при томъ, судьба отказала мит слишкомъ во многомъ, то я и не умъю отдаваться въ половину тому немногому, въ чемъ не отказала она мит. "Вообрази себт мужика", пишетъ онъ въ другой разъ (тоже добрака),—"который всю жизнь свою не тдалъ ничего, кромт хлъба, поноламъ съ пескомъ и мякиной и, пришедъ въ большой городъ, увидълъ горы—и калачей, и кондитерскихъ издълій, и плодовъ. Можно ли сказать, что у него итть самообладанія и человтческой воздержанности, если онъ на эти вещи будетъ смотрть глазами тигра... а захвативши что-инбудь, начнетъ пожирать съ звъриною жадностью, и когда у него станутъ отнимать, онъ въ общенствъ разобьетъ себт черепъ?"

Переписка съ невъстой не открываетъ намъ тайны того, что нашелъ Бълинскій за порогомъ брака. Онъ твердо выполнилъ свое намфреніе: если это было счастье, онъ пользовался имъ тихо, "не привлекая ничьего вицманія"; если это быль кресть, — онъ сумѣль нести его "съ достоинствомъ", и унесъ свою тайну въ могилу. Въ первые годы брака, у него совсёмъ отпадаетъ охота-нсповёдываться передъ друзьями въ письмахъ, занимающихъ десятки листовъ. Черезъ ифсколько лътъ эта способность --писать длинныя письма--возвращается, правда, къ Бѣлинскому снова. Но сердечныя признанія въ этихъ нисьмахъ уже не играютъ никакой роли: инсьма заняты общественными интересами, борьбой литературныхъ цартій, журнальными новостями и т. д. Только въ перепискъ съ Боткинымъ прорываются иногда полупризнанія и жалобы чисто личнаго характера. Возвращение Боткина изъ-за границы напоминаетъ Бѣлинскому, что уже три года, какъ онъ женатъ, что въ эти три года онъ "пережилъ да передумалъ -и уже не головою, какъ прежде, -- лътъ за тридцать", -- что, "разставшись другъ съ другомъ "молодыми", они свидятся стариками".—Бфлинскій утфшалъ Боткина въ неудачь его семейной жизни, и, кажется, ничего не говорилъ о своей. Разъ только, мимоходомъ, онъ намекнулъ на то, "чего такъ глупо добивался всю жизнь и чего такъ умно не дала ему судьба, -зане такого мудренаго кушанья у нея не оказалось".

Надеждинъ и первыя критическія статьи Бълинскаго.

(По поводу новаго изданія сочиненій Бюлинскаго подъ ред. С. Л. Вгигерова)

Передъ нами два первые тома 1) новаго двѣнадцатитомнаго "Полнаго собранія сочиненій В. Г. Бѣлинскаго" подъ редакцією и съ примѣчаніями С. А. Венгерова. Нельзя не порадоваться, что за дѣло взялся такой хорошій знатокъ нашей повой литературы. Благодаря его знаніямъ и эпергіп, мы получимъ, паконецъ, "все, что когда-либо вышло изъ-подъ пера Бѣлинскаго", включая и его письма; уже теперь мы имфемъ цфлую серію юпошескихъ переводныхъ статей Бфлицскаго и его юношескую драму, не вошединя въ издание Солдатенкова. Къ особенностямъ изданія С. А. Венгерова относится также пом'ященіе иллюстрацій; интереснейшая изъ нихъ въ двухъ вышедшихъ томахъ есть чрезвычайно любопытный и прекрасно воспроизведенный акварельный портретъ Бѣлинскаго въ возрастѣ 27—28 лѣтъ. Редакторъ не ограничился, однако, однимъ изданіемъ возможно полнаго текста и налюстрацій къ нему. Онъ взяль также на себя обязанность комментатора и присоединиль къ тексту непрерывныя историко-критическія п псторико-библіографическія примачанія, цаль которыхъ -установить перспективу и дать матеріалъ читателю для сужденія о значеніи литературной деятельности Белинскаго. Безъ сомивнія, такой комментарій чрезвычайно увеличиваеть цанность изданія. Заматимъ, однако, что, можеть быть, С. А. Венгеровъ понимаеть задачи комментатора черезчуръ уже широко. Изъ роли комментатора онъ не только переходитъ постоянно въ роль критика, но и роль критика еще не вполит его удовлетворяеть: сплошь и рядомъ онъ становится полемистомъ и бе-

¹⁾ Въ настоящее время надано уже 6 томовъ II. С. Соч.

ретъ на себя нелегкую и отвѣтственную задачу — оспаривать взгляды издаваемаго имъ автора. Такой пріемъ едва ли можно признать цѣлесообразнымъ: прежде всего, онъ лишаетъ комментатора спокойствія, которое ему необходимо для чисто историко-литературной оцѣнки. Одно изъ самыхъ важныхъ получившихся отсюда увлеченій и односторонностей мы позволили себѣ сдѣлать предметомъ настоящей статьи... Надѣемся, что уважаемый критикъ не посѣтуетъ на насъ за эту попытку — очистить задуманное имъ изданіе отъ одного изъ серьезныхъ недостатковъ, которые мы въ немъ усматриваемъ.

"Изъ крупныхъ критическихъ статей", говоритъ С. А. Венгеровъ въ своемъ предисловін, "въ І-й томъ входять только "Литературныя мечтанія". Въ примъчаніяхъ къ нимъ мы по преимуществу задались вопросомъ о вліяніяхъ, сказавшихся въ знаменитой статьв. На этотъ вопросъ давались и до сихъ поръ даются два отвъта. По мнънію однихъ, на "Литер. мечтаніяхъ" и вообще на всей дѣятельности Бѣлинскаго въ "Телескопъ" и въ "Молвъ" лежитъ спльпъйшій отпечатокъ духовной личности редактора обоихъ изданій—Н. И. Надеждина. Другіе видять въ первомъ періодѣ дѣятельности Бѣлинскаго по преимуществу слады вліянія рано умершаго даровитаго юноши Станкевича. Мы рашительно не согласны съ первымъ взглядомъ. Намъ соотношеніе Надеждина и Бълинскаго представляется въ такомъ видъ: лучшее въ "Литер. мечтаніяхъ", — то, что сообщаеть имъ непроходящій интересъ, ничего общаго съ Надеждинымъ не имъетъ. И только въ худшемъ вліяніе Надеждина сказалось довольно замѣтно...". "Отрицая вліяніе (конечно, если говорить о вліяніяхъ благотворныхъ) Надеждина, мы, однако, очень настанваемъ въ своихъ примфчаніяхъ на томъ, что вообще-то на "Литер. мечтаніяхъ" очень сильно сказался цалый рядъ другихъ вліяній. Мы старались подыскать ко всемъ сколько-нибудь важнымъ мъстамъ статън мъста параллельныя, изъ статей другихъ представителей критической мысли двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. И въ результать оказалось, что безспорную личную собственность Бълинскаго составляеть только одна блестящая характеристика Марлинскаго ¹). Все остальное — часто вплоть до отдёльныхъ фразъ и выра-

¹⁾ Собственно, и это исключение не вполив соотвътствуеть тому, что говорить объ этомъ С. А. Венгеровъ въ прим. 157: "насколько блестящая и имъвшая историческое значение характеристика (Марлинскаго) является вполивличною заслугою Бълинскаго, и насколько опъ отразилъ тутъ "новое общественное мивніе" или, въ частности, настроеніе кружка Станкевича, опредъленно сказать трудно. Но отношеніе Станкевича къ Кукольнику, Тимонееву и другимъ дутымъ знаменитостямъ едва ли даетъ возможность сомиъваться въ

женій—заимствовано... лучшее— у Полевого, Станкевича, шеллингистовъ "Москов. Вѣстника" и др.; худшее — у Надеждина. Но въ чемъ же тогда настоящій Бѣлинскій, въ чемъ сила статьи, столь знаменитой? На этоть вопрось мы сейчась дадимъ отвѣтъ, который, подобно Leitmotiv'у Вагнеровскихъ оперъ, пройдетъ чрезъ всѣ наши комментаріи къ Бѣлинскому. Безконечно преклоняясь предъ духовной личностью великаго идеалиста и считая его произведенія одинмъ изъ главнѣйшихъ источниковъ новой русской мысли, мы утверждаємъ, однако, что силу Бълинскаго составляють по преимуществу качества его сердца, которое мы называемъ великимъ".

Мы не хотимъ подвергать логическимъ операціямъ последнюю фразу критика, чтобы доискаться, въ чемъ заключается, по его мивнію, слабость или менье "преимущественная" сила Бълинскаго; но не можемъ скрыть, что вся постановка вопроса кажется намъ здѣсь чрезвычайно странной. Оригинальныхъ мыслителей вообще бываетъ немного, и трудно было бы ожидать найти ихъ среди той культурной обстановки, въ которой выростала наша тогдашиля интеллигенція. Оригинальными мыслителями не были, конечио, и то многое множество второстепенныхъ и третьестепенныхъ писателей, у которыхъ можно подыскать "параллельныя мьста" къ "Литературнымъ мечтаніямъ" Бёлинскаго. "Цель русскаго критика", говорилъ самъ Бѣлинскій по этому поводу, "должна состоять не столько въ томъ, чтобы расширить кругь понятій человъчества объ изящномъ, сколько въ томъ, чтобы распространять въ своемъ отечествъ уже извъстныя, осъдлыя понятія объетомъ предметь. Не бойтесь, не стыдитесь, что вы будете повторять зады и не скажете ничего новаго. Это новое не такъ легко и часто, какъ обыкновенно думають: оно едва примътными глыбами налицаеть на глыбы стараго. Самое старое будеть у вась ново, если вы человъкъ съ мибијемъ и глубоко убъждены въ томъ, что говорите: ваша индивидуальность и вашъ способъ выраженія и самому вашему старому должны придать характеръ новости".

Итакъ, на оригинальность своей мысли Белинскій и самъ не пре-

томъ, что и на отношеніе Бѣлинскаго къ Марлинскому главарь кружка имълъ свою долю вліянія". Дѣйствительно, какъ бы мы ин смотрѣли на оригинальность или зависимость Бѣлинскаго, ясно, что его трактованіе Марлинскаго пельзя разсматривать, какъ какой-то исключительный случай: степень оригинальности здѣсь едва ли меньше или больше, чѣмъ въ его другихъ характеристикахъ писателей, выступившихъ раньше его времени. Эту степень лучше всего опредълнять самъ Бѣлинскій въ той цитатѣ, которую мы лълаемъ изъ него инже.

тендоваль; но онь имёль бы полное право обидёться, если бы эту неоригинальность ему стали доказывать "нараллельными мѣстами" второстепенныхъ писателей; и можно вообразить, что было бы съ нимъ, если бы въ утѣшеніе ему тотчась заговорили объ его "великомъ сердцѣ".

Дѣло въ томъ, что, доказавъ, — чего, пожалуй, и доказывать не падо было, —что Бѣлинскій не оригинальный мыслитель, его критикъ уже слишкомъ многое считаетъ доказапнымъ. Онъ вовсе перестаетъ говорить о Бѣлипскомъ, какъ о мыслитель, и въ своихъ комментаріяхъ слишкомъ исключительно подбираетъ доказательства его "великаго сердца". Отсюда происходятъ всѣ тѣ ошибки, по поводу которыхъ мы собираемся говорить; отсюда, прежде всего, и ошибочность постановки вопроса, который (по нашему мнѣнію, напрасно) критикъ выдвигаетъ на первое мѣсто: вопроса о вліяніи Надеждина на Бѣлинскаго.

Для С. А. Венгерова вопросъ этотъ ставится такъ: что могъ дать редакторъ "Телескона", съ его дряннымъ сердцемъ, "великому сердцу" Бѣлинскаго? Поставленный такъ, вопросъ допускаетъ, конечно, только одно рѣшеніе: инчего. Несомиѣнно, "устаповленіе сколько-нибудь тѣсной душевной связи между даровитымъ, но безпринципнымъ редакторомъ "Телескопа" и неистовымъ Виссаріономъ есть психологическая несообразность". Но нужно ли доказывать "тѣсную душевную связь", чтобы имѣть право говорить объ умственномъ вліянін?

Впрочемъ, критикъ тотчасъ же самъ допускаетъ ту самую "психологическую несообразность", противъ которой совершенно законио протестовалъ. Мы не помнимъ въ даниую минуту, чтобы кто-нибудь говорить о "тесной душевной связи" между Надеждинымъ и Бълнискимъ: но самъ С. А. Венгеровъ о ней говоритъ въ положительномъ смыслъ. Онъ утверждаетъ именно, что эта связь была — и при томъ такая, какой она, съ точки зрѣнія С. А. Венгерова, только и могла быть: дурное вліяніе Надеждина на Бѣлинскаго. Дурное именно въ правственномъ смыслъ, своего рода правственное затменіе у Бѣлинскаго. Сюда критикъ относитъ всѣ выходки Бѣлинскаго въ духѣ "квасного натріотизма". Но въ самомъ ли дѣлѣ то, что говоритъ Бѣлинскій по этому поводу, такъ ужъ дурно, что не могло бы быть выведено изъ болѣе чистаго источника? И почему, не допуская болѣе вѣроятнаго, уметвеннаго вліянія, критикъ такъ рѣшительно утверждаетъ менѣе вѣроятное, съ его же собственной точки зрѣнія: правственное вліяніе?

Не странно ли, въ самомъ дѣлѣ: Бѣлинскій заимствовалъ, оказывается, свои теоретическія миѣнія отъ кого придется, отъ самыхъ ничтожныхъ въ литературномъ отношеніи посредниковъ—и ничего не

заимствовалъ отъ человъка въ умственномъ отнощенін весьма значительнаго, перваго выдающагося литератора, съ которымъ онъ солизился и съ которымъ имѣлъ постоянныя отношенія? Бѣлинскій былъ въдь тогда начинающимъ сотрудникомъ, а Надеждинъ редакторомъ журнала, симпатичнаго ему по общему направленію, близкаго къ преобладающему настроенію тогдашней молодежи. И не странно ли, съ другой стороны, что какъ разъ въ той области, въ которой Бѣлинскій былъ обставленъ всего лучше, — и въ которой Надеждинъ ничего не могъ ему дать, — въ области моральной жизни, находившейся подъ непосредственнымъ и зоркимъ контролемъ тѣснаго круга друзей, въ высшей степени чуткихъ къ сферѣ нравственныхъ отношеній, — что именно тутъ проскользнулъ огромный фактъ тлетворнаго вліянія Надеждина?

Поставить эти вопросы — значить уже, въ сущности, рѣшить ихъ въ смыслѣ противоположномъ мпѣнію С. А. Венгерова. Очевидно. Надеждинъ могъ имѣть на Бѣлипскаго только умственное, а не нравственное вліяніе. Но наша задача здѣсь не кончается, она только начинается. Мы хотимъ показать, по какой причинѣ С. А. Венгеровъ впалъ въ обѣ эти странныя ошибки, которыхъ, казалось бы, такъ легко было избѣжать. Эту причину мы видимъ въ томъ, что авторъ недостаточно впимательно отнесся къ процессу теоретической мысли Бѣлипскаго. Безъ винмательнаго сравненія взглядовъ Надеждина и Бѣлинскаго—этого процесса нельзя прослѣдить; а не прослѣдивши его, нельзя судить о степени и о характерѣ зависимости Бѣлинскаго отъ Надеждина.

Правда, С. А. Венгеровъ находитъ, что и ръчи о теоретическомъ вліяніи не можетъ быть — уже потому, что "во всѣхъ указанныхъ статьяхъ Надеждина нѣтъ никакой сколько-инбудь цѣльной философскоэстетической теоріи искусства". Это С. А. Венгеровъ считаетъ "самымъ главнымъ возраженіемъ" своимъ противъ того миѣнія (А. Н. Пыпина), но которому "теоретическія понятія и взгляды на искусство, высказанные Бѣлинскимъ, не отступали въ сущности отъ положеній Надеждина". Наше миѣніе въ данномъ случать совсѣмъ не на сторонѣ почтеннаго критика. Мы готовы утверждать даже, что его "главное возраженіе" и составляетъ главный источникъ его ошибки. Разъ навсегда ръшивши, что у Надеждина нѣтъ цѣльной теоріи, онъ не искалъ цѣльной теоріи и въ "Литературныхъ мечтаніяхъ". Естественно, при такомъ условіи весь споръ о вліяніи Надеждина долженъ былъ сойти съ той единственно вѣрной почвы, на которой онъ только и можетъ быть рѣшенъ—и куда мы постараемся его теперь воротить.

Прежде всего, — есть ли цъльная теорія у самого Бълинскаго?

С. Л. Венгеровъ въ разныхъ мъстахъ примъчаній указываетъ много разныхъ мыслей въ "Литературныхъ мечтаніяхъ", которыя онъ считаетъ-, одижми изъ основныхъ"; но онъ нигдф не пытается поставить эти мысли въ такую связь между собою, при которой можно бы было рфинть, которая же изъ нихъ самая основная. Онъ не только не ищеть единства мысли въ "Литературныхъ мечтаніяхъ", но прямо отрицаеть это единство, указывая на такія "основныя" мысли знаменитой статьи Бълинскаго, которыя находятся въ явномъ противорфчін другь съ другомъ и ин къ какому единству, по митнію С. А. Венгерова, сведены быть не могутъ. Противорфчіе, о которомъ идетъ рфчь, оказывается какимъ-то систематическимъ, упорнымъ: это видно уже изъ того, что изъ "Литературныхъ мечтаній" оно переходить, если върнть С. Л. Венгерову, въ дальнъйшія статьи Бълинскаго, фигурируеть у него не только на сосъднихъ странидахъ, но даже въ сосъднихъ предложеніяхъ. Словомъ, если такое противорфчіе—дфйствительно существуеть, то мы вполив понимаемъ поспвшныя восхваленія "великаго сердца" Бълинскаго: дъло въ томъ, что это противоръчіе гораздо болбе делаеть чести сердцу Белинскаго, чемъ его, — ужъ скажемъ прямо, --- мыслительнымъ способностямъ.

Въ чемъ же дѣло? Рѣчь ндетъ о дѣйствительно основной идеѣ всей критической дѣятельности Бѣлинскаго въ ея первый періодъ,— о томъ, что и составляетъ единство, лежащее въ основѣ не только "Литературныхъ мечтаній", но и дальнѣйшихъ критическихъ статей Бѣлинскаго: о его романтической теоріи искусства. Передадимъ, прежде всего, эту теорію собственными словами Бѣлинскаго, съ нѣкоторыми сокращеніями.

"Какое пазначеніе и какая цѣль искусства?.. Изображать, воспроизводить въ словѣ, въ звукѣ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы: вотъ единая и вѣчная тема искусства. Поэтическое одушевленіе есть отблескъ творящей силы природы. Чѣмъ выше геній ноэта, тѣмъ глубже и общирнѣе обнимаетъ онъ природу и тѣмъ съ большимъ успѣхомъ представляетъ намъ ее въ ея высшей связи и жизни". Байронъ и Шиллеръ каждый представили намъ "только одиу сторону бытія вселенной";—"по Шекспиръ, божественный, великій, недостижимый Шекспиръ постигъ и адъ, и землю, и пебо: царь природы, онъ взялъ равиую дань и съ добра, и со зла и нодсмотрѣлъ въ своемъ вдохновенномъ ясновидѣніи біеніе пульса вселенной. Каждая его драма есть міръ въ миніатюрѣ; у него нѣтъ, какъ у Шиллера, любимыхъ идей, любимыхъ героевъ... Да, — это безиристрастіе, эта холодность поэта, который какъ будто говоритъ вамъ: такъ было, а

впрочемъ, мит какое дъло, —есть высочайшій зенить художественнаго совершенства, есть истинное творчество, есть удѣлъ немногихъ избранныхъ, о коихъ говорятъ:

"Съ природой одною онъ жизнью дышалъ: Ручья разумълъ лепетанье" и т. д.

"Въ самомъ дѣлѣ, развѣ вы можете назвать то или другое явленіе прекраснымъ, а это безобразнымъ безъ отношеній?... Развѣ не одинъ и тотъ же духъ Божій создалъ кроткаго агица и кровожаждущаго тигра... развъ онъ больше любитъ голубя, чъмъ ястреба?... Если поэтъ изображаетъ вамъ ...одно ужасное, одно злое природы, это доказываетъ, что кругозоръ ума его тъсенъ, а ничуть не обнаруживаетъ въ немъ дурного, безиравственнаго человѣка. Вотъ когда опъ своими сочиненіями старается заставить васъ смотрфть на жизнь съ его точки зрфнія, въ такомъ случав онъ уже и не поэтъ, а мыслитель, - и мыслитель дурной, злонамфренный, достойный проклятія, ибо поэзія не импъеть цюли вню себя. Доколь поэть следуеть безотчетно всиышкь своего воображенія, дотоль онъ правствень, дотоль онъ п поэть; но какъ скоро онъ предположиль себф цфль, задаль тему,--онь уже философъ, мыслитель, моралисть, онь теряеть надо мной свою чародейскую власть, разрушаетъ очарование и заставляетъ меня сожальть о себь, если, при истинномъ талантъ, имъетъ похвальную цъль, и презирать себя, если силится опутать мою душу тенетами вредныхъ мыслей".

Такова довольно извъстная романтическая теорія поэзін въ изложенін Бұлинскаго. Сущность ея сводится къ двумъ подчеркнутымъ нами выраженіямъ, что поэзія есть "отблескъ творящей силы црироды" и, какъ таковая, "не имъетъ цъли виъ себя". С. А. Венгеровъ къ этимъ п дальнъйшимъ разсужденіямъ Бълинскаго дълаетъ слъдующее примъчаніе: "Холодность поэта защищается здісь (и даліве) съ такимъ энтувіазмомъ, а "безпристрастіе" съ такою восторженностью, что уже сама по себъ эта пламенная защита объективизма можеть привести только къ впечатленію прямо противоположному. Самъ проповедникъ объективизма безпрестанно забываеть о немъ, и уже чрезъ двѣ страницы глава заканчивается днепрамбомъ "горячему чувству". Вся статья состоить изь цёлаго ряда такихь противорючій. То поэть должень быть "холоднымъ", то Веневитиновъ темъ хорошъ, что "обнималъ природу не холоднымъ умомъ, а пламеннымъ сочувствіемъ". То стихи должны быть "выстраданы" и въ нихъ должны быть слышны "воили души", то поэзія "не имфетъ цфли виф себя", "цфль вредитъ поэзіи". Пушкинъ "великъ въ своей безсознательной деятельности"; писатель-художникъ долженъ быть безстрастнымъ, но почему-то комедія должна

быть плодомъ горькаго негодованія, возбуждаемаго униженіемъ человъческаго достопиства" и т. д. И дальше, на протяженіи обоихъ томовъ, С. А. Венгеровъ не перестаетъ отмѣчать противорѣчія между теорісй "безпристрастія" и требованіемъ "пламеннаго чувства" ¹).

Эти многочисленныя "противорачія", указываемыя критикомъ, можеть быть, действительно существовали бы, если бы подъ "безпристрастіемъ и холодностью поэта" Балинскій разумаль свободу поэта от всякаго чувства. Но въдь онъ протестуеть только противъ внесенія въ поэзію "холоднаго ума" и, напротивъ, настанваетъ на томъ, "что "обнять природу" нельзя иначе, какъ "иламеннымъ сочувствіемъ". А безпристрастіе и холодность поэта — заключается лишь въ его способности отвываться этимъ иламеннымъ сочувствіемъ на всю явленія природы ²). Вопросъ не въ томъ, стало быть, требуетъ ли Бѣлинскій чувства отъ поэта или не требуетъ, — а какого чувства онъ требуетъ отъ поэта: эстетическаго ли только, или также и нравственнаго. Отвътъ на этотъ вопросъ, — даже и не подозръваемый С. А. Венгеровымъ, - Бѣлинскій ставилъ своей главной задачей; надъ нимъ онъ ломалъ голову и упражиялъ свою оригинальную мысль. Въ результатъ, въ этомъ именно отвъть заключается та особенность теоріи Бълинскаго, въ которой самъ онъ видълъ важный шагъ впередъ сравнительно съ романтиками. Но этой вполит сознательной и оригинальной работы мысли мы не замътимъ, этого шага впередъ не поймемъ, если не обратимся къ исходной точкъ разсужденій Бълинскаго, —т. е. къ Надеждину.

Воть какъ заставляеть Надеждинъ разсуждать по этому вопросу (т. е. объ отношенін эстетическаго и правственнаго чувства въ поэзін) своего воображаемаго противника, романтика Тлѣнскаго, котораго онъ выводить въ своемъ діалогѣ: "Литературныя опасенія" (написанномъ за 6 лѣтъ до "Лит. мечт." Бѣлинскаго, въ 1828 г. ³). "Только Батте

¹⁾ См. прим. 272 къ II тому.

²⁾ Соч. II, 206: "Если есть поэты, которые върно и глубоко воспроизводили міръ собственно извъданныхъ ими страстей и чувствъ, собственныя страданія и радости,—изъ этого еще не слъдуеть, что поэтъ только тогда могъ пламенно и увлекательно писать о любви, когда былъ самъ влюбленъ... и пр. Напротивъ, это означаетъ скоръе односторонность и ограниченность таланта, нежели его истипность. Отличительная черта,—то, что составляетъ, что дълаетъ истипнаго поэта, состоитъ въ его страдательной и живой способности, всегда и безъ всякихъ отношеній къ своему образу мыслей, понимать всякое человъческое положеніе" и т. д.

³⁾ Статьи Надеждина, на которыя дълаются далъе ссылки, всъ приложены С А. Венгеровымъ къ первому тому, за что цельзя не поблагодарить почтекнаго критика.

и Лагариамъ могло придти въ голову, что будто изъ всѣхъ пінтическихъ произведеній должно выжимать посредствомъ логической пытки какую-инбудь нравственную апофоегму. Старинныя, сударь, пъсин. — Нынъ доказано, что ничто столько не безобразить поэзін, какъ подчиненіе оной умственному или правственному интересу. Интересъ ссоетическій должень быть безпримьсень... Тебѣ не правится сіе пеудержимое пареніе творящаго генія въ безпредільной страні бытія и дійствія; сіе необузданное самовластіе, располагающее всіми сокровищами вещественнаго міра; сія нелицепріятная всеобъемлемость, для которой всь явленія і образы равноцьнны -лишь бы выражалась въ нихъ ярко идея безпредъльной и самозаконной жизни?.. Стыдись, братецъ! Ты заклепываешь въ тяжелые кандалы неограниченное могущество генія. Развъ можетъ для него быть что-нибудь низкое, педостойное и заповъдное въ великой картинъ природы? Для орла, парящаго подъ облаками, не всф ли земные предметы уравниваются въ одинаковую пропорцію?-Весь міръ есть родовое пом'єтье генія; для него здісь нітъ ничего запретнаго. Изъ безчисленнаго множества чертъ, составляющихъ великую картину природы, властенъ онъ выбирать любыя для поэтическихъ картипъ. Никакіе посторониіе разсчеты не должны имѣть вліянія на его свободный выборъ: ни умозрительная значительность, ни правственное достоинство, ни общественныя предубѣжденія... Все псполненное жизни-жизии огненной, кинящей, клокочущей-есть уже законная собственность генія".

Эти романтическія сужденія Тлѣнскаго, повліявшія пе только на содержаніе, по и на форму приведенныхъ выше мѣстъ изъ "Литературныхъ мечтаній", составляють исходную точку разсужденій Бѣлинскаго. Но только исходную точку. Бѣлинскій пе останавливается на теоріяхъ Тлѣнскаго. Въ своихъ критическихъ статьяхъ онъ продолжаетъ начатую въ "Лит. опасеніяхъ" полемику Тлѣнскаго съ Надеждинымъ, постепенно углубляя при этомъ свою основную мысль и дѣлая изъ нея всѣ возможные логическіе выводы. Въ этихъ попыткахъ—идти дальше—состоитъ вся суть развитія Бѣлинскаго за первый періодъ его дѣятельности. Въ чемъ состояло это развитіе и къ чему оно привело, это намъ и предстоитъ теперь разсмотрѣть.

Въ "Інтер. онасеніяхъ" Надеждина вопросъ былъ поставленъ такъ: современная поэзія разнуздалась; она дозволяеть себѣ брать темы, недостойныя поэта, забывая о приличіяхъ и нравственности. На эту-то литературно-полицейскую точку зрѣнія Тлѣнскій отвѣчаетъ только-что приведенными доказательствами,—что нѣтъ темъ, недостойныхъ истипнаго поэта, и что критерій правственнаго для поэзін—есть посторонній,

чуждый критерій. Надеждинъ еъ этимъ не согласенъ и возражаетъ ему: "но что значитъ самый есоетическій интересъ, какъ не гармоническое сліяніе правственнаго и умственнаго интереса?.. Что значитъ красота, какъ не истина, растворенная добротою?.. Да, мой любезный, изящное неудобомыслимо безъ отношенія къ существеннымъ потребностямъ духа нашего: истинному и доброму". Какъ видимъ, для опроверженія Тлѣнскаго Надеждинъ пытается подняться выше: онъ выдвигаетъ противъ романтической распущенности чувства— идею тожества истины, добра и красоты. Но мъль при этомъ остается старая. Цѣль возраженія Падеждина, очевидно,—показать, что эстетическое должно подчиняться требованіямъ правственнаго и истиннаго. Какъ же относится ко всему этому ходу спора классика съ романтикомъ—Бѣлинскій?

Бълинскій по отношенію къ собесъдникамъ надеждинскаго діалога занимаетъ совершенно самостоятельное положение. Въ общемъ, онъ на сторонъ Тльнскаго; но онъ очень прислушивается и къ возраженіямъ Надеждина, принимая ихъ во внимание-и оставаясь противникомъ Надеждина. Онъ, конечно, отлично видитъ, что это собственно борьба Надеждина съ самимъ собой, что Надеждинъ "понималъ ромацтизмъ лучше его защитниковъ и былъ не совсьмъ искреннимъ поборинкомъ классицизма такъ же, какъ не совсъмъ искреннимъ врагомъ романтизма". И вотъ въ данномъ случав онъ смело усванваетъ себв возраженіе Надеждина Тлінскому, только ділаеть изъ него другое употребленіе. Въ статьт, прямо обращенной къ Надеждину (Ипчто о ничемъ), онъ принимаетъ надеждинскій тезисъ о гармоніи красоты съ добромъ и истиной, но переворачиваетъ его такъ, что первенсиво остается за эстетической стороной человъческой натуры. "Чувство изящнаго есть условіе человъческаго достоинства: только при немъ возможенъ умъ, только съ нимъ учепый возвышается до міровыхъ идей, понимаетъ природу и явленія въ ихъ общности; только съ нимъ гражданинъ можетъ нести въ жертву отечеству и свои личныя надежды, и свои частныя выгоды; только съ нимъ человъкъ можетъ сдълать изъ жизни подвигъ и не сгибаться подъ его тяжестью". Безъ него, безъ этого чувства, нѣтъ генія, нѣтъ таланта, нѣтъ ума-остается одинъ пошлый "здравый смыслъ, необходимый для домашняго обихода жизни, для мелкихъ разсчетовъ эгонзма... Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности... Гдѣ пѣтъ владычества искусства, тамъ люди не добродѣтельны, а только благоразумны; не нравственны, а только осторожны; они не борются со зломъ, а только избъгають его не по ненависти къ злу, а изъ разсчета". Итакъ, Бълинскій остается вфренъ романтическому тезису о первенствъ эстетической

стороны человъческаго духа; онъ отрицаетъ подчинение его правственности, но потому, что нравственность вит чувства изящиаго-есть только мораль; номимо всякаго подчиненія, поэть не можеть быть не нравственнымъ, пока остается самъ собой 1). На этой точкѣ зрѣнія, можеть быть, еще не вполив отчетливо формулированной, Белинскій стоить уже и въ "Литер. мечтаніяхъ". Вотъ почему вмѣсто автономін эстетическаго чувства, которую защищаль Тлёнскій отъ моралистическихъ покушеній Надеждина, Бѣлинскій защищаеть здѣсь автономію чувства вообще, понимая подъ нимъ и эстетическое, и правственное. Вотъ почему также нельзя искать противорфиія въ такихъ утвержденіяхъ Бѣлинскаго, какъ то, что "поэзія не нмѣетъ цѣли виѣ себя" и то, что комедія "должна быть плодомъ горькаго негодованія, возбуждаемаго униженіемъ человвиескаго достопиства"; или что безпристрастіе поэта есть зенить художественнаго совершенства-и что стихи должны быть "выстраданы", должны быть "воилями души". Самъ Бѣлинскій не только не избъталъ такихъ сопоставленій, но нарочно и умышленно накопляль ихъ, какъ бы видя въ такомъ накопленіи ту трудную проблему, которую призванъ ръшить именно онъ. Проблемой этой былауже не защита эстетики отъ правственности, а защита эстетики и нравственности, считаемыхъ за одно и то же, отъ разсудочности и фальсификаціп. Итакъ, то, что С. А. Венгеровъ считаетъ противоръчіемъ, было въ дѣйствительности первымъ, вполнѣ сознательнымъ шагомъ впередъ по пути самостоятельнаго мышленія.

Пойдя разъ этимъ путемъ, Бѣлипскій вовсе не считаетъ задачи исчернанною въ "Литературныхъ мечтаніяхъ". Ему все еще кажется, что онъ недостаточно подчеркнулъ равноправность субъективизма и объективизма въ поэзін. Какъ бы предчувствуя, что его будутъ обвинять въ колебаніи между тѣмъ и другимъ,—несмотря на его прямое заявленіе, что и поэтъ, изображающій одно ужасное, и поэтъ, изображающій весь міръ въ миніатюрѣ, съ его смѣсью добра и зла,—суть одинаково поэты и одинаково правственны, если "слѣдуютъ безотчетно вснышкѣ воображенія",—Бѣлинскій еще разъ продумываетъ эту тему

¹⁾ Ср. II, 489: "не заботьтесь о правственности, но творите... и будете нравственны даже на зло самимъ себъ". II, 495: "въ художественномъ произведенін идея всегда истинна, если вышла изъ души... Возьмите любую застольную пъсню Беранже" еtc. Ср. съ этой терминологіей мижніе кружка Бълинскаго о "правственной точкъ зрънія", какъ низшей сравнительно съ "полнотой жизпи въ духъ". Послъднюю обезпечивало лишь искусство, "эстетическая" точка зрънія, какъ единственная, дававшая возможность проникнуть въ тайшики природнаго творчества и слиться, такимъ образомъ, съ абсолютнымъ. См. выше статью о "Любви идеалистовъ 30-хъ гг."

и возвращается къ ней въ статьй о "Повъстяхъ Гоголя". Примиреніе субъективизма и объективизма въ поэзін является на этотъ разъ въ формф различенія двухъ видовъ поэзін: идеальной и реальной. "Поэзія двумя, такъ сказать, способами объемлетъ и воспроизводитъ явленія жизни. Эти способы противоположны одинъ другому, хотя ведутъ къ одной цфли. Поэтъ или пересоздаетъ жизнь по собственному идеалу, зависящему отъ образа его воззрѣнія на вещи, отъ его отношеній къ міру, къ вѣку и народу, въ которомъ онъ живетъ, или воспроизводитъ ее во всей ея наготѣ и истинѣ, оставаясь вѣренъ всѣмъ подробностямъ, краскамъ и оттѣнкамъ ея дѣйствительности".

Последнюю, "поэзію реальную", поэзію жизни, поэзію действительпости, Бълинскій считаетть "истинной и настоящей поэзіей нашего времени". "Ея отличительный характеръ состоить въ вфриости дъйствительности: она не нересоздаетъ жизнь, но воспроизводитъ, возсоздаетъ ее и, какъ выпуклое стекло, отражаетъ въ себф, подъ одною точкою врвнія, разнообразныя ся явленія, выбирая изъ нихъ ть, которыя нужны для составленія полной, оживленной картины... Удивительно ли, что отличительный характеръ новъйшихъ произведеній вообще состоить въ безпощадной откровенности, что въ нихъ жизнь является, какъ бы на исзоръ, во всей наготъ, во всемъ ея ужасающемъ безобразін. Мы требуемъ не идеала жизни, но самой жизни, какъ она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотимъ ее украшать, ибо думаемъ, что въ поэтическомъ представленіи она равно прекрасна въ томъ и другомъ случав, и потому именно, что истинна, и что гдв истина, тамъ и поэзія". Все это-какъ разъ тѣ же аргументы -отчасти даже и тѣ же выраженія, - которыми защищаль Тлинскій романтическую - "новийшую" - поэзію отъ морализующихъ нападокъ Надеждина ¹). Но какъ

¹⁾ Чтобы ясиве дать понять, протист какого цензорского отношенія къ поэзін направлена приведенная тирада Бълниского, приведемъ еще выписку изъ Надеждина. "О бъдная, бъдная наша Поезія! — долго ли будетъ ей скитаться по Нерчинскимъ острогамъ, цыганскимъ шатрамъ и разбойническимъ вертенамъ?.. Неужели къобласти ея исключительно принадлежатъ одиъ мрачныя сцены распутства, ожесточенія и злодъйства?.. Что за ръшительная антипатія ко всему доброму, свътлому, мелодическому, радующему и возвышающему душу?.. Вотъ предметы Поезіи: великіе подвиги и невинныя наслажденія человъчества!.. А ныпъ?.. Ныпъ Поезія съ какимъ-то пензъяснимымъ удовольствіемъ бродитъ но вертепамъ злодъяній, омрачающихъ Природу человъческую; съ какою-то безстыдною наглостію срываетъ нокровъ съ ея слабостей и заблужденій; и любуется изведенною на позоръ срамотою наилучшаго созданія Божія!—Нътъ! Не таково было первоначальное назначеніе Поезін!.. Наши пъвцы воздыхаютъ тоскливо о блаженномъ состояніи первобытной дикости и услаждаются живописаніемъ бурныхъ порывовъ неистовства, покушающагося

далеко уже ушель Бѣлинскій отъ своего исходнаго пункта, употребляя эти аргументы на защиту настоящей "новѣйшей" поэзін—реалистическихь повѣстей Гоголя! Вмѣсто права эстетическаго чувства на полиую свободу выбора—права свободы отъ предписаній этики и отъ соотвѣтствія истинѣ, — мы видимъ отожествленіе "истины" съ "поэзіей" въ новѣйшемъ принципѣ—вѣрнаго воспроизведенія дѣйствительности.

Но куда же делась "свобода чувства" — этическаго такъ же, какъ эстетическаго — въ поэзін, — то, что составляло главный предметь нападокъ Надеждина? Бѣлинскій совсѣмъ не думаетъ отказываться и отъ этого завоеванія. Свобода чувства остается удёломъ "идеальной поэзін". "Идеальной" поэзіей Белинскій считаеть прежде всего то, что но тогдашнимъ общеупотребительнымъ терминамъ принято было называть, по Шлегелю, романтической поэзіей, т. е. поэзію христіанскихъ народовъ, преимущественно средневѣковую. Онъ, однако, не только не считаетъ идеальную нозвію устарфлой и отжившей, по даже готовъ утверждать, что "именно въ наше-то время и возможна она, и нашему времени предоставлено развить ее". Въ идеальной поэзін "естественность. гармонія съ законами дійствительности —діло постороннее; въ такомъ случай (поэть) какъ бы зарание условливается съ читателемъ, чтобы тотъ върилъ ему на слово и искалъ въ его созданіи не жизни, а мысли. Мысль — вотъ предметь его вдохновенія. Какъ въ оперѣ для музыки пишутся слова и придумывается сюжеть, такъ онъ создаетъ, по воль своей фантазін, форму для своей мысли. Въ этомъ случав его поприще безгранично; ему открыть весь дайствительный и воображаемый міръ, все роскошное царство вымысла, и прощедшее, и настоящее, и исторія, и басия, и преданіе, и народное суевѣріе, и вѣрованіе, земля и небо, и адъ. Безъ всякаго сомнінія, и туть есть своя логика, своя поэтическая истина, свои законы возможности и необходимости, которымъ онъ остается вфренъ, но только дфло въ томъ, что онъ же самъ и творить себѣ эти условія".

Каково же отношеніе между двумя поэзіями? "Трудно было бы рѣшить", отвѣчаетъ Бѣлинскій, "которой изъ пихъ должно отдать преимущество. Можетъ быть, каждая изъ инхъ равна другой, когда удовлетворяетъ условіямъ творчества, т. е. когда идеальная гармонируетъ
съ чувствомъ, а реальная—съ истиной представляемой ею жизии. Но
кажется, что послѣдняя, родившаяся вслѣдствіе духа нашего положи-

писировергнуть до основанія священный оплоть общественнаго порядка и благоустройства" и т. д. Легко понять, какое значеніе имѣлъ протестъ противъ "правственной точки зрѣнія", формулированной такъ, какъ формулировань ее Надеждинъ.

тельнаго времени, болье удовлетворяеть его господствующей потребности". Во всякомъ случав, -условія поэтическаго творчества—одинаковы для обвихъ: обв нуждаются во "вдохновенін", и при наличности его, "какого бы рода ни было произведеніе—пдеальное, реальное, оно всегда истинно, истично поэтически".

Какъ видимъ, въ умф Бфлинскаго кинитъ напряжениая работа. Конечно, работу эту задаетъ уму, прежде всего, "великое сердце"; конечно, Балинскій все время продолжаєть вращаться въ кругу тахъ же надеждинскихъ идей, а его теорія, несмотря на всѣ надстроенные надъ исю эпициклы, продолжаеть висьть на гвоздф романтической эстетики. Но все же это есть теорія, сознательно стремящаяся охватить всь объясняемыя ею явленія-и при этомъ остаться уюльной. Это есть продукть личной работы Бѣлинскаго, хотя и совпадающей съ отчасти недоговоренными, отчасти педодуманными мыслями Надеждина. Бълинскій могь, конечно, почерпнуть основныя темы своей теоріи и не у Надеждина, такъ какъ міровоззрѣніе, изъ котораго онѣ вытекали, было довольно распространено. Тамъ не менфе, трудно отрицать, что $\phi a \kappa m u$ чески онъ воспринялъ ихъ именно у Надеждина, что даже самыя недомоловки Надеждина дали толчокъ для дальнъйшей мысли, что полемизируя съ нимъ, онъ надъ нимъ возвысился, и что основу этой эмансинацін положиль самь Надеждинь своей неискренностью защиты и нападенія, а больше всего самой своей основной мыслыю, которую, по мивнію Бълинскаго, онъ "первый сказаль и развиль" 1), именно, что "поэзія нашего времени не должна быть ин классическою, ни романтическою; но что въ поэзін нашего времени должны примириться объ эти стороны и произвести новую поэзію". Теорія идеальной и реальной поэзін (нфито въ родф "сентиментальной" и "наивной" поэзін шиллеровской эстетики) была блестящимъ разрѣшеніемъ задачи, самостоятельнымъ и стоившимъ Бълинскому много усилій мысли, хотя, конечно, не окончательнымъ въ его же собственныхъ глазахъ.

Прежде, чъмъ идти далѣе, остановимся еще на одномъ эпизодѣ, имлюстрирующемъ ту же теоретическую работу Бѣлинскаго въ зависимости отъ Надеждина. На реплику, поданную Надеждинымъ Тлѣнскому

¹⁾ Характерна и эта ссылка Бълинскаго на пріоритетъ Надеждина. На самомъ дълъ эту идею раньше Надеждина уже развивалъ И. Давыдовъ и сдълалъ ее популярной среди покольнія старшихъ сверстниковъ Бълинскаго, — покольнія, выросшаго въ 20-хъ годахъ. Сльдовательно, въ данномъ случав показаніе Бълинскаго имъетъ исключительно автобіографическое значеніе. См. мои "Главныя теченія русской исторической мысли", т. 1, 2 изд. 1898, стр. 297, 302.

и приведенную нами выше, "что эстетическій интересь должень гармонировать съ правственнымъ и умственнымъ", -реплику, сдёлавшуюся исходной точкой умственцой работы Бѣлинскаго, Тлфискій въ "Литер. опасеніяхъ", въ свою очередь, возражаеть: "Вотъ хорошо... Но тебъ уже, чай, извъстно, что первоначальный законъ искусническаго творчества есть безительность? Ты такой знатокъ въ новъйшей философін, а позабылъ первые склады ея". На это Надеждинъ побъдоносно отвъчаеть: "дъйствительно, знаменитый Канть постановляеть началомъ эстетическаго изящества соразмюрность съ цюлью безъ цюли (Zweckmässigkeit ohne Zweck). Но что это значитъ?.. Совстит не то, чтобы изящное произведение не должно было имъть никакой цъли, по что оно должно имъть единственную цъль свою въ самомъ себю, не подчиняясь никакимъ вифшнимъ постороннимъ видамъ. Пінтическія изліянія должны быть свободными изліяніями свободнаго духа... Но для чего же вы опускаете другую черту закона, имъ возвѣщаемаго: соразмърность съ цѣлью?.. Кантъ хочетъ, чтобы изящное произведение, не стѣсняясь посторонними видами, темъ не мене, было, однако, соразмерно съ цѣлью, которою должно быть для него всесовершенное выражение единой великой идеи, имъ назнаменуемой". Въ этомъ случав Бълинскій согласенъ съ Надеждинымъ. Мы видели, что уже въ "Литер. мечтаніяхъ" онъ принимаеть эту часть формулы въ редакціи Надеждина, съ его поправкой: онъ говорить о "цѣли поэзін—самой въ себѣ". Но и туть мысль его продолжаеть работать. Въ стать о "Повъстяхъ Гоголя" Бѣлинскій и къ этой темѣ возвращается вновь, —спеціально для того, чтобы примирить исходное утверждение съ принятой имъ поправкой. "Творчество безиюльно съ июлью", говорить онъ туть, "безсознательно съ сознаніемъ, свободно съ зависимостью: вотъ основные его законы". И онъ развиваеть свой взглядъ на психологио творчества, приходя въ результатѣ къ выводу: "когда поэтъ творитъ, то хочетъ выразить въ поэтическомъ символѣ какую-нибудь идею, слѣд., имфетъ цель, действуеть съ сознаніемъ. Но ин выборъ иден, ин ея развитіе не зависить оть его воли, управляемой умомь, след., его действие безцѣльно и безсознательно".

Такъ развивалъ Бѣлинскій свою основную эстетическую идею, систематически идя навстрѣчу возраженіямъ, вводя соотвѣтственныя поправки и стараясь занять высшую позицію, съ которой й первоначальная мысль, и возраженіе противъ пея сливались въ одно болѣе глубокое пониманіе предмета. Тезисъ и антитезисъ принадлежали при этомъ Надеждину, но надеждинскій синтезисъ оказывался черезчуръ мелкимъ и виѣшнимъ,—и Бѣлинскій замѣнялъ его своимъ. "Старая"

мысль, дъйствительно, становилась новой, снова начинала жить и развиваться въ пониманіи Бълинскаго.

Вопросъ объ отношенін Надеждина къ первымъ критическимъ статьямъ Бълинскаго и этимъ, однако, все еще далеко не исчернанъ. Не только оба импъли цѣльпую теорію, но оба старались на ней основать свое отношеніе къ русской литературѣ: и въ этомъ случаѣ Надеждинъ опять сыгралъ точно такую же роль, какъ въ обсужденіи общей теоріи.

Какая задача "Литературныхъ мечтаній"? Несомивно, — доказать, что при томъ органическомъ пониманіи искусства и изящнаго, изъ котораго исходить критикъ, --- истиннымь произведеніемъ искусства будеть лишь такое, которое само собою вытекло изъ глубинъ народнаго духа. "Литература есть народное самосознаніе, — и тамъ, гдв ивть этого самосознанія, тамъ литература есть или скоросиблый илодъ, или средство къ жизни, ремесло извъстнаго класса людей. Если и въ такой литературъ есть прекрасныя и изящныя созданія, то они суть пеключительныя, а не положительныя явленія; а для исключеній ивть правиль". Эти слова Бълинскаго въ одной поздибищей стать (П, 383) могли бы служить полнымъ резюме "Литературныхъ мечтаній", съ той только прибавкой, что и отдельныя "прекрасныя и изящныя произведенія" объясняются соприкосновеніемъ ихъ авторовъ, болѣе пли менѣе случайнымъ, съ тъми же тайниками народнаго духа. Начъ кажется, С. А. Венгеровъ недостаточно подчеркиваетъ единство этой основной иден "Литературныхъ мечтаній" и ея связь съ тімъ общимъ эстетическимъ принципомъ, о которомъ говорилось выше. Ниаче онъ вфрифе оцфинлъ бы зависимость Бфлинскаго и въ этой части его разсужденій отъ Надеждина и не искалъ бы дурного вліянія Надеждина тамъ, гдф рфчь могла бы скорфе идти о новомъ самостоятельномъ шагф Бфлинскаго сравнительно съ Надеждинымъ.

Прежде всего, пельзя не констатировать, что пе только общій ходъ мысли Надеждина (въ его "Отрывкѣ изъ диссертаціи" и въ "Отчетѣ за 1831 годъ"), но и взглядъ почти на всѣ частныя явленія и факты русской литературы — одинъ и тотъ же со взглядами "Литературныхъ мечтаній" Бѣлинскаго. Надеждинъ, подобно Бѣлинскому, исходитъ изъ мысли, что пора русскимъ внести свою долю во всемірно-историческое развитіе народовъ: онъ и указываетъ роль русскихъ — въ примиреніи противоположности двухъ предыдущихъ міровъ, классическаго и романтическаго. Бѣлинскій только менѣе опредѣленно высказывается о томъ, что именно внесетъ народъ русскій; онъ какъ будто склопенъ болѣе индивидуализировать роль каждаго народа во всемірно-истори-

ческомъ процессъ. Вмъсто того, чтобы повторять утвержденія Надеждина: "какъ члены одного великаго человвческаго семейства, мы должны жить общею жизнью человъчества и шествовать наравиъ съ нимъ, быть преемниками и наслѣдниками сугубой юности рода человѣческаго", - у Бълинскаго встръчаемъ другой варіантъ той же шеллингистской темы: "только идя по разнымо дорогамъ, человъчество можеть достигнуть своей цели; только живя самобытной жизнью, можеть каждый народъ принесть свою долю въ общую сокровищинцу" 1). Варіантъ Надеждина звучить болье по-западнически, варіанть-почти отвътъ - Бълинскаго - по-славянофильски, - если можно употреблять эти термины раньше формальнаго возникновенія славянофильства и западинчества. Разница варіантовъ, какъ увидимъ, во всякомъ случав не случайна; и, конечно, если искать туть отношенія между мыслями Бѣлинскаго и Надеждина, — то отношеніе это будеть — полемическое. Нать сомнанія, что не Надеждинь привиль Балинскому формулу, отзывающую "кваснымъ патріотизмомъ", -разъ эта формула употреблена противъ Надеждина.

Пойдемъ дальше. Послѣ одинаковаго вступленія у Бѣлинскаго п у Надеждина, и далъе слъдуетъ одна и та же мысль: обстоятельства исторической жизни (одинаковая есылка на Иетра) сдёлали надолго главной особенностью нашей культурной жизни-подражательность. что и объясняеть, почему до сихъ поръ у насъ нать самобытной національной литературы. Въ развитіе этой темы опять оба автора вносять свои индивидуальные оттынки, - и опять славянофильскій оттвнокъ оказывается особенностью Бълинскаго сравинтельно съ Надеждинымъ. "Благодатный весений возрастъ словесности, запечатлъваемый у народовъ, развивающихся изъ самихъ себя, свободною естественностью и оригинальною самообразностью, у насъ, напротивъ, обреченъ былъ въ жертву рабскому подражанію и искусственной припужденности. Обыкновенно ставять это въ вину и въ укоръ русскому характеру, признавая его не способнымъ къ самообразной производительности: но не будемъ слишкомъ строги къ самимъ себъ. Не одна наша словесность терпить сію участь: ее разделяють литературы народовъ, кои раньше насъ приняли участіе въ европейскомъ просвъщеніп и, следовательно, старше и зреле насъ, какъ-то: шведская, датская, голландская (ср. реминисценцію Бѣлинскаго на эти слова, І). Имъ также нечвмъ похвалиться: они прозябають не своей, но заим-

¹⁾ Объ этихъ двухъ варіантахъ всемірно-исторической схемы у русскихъ шеллингистовъ см. мои "Главныя теченія русской исторической мысли", І. стр. 332 и слъд.

ствованной жизнью... Само собой разумфется, что сін насильственные наросты не могли укореняться глубоко въ литературной нашей почвф и разростаться богатою жатвою. Напротивъ, они весьма скоро выцвфтали, блекли и опадали; они возникали и увядали по минутнымъ прихотямъ, по эфемернымъ капризамъ моды" (реминисценція Б. см. І, 344).

Бѣлинскій развиваетъ ту же тему иначе, — и очень близко къ тому, какъ трактовало этотъ сюжетъ впослѣдствін славянофильство. "Народъ или, лучше сказать, масса народа и общество пошли у насъ врозь. Первый остался при своей прежней грубой и полудикой жизни: второе... забыло говорить русскій языкъ... ударилось въ подражаніе, или, лучше сказать, передразниваніе иностранцевъ и т. д."

Далже, и Надеждинъ, и Бълинскій дълаютъ бъглыя характеристики старыхъ русскихъ писателей, отмъчая тъхъ изъ нихъ, которые сохранили свое значеніе, и объясняя эти исключенія —близостью данныхъ инсателей къ народному духу. Подборъ лицъ-очень близокъ, а это объяснение у обонхъ критиковъ-совершению одинаково. На Ломоносовъ, впрочемъ, они расходятся: Бълинскій видить въ немъ "рабскую подражательность", тогда какъ Надеждинъ считаетъ его "не только истиннымъ поэтомъ (съ чемъ готовъ согласиться и Белинскій), но еще по превосходству- поэтомъ русскимъ, въ коемъ сей великій народъ пробудился къ полному поэтическому сознанію самого себя". Причиной разногласія послужиль здась, кажется, классицизмь Ломоносова, который приводить Надеждина въ умиление и раздражаетъ Бълинскаго. Ва то Бѣлинскій выдвигаеть Державина, очевидно, въ пику Надеждину, выставляя его "невъжество", какъ гарантію его "народности", спасшую его отъ Лемоносовскаго псевдо-классицизма. Общій фонъ эпохи нарисованъ у обоихъ критиковъ довольно одинаковыми красками. Дальше, Надеждинъ объясняетъ "ту высокую степень совершенства, на которую возведена у насъ, преимущественно передъ прочими отраслями поэзін, — басня , "Басня ознаменована у насъ печатью высочайшей народности: всматривается въ бытъ русскій, подслушиваетъ рѣчь русскую, одинмъ словомъ, есть въстовщица духа и характера русскаго". Бѣлинскій на этотъ разъ совершенно согласенъ съ Надеждинымъ. "Замфчу, говоритъ онъ,-не я первый,-что басня оттого имъла на Руси такой чрезвычайный успъхъ, что родилась не случайно, а вслъдствіе нашего народнаго духа... Воть убъдительнъйшее доказательство того, что литература непремѣнно должна быть народною, если хочеть быть прочною и втчною"... Переходимъ далће прямо къ Пушкину, минуя быструю смжну заимствованій у французской, пъмецкой и англійской литературы, характеризованную у Бълинскаго,

по признацію на этотъ разъ и С. А. Венгерова, весьма близко къ Надеждину (I, стр. 344 и прим. 68; и Надеждинъ, ib., 527—528). Пушкинъ причиняетъ комментатору Бѣлинскаго жестокое затрудненіе. Въ первомъ томф С. А. Венгеровъ очень рфшительно высказалъ мнфніе, что "колвнопреклопеніе предъ Пушкинымъ составляеть такую центральную черту "Литературныхъ мечтаній" и всей вообще д'ятельности Бѣлинскаго, что уже однихъ надеждинскихъ глумленій (надъ Пушкинымъ) совершенио достаточно, чтобы между обоими критиками создалась бездна, чрезъ которую нельзя перекинуть никакого соединительнаго моста". Во второмъ томѣ, однако же, этотъ соединительный мостъ С. А. Венгерову пришлось построить собственными руками. Тамъ онъ встрътилъ намеки Бълинскаго на пушкинскаго Нулина, совершенно точно воспроизводившіе "глумленіе" Падоумки - Надеждина; встрѣтилъ, и на первый разъ не повърилъ 1). "Мы не могли догадаться, о чемъ тутъ рфчь", замфчаетъ онъ въ примфчаніи къ этому мъсту (пр. 358). -- "и серьезно ли говорится объ "одномъ изъ знаменитъйшихъ нашихъ писателей. Неужели это —намеки на графа Нулина"? Скоро, однако, инкакія сомнѣнія становятся невозможными; приходится признать печальную дъйствительность (пр. 419), и С. А. Венгеровъ сразу переходить почти въ другую крайность. "Начиная съ "Литературныхъ мечтаній", говорить онъ теперь, "Бълинскій упорно твердить объ упадкъ Пушкина". Нашъ комментаторъ и тутъ, однако, не хочеть признать открыто, что Бѣлинскій только развиваеть въ этомъ случав тезисъ Надеждина и повторяетъ его ошибку.

Но перейдемъ лучше опять къ тому, въ чемъ Бѣлинскій отличается отъ Надеждина и въ чемъ онъ, по нашему представленію, пошель дальше его. Рѣчь пдетъ о пониманіи самаго основного понятія, которымъ оперировали оба: понятія пародности. Надеждинъ и въ этомъ случаѣ обнаружилъ ту "неискреиность и непрямоту доказательствъ", то "явное противорѣчіе между воззрѣніями и ихъ приложеніемъ", въ которыхъ обвинялъ его позднѣе Бѣлинскій. Какъ "законы творящаго духа" онъ очень поспѣшно свелъ на правила "здраваго вкуса" (ср. филиппику Бѣлинскаго противъ "вкуса" въ разборѣ критики Шевырева), такъ и для "народности" онъ постарался найти самое подхо-

^{1) &}quot;Поминте ли вы", спрашиваетъ Бѣлинскій Надеждина (въ адресованной прямо ему статьѣ "Ничто о пичемъ"), "какъ одинъ изъ знаменитѣйшихъ нашихъ писателей. изъ первостатейныхъ геніевъ, угомонилъ на смерть свою литературную славу тѣмъ, что вздумалъ писать о ничелъ и весь вылился въ ничемо?" Ср. въ приложеніи къ І тому статью Надеждина "Сонмище нигилистовъ" и спеціальный "разборъ гр. Нулина".

дящее выражение въ "патріотизма". "Явно отсюда, говорить онъ по новоду Державина и другихъ нашихъ бардовъ, —что натріотическій еноусіасмъ составляеть какъ бы родовое непреложное наслідіе русской поэзін: и это ни мало не удивительно, когда вѣковыя преданія и ежедневные опыты свидетельствують, что національный характерь самаго народа русскаго отличается — живою, пламенною, неизмѣнною бовію къ отечеству". Нѣсколько подобныхъ же "патріотическихъ" аккордовъ мы находимъ и на заключительныхъ страницахъ "Литер. мечтаній". Но никакого вліянія на мысль Балинскаго эти стилистическіе хвостики не оказали; возможно, что они были спеціально придѣланы для надеждинскаго журнала и цензуры. Если бы этимъ ограничивалось "дурное вліяніе" Надеждина на Бълинскаго, то объ этомъ не стоило бы и говорить. Но С. А. Венгеровъ ставить свое обвинение гораздо шире. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ Бѣлинскій начинаетъ говорить о "самобытности" каждаго народа, какъ объ основъ его національнаго склада, комментаторъ делаетъ следующее примечание (37): "начиная съ этой главы, 'Бълинскій даеть рядь общественно-политическихъ воззрѣній, діаметрально-противоположныхъ тому, что составляеть сущность его дъятельности во вторую половину жизни, и съ чъмъ по преимуществу связано представление о немъ въ общемъ сознании. Начавъ съ утвержденія, что "обычан-дівло святое, неприкосновенное", Бівлинскій постепенно усванваетъ себъ жаргонъ квасного патріотизма, кровожадно восторгается тъмъ, какъ "разыгрался русскій мечъ," и пишеть уже даже не слогомъ Погодина и Шевырева, а громоподобнымъ стилемъ XVIII въка. Подъ вліяніемъ разъ взятаго тона, Бълинскій заговорилъ шишковскими славянизмами, отечество стало для него не просто дорогимъ, а "драгимъ", Алексъй Михайловичъ превратился въ "Алексія," и все его изложение русской истории свелось къ самому грубому бахвальству и прославленію русскаго кулака".

Это сказано очень сильно, какъ видимъ, —но... неужели же въ самомъ дълъ Вълинскій "кровожадно восторгается", "грубо бахвальствуетъ" и "прославляетъ русскій кулакъ"? Все это говорило бы не только противъ силы ума, но, пожалуй, и противъ основного тезиса С. А. Венгерова, — противъ "великаго сердца". Къ счастію, мы можемъ не тревожиться за репутацію Бѣлинскаго. Замѣтимъ, прежде всего, что то, что говоритъ тутъ С. А. Венгеровъ о слогѣ Бѣлинскаго, оказывается плодомъ простого недоразумѣнія. Выше мы привели выраженіе Бѣлинскаго "говоритъ русскій языкъ", употребленное имъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ заводитъ бесѣду о подражательности русскаго "общества". Кажется, ясно, что это выраженіе, напечатанное курсивомъ, Бѣлинскій умышленно здѣсь

выбраль, чтобы самымь оборотомь разин изобразить разучивающееся говорить по-русски дворянство. Тамъ не менае, и къ этому масту встрачаемъ примъчание С. А. Венгерова: "этотъ совершенио неправильный французскій обороть (parler la langue), віроятно, объясняется постоянными переводами съ французскаго, которыми такъ усиленно запималея Б. въ 1833 и 1834 (пр. 44)"; а въ преднеловін критикъ признается, что подобные галлицизмы у Бълинскаго и прежде его коробили. Не обстантъ ли дъло подобнымъ же образомъ и съ шишковизмами, которые коробять почтеннато критика теперь? Въдь "драгое отечество"—тоже написано курсивомъ 1) и употреблено отъ имени Ломопосова-это его подлинное выражение; въ другихъ мъстахъ совершенно съ тъмъ же разсчетомъ на большую изобразительность употребленъ "немецкій маниръ", когда речь идеть о Петре, и "Биронъ" вместо Байрона, когда рѣчь идеть о первыхъ глухихъ слухахъ по поводу романтизма, проникшихъ въ русскую публику. Немудрено, что Бълпискій заговариваеть слогомь державинскихь одь, когда рфчь идеть о времени ими. Екатерины. Такимъ образомъ, едва ли пужцо защищать далъе несравненный слогъ "Литературныхъ мечтаній". Важибе разобрать обвинение (въ заимствовании "квасного натріотизма" Бълинскимъ отъ Надеждина) по существу. Тутъ мы снова принуждены ръшительно противорфчить комментатору Бфлинскаго. Мы видфли и раньше склонность Бълнискаго къ славянофильскимъ взглядамъ на народность-и при томъ какъ разъ въ противоположность Надеждину. Тенерь прибавимъ, что, по нашему митиію, не только не слудуеть слагать вину за эти мибиія Бълпискаго на Надеждина, но и вообще едва ли умъстно говорить здъсь о какой-либо "винъ". Влінніе этого рода мы скоръе готовы бы были считать заслугой вліявшаго, такъ какъ славянофильское мивніе о народности было той ступенькой, по которой Бѣлинскій поднялся надъ мижніями Надеждина и выбрался на собственную дорогу. По смыслу его эстетической теоріи ему необходимо было найти такой "безсознательный съ сознапіемъ, безцёльный съ цалью" принципъ, па которомъ бы можно было построить понятіе и ожиданіе самобытной и оригинальной русской литературы. Такой принципъ и дала ему славянофильская идея народности. Несомивино, что эта идея была безусловно враждебной казенному понятію "патріотизма" и болже глубокой, чъмъ все, что говорилось по этому поводу до славянофиловъ. "Народ-

¹⁾ Значеніе курсива, какъ означающаго чужія подлинныя выраженія или характерныя словечки,—словомъ, все, что мы теперь поставили бы въ ковычки, указано самимъ С. А. Венгеровымъ,—не помнимъ, къ сожалѣнію, въ какомъ именно мъстъ.

ность" относилась къ "натріотизму" въ терминологіи и въ понятіяхъ Бѣлинскаго, какъ "вдохновеніе" къ "здравому вкусу", какъ "полнота духовной жизни" къ "морали" или къ "правственной точкъ зрѣнія" (см. выше). Всѣ эти противопоставленія выводили литературные споры изъ области простыхъ симпатій или антипатій и поднимали ихъ до борьбы цѣльнаго міровоззрѣнія противъ ходячей рутины,—пден противъ узкаго житейскаго практицизма.

Кто же далъ Бѣлинскому такое пониманіе "народности"? Едва ли можеть быть и туть какое-либо сомнине. Билинскій не предвариль славянофильскія ученія своими разсужденіями, какъ думаеть критикъ (пр. 43), а просто взяль ихъ у славянофиловь же; могь взять и у И. Кирвевскаго, напечатавшаго еще въ 1830 г.: "сознаемся, что у насъ еще нътъ полнаго отражения уметвенной жизни народа, нътъ литературы"; могъ онъ — и это всего въроятите - заимствовать эти взгляды — именно на старинный простопародной быть, на реформу Петра, на раздъление общества отъ народа — непосредственно у ближайшаго своего друга, Константина Аксақова, съ которымъ жилъ душа въ душу въ то время 1), который ин о чемъ другомъ и говорить не умълъ, кромъ какъ разъ этихъ самыхъ темъ — и, навърное, вдоволь наговорился о нихъ съ Бѣлинскимъ. Почему другому, какъ не по этому, н оказалось такъ тяжело впоследствін (въ 40-хъ гг.) ихъ разставаніе, когда разиица взглядовъ, опять по этому же вопросу, развела ихъ въ разныя стороны?

Но, согласившись съ тѣмъ, что основа взглядовъ на пародность въ "Литературныхъ мечтаніяхъ" взята у славянофиловъ (чему, собственно, но противорѣчитъ въ другомъ мѣстѣ своихъ примѣчаній и С. А. Венгеровъ), мы, однако, тотчасъ же должны отмѣтить, что Бѣлинскій вноситъ въ обсужденіе вопроса извѣстную самостоятельность. Самостоятельность эта обнаруживается какъ разъ въ вопросѣ о значеніи "обычаевъ" для народности. Значеніе обычаевъ (какъ опредѣляющихъ "физіономію пародную") Бѣлинскій выдвигаетъ насчемъ значенія религін 2); его "обычан" — это почти падъорганическая среда нозднѣйшей соціологіи: междупсихическая соціальная ткань. Критикъ самъ въ разныхъ мѣстахъ присоединяется къ пониманію народности Бѣлинскимъ:

¹⁾ Припомнимъ, что Аксаковъ-отецъ оберегалъ отъ вліянія Бълинскаго своего сына (см. выше, статью о С. Т. Аксаковъ), а Бакупппъ одно время обвинялъ Бълинскаго за "коалицію" съ Аксаковымъ (см. "Любовь у идеалистовъ 30 гг.").

²) Надо, впрочемъ, прибавить, что какъ разъ такое центральное значеніе придавалось "обычаямъ" въ семьъ Аксаковыхъ.

но какъ же дошелъ Бѣлинскій до этого пониманія, какъ не путемъ усвоенія и дальнѣйшей разработки славяпофильскаго миѣнія?

Я упомянуль о "дальнѣйшей разработкъ", потому что, какъ всегда у Бълинскаго, въ этой разработкъ – вся сущность дъла. Разъ усвоивъ себъ понятіе народности, какъ чего-то невольнаго, чего-то такого, что не можеть не быть и что само-собой приложится, Бѣлинскій на этой почвъ — и только на ней — и могъ смъло выступить противъ всякихъ фальсификацій народности, противъ всякой нонытки играть этимъ словомъ, какъ знаменемъ или лозунгомъ націонализма, словомъ, противъ того самаго сведенія "народности" къ "натріотизму", котораго далеко не чуждь быль Надеждинь. Свою позицію въ этомъ вопросф Бълинскій совершенно определенно занимаеть уже въ "Литературныхъ мечтаніяхъ". "Мнъ кажется", говорить онъ туть, "что это стремленіе къ народности произошло оттого, что всѣ живо почувствовали непрочность нашей подражательной литературы и захотёли создать народную, какъ прежде силились создать подражательную. Итакъ, опять цфль, опять усилія, опять старая погудка на новый ладъ? Но развѣ Крыловъ потому народенъ въ высочайшей степени, что старался быть народнымъ? Нфтъ, онъ объ этомъ инмало не думалъ; онъ былъ народенъ, потому что не могъ не быть народнымъ: быль народепъ безсознательно и едва ли зналь цфну этой народности, которую усвоиль созданіямь своимь безь всякато труда и усилія ("конечно, единственное правильное понятіе о народности", замѣчаетъ по новоду этого мѣста С. А. Венгеровъ, пр. 178). "Истинный поэть -безсознательно народень, точно такъ же, какъ онъ "безсознательно правственъ" и "безсознательно правдивъ". На томъ же основаніи, прибавимъ кстати, онъ и "безсознательно современенъ" по теорін Бълинскаго, опять считаємой "противоръчіемъ" въ примъчаніяхъ С. А. Венгерова.

Эту основную идею Бълинскій примѣнить къ Пушкину, къ Гоголю; онъ приведеть ее въ тѣснѣйшую связь съ идеей "безцѣльнаго съ цѣлью" искусства (т. е. реалистической поэзіи), — и въ результатѣ получится міросозерцаніе, которому, что бы противъ него ни возражать, нельзя отказать въ одномъ качествѣ: внутренней цъльностии. Достиженіе этой внутренней цѣльности составляеть главную задачу Бълинскаго во всѣхъ его первыхъ критическихъ статьяхъ. Всмотритесь въ нихъ внимательно: вы найдете, что всѣ онѣ какъ бы отлиты по одной формѣ; каждая слѣдующая составляетъ исправленное и улучшенное изданіе предыдущей. "Литературныя мечтанія", статья о новъстяхъ Гоголя, "Ничто о ничемъ", отчасти и статья о критикѣ Московскаго наблюдателя — всѣ эти литературныя работы построены на двухъ

основныхъ и тѣсно связанныхъ другъ съ другомъ идеяхъ, генезисъ которыхъ у Бѣлинскаго мы старались прослѣдить: на идеф безцѣльнаго нскусства, которая развивается въ понятіе реальной поэзін, и на идеф конкретной народной индивидуальности, безсозпательнымъ выразителемъ которой является инсатель-реалистъ. Такъ, фразеологію "абстрактнаго геронзма" Бѣлинскій сумѣлъ заставить служить своему инстинкту дъйствительности. "Великое сердце", конечно, нужно было, чтобы сообщить этой теоретической работ всю ея напряженность, всю ея лихорадочность; но сущность сделаннаго дела все же заключалась въ теоретической работь мысли. Вліннія Надеждина при этомъ нельзя отрицать, но не надо и преувеличивать; можно сказать, что отрицательными сторонами своей мысли онъ былъ не менфе полезенъ Бфлинскому, чъмъ положительными. Во всякомъ случаф, и это, и другія вліянія имфють второстепенное значеніе въ птогахъ мыслительной работы Бълинскаго: главное въ этой работъ принадлежить его уму,тому уму, которому такъ удивлялись люди, личнознавшіе Бълинскаго и поражавниеся той проницательностью, той логической силой, съ которой авторъ "Литературныхъ мечтаній" умѣлъ по одному намеку на интересовавшее его міровоззрѣніе возстановлять его цфлости, во всфхъ близкихъ или далекихъ выводахъ изъ разъ схваченныхъ посылокъ, словомъ, въ такой полнотъ и глубинъ, которыхъ ръдко удавалось достигнуть даже лицамъ, знавшимъ то же міровоззрѣніе изъ первыхъ источниковъ.

Университетскій курсъ Грановскаго.

T.

За посявдніе годы наша нечать много занималась Грановскимъ. Переизданы были его сочиненія и его біографія, написанная А. В. Станкевичемъ; вновь издана его переписка; охарактеризованы ифсколькими профессорами исторіи его общія историческія воззрѣнія; наконецъ, составлена нован біографія, авторъ которой старался освободиться отъ ианегирическаго тона и ввести оцфику дфительности Грановскаго въ болье широкія рамки—современныхъ ему общественныхъ движеній. Въ нтогф всфхъ этихъ повыхъ и обновленныхъ работъ личность Грановскаго, безъ сомнинія, представляется намъ въ болие отчетливыхъ чертахъ, чёмъ прежде. Но въ этомъ отчетливомъ образѣ, отдъльныя детали котораго перерисовываются и отдёлываются съ такой тщательностью и любовью нашими изследователями, до сихъ поръ остается, къ удивленію, незаполненнымъ огромное бълое пятно. Человъкъ, считавшій профессуру главнымъ своимъ призваніемъ, на ней сосредоточившій весь жаръ своей души, въ ней принужденный находить главное, если не единственное средство быть полезнымъ русскому обществу, -- этотъ человъкъ донынъ менъе всего оказывается извъстенъ намъ, какъ университетскій профессоръ. Мы знаемъ Грановскаго хорошо и непосредственно, какъ писателя, какъ члена извъстнаго общественнаго кружка, какъ товарища, даже какъ семьянина; но о его профессорской дъятельности мы до сихъ поръ принуждены судить по отзывамъ его друзей и слушателей, по его собственнымъ отзывамъ, -- по чему угодно, только не по прямымъ продуктамъ этой самой деятельности.

Конечно, эти продукты въ полной ихъ жизненности теперь уже возстановлены быть не могутъ. Мы должны примириться съ тѣмъ, что "тайна живой, увлекательной рѣчи" Грановскаго навсегда отошла въ прошлое, вибстѣ съ поколѣніемъ людей, слѣдившихъ за выраженіемъ

его лица, то одушевленнымъ, то грустнымъ, слышавшихъ тихій, проинкавшій въ душу голосъ профессора. Вмѣстѣ съ этой тайной исчезло
безвозвратио и то очарованіе, которое испытали очевидцы университетскихъ чтеній Грановскаго, — и которое они безсильны передать намъ.
Понятно, при этихъ условіяхъ, ихъ колебаніе — ввѣрить повому поколѣнію мертвый остовъ рѣчи, трепетавшей когда-то жизнью и все еще
живой въ ихъ воспоминаніи. Но для насъ уже не существуетъ болѣе
этихъ мотивовъ. Намъ легче констатировать тотъ несомићниый фактъ,
что и для Грановскаго, наконецъ, наступила исторія. Мы можемъ сдѣлать это тѣмъ смѣлѣе, чѣмъ болѣе мы увѣрены, что никакая исторія
не можетъ лишить Грановскаго того почетнаго положенія, которое онъ
занялъ въ общемъ ходѣ развитія русскаго общества и русской науки —
именно тѣмъ, что работалъ для науки и общества своего времени. Для
историка, болѣе чѣмъ для кого-либо другого, должны служить аксіомой
слова поэта:

...Wer für seine Zeit gelebt, Der hat gelebt für alle Zeiten.

Съ этой точки зрѣнія мы должны взглянуть и на упиверситетскую дѣятельность Грановскаго. Мѣрить ее научными требованіями нашего времени—значило бы отказывать ей въ той исторической оцѣнкѣ, которая одна только и можетъ опредѣлить ея истинное значеніе. Для нашего времени университетскія лекціи Грановскаго уже не годятся,— и вотъ причина,—помимо неточности студенческихъ записей—почему онѣ остаются и, вѣроятно, надолго останутся ненапечатанными въ полномъ своемъ видѣ. Но изъ того, что эти лекціи не имѣютъ значенія въ настоящемъ, еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы мы имѣли право отказываться отъ оцѣнки ихъ значенія въ прошломъ. Каковы бы ни были сами по себѣ недостатки лекцій Грановскаго, мы можемъ быть зараиѣе увѣрены, что изученіе ихъ освѣтитъ намъ три очень интересныхъ вопроса.

Во-первыхъ, преподаваніе Грановскаго составляетъ страницу, и одну изъ самыхъ важныхъ, въ исторіи нашего университетскаго преподаванія вообще. Начавшееся въ блестящіе годы обновленія Московскаго университета и кончившееся въ годы самыхъ тяжелыхъ испытаній для русской университетской науки, это преподаваніе отдѣлено цѣлой бездной отъ предшествовавшихъ ему университетскихъ чтеній и, наоборотъ, неразрывно связано съ преподаваніемъ послѣдующихъ профессоровъ. Такое положеніе преподавательской дѣятельности Грановскаго объясияетъ намъ и то значеніе, которое она имѣетъ для развитія русской исторической науки.

Какой кругъ научныхъ взглядовъ и интересовъ вынесли изъ аудиторін Грановскаго его ученики, ставшіе скоро его товарищами или прееминками по преподованію, — вотъ другой вопросъ, который нельзя выяснить безъ знакомства съ содержаніемъ университетскихъ лекцій Грановскаго. Наконецъ, третій вопросъ, уясняемый ими, касается литературно-научной дёятельности самого Грановскаго. Здёсь, въ этихъ лекціяхъ, мы найдемъ зародыши ифсколькихъ его печатныхъ работъ, и сравнивая послёднія съ лекціями, мы увидимъ, какъ винмательно следиль Грановскій за новыми явленіями въ сферф своей науки, какъ настойчиво добивался онъ истины, не успоканваясь на разъ принятомъ воззржніп; мы поймемь также, чемь объясияется его выборь сюжетовь для печатныхъ работъ и какъ мало случайнаго въ этомъ выборф; даже, мив кажется, мы пеймемъ не только причины того, что Грановскій сдѣлалъ, — но и объяснение того, почему Грановский не усиѣлъ сдѣлать остального. Если угодно, -- все это не ново; обо всемъ этомъ съ замъчательной проинцательностью и тактомъ говорилъ уже другъ и ученикъ Грановскаго, Кудрявцевъ. Но только, проникнувъ сами въ ученую лабораторію Грановскаго при помощи его лекцій, мы можемъ оцънить по достопнству правдивыя, чуждыя всякаго пристрастія объясненія Кудрявцева.

Въ печати изъ университетскихъ лекцій Грановскаго появились только пебольшіе отрывки, не могущіе дать понятія о цѣломъ ¹). Въ рукахъ пр. Виноградова былъ собственноручный конспектъ цѣлаго курса, относимый имъ къ 1839 году (т. е. къ самому пачалу чтеній Грановскаго въ университетѣ), и студенческая запись курса 1843 — 1844 г.; но пр. Виноградовъ не ставилъ своей задачей — воспользоваться этими рукописными остатками для характеристики университетскаго курса Грановскаго. Миѣ лично матеріалъ этотъ остается пензвѣстнымъ. Единственнымъ монмъ матеріаломъ, на который я хочу обратить вниманіе читателя, служитъ неизвѣстный до сихъ поръ въ печати курсъ 1845—1846 года въ студенческой записи того времени. Курсъ этотъ припадлежитъ вѣрному слушателю Грановскаго, бывшему товарищу предсѣдателя рязанскаго окружнаго суда, М. М. Латышеву, ко-

¹⁾ Въ журналъ "Время" за 1862 г. напечатано Бабстомъ введеніе въ курсъ средневъковой исторіи и характеристики иъсколькихъ римскихъ императоровъ; затъмъ проф. Виноградовъ издалъ въ "Сборникъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ университета св. Владиміра" (Спб. 1895) введеніе къ курсу по собственноручному конспекту 1839 года, съ дополненіями изъ студенческой записи 1843—44 гг.

торый любезно отдаль его въ мое распоряжение 1). Текстъ, сохранившійся у М. М. Латышева, не чуждъ обычныхъ студенческихъ недоразумфній; но, вообще говоря, онъ составленъ чрезвычайно тщательно на
основанін записей ифсколькихъ студентовъ. Тщательность, съ которой
составлялся сводный текстъ, видна уже изъ того, что всф соминтельныя
мфста отмфчены въ немъ знаками вопроса; часто сохранены параллельные варіанты записей, иногда даже совершенно незначительные.
При такомъ характерф текста во многихъ мфстахъ удалось сохранить
не только содержаніе лекціи Грановскаго, но и ея характерную форму.
Эта форма, которую, конечно, нельзя было бы поддфлатъ, сама по себф
является ручательствомъ за точность записи; другое доказательство
этой точности можно найти, сопоставляя текстъ лекцій съ паралледьными мфстами нечатныхъ статей Грановскаго. Большею частью, нечатный текстъ оказывается въ такихъ случаяхъ болфе сжатымъ, чфмъ текстъ
лекцій; въ отдфльныхъ случаяхъ сходство почти доходитъ до тожества.

Предметомъ курса служитъ средневѣковая исторія,—наиболѣе обычная и любимая тема университетскихъ лекцій Грановскаго. Къ этому курсу онъ готовился уже во время заграничной командировки; съ него онъ началъ свое преподаваніе въ 1839 году. Изъ переписки видно, что, несмотря на самую напряженную работу, Грановскій былъ недоволенъ своимъ первымъ курсомъ и считалъ, что онъ еще недостаточно владѣетъ предметомъ 2). Сравпеніе конспекта 1839 г. съ нашимъ курсомъ 1845—46 г. могло бы показать, насколько онъ усиѣлъ усовер-

¹⁾ Въ настоящее время этотъ курсъ Грановскаго переданъ мною, съ согласія уважаемаго М. М. Латышева, въ собственность Историческаго Музея въ библіотекъ котораго хранятся и другія рукописныя записи курсовъ Грановскаго.

²⁾ Переписка, стр. 365: "я читаю среднюю исторію, два курса: одинъ для юристовъ, другой для филологовъ; всего шесть часовъ въ педълю. Работы ужасно много, болъе, пежели я думалъ. Круглымъ числомъ я занимаюсь по 10 часовъ въ сутки, иногда приходится и болъе. Польза отъ этого постояннаго, упрямаго труда (какого я до сихъ поръ не зналъ), очень велика: я учусь съ каждымъ дпемъ. Только теперь пачинаю понимать исторію въ связи. Студенты мною довольны, а я ими еще болъе... Я очень знаю, что еще не стою этого впиманія, вижу ясно всъ педостатки, — и чувствую ръшительную невозможность—читать въ этоль году иначе. Здѣсь рѣчь идетъ не о способъ изложенія, а о расположеніи частей предмета. Между ними ивтъ соразмърности —многое прочтешь слишкомъ подробно, другое кратко —самъ не знаешь, какъ быть".—Ср. тамъ же, стр. 381: "Я самъ недоволенъ моими лекціями, и ни за что не согласился бы прочесть еще разъ то, что читалъ, но не могу не замътить успъха... Еще года два—и я буду хозянномъ предмета; теперь онъ владъеть мною, не я имъ".

шенствовать свой курсъ. Не имфя возможности сделать это сравнение, мы замѣтимъ только, что во время самыхъ чтеній 1845—46 г. Грановскій едва ли могъ посвятить много времени переработка своего среднев вковаго курса, такъ какъ въ одномъ университет в онъ занятъ быль въ это время 10 часовъ въ педблю, да сверхъ того читалъ второй изъ своихъ публичныхъ курсовъ, который собирался напечатать и которому, вфроятно, посвящалъ большую часть своего рабочаго времени 1). Несмотря на это, годъ нашей записи, 1845—1846 г., можетъ считаться очень благопріятнымъ моментомъ для характеристики уциверситетскаго курса Грановскаго. Съ одной стороны, Грановскій успълъ къ этому времени достаточно углубиться въ историческій матеріаль: это видно уже изъ того, что съ этого времени онъ начинаетъ но частямъ обрабатывать содержаніе своего курса для цалаго ряда журнальныхъ статей и рецензій. Съ другой стороны, имъ еще не овладало тяжелое настроеніе последнихъ леть его жизни, то острое педовольство собой и жизнью, которое такъ сквозить въ перепискъ,--та "анатія и усталость", которую слушатели последнихъ выпусковъ подмъчали на лицъ профессора.

Съ внѣшней стороны, рукопись лекцій представляєть четырпадцать пожелтѣвшихъ тетрадокъ въ четвертку, по пяти листовъ въ каждой. Листы эти плотно исписаны (по 40—50 строкъ на четверткъ) мелкимъ убористымъ почеркомъ (45—55 буквъ въ строкѣ). Всего, слѣдовательно, въ нашей рукописи заключается 280 страницъ, равняющихся, приблизительно, 210—230 страницамъ "Русской Мысли" или "Вѣстника Европы". Первыхъ двухъ тетрадокъ не хватаетъ, и нумерація тетрадей идетъ отъ 3 до 16-ой. Такимъ образомъ, первыхъ лекцій, заключавшихъ, повидимому, общее введеніе къ курсу, не сохранилось: пробъль этотъ, впрочемъ, можетъ быть пополненъ введеніемъ къ курсу 1839 г., напечатаннымъ пр. Виноградовымъ. Больше приходится пожалѣть о томъ, что курсъ останавливается на описаніи борьбы между панствомъ и имперіей, —т. е, не содержитъ въ себѣ отдѣла, который самъ Грановскій признавалъ въ 1840 году "лучшей частью курса" 2) и который онъ въ 1846 г. собирался "пройти довольно подробно" (лекція 41-ая).

¹⁾ Переписка, стр. 419—420, письмо отъ 17 окт. 1845 г.: "я работаю много теперь. У меня въ университетъ 10 лекцій въ недѣлю. Сверхъ того я собираюсь читать публичный курсъ". Тамъ же, 421—422, письмо отъ февраля 1846 г.: "я никогда не былъ такъ занятъ, какъ ныпѣшнею зимою... Публичныя мон лекцін идутъ хорошо... Лътомъ... займусь приготовленіемъ къ нечати монхъ лекцій. Хочется пздать "Курсъ сравнительной исторіи Францін и Апглін до XVII вѣка".

²⁾ Переписка, стр. 381.

Въ сохранившейся части курса содержатся **52** лекцін ¹). Но содержанію эти лекцін распредѣляются слѣдующимъ образомъ (тутъ мы сохраняемъ рубрики и заглавія студенческой записи):

Исторія отдільных в государствъ германскихъ, возникшихъ на римской почві:

1. Вандалы. 2. Вестготоы. 3. Остъ-готоы. 4. Англо-

Саксы	3 де	екцін
Исторія франковъ	$4^{1/2}$	"
Лангобарды	1	12
Карлъ Великій	3	
Людовикъ Кроткій	1/2	22
Исторія Германін отъ 887—1056		22
Исторія Скандинавскаго полуострова	$3^{1}/2$	35
Франція	1	**
Феодализмъ		95
Города и городскія общины, церковь	1	**
Исторія Византін (и магометанство Востока)	$3^{1/2}$	22
Крестовые походы	2	"
Исторія западной Европы въ теченіе XII и XIII		
вѣковъ	2(?)	27

Всего. . 52 лекцін

Сравнивая количество лекцій съ размѣрами рукописи, мы найдемъ, что каждая лекція, въ среднемъ, записана на 5—6 страницахъ руко-

¹⁾ Оть 6 до 53—54, или, въроятиве, 55—56, такъ какъ послъднія лекціи (сколько?) не отдълены оть "лекцій 53—54". При этомъ цифра тридцать повторена дважды. Замътно, что въ заниси чередуются то двъ лекціи, прочитанныя вмъстъ (иногда съ отмъткой: часъ первый, часъ второй), то одна. Это показываеть, что курсъ состояль изъ трехъ часовъ въ нельлю, что даеть около 75 лекцій въ годъ. По пеправпльностямъ чередованія можно пасчитать до четырехъ двухчасовыхъ лекцій и одну или двъ часовыя, пропущенныя Грановскимъ, всего 10 часовъ. Остается, слъдовательно, 65 часовъ, или на 8 часовъ больше, чъмъ заключаеть сохранившійся курсъ. Прекратиль ли Грановскій лекціи до срока, или же послъднія лекціи не сохранились,—этого владълецъ записи не помнить отчетливо, хотя скорѣе готовъ предположить первое.

ниси или на 4 съ исбольшимъ страницахъ исчатныхъ. Имѣя въ виду, что силошь писанный текстъ часовой лекціи заинмаетъ обыкновенно около 12 страницъ нечатнаго текста, придемъ къ заключенію, что составленный студентами текстъ, при всей тщательности составленія, не можетъ считаться полнымъ воспроизведеніемъ живой рѣчи Грановскаго. Мы не назвали бы его, однако, и конспектомъ, такъ какъ въ немъ видно постоянное стремленіе передать профессорскую рѣчь буквально. Результатомъ этого стремленія явилась ибкоторая неровность изложенія. Рядомъ съ предложеніями, посящими на себѣ несомиѣнный отпечатокъ простоты и изящества стиля Грановскаго, пногда встрѣчаются фразы, смыслъ и форму которыхъ слушателямъ не удалось уловить, какъ слѣдуетъ. Для послѣдующихъ цитатъ мы выбирали мѣста хорошо заинсанныя; собственныя наши ноправки и дополненія мы дѣлаемъ въ скобкахъ.

Какъ видно уже изъ приведеннаго списка заглавій, —въ пятьдесять двѣ лекцін Грановскій умѣстиль необычное для теперешияго профессорскаго курса количество матеріала. Надо прибавить къ этому, что онъ, очевидно, не могъ предполагать въ своихъ слушателяхъ и тъхъ скромныхъ познаній, которыя даются теперешнимъ гимназическимъ курсомъ исторін; поэтому онъ принужденъ быль сообщать аудиторін мпожество сведеній, пріобретаемых теперь въ курсе среднеучебных в заведеній. Эти условія зачастую превращають лекцію Грановскаго въ простой, безъ всякихъ претензій, фактическій разсказъ. Въ этомъ отношенін, какъ и въ отношенін формы, онъ самъ очень хорошо характеризоваль свой курсь следующими словами: "я читаю факты, безъ raisonnement и безъ педантизма. Иногда привожу больше подробностей, чемъ нужно. Говорю очень просто и скромно, по не всегда въ состоянін сдержать себя". Дѣйствительно, дойдя до интересующихъ его вопросовъ и эпизодовъ, Грановскій становится обстоятеленъ и дарить слушателей то критическимь экскурсомь, то яркой характеристикой, то живонисной картиной. Эти отступленія и остановки какъ нельзя болфе рельефно рисують передъ нами симпатін историка. На нихъ мы обратимъ, поэтому, особое вниманіе.

II.

Сохранившаяся часть курса 1845—46 гг. начинается съ указанія "псточниковъ и пособій"; въ дальнѣйшемъ изложенін курса Грановскій также указываетъ важнѣйшіе источники и пособія передъ началомъ каждаго отдъла. Не останавливаясь на этихъ указаніяхъ, нѣкоторыми

изъ которыхъ мы воспользуемся ниже, — переходимъ прямо къ плану курса и къ тому общему опредъленію, которое даетъ Грановскій исторіи срединхъ вѣковъ. То и другое мы приведемъ словами студенческой записи:

"Исторію среднихъ въковъ мы начнемъ не съ той эпохи, съ какой ее обыкновенно начинаютъ, -т. е. съ паденія западной римской имперіи. Такое начало слишкомъ ръзко, слишкомъ насильственно отрываетъ исторію срединхъ въковъ отъ исторіи древней. Для полнаго уразумънія органической связи, существующей между жизнію средневъковою и древнею, необходимо предпослать введеніе, въ которомь въ краткихъ чертахъ изложимъ судьбу римской имперіи отъ императора Августа до ен паденія. Въ этомъ введенін мы познакомимся съ тъми элементами древней жизни, которые вошли въ жизнь среднихъ въковъ образовательными началами. Такихъ элементовъ было много. Потомъ мы раздълимъ все изложение истории среднихъ въковъ на три большіе отдъла. Въ первомъ заключается время броженія стихій, изъ которыхъ созидалась европейская жизнь, время образованія новыхъ государствъ и новыхъ началъ. Границею этого періода можно поставить Карла Великаго, который замыкаеть весь этоть періодь. Второй періодъ-полнаго развитія всіхъ началь, на которыхъ основывается жизнь среднихъ въковъ. Граница этого періода: конецъ XIII и начало XIV столътія. Здъсь не можеть быть ръзкихъ рубежей: одно время переходить въ другое, такъ что новое время носить на себъеще много признаковъ времени отживающаго. Третій отдъль содержить разложеніе стихій средневъковой жизни, наденіе тъхъ великихъ религіозныхъ и политическихъ учрежденій, которыя характеризують эту жизнь, начало оппозицін противъ тіхъ идей, которыя прежде такъ могущественно господствовали надъ умами, и оппозицін религіозной, политической и литературной; онъ выходять ясно наружу и становятся жизненными событіями въ началь XVI въка.

«Я надъюсь представить полную характеристику среднихъ временъ, излагая исторію,—изъ самыхъ событій. Но если бы потребовалось короткое опредъленіе этого времени (хоти такое опредъленіе не можеть истощить всего жизненнаго богатства, которое лежить въ каждомъ времени: можно уловить и выставить однъ господствующія черты),--объ исторіи среднихъ въковъ можно сказать, что это было время фантастическое, время стремленія къ абстрактнымъ цълямъ. Вся жизнь среднихъ въковъ,- разумъя подъ этимъ именемъ ту часть исторіи среднихъ въковъ, въ которой жизненное начало дъйствуеть съ наибольшей силой,—состоить въ борьбъ абстрактныхъ противоположностей, императорской и папской власти, феодализма и духовной іерархіи, въ борьбъ отдъльныхъ силъ и направленій общества, изъ коихъ каждое объявляло эгоистическое требованіе на отдъльное существованіе. Въ средніе въка не возникло еще попятіе о полной, гармонической жизни всѣхъ элементовъ, изъ которыхъ слагастся общество,—понятіе, исключительно принадлежащее нашему времени".

"Время стремленія къ абстрактнымъ цѣлямъ",—"борьбы абстрактныхъ противоположностей" эти термины звучатъ непривычно для уха современнаго читателя. Съ перваго раза непонятно, что хочетъ сказать Грановскій, характеризуя ими эпоху, наименфе склонную къ отвлеченностямъ. Объяснение заключается въ приведенной же цитать: абстрактныя стремленія есть, очевидно, стремленія "отдельныхъ силъ" къ исключительному преобладанію, -- въ противоположность "гармоніи всьхъ элементовъ", создающей "конкретную" полноту жизни. Это не только мысль, --это даже терминологія Гегеля, --- и всякій знакомый съ его философіей сразу пойметь, что разумветь Грановскій подъ этимъ противоположеніемъ "абстрактнаго, и "конкретнаго". Исторія человъчества-есть исторія развивающагося въ ней "духа", приходящаго въ результать историческаго процесса къ сознанію самого себя, своей свободы, — составляющей его коренной и неотъемлемый признакъ. Только сознавъ себя вполнъ, духъ находитъ себъ полное выражение въ соціальномъ стров, воилощается въ немъ конкретно; до этого момента форма будеть всегда находиться въ противорфчін съ духомъ, не будеть выражать его вполив и, стало быть, стремленіе духа выразить себя во виб-будеть оставаться "абстрактнымъ", неполнымъ, одностороннимъ.

Исходя изъ такого пониманія историческаго процесса, какъ представляєть себѣ Грановскій ту роль, которую играють въ этомъ процессѣ—средніе вѣка? Въ этомъ случаѣ его миѣнія тоже сходятся съ Гегелемъ,—но на этотъ разъ не съ однимъ имъ. Начало полной побѣды духа есть для Гегеля христіанство; и въ этомъ смыслѣ средніе вѣка и новая исторія — есть, въ сущности, одинъ и тотъ же періодъ исторіи, глубокой пропастью отдѣленный отъ древняго міра. Но такой взглядъ раздѣляется и тѣми руководствами по средней исторіи, которыя рекомендуетъ студентамъ Грановскій 1).

¹⁾ Leo, Lehrbuch der Universalgeschichte, 1836. II, 476: "со временн Константина Великаго исторія христіанской церкви есть зерно, дуща и основное жизненное начало всемірной исторія. Ср. Rehm, Handbuch, I. 4: Es beginnt mit ihr (der Periode des Mittelalters) eine neue Gestaltung des Menschengeschlechts, welche zwar vieles aus dem Alterthume aufnahm, aber doch in mancher Beziehung einen Gegensatz zu demselben aufstellte. Die neuere Zeitist aus dem Mittelalter, welches gleichsam den ersten Theil derselben bildet, hervorgegangen. Тамъ же см. замъчаніе о невозможности ръзкихъ дъленій исторіи на періоды и опредъленіе "періода", какъ такого промежутка времени, когда, "при всъхъ различіяхъ въ мъстъ и времени отдъльныхъ происшествій, въ нихъ обнаруживается одна руководящая и преобладающая идея, составляющая духъ времени". Естественно, что при своей всемірно-исторической точкъ зрънія Грановскій не одобряєть изложение средневъковой исторіи по народностямь, въ этнографическомь порядкъ. Ilo его словамъ, это-, дурной порядокъ, возможный только въ новой исторін, но неудобный въ средней, — ибо исторія среднихъ въковъ пересъкается часто великими событіями, довольно общими всьмъ государствамъ".

Согласно съ этими представленіями и Грановскій ділить исторію на два отділа: "исторія древностей или исторія человіка природнаго, естественнаго, по выраженію ап. Павла, и исторія новая пли исторія человъка духовнаго, по выраженію того же Апостола". Въ римской исторін кончалась исторія естественнаго человъка и началась исторія духовнаго человѣка, пепрерывно продолжающаяся доселѣ. "Основная идея (среднихъ въковъ и новаго времени) одна и та же", говоритъ Грановскій; "по явленія становятся разнообразите, духъ богаче. Такимъ образомъ, зародышъ настоящей жизни лежитъ въ возможности (въ потенцін) уже и въ среднихъ въкахъ; нашъ въкъ, болье свободный, не скованный теми условіями, которыя тяготели надъ средними въками, развиваетъ ихъ". Напротивъ, отъ римской имперіи къ среднимъ въкамъ не могло быть никакого непрерывнаго, органическаго перехода; "идея" новаго времени должна была разрушительно подфиствовать на старыя формы, въ которыхъ выразился "народный духъ" древняго міра. Старая идея умираеть; новая, чуждая ей, противорфчащая, является на сміну. Такова основная концепція "переходныхъ временъ" у Грановскаго. Это -- не эволюція, а революція. Таково н отношеніе древняго міра къ среднимъ вѣкамъ. Вотъ какъ опредѣляетъ это отношение Грановскій.

"Въ третьемъ столътіи мы видимъ 'на престоль римскомъ нъсколькихъ отличивнихъ государей, въ которыхъ проснулся римскій духъ во
всей своей энергіи и гордости, хотя они были отчасти иноземцы, усвоенные Римомъ. Римъ опирался на 32 легіонахъ — такое войско, которому
равнаго не могъ противопоставить ии одинъ народъ. Матеріальное благосостояніе Рима, хотя поколебленное, было еще велико. Отличные ученые
являлись во всѣхъ отрасляхъ знанія. Въ сенатъ засѣдали люди съ патріотическимъ чувствомъ, съ любовію къ добру. ІІ между тѣмъ, несмотря
на всѣ усилія императоровъ, отдъльныхъ лицъ изъ сената и реформы,
которыя всѣ стремились къ одной цъли, – эта цъль осталась педостигнутою. Въ исторіи человъчества есть такія несчастныя эпохи, въ которыя
реформы не могутъ быть дѣломъ такъ называемаго правильнаго развитія 1), въ которыя между требованіями новаго времени и между требованіями и притязаніями уцълъвшихъ историческихъ остатковъ существуетъ
противоръчіе, которое можетъ быть уничтожено только насиліемъ. Такое

Всъ симпатін Грановскаго на сторонъ порядка, принятаго его любимымъ руководствомъ, которое еще въ 1838 году онъ собирался сдълать своею "нитью въ первые годы профессорства" (переписка, 353)—именно Лео. По выраженію Грановскаго, Лео раздъляетъ среднюю исторію "на живыя части одного организма,—на жизненные отдълы, по направленіямъ",—т. е. именно такъ, какъ требовала философія исторіи Гегеля и какъ хотълъ дълить исторію самъ Грановскій.

¹⁾ Ср. замъчаніе Rehm'a op. cit., 3, о различін Revolutionen и Evolutionen.

насиліє совершено было въ древнемъ мірѣ черезъ Германцевъ, въ XVIII в черезъ французскую революцію" 1).

Теперь мы оріентированы относительно того, что будеть искать Грановскій въ исторіи римской имперіи, составляющей у него "введеніе" къ среднимъ вѣкамъ. Упадокъ стараго духа и безилодныя понытки возстановить его, недовольство старымъ и безсильныя порыванія въ новый, иевѣдомый міръ; чуждые, иноземные наросты на римскомъ тѣлѣ, способствующіе денаціонализаціи и превращающіе малоно-малу государственный организмъ въ мехапическій аггломератъ, готовый распасться отъ нерваго толчка, вотъ черты, которыя Грановскій подчеркиваєть въ своемъ разсказѣ. Онъ сообщаєть мимоходомъ факты, свидѣтельствующіе о перерожденіи соціальнаго состава и разрушеніи политическихъ формъ; по не здѣсь лежить его главный питересъ: основныхъ причинъ разрушенія Рима онъ ищеть въ мірѣ правственныхъ явленій. Это пастроеніе историка обнаруживаєтся уже въ самомъ началѣ его очерка римской исторіи, въ любопытной характеристикѣ Юлія Цезаря, которую приведемъ цѣликомъ.

"Юлій Цезарь положиль конець существованію Римской республики въ прежней ея формъ. Имъ оканчивается зрълый возрасть древняго міра, онъ стоить какъ бы на порогъ между двумя періодами жизненнаго развитія древности-безспорно, самою величавою, самою дивною изъ всъхъ личностей, которыя выступали когда-инбудь на сцену древней жизни. Нужно было это удивительное соединение всъхъ пороковъ, всъхъ странныхъ силъ, развившихся въ развращенной республикъ римской, съ добродътелями новыми, чуждыми имъ,-которыя сошлись въ Цезаръ для того, чтобы произвести такой ръшительный перевороть. Въ молодости своей Цезарь быль однимь изъ начальниковъ буйной аристокартической молодежи, которая волиовала Римъ оргіями и разными заговорами. Аристократъ по происхожденію, съ гордостью вычислявшій въ надгробномъ словъ бабкъ своей своихъ громкихъ предковъ, производившій родъ свой отъ боговъ и царей, Юлій Цезарь быль величайшимъ демократомъ древияго міра-онъ убиль окончательно римскую аристократію въ самыхъ преданіяхь ея, онь унизиль сенать до гладіаторскихь упражненій, вывель всадниковъ на сцену въ презрительномъ для тогдашнихъ римлянъзванін актеровъ, смъядся надъ самыми святыми и великими преданіями римской истории, ввель въ сенать толны иностранцевъ, людей, выключенныхъ изъ списка римскихъ гражданъ, но служившихъ ему върно въ его враждъ съ сенаторами. Одинмъ словомъ, ни одно изъ величайшихъ преданій римской жизни не остановило его насмъшекъ и фактическихъ насилій.—Съ другой стороны, Юлій Цезарь облегчиль б'вдственное положеніе провинцій, страдавшихъ подъ невыносимымъ ярмомъ римскихъ намъстниковъ. Съ этого

¹⁾ Идею цитированнаго отрывка могло дать Грановскому мѣсто у Schlosser³a Uniwersalhistorische Uebersicht per Geschichte der alten Welt und ihrer Cultur B. III. 2 Abth. Frkf. a. M. 1831, 130.

времени Римъ пересталь быть главнымъ городомъ, провинціи перестали быть только средствами. Онъ, такъ сказать, разбилъ грань римской національности, вышедши самъ изъ нея. Объ его характеръ Светоній разсказываеть такія черты, которыя приводять въ изумленіе даже Светонія, хотя принадлежащаго къ позднъйшему періоду римской имперін. Этотъ историкъ съ величайшимъ удивленіемъ разсказываетъ, что Цезарю недоставало духа предавать пыткъ рабовъ своихъ-вещь самая обыкновенная для римскихъ аристократовъ, что ему недоставало твердости отмстить шпіонамъ, которые предали его во время гоненія Суллы. Эта мягкость была совсъмъ не въ римскихъ правахъ. Цезарь недаромъ жилъ почти въ одно время съ началомъ христіанства. Съмена его, зародышъ—лежитъ во времени Цезаря. Уже языческій элементь побъждень этимь новымъ человъкомъ, хотя этотъ новый человъкъ еще носитъ много грязнаго, завъщаннаго прежней жизнью римской республики. Въ смыслъ древности (убійцы Цезаря) д'вйствовали законно. И пороки, и доброд'втели Цезаря были равно гибельны для порядка вещей, который они защищали 1)... Весьма любонытно то обстоятельство, что у трупа Цезаря собрались съ плачемъ всъ иностранцы, жившіе въ Римъ. Еврен проводили цълыя ночи у праха его, дорожа имъ какъ святынею. Это былъ первый изъ римскихъ граждань, который поняль и отдаль справедливость человъческому достоинству другихъ національностей... Убійцы Цезаря тоже пали, защищая дъло, осужденное на погибель, какъ благородныя жертвы убъжденія, къ осуществленію котораго у нихъ недостало силъ".

И въ этомъ случат, въ изображени Цезаря, какъ всемірно-исторической личности, посредствующей между древнимъ и новымъ міромъ, Грановскій имъетъ предшественника въ Гегелъ: но Гегель ограничивается указаніемъ на то, что Цезарь, перейдя Альны, открылъ новую арену исторін 2). Грановскій не останавливается на этомъ "внѣшнемъ" открытіи новаго міра и ищетъ внутренней связи между идеями христіанской Европы и міровоззръніемъ Цезаря. Такимъ образомъ, предвъстникъ германскихъ вторженій превращается у него въ предвъстника христіанства.

Переходя ко времени Августа, Грановскій отмѣчаеть, какъ значительно улучшилось положеніе государства съ утвержденіемъ имперіи, описываеть новый правительственный порядокъ, но рядомь съ этимъ подчеркиваеть религіозное броженіе, вытекавшее изъ "механическаго соединенія религій, одна другой противорѣчащихъ". "Этою шаткостью религіозныхъ вѣрованій, этимъ множествомъ суевѣрій, соединенныхъ съ безвѣріемъ", замѣчаетъ онъ, "Римъ привлекалъ въ свои стѣны многочисленныя толиы иностранцевъ. Изъ всѣхъ провинцій являлись

¹⁾ Грановскій памекаеть здѣсь на слова Катона по поводу Цезаря (цитир. и у Гегеля); "да будуть прокляты его добродѣтели, низвергнувшія мою родину въ погибель".

²⁾ Hegel. Philosophie d. Geschichte. Werke, IX, crp. 381.

они въ видъ рабовъ, купцовъ, ремесленниковъ, служителей разныхъ божествъ... Всъ религіи нашли поклонниковъ въ Римь, но ни одной изъ нихъ не удалось вытьснить другія. Это была смѣсь безобразная, дикая. Изъ этого состоянія религіи слышится мучительная потребность духа человъческаго: умиравшаго человъчества не удовлетворяли один матеріальныя блага; оно было удовлетворено христіанствомъ". И подводя итогъ царствованію Августа, Грановскій дълаеть этому времени слѣдующую оцѣнку:

"Никакое время не наслаждалось такимъ благосостояніемъ, какъ первыя два стольтія римской имперін. Участь провинцій облегчилась; очень умно ноставленная административная система связала части государства; недоставало одного внутренняго единства, религіознаго и національнаго. Августъ, стоявшій безконечно выше своихъ преемниковъ, воспитанный въ переворотахъ политическихъ, которые такъ быстро развиваютъ историческое разумъніе, --поняль тотчась страшный недостатокь римскаго міра. отсутствіе связующаго, жизненнаго начала. И потому Августь старался замънить такое начало возстановленіемъ той строгой правственности. которою отличался древній Римъ. Онъ старался передать чистыя формы древней семейной римской жизни всвмъ гражданамъ Рима. Сюда принадлежать его законы противь роскоши... и многія другія узаконенія. Но всъ эти попытки остались безплодными. Римское семейство, какъ оно существовало во время республики, не могло возродиться въ эти времена, нбо это древнее семейство римскаго міра, существенно отличное отъ семейства христіанскаго, было условлено всъмъ политическимъ бытомъ Рима, опредълено юридически, въ безжалостныхъ отношеніяхъ между отцомъ и дътьми. Такое опредъленіе было невозможно во времена Августажестокіе законы остались, но духъ исчезъ" 1).

Этимъ исчезновеніемъ древняго духа, составлявшаго "жизненное начало" античной жизни, Грановскій объясняетъ возможность всъхъ крайностей императорскаго деспотизма. Изложивши правленіе Тиверія, онъ задаетъ себѣ вопросъ: "на чемъ основывалось могущество этого дряхлаго старика, отвратительной личности, инкѣмъ не любимаго, даже не жившаго въ Римѣ, а изъ своего пустыннаго острова управлявшаго судьбами величайшаго государства цѣлаго міра?" И онъ отвѣчаетъ:

"На страхъ. Въ римскомъ міръ не осталось ни одного живого начала, которое могло бы связать разрозненныя цъли. Разъединенный религіею, безъ національнаго единства, народъ быль связываемъ только общимъ чувствомъ страха. Римляне столько же боялись императора, сколько императоръ—ихъ самихъ. Недовърчивость была взаимная" ²).

¹⁾ Ср. послъднюю фразу цитаты изъ Шлоссера, сдъл. выше.

²⁾ Отмѣтимъ еще два характерныя мѣста, ноказывающія, какъ смотрѣлъ Грановскій па римскую чернь. "Калигула палъ подъ ударами двухъ цептуріоновъ гвардейскихъ, побуждаемыхъ и личною непавистью къ императору, и республиканскими воспоминаніями. Это былъ важный, торжествешный мо-

Итакъ, отъ древняго римскато духа нельзя было болъе ожидать обновленія семьи и общества. Это обновленіе должно было придти извить, должно было исходить изъ началь, родственныхъ съ христіанскими, хотя на первыхъ порахъ это родство и оставалось несознаннымъ. Семью императорскаго времени нельзя было принудить къ соблюденію старыхъ республиканскихъ законовъ; но тъмъ не менте, въ нее проникали уже со стороны новыя въянія. Грановскій останавливается на этихъ новыхъ втяніяхъ по поводу разсказа о женахъ Клавдія, Мессалинтъ и Агриппинтъ.

"Жизнь этихъ женщинъ озаряетъ страшнымъ свътомъ внутренность домовъ римскихъ, семейную жизнь римской аристократін. Въ цълой исторіи римской семьи не найдемъ примъра такого чудовищнаго разврата, -- а между тъмъ, несмотря на разрушение древней жизни, видимъ медленную работу и развитіе новыхъ началт, хотя безсознательно, но могущественно проникающихъ въ новое общество. Независимо отъ христіанства являются онъ въ жизин---въ отмъненін жестокихъ поступковъ римскихъ господъ съ рабами, въ которыхъ доселъ законъ не признавалъ человъческой личности. Клавдій, этотъ полоумный, пьяный правитель издаль первыя смълыя постановленія, которыми ограничивалась власть римскихъ господъ надъ рабами. Этими постановленіями у нихъ отнималось право по произволу наказывать рабовъ смертію. Господинь, бросившій больного раба безъ призрънія, теряль право на владъніе этимъ рабомъ. Это было нововведеніе неслыханное. Если сличимъ эти постановленія съ прежними, то они покажуть намь, какой огромный путь совершило человъчество отъ блестящихъ временъ римской республики до этого времени видимаго унадка, но существеннаго перехода къ новымъ требованіямъ. Въ этой нечистой и развратной средъ вырабатывались тъ великія начала, въ кото-

ментъ въ жизни тогдашияго Рима. Сепатъ собрадся немедленно, въ надеждъ возстановить республику. Народъ волновался, отчасти сожалья о Калигулъ. На эту развратную массу, plebs sordida (какъ называетъ ее Тацитъ), не надали удары деспотизма: они смотръли равнодушно на гибель благородныхъ людей, священныхъ предапій. Игры въ циркъ и ежемъсячныя раздачи хлъба народу продолжались попрежнему. Калигула быль щедръе своихъ предшественниковъ, и потому его любили пизшіе классы народные... Сенатъ не успълъ въ своихъ памъреніяхъ, уже несогласныхъ съ духомъ времени. Кромъ самихъ сепаторовъ никто не звалъ назадъ республики". По поводу смерти Нерона Грановскій повторяєть подобное же замъчаніе: "Замъчательна одна черта глубокая любовь, которая осталась въ массахъ римскихъ къ Нерону. Въ продолженіе 30 лътъ являлись безпрерывно самозванцы, принимавшіе имя Нерона. и однимъ этимъ именемъ двигавшіе цълыми народонаселеніями. И въ этомъ видно распаденіе древняго міра. Такія чудовища, какъ Неронъ, были любимы народомъ-но ихъ удары падали преимущественно на образованные, болъе правственные и болье благородные классы народные, нежели эта sordida plebs, въ которой соедипялось все, что было презрънивйшаго и позоривйшаго въ тогдашпемъ міръ".

рыхъ находится основаніе нравственнаго убъжденія новаго времени, провозглашены были тѣ великія истины, которыя разъ навсегда сдѣлались нензмѣннымъ достояніемъ человѣчества. Онъ, разумѣется, были высказаны неясно, облечены въ тогдашиюю историческую форму; имъ надобенъ былъ длинный рядъ вѣковъ, чтобы быть разработанными и дойти до яснаго сознанія".

Такъ же, какъ въ сферѣ частныхъ отношеній,—и въ общественномъ сознаніи оздоровленіе пошло отъ новыхъ началъ, инчего не имѣвшихъ общаго съ политическими основами погибшей республики. Грановскій находить случай отмѣтить это по поводу разсказа о томъ, какъ, послъ убійства Агрипинны, "народъ торжественно вышелъ навстрѣчу матере-убійцѣ,—какъ будто Неронъ совершилъ великое дѣло"—и "изъ всѣхъ сенаторовъ одинъ только знаменитый стоическій философъ Тразеа вышелъ безмолвно изъ собранія, когда раздались проклятія противъ Агрипинны".

"При этомъ случав", говорить онъ, "надобно замвтить начало новой, могущественной оппозиціи, развившейся изъримской жизни противъ своеводія императорскаго. Мы видѣли, какъ всѣ элементы этой жизин отдъльно взятые, были безсильны и какъ разрозненны въ интересахъ. Никакое правственное начало не могло соединить народа къ одной общей цъли. При (двухъ нослъднихъ?) императорахъ мы замътили въ сенатъ, въ войскахъ, одинмъ словомъ, въ рядахъ лучшихъ и могуществениъйшихъ людей въ государствъ,—сильныя и смълыя обнаруженія негодованія. Это была уже не патріотическая попытка возстановить формы навсегда погибшія. Эта оппозиція вышла изъ совершенно другого начала, изъ стоической философіи, которая именно при Клавдін и Неронъ начала распространяться въ Римъ. Эта философія, такъ высоко поставившая личное достопиство человъка и въ то же время учившая такому презрънію къ жизни и смерти, направлявшая человъка къ практической дъятельности, была очевидно враждебной новому порядку вещей. Въ числъ жертвъ Нерона находились преимуществение приверженцы стоической философіи, которая, наконецъ, одержала побъду и взощла на престолъ въ лицъ Антониновъ и Марка Аврелія".

Мы не будемъ слѣдить за фактическимъ разсказомъ Грановскаго объ императорахъ, по необходимости сжатомъ. Повыя иллюстраціи и характерныя черты, разсыпанныя въ разныхъ мѣстахъ этого разсказа, не измѣняютъ уже извѣстнаго памъ общаго вывода Грановскаго. "Эта исторія", замѣчаетъ онъ самъ, "отчасти потому утомительна и однообразна, что одиѣ и тѣ же явленія повторяются безпрестапно; какъ дурныя, такъ и хорошія царствованія сходны между собою. Римская жизнь уже была истощена; она не могла производить новыхъ силъ и противоположностей. Боролись два начала: первое, древне римское, потерявшее уже всякое право на владычество въ жизни, и второе начало, повое, которому суждено было измѣнить міръ, по которое содер-

жалось въ нечистомъ сосудѣ, нбо представителемъ была развратная римская plebs, грубые легіоны и самые императоры". Отмѣтимъ только одно мѣсто, въ которомъ Грановскій указываетъ на новыхъ носителей того начала, которому принадлежитъ будущее. Дѣло идетъ о галльскихъ крестьянахъ, такъ наз. багаудахъ.

"Усилія Максиміана, начавшаго царствовать съ 287 года, направлены были преимущественно противъ галльскихъ багаудовъ; у лътописцевъ подъ этимъ именемъ являются шайки крестьянъ и рабовъ, изъ которыхъ въ Галліп составилось многочисленное войско, грабившее безнаказанно города и провинціи. Это быль новый врагъ, явный, не извить, а въ самомъ сердить общества,—плодъ, котораго съмя давно лежало въ землть. Багауды были тъ низшіе классы общества, которымъ римскіе законы отказывали даже въ человъческой личности и достопиствъ, которыхъ коснулись новыя идеи, наполнявшія атмосферу и высказанныя высочайшими умами тогдашняго времени, александрійскими философами и христіанскими проповъдниками, и въ грубой матеріальной формъ своей падшія въ народныя массы: это была идея эмансипаціи общества".

Ш.

Въ четвертомъ въкъ разыгрывается последняя борьба язычества съ христіанствомъ. Какъ отнесся Грановскій къ главнымъ представителямъ боровшихся партій? Сужденіе о людяхъ, какъ сейчасъ увидимъ, онъ отделяеть отъ сужденія о представляемыхъ имп пдеяхъ. Съ одной стороны здась сказался ученикъ Гегеля, подчеркивавшаго разницу между личными цълями дъятеля и всемірно-историческими результатами дъйствій; съ другой стороны, мы видимъ здѣсь проявленіе той черты личности Грановскаго, которую его современники характеризовали, какъ "любовь широкую и всеобъемлющую: любовь къ возникающему, которое онъ радостно привътствуетъ, и любовь къ умирающему, которое онъ хоронитъ со слезами". "Много разъ, когда я слушалъ Грановскаго", говоритъ только что цитированный современникъ, "живо представлялся мић Гораціо, съ стъсненнымъ сердцемъ повъствующій повъсть о Гамлетъ, возлъ помоста, на которомъ поконтся тъло его. Въ Гораціо и мысли цать воскресить принца..., но онь не можеть отказать въ грусти падшему" 1).

Приводимъ отзывъ Грановскаго о Константинъ.

"Мы не должны думать, чтобы одно только религіозное върованіе и

¹⁾ Въ болъе ръзкой формъ та же мысль выражена самимъ Грановскимъ въ словахъ, сказанныхъ имъ на одной изъ публичныхъ лекцій. "Мы часто видимъ необходимость побъды, но не можемъ отказать ни въ симпатін къ нобъденнымъ, ни въ презрънін къ побъдителю".

убъждение сердца привели Константина къ такому смълому поступку. При совершенномъ отсутстви общихъ интересовъ, напротивъ, даже при враждебныхъ направленияхъ, подъ которыми развивалась древняя жизнь, при разрозненности римскаго міра,—одна только христіанская партія составляла единое цѣлое, связанное внутреннимъ единствомъ убѣжденія и внѣшнею формою іерархіи, уже образовавшейся въ христіанской церкви. Это была единственная дружная и могущественная политическая партія, не говоря о высшемъ ея значеніи. Этимъ объясняется отчасти переходъ Константина къ христіанству и легкая побѣда его надъ всѣми противниками... Съ практическимъ стремленіемъ государственнаго мужа Константинъ соединялъ глубкое пониманіе современнаго вопроса".

Сопоставимъ съ этимъ отзывомъ суждение объ Юліанъ:

"Двухлътнее царствованіе Юліана имъсть всемірно-историческое значеніе, какъ реакція язычества противъ христіанства, какъ попытка возстановить старое время во всей его первобытной красотъ,-попытка тъмъ болъе замъчательная, что во главъ ся стоялъ человъкъ, какъ Юліанъ. личность высокая, чистая и благородная, не понявшая христіанскаго ученія, нбо оно дошло до него въ нскаженномъ видъ чрезъ жестокихъ, фанатическихъ наставниковъ. Юліанъ былъ глубоко оскорбленъ зръдищемъ придворныхъ интригъ, въ которыхъ участвовали епископы, высшіе сановники христіанской церкви; онъ быль оскорблень формализмомъ, чуждымъ собственно современнымъ христіанскимъ понятіямъ, но внесеннымъ иъкоторыми лицами того времени. Между тъмъ, его привлекала греческая наука, греческое искусство и гражданская жизнь Рима. Эту-то жизнь и науку онъ хотълъ возстановить. Юліанъ понялъ, какая тъсная связь существуеть между этою наукою и жизнью и прошединми религіями языческаго міра, -н хотъль вызвать религію обратно въ жизнь. Но возстановить ихъ въ первобытномъ ихъ состояніи было невозможно: самые ученые язычники были уже иначе настроены. Стремленіе къ таинствамъ, къ мистеріямъ, которымъ отличается четвертый въкъ, должно было быть удовлетворено, и Юліанъ съ своими друзьями, софистами греческими, старался создать такую религію, или лучше амальгаму религій, которая бы удовлетворяла современнымъ требованіямъ и въ то же время вытъснила христіанскія понятія, -- мысль безумная, которой результаты не пережили Юліана. Онъ векоръ погибъ въ войнъ съ персами, --послъдній великій представитель языческаго Рима или, лучше сказать, всего древняго міра. Въ немъ соединились греческіе и римскіе элементы,--конечно, не въ той чистотъ, въ какой мы видимъ ихъ у Александра или Цезаря; но онь стоить какь бы на последнемь рубеже языческаго міра. Въ немъ чистые элементы древней жизни не могли остаться нетропутыми новыми понятіями. Но все мы видимъ въ Юліанъ мучительную борьбу этихъ двухъ враждебныхъ началь, борьбу, которая высказывалась въ самой наружности его, по свидътельству св. Григорія Назіанзина. Язычники обвиняють въ его смерти христіань. Это обвиненіе столь же несправедливо, какъ и обвиненіе христіанами Юліана въ отравленіи Констанція. Въ немъ обличается только борьба партій, вреждебныхъ и непримиряющихся".

Дойдя до послѣдней четверти IV вѣка, т. е. до начала переселенія народовъ, Грановскій останавливаеть свой историческій разсказъ для того, чтобы подвести общіе итоги.

"Обыкновенно", замъчаетъ онъ, "время имперін называется сочинителями историческими временемъ упадка. Конечно, относительно древняго міра это время считается временемъ старости, дряхлости, унадка; но разсматривая его въ связи съ цълымъ историческимъ развитіемъ, оно является временемъ перехода и вырабатыванія новыхъ формъ. Въ это испорченное, несчастное время развились три начала, которымъ суждено было преобладать въ жизненномъ развитіи будущихъ временъ: 1) административная монархія,—новое начало монархическое, развившееся въ римской имперіи. 2) Въ это время также древняя цивилизація, греческая и римская, составила одно цълое и получила возможность перейти къ намъ въ великихъ памятникахъ древней жизни. 3) Наконецъ, подъ сънію римской имперіи развилось христіанство".

Затыть Грановскій приступаеть къ характеристикт трехъ намыченных сторонь внутренняго быта имперін. Характеризуя политическій строй, онъ изображаєть постепенный упадокъ власти сената, развитіе императорской власти и образованіе императорского двора съ его полу-придворными, полу-государственными должностями, административное дыленіе государства на префектуры, муниципальныя учрежденія, составь сельскаго населенія, наконець, организацію податной системы. На все это употреблено двы лекціи (15-я и 16-я), изъ чего уже видно, что изложеніе не могло быть сколько-пибудь подробнымъ. Приводимь выводь, который извлекаеть Грановскій изъ этой части своего изложенія.

"Соображая все сказанное, увидимъ ясно, почему римская имперія въ V столътін такъ легко уступила натиску варваровъ. Въ ней не было ни одного элемента, который могь бы быть поставлень въ сопротивленіе имъ. Аристократія, которой члены засъдали въ римскомъ и константинопольскомъ сенатъ, была немногочисленна...: она не могла играть никакой роди въ этомъ періодъ переворотовъ. Чернь, которая могла быть вызвана въ дъйствіе или вслъдствіе сильнаго патріотизма или вслъдствіе религіознаго одушевленія, была лишена патріотизма и религін. Какой патріотизмъ могъ оживить этотъ сборъ народовъ, механически связанныхъ, но чуждыхъ одинъ другому по нравамъ и самому языку? Въ такихъ обстоятельствахъ одинъ только средній классъ, совершенно усвонвшій римскую цивилизацію, могъ выступить на поприще и спасти имперію: но его не было. Онъ былъ уничтоженъ, разоренъ римскою системою податей и налоговъ. Вотъ въ какомъ состоянін находилась римская имперія въ время, когда началось великое движеніе, именуемое переселеніемъ народовъ".

Въ трехъ следующихъ лекціяхъ Грановскій переходить къ характеристике языческой и христіанской литературы IV и V вековъ. Цель

его въ этомъ отдѣлѣ—показать, "какія иден и формы достались изъ древней цивилизаціи IV-му и V-му стольтіямъ, — иден, которымъ суждено было быть проводниками древней цивилизаціи въ средпіе вѣка". Указавъ на различіе между латинскимъ образованіемъ запада и греческимъ образованіемъ востока имперіи, Грановскій начинаетъ затѣмъ свое изображеніе съ слѣдующей общей характеристики:

"Еще при Августъ все образование римской имперіи приняло тотъ характеръ, который носитъ образование временъ птоломеевыхъ. Въ наукъ видимъ трудолюбивыхъ дъятелей, изслъдователей, собирателей: творчество нечезло безвозвратно; нечезло также безкорыетное занятіе наукою, свободное домогательство истины. Конечно, и въ провинціяхъ римскихъ видимъ людей богатаго сословія, занимающихся наукою: но эти люди ушли, такъ сказать, въ науку отъ жизни, искали въ ней развлеченія, а не отвътовъ на выстіе запросы человъческой жизни. Единственною сферою, гдъ духъ сохраниль еще свою свободу, была, разумъется, философія, которой главные представители въ древней исторіи были стоики. Мы уже говорили, въ какомъ отношеніи былъ стонцизмъ къ правительству и къ народу римскому, какъ изъ философской школы развилась политическая оппозиція, отпраздновавшая блистательную побъду при Маркъ Аврелін. воспитанникъ этой философіи. Но это торжество стоической философіи было непродолжительно. Такимъ образомъ, философія осталась удъломъ немногихъ избранныхъ и дучшихъ людей. Непосредственно послъ Марка Аврелія вступають на престоль лица совершенно другого образа мыслей. и вліяніе, которое имъла философія на политическія дъла въ первыя три четверти II-го столътія, прекращается".

Следують краткія характеристики Сенеки и "его ученика" Тацита. По поводу разногласія между теоріей и жизнью Сенеки Грановскій замечаеть, что "несправедливо было бы презирать его по примеру легкомысленныхъ и ограниченныхъ умовъ, полагающихъ, что одинъ человекъ могъ спастись единственно отъ общей безнравственности".

"Богаче явленіями, обнаруживающими вліяніе на послѣдующее время, второе столѣтіе. Тогда явились тѣ знаменитыя головы, въ которыхъ, такъ сказать, древній міръ сложилъ всю свою науку, чтобы въ самой удобной формѣ передать ее вѣку среднему". Вслѣдъ за этимъ замѣчаніемъ Грановскій характеризуетъ сочиненія Птоломея, называетъ Галена и Павзанія. И матеріалъ и заключенія далъ ему въ этомъ случаѣ Шлоссеръ 1). Но уже въ слѣдующей характеристикѣ Лукіана Грановскій начинаетъ расходиться съ Шлоссеромъ. По Шлоссеру, "Лукіанъ, подобно Вольтеру, былъ убѣжденъ, что насмѣшка и сатира сперва должны уничтожить все старое, прежде чѣмъ можно будетъ начать строить что-либо лучшее... Свою смѣлость онъ противоноста-

¹⁾ Univ. hist. Uebersicht etc. III, 2, 208-231.

вляеть вялости современниковъ и отваживается сорвать лицемфриый покровъ, подъ которымъ тантся его въкъ". Грановскій судить объ этомъ въкъ иначе и не симпатизируетъ голой насмъшкъ, ничъмъ не смягченной, не ожидающей и не ищущей примиренія.

Въ своихъ "Разговорахъ" Лукіанъ выразилъ такое презръніе къ древнимъ формамъ, отъ которыхъ міръ тогда отрывался, такъ ядовито смъялся надъ древнею религіею, философіею, жизнью, что его можно по сираведливости сравнить съ другимъ великимъ геніемъ въ этомъ же родъ, съ Вольтеромъ. Ихъ дъятельность, средства и цъль были совершенно одинаковы—разрушить прошедшее, не заботясь о будущемъ. Въ ядовитой насмъщкъ Лукіана есть нъчто оскорблиющее насъ, обратившихся въ болъе высокихъ, спокойныхъ разсматривателей древности. Мы смотримъ на Лукіана, какъ на великаго бойца, вышедшаго для окончательнаго сокрушенія древней жизни. Мы не должны, впрочемъ, удивляться ему. Между тъмъ какъ онъ сокрушалъ древнее, онъ не понималъ настоящаго и будущаго. Христіанство уже возникло во всей красотъ и силъ своей. Онъ и надъ нимъ смѣялся".

Спинатін Грановскаго не могли принадлежать чисто "отрицательному направленію". Онъ всецьло переносить эти симиатіи на то, что онъ считаеть положительными элементомь дряхлівшаго міра, на философію и религію. Естественно, что и высшую степень сочувствія онъ обнаруживаеть къ явленію, въ которомъ религія и философія соединились для того, чтобы собственными усиліями создать христіанскую догму,— къ неоилатонизму. И въ этомъ случав онъ уже самымъ рішительнымь образомъ расходится съ Шлоссеромъ, для котораго примісь религіи къ философіи въ неоилатонизмі есть просто искаженіе чисто философской мысли подъ вліяніемъ модныхъ суевфрій, мистицизма и мечтательности, порожденныхъ болітаненнымъ настроеніемъ общества 1). Для Грановскаго это, напротивъ,—соединеніе всего здороваго и лучшаго, что выработало прошлое, со всімъ великимъ, чему сужденно было господствовать въ будущемъ. Въ своей характеристикъ неоплатонизма онъ всецімо руководится Гегелемъ 2).

¹⁾ Ibid. 242—256.

²⁾ Уже самое вступленіе къ характеристикъ (Александрія какъ "Мъсто соприкосновенія самыхъ разнородныхъ върованій религіозныхъ") слъдуєть Гегелю (Werke, XV, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. 28): "hier, als in ihrem Mittelpunkte, berührten, durchdrangen und vermischten sich alle Religionen und Mythologien der Völker des Orients und etc". Ср. приводимый далъе отрывокъ съ слъдующими замъчаніями Гегеля (стр. 29-- 31). "Indem die Weise der Philosophie, die in Alexandrien entstand, sich nicht an den bestimmten älteren philosophischen Schulen hielt, sondern die verschiedenen Systeme der Philosophie, insbesondere das Pythagoräische, Platonische und Aristotelische, in ihren Darstellungen, als Eines erkannte, so wurde sie häufig als Eklektismus

Мы не можемъ лишить читателя удовольствія—прочесть цѣликомъ этотъ въ высшей степени характерный для Грановскаго отрывокъ.

"Въ этомъ ничтожествъ угасающей литературы, въ этомъ старческомъ бредъ вялаго общества была одна сторона, могущественная, сильная, въ которой сосредоточивалось все, что было глубоко понимающаго и сильнаго духомъ. Это была неоплатоническая александрійская философія... Неоплатоническую школу упрекають въ отсутствін самостоятельности, въ безсознательномъ смъшенін разнородныхъ элементовъ. Но неоплатоники приияли великую мысль органическаго развитія философіи: они поияли преемственность системъ философскихъ (изъ которыхъ каждая не выполняетъ совершенно цъли философін); поняли каждую систему, какъ одинъ моменть въ исторіи философіи, не давая, впрочемъ, ни одной изъ нихъ конечнаго значенія. Опи положили въ основаніе своихъ изследованій творенія Платона, привлекаемые къ нему богатствомъ его философскаго воззрънія; но они связали его ученіе съ ученіемъ Пивагора и Аристотеля. Они не остановились и на этомъ; они вышли изъ сферы философіи въ сферу исторін и религін, и здась держались той же путеводной нити; вездъ слъдовали они органическому развитію. Они приняли, что въ исторін человъчества вее истекаеть одно изъ другого. Съ этой высокой точки зрънія старались они объединять древнія религін, показать, что въ каждой языческой религін дано было откровеніе, что вев религін древняго міра суть не что иное, какъ рядъ откровеній. И здѣсь, несмотря на всю глубину этого пониманія, они впали въ великое заблужденіе: глубокіе истолкователи предшествующихъ формъ, они съ ненавистью говорили о христіанствъ. Только отдъльныя личности, вышедшія изъ этой школы, оцънили по достоинству христіанство. Но между тъмъ, ни одна философія не имъла такого сильнаго вліянія на ученую форму христіанской догматики, какъ неоплатоники. Противъ неоплатониковъ раздаются преимущественно два обвиненія. Одно, болъе въ видъ похвалы, принадлежить Соиsin'y, который называеть ихъ эклектиками и по образу ихъ хотъль создать философскую систему во Франціи. По его мизнію они выбирали, склепывали свое ученіе изъ предшествующихъ системъ. Но въ этомъ обвиненіи нътъ ничего оскорбительнаго. Надобно понять, что есть дучшаго въ предшествующихъ философскихъ системахъ и какъ сшить разорванныя части. Каждая система невольно принимаеть всъ лучтіе элементы системъ предыдущихъ, отвергая (ихъ заблужденія). Другое обвиненіе, въ міръ практическомъ, принадлежить Шлоссеру: оно состоить въ томъ, что неоплатоники просто мечтатели, оторвались совершение отъ современной жизни и что въ ихъ философіи видимъ боязливое удаленіе отъ дъйстви-

aufgeführt... Im bessern Sinne des Wortes kann man die Alexandriner allerdings eklektische Philosophen nennen... Die Alexandriner legten nämlich die Platonische Philosophie zum Grunde, benutzten aber die Ausbildung der Philosophie überhaupt, welche sie nach Plato durch Aristoteles... erhalten... Im höhern Sinne ist ein weiterer Standpunkt der Idee von der Art, dass er die vorhergehenden Principe, die nur einzelne einseitige Momente der Idee enthalten, concret in Eins vereinigt".

тельности, что они изъ сферы философіи перешли въ сферу мистицизма, проповъдуя ученіе, странно поражающее воображеніе. Противъ этого обвиненія готовъ отвъть. Я сказаль, что платоническіе философы были самые глубокіе умы того временн. Гдв же были великіе интересы, которые могли бы вызвать къ дъятельности? Они были загнаны въ науку и умозръніе пустотою современнаго въка. Съ негодованіемъ, съ отвращеніемъ отвернулись они отъ дъйствительности, инчъмъ не привлекавшей ихъ сочувствія. Отсюда происходять всб ихъ недостатки. Отвлекаясь отъ жалкой, нельной двиствительности языческаго міра, они проповъдывали такое презръніе къ ней и ко всему міру, что впали во всъ крайности мистицизма. Они приписали духу человъческому такую безконечную силу, были такъ сильно убъждены въ глубокомъ владычествъ духа надъ матеріей. что върили въ возможность подчинить явленія природы духу человъческому. Отсюда ихъ суевърія, въра въ магію, водшебство, демонологія и т. д. Очевидно, это не что иное, какъ искаженіе благороднаго, истиннаго начала въры въ силу духа".

Не будемъ останавливаться на характеристикахъ древнихъ явленій образованности Ш — V вв. напр., тогдашнихъ школъ и софистовъ, такъ какъ эти характеристики болѣе или менѣе общи у Грановскаго со Шлоссеромъ 1). Въ такой же зависимости отъ Шлоссера находятся сжатыя характеристики представителей "ученой" христіанской литературы (Густина, Климента, Оригена, Евсевія). Далѣе слѣдуетъ столь же краткое изображеніе "популярной или народной" христіанской литературы, подъ которой Грановскій разумѣетъ Іеронима, Амвросія и Августина. Грановскій указываетъ на особенныя условія происхожденія этой литературы, могущія объяснить небрежность ея формы. Въ противоположность ученой литературѣ

"здъсь, въ популярномъ отдълъ христіанской литературы, формы нечего искать. Форма безобразна, но содержание велико. Напомнимъ только одно, что вев первыя сочиненія христіанскія вышли изъ чисто практическихъ потребностей. Здъсь некогда было долго думать о собраніи матеріаловъ: надобно было (немедленно) ръшить какой-нибудь догматическій или нравственный вопросъ, отвъчать на недоумъніе христіанской общины, поливе высказать мысли непонятныя. Необыкновенная литературная дъятельность связывала всъ христіанскія общины, разсъянныя по всъмъ концамъ земли. Посланія извъстныхъ святостью жизии своей епископовъ въ короткое время приходили разными путями съ границъ Азін до Галліп и обратно. Посланія списывались, ихъ читали публично, на нихъ получались отвъты и возраженія, и новые гонцы шли къ ихъ источникамъ. Вездъ собираемы были свъдънія о смерти мучениковъ, покупались грамоты, протоколы допросовъ христіанскихъ мучениковъ. Изъ этого составлялись христіанскія описанія — начало христіанской поэзін, такъ называемыя legendae. Самое ихъ названіе показываеть, что онъ читались публично".

¹⁾ См. кромѣ цитированнаго выше, также и слъдующій 3-й отдѣлъ III тома, VIII глава, 3.

Въ приведенныхъ строкахъ можно предполагать вліяніе IV лекціп Гизо. Но вообще говоря, вліяніе "Исторіи цивилизаціи" отразилось на курсѣ Грановскаго въ гораздо меньшей степени, чѣмъ можно было бы ожидать. Нельзя считать спеціальнымъ заимствованіемъ у Гизо и то дѣленіе исторіи первоначальной церкви на три періода: демократическій, аристократическій и монархическій, на которомъ основана послѣдияя часть резюмирующаго обзора Грановскаго. Кончается этотъ обзоръ краткой исторіей монашества, причемъ Грановскій дѣластъ то различеніе между созерцательнымъ настроеніемъ восточныхъ анахоретовъ и практическимъ направленіемъ западнаго монашества, которое можно найти и у Гизо. Фактическій матеріалъ, сообщаемый Грановскимъ въ этихъ отдѣлахъ, заимствованъ имъ непосредственно изъ сочиненій по исторіи церкви (онъ называетъ въ началѣ отдѣла Пірекка, Неандера, Гизелера, Газе и Планка).

IV.

На этомъ кончается "введеніе" въ исторію среднихъ вѣковъ, занимающее почти треть всего курса и, очевидно, обработанное Грановскимъ съ особенной любовью. Отдѣлъ "о германцахъ" начинается съ указанія источниковъ и пособій. Наиболте сильное вліяніе на изложеніе Грановскаго оказали взгляды Мозера и Эйхгорна. Подобно первому, опъ дѣлитъ германскія илемена на два отдѣла: саксовъ и свевовъ. Саксы, занимавшіе стверную, низменную часть Германіи, изображаются какъ представители чистаго германскаго племени. Свевы, жившіе въ южной, гористой половинъ Германіи, характеризуются какъ населеніе смѣшапнаго состава, semigermani. Согласно этому дѣленію и общественный строй обѣихъ половинъ Германіи рисуется какъ двѣ совершенныя противоположности: у саксовъ господствуетъ чистый лобщинный" бытъ; напротивъ, свевы находятся въ бытѣ "дружинномъ".

"По изслъдованіямъ новъйшихъ ученыхъ вся съверная часть Германіи, отъ береговъ Нъмецкаго и Балтійскаго моря до горъ, начинающихся у Шварцвальда и идущихъ до Богемскаго лъса, между нижнимъ Рейномъ и Эльбою, была заселена чистыми германцами... Это край, изъ котораго выросъ германскій народъ. Здъсь мы находимъ въ чистотъ тъ учрежденія, которыя собственно принадлежать германцамъ—общинное устройство. Окрай германскаго міра заселенъ быль на западъ и югъ илеменами галло-кельтическими, на востокъ славянами... Но изъ Германіи собственной выходили безпрерывно толны людей, гонимыхъ или кровавою местію, или собственными потребностями и дъятельностью. Эти-то дружины... съли, такъ сказать, на кельтическое и славянское народонаселеніе и образовали великое племя свевское".

Переходъ отъ "общиннаго" быта къ "дружинному" облегчался, въ глазахъ Грановскаго, его пониманіемъ соціальнаго состава древняго германскаго общества. По его митнію, "пормальное, постоянное положеніе германскихъ общинъ" было таково, что онтъ "состояли изъ ограниченнаго числа полноправныхъ и свободныхъ людей, между которыми возвышались нѣкоторые благородные люди". "За то очень значительно было число летовъ или лассовъ", неполноправныхъ. "Это слово на германскомъ нарфчін означало человъка робкаго, лѣниваго. Подъ этимъ именемъ германцы разумѣли покоренныя ими племена, жившія на земляхъ ихъ и обложенныя извѣстными повинностями". Такимъ образомъ, и населеніе коренной германской земли, находившеся въ чистомъ общинномъ быту, дѣлилось на завоевателей и завоеванныхъ. Съ помощью этого предположенія въ первобытную германскую жизнь вносились уже тѣ самыя явленія, которыя подлежали объясненію изслѣдователя поздивішихъ временъ.

"Это — явленіе весьма важное въ германской жизни. Оно объясняеть многое загадочное въ сказаніяхъ лътописцевъ. 1) Одно племя побъждало другое, овладъвало его землями; тогда вев свободные люди побъжденнаго племени оставляли свое отечество и шли далъе искать новыхъ земель и образовать новыя общины. 2) Многіе изъ покоренных оставались на своихъ участкахъ земли, и отношенія ихъ къ побъдителямъ оставались всегда тъ же. Въ наступательныхъ войнахъ между германцами принимали участіе только полноправные, а покоренные или леты не выступали въ походъ. потому что они инчего не теряли, если бы племя, ихъ покорившее, пало въ борьбъ съ другимъ... Они оставались на участкахъ своихъ и только перемъняли господъ. Завоеванныя земли дълились поровну между всъми членами побъдившаго племени; сколько побъдителей, столько и участковъ... 3) Остававшіеся лассы сообщали естественным робразомы побъдителямы своимъ ніжоторые обычан, нівчто въ языків и т. д., ибо число лассовь ч всегда превосходило число побъдителей... 4) Прежнее имя народа изгнаннаго или побъжденнаго шло далъе вмъстъ съ свободными изгнанниками: имя побъдителей привязывалось къ почвъ покоренной земли. Этимъ объясияется безпрестанная смъна имень и происходящая отъ того сбивчивость. Иногда эти блуждающія имена германскихъ илеменъ исчезаютъ совсъмъ...: это объясняется тъмъ, что свободные изгнаиники, несшіе имя свое далъе съ собою, на пути встръчали какое-нибудь препятствіе и погибали вмъстъ съ именемъ: не должно думать, чтобы эти племена были многочисленны".

Такимъ образомъ, отъ "общины" было не такъ уже далеко до "дружины". "Война выводила народъ изъ коренного положенія...; пногда цѣлыя общины, тѣснимыя врагами, принимали характеръ дружинный, который они слагали по прекращеніи опасности". И, наоборотъ, дружины могли принять размѣры цѣлаго племени. "Участь дружины была

различна. Иногда эделинги вожди дружинъ-были просто грабители, съ добычею возвращались съ войны и вступали въ число членовъ общинъ. Иногда кунпигъ вступалъ со всею дружиною въ службу чужихъ народовъ и преимущественно римлянъ. Извъстно, что многія дружины или отряды измецкіе съ перваго столятія являются въ войскв римскихъ императоровъ. Пногда же они имфли общирифйшіе замыслы: вождь шель завоевать себь и товарищамь новыя земли и новыхъ лассовъ. Дружины были иногда весьма многочисленны. Опъ походили на цълые народы. Такова дружина Гензериха Вандальскаго, Алариха Вестготского, Дитриха Великого Готоского". Такимъ образомъ, великое переселеніе народовъ было не движеніемъ племенъ, а движеніемъ дружинь. Если въ предыдущемъ изложении Грановский иногда идетъ дальше Эйхгорна и выражается смёлье его, то въ этомъ случав онъ только следуеть выводамъ Эйхгорна 1). "Готоы, жившіе на востоке, Алеманны и Бургунды на юго-западѣ, наконецъ, Франки на сѣверозападъ-это были дружины". До переселенія, Бургунды и Алеманны "такъ же сидбли на кельтическихъ племенахъ, какъ готоы сидбли на славянскихъ". Передвинувшись въ римскія провинцін, тв и другіе только перемѣнили своихъ "лассовъ". По образцу своихъ старыхъ отношеній къ лассамъ, они установили и свои отношенія къ покореннымъ жителямъ римскихъ провиццій. Уже въ первоначальномъ германскомъ быту "каждый господинъ жилъ во дворф своемъ, окруженный хижинами лассовъ, которыхъ онъ судилъ по постановленіямъ такъ называемаго дворскаго права, Hofrecht. Изъ этихъ правъ, въ соединенін съ другими элементами, развились права ленныя или феодальныя". Такимъ образомъ, "дружинное устройство имъло безконечное вліяніе на всю исторію запада". Франкскія завоеванія "припесли это устройство обратно въ Германію и наложили его на прежція общины. Разумъется, переходъ отъ общины къ дружинъ совершился не очень скоро: мы видимъ его во всемъ развитіи феодальной системы. Но кончился онъ совершенною побъдою дружиннаго устройства".

Въ то время, какъ Грановскій развиваль эту стройную теорію, Вайцъ уже началь выпускать первые томы своей Verfassungsgeschichte, Зибель только-что издаль свою книгуEntstehung des deutschen Königthums. Черезъ годъ въ московскомъ университетъ громко заговорили о теоріи родового быта. Грановскій не остался позади движенія науки. Напро-

¹⁾ См. Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte. Т. I, passim. Грановскій, очевидно, винмательно изучаль эту книгу, и вліяніе ея замѣтно во многихъ частяхъ курса.

тивъ, новыя изслъдованія заставили его пересмотрѣть вопросъ и дали тему для нечатной статьи, въ которой онъ начисто отказался отъ всѣхъ выводовъ Эйхгорна, только что раздѣлявшихся имъ самимъ. Мы разумѣемъ статью Грановскаго "о родовомъ бытѣ у древнихъ германцевъ". носвященную русскимъ защитникамъ родовой теоріи, Соловьеву и Кавелину. Если прежде, вслѣдъ за своими руководителями, Грановскій относилъ свидѣтельства Цезаря и Тацита къ южнымъ "чружиннымъ" германцамъ (свевамъ), утверждая вмѣстѣ съ ними, что эти писатели знали только германцевъ кочевыхъ, а не осѣдлыхъ, — то теперь онъ смѣло принимаетъ ноказанія источниковъ "о состояніи народа, только что переходящаго отъ кочевой къ осѣдлой жизни, еще незнакомаго съ настоящею поземельною собственностью", и объясняетъ это отсутствіе свидѣтельствъ о земельной собственности — господствомъ родового быта. Такимъ образомъ, содержаніе университетскаго курса объясняеть намъ причину появленія печатной статьи.

"Исторія переселенія народовъ" начинается у Грановскаго, довольно неожиданно, критическимъ экскурсомъ о происхожденіи гунновъ. Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что этотъ экскурсъ вызванъ теоріей славянства гунновъ, по адресу которой Грановскій делаетъ несколько суровыхъ, но справедливыхъ замъчаній, "Льтъ 15 тому назадъ", говорить опъ, "покойный Венелинъ выставилъ новое мифије, по которому гунны являются славянами. Это мифніе, какъ оно ни шатко, какъ ни нуждается оно въ болъе крънкомъ основанін, требуетъ однако разбора, потому что нашло много защитниковъ и потому, что последователи Венелина образовали у насъ особливую школу. Нѣтъ сомнѣнія, что труды Венелина носять на себф печать и сильныхъ дарованій, и трудолюбія, но пельзя не замітнть, что ему недоставало полнаго историческаго образованія". ІІ кончая свой разборъ вопроса, растянувшійся на цълую лекцію, Грановскій замьчаеть: "почти у всьхъ европейскихъ народовъ была эпоха, когда высказывалось въ исторіографін точно такое же явленіе, какъ у насъ, --- когда историки старались населить весь міръ своими единоплеменниками... Это свидфтельствуеть ифкоторымъ образомъ о младенческомъ состояніи науки".

Въ ияти следующихъ лекціяхъ Грановскій ведетъ фактическій разсказъ о германскихъ вторженіяхъ и излагаетъ исторію новыхъ государствъ, основанныхъ на римской почве. Несмотря на крайнюю сжатость разсказа, Грановскій уметъ вводить въ него характерныя реальныя черты, сообщающія наглядность его изображенію. При всякомъ удобномъ случать онъ приводитъ данныя, указывающія на взаимное отношеніе победителей и побежденныхъ. Сообразно общему характеру воз-

зрѣній Грановскаго и направленію его ученыхъ авторитетовъ, — римская традиція рѣзче подчеркивается въ его разсказѣ, чѣмъ германская самобытность. Вотъ, напр., его замѣчанія по поводу извѣстныхъ словъ, принисывавшихся вестготскому королю Атаульфу.

"У Атаульфа замѣчаемъ мы странную политическую мысль... Вотъ слова, слышанныя однимъ изъ друзей Орозія отъ самого Атаульфа: "въ полной падеждъ на мон побъды, я хотълъ истребить народъ римскій и на развалинахъ этой монархін возстановить владычество готоовъ, основать для нихъ новое государство и дать ему законы. Но миъ показалъ опыть, что дикая необузданность не можеть подчиниться законамъ: тогда я положиль другую цізь моему честолюбію: я хочу употребить мечь готвовь не для разрушенія, а на возстановленіе римской имперін". Эта мысль встръчается у всъхъ великихъ куниговъ германскихъ того времени. Стилихона, Алариха, который хотъль быть magister equitum utriusque militiae, у Атаульфа, въ другихъ размърахъ у Дитриха Великаго, купига остготескаго. Они темно понимали могущество римской цивилизаціи, необходимость ея существованія и продолженія, они полимали, что формы германской жизии не могуть служить замъною формамъ сокрушавщимся римской жизии,-отсюда проистекаеть мысль Атаульфа служить римской имперіи... Мысль эта перешла и къ его прееминку. Такимъ образомъ, Валлія быль не что нное, какъ римскій полководець. Для западной римской имперін онъ воеваль съ германскими илеменами, поселившимися на пиринейскомъ полуостровъ... Что это дълалось не случайно, не безъ сознанія..., это ясно изъ письма его къ Гонорію, сохраненнаго Орозіемъ, гдъ встръчаемъ слъдующее любопытное выраженіе: nos nobiscum confligimus, tibi vincimus".

Естественно, что особенно подчеркиваетъ Грановскій сохраненіе римской традиціп, въ предълахъ самой Италін. Первое отнятіе трети земель у жителей Италін—при Одоакрф—онъ считаетъ для нихъ "вовсе не обременительнымъ, ибо въ Италін было очень много пустырей, земель пеобработанныхъ. Самое обременительное въ этомъ было то, что съ третью земель отходила и соотвѣтствующая часть скота, дома, рабовъ; но отдѣленіе самыхъ земель можно скорѣе назвать благодѣяніемъ для римскихъ жителей, нежели притѣсненіемъ ихъ". При Теодорихѣ положеніе дѣлъ въ Италін было еще лучше.

"Дитрихъ, о которомъ говорять современники, что онъ не зналъ грамоты, понималь важное значение римской цивилизации и настоящее значение остготескаго народа, считаль обязанностию быть защитникомъ, хранителемъ этой цивилизации, ввъренной народу римскому, который однако же безъ чуждой ограды не могъ продолжать самостоятельнаго существования... Народъ готескій при Дитрихъ составляль какъ бы армію Италіи... Изъ всъхъ вибшнихъ формъ древней администраціи римской Дитрихъ не измъниль инчего. Остался тотъ же сенать, то же городовое управленіе, тъ же сановники, та же система податей и налоговъ, съ тою только разницею, что они были взимаемы въ меньшемъ количествъ и съ меньшими

притъсненіями, нежели при императорахъ. Это было лучшее время италіанской жизни".

Такимъ образомъ, жители Италін "не вынграли" отъ перемѣны остготскаго владычества на византійское. "Вследствіе новаго порядка вещей, возникшаго въ Италін послъ изгнанія остготовъ, въ итальянскую жизнь вошли нѣкоторые элементы, дотоль ей чуждые". Такъ, напримъръ, "желая замънить недостающее число войска, необходимаго для защиты Италіц, Юстиніанъ положиль основаніе военному устройству городовъ, которое, видоизманившись, перешло и въ средніе вака". Наконець, вторженіе лангобардовь частью порвало римскую традицію. "При самомъ поселеніи своемъ они дійствовали съ большею жестокостью, чемъ предшественники ихъ, герулы и готоы. Почти везде истребляли они римское народонаселение или обращали свободныхъ поселенцевъ въ рабское состояніе. Только въ городахъ остались остатки свободнаго народонаселенія". Однако, при дальнъйшихъ попыткахъ проникнуть на югъ Италін, лангобарды "встратили сильное сопротивленіе", особенно со стороны римскаго напы; а затімь, съ принятіемъ католичества значительнымъ числомъ дангобардовъ, начипается внутреннее раздъленіе среди нихъ; "католическая, римская партія нейтрализируетъ движеніе народной (аріанской) партін", и "латинскій элементь" все болфе "получаеть превосходство между лангобардами".

И въ этомъ случав такъ же, какъ по вопросу о древивниемъ бытв германцевъ, Грановскому пришлось столкнуться съ противоположными мивніями новыхъ изследователей. Отраженіе этихъ мивній и на этотъ разь онъ встретиль среди товарищей по университету— именно, въ изследованіи Кудрявцева о "Судьбахъ Италіи". Результатомъ столкновенія мивній была въ данномъ случав тоже печатная статья,—одна изъ лучшихъ статей Грановскаго, подвергнувшая ученому пересмотру вопросъ о римской традиціи на итальянской почвв 1). После пересмотра Грановскій остался, однако, въ этомъ вопросъ при своихъ старыхъ взглядахъ; онъ даже усилилъ ихъ противоречіе со взглядами защитниковъ итальянской самобытности, отказавшись отъ своихъ профессорскихъ заимствованій изъ Лео 2) и примкиувши ближе къ теоріи Савиньи. Молодое поколёніе однако не убедилось доводами Грановскаго. Вотъ что инсаль по этому поводу Ешевскій Бестужеву-Рюмину. "Написавши

^{1) &}quot;Отеч. Зап." 1851 г. рецензія на соч. Кудрявцева, перепечат. во ІІ томъ Сочиненій,

²) Только мижніе о національномъ характеръ птальянцевъ, какъ продуктъ лангобардскаго завоеванія, изложено въ статьъ по Лео, въ томъ же видъ какъ въ лекціяхъ.

въ первый разъ свою рецензію на Кудрявцева, я изорвалъ ее, когда прочиталъ критику Тимоевя Николаевича, и передълалъ совершенно или, лучше сказать, написалъ снова. Не думай, впрочемъ, чтобы рецензія Т. Н. заставила меня перемьшить свои мысли о развитіи городовъ въ Италіи. Миж кажется, онъ мало обратилъ вниманія на новыя изслъдованія. Слишкомъ занятый авторитетомъ Савиньи, онъ всъ докавательства беретъ изъ его же кинги, между тѣмъ, какъ мнѣ кажется, самъ Савиньи теперь поискалъ бы повыхъ въ защиту своего миѣнія 1.

V.

Послѣ бѣглыхъ очерковъ государствъ, основанныхъ германцами (самый подробный изъ нихъ—очеркъ исторіи англо-саксовъ, составленный преимущественно по Лаппенбергу, запимаетъ около одной лекціи), — Грановскій нѣсколько подробнѣе останавливается на исторіи франковъ. По своему обыкновенію, онъ начинаєть свой разсказъ указаніемъ источниковъ и пособій. Характеристика Григорія Турскаго даетъ ему поводъ высказать свое миѣніе объ общемъ значеніи излагаемаго періода.

"Его (Григорія Турскаго) л'ятопись им'ять большое значеніе не только для исторіи франковъ, но и для всей исторіи среднихъ въковъ. Нигдъ не представлена такъ живо и наглядно борьба германскаго варварства съ испорченнымъ образованіемъ римскихъ провинцій. Этотъ чудный порядокъ вещей, возникшій отъ сліянія противоположныхъ элементовъ. Первоначально эти элементы обмънялись только дурными сторонами своими, и только дурныя стороны поражають читателя при первомъ взглядъ. Можетъ быть, не было общества болбе чуждаго началу правственному, какъ общество, возникшее на римской почвъ непосредственно по водворенін германцевъ и преимущественно франковъ. Франки заняли все коварство, все равнодущіе ко встмъ высокимъ интересамъ, существовавшимъ въ разныхъ формахъ, въ различныхъ степеняхъ обравованности у римлянъ: съ другой стороны, вся жестокость германскихъ правовъ перешла къ римлянамъ. Это какая-то отвратительная смъсь. Но въ то же время эта исторія утвинтельна. Въ самомъ этомъ паденін человъчества видимъ безконечныя силы его, видимъ, какъ оно побъдоносно выходить изъ процесса, коему подвержено въ продолжение двухъ или трехъ стольтій".

Далѣе Грановскій излагаеть, по Тьерри, исторію взглядовь на общественный строй франкскаго государства (теоріи Буленвилье, Дюбо и Мабли) и, наконець, даеть характеристики современныхь историковь, Мишле, Гизо и Тьерри. Особенно любопытень отзывь о Гизо, подчер-

¹⁾ К. Н. Бестужевъ-Рюминъ. Біографіи и характеристики, 305.

кивающій ту противоположность въ складѣ ума обоихъ историковъ, которая мѣшала Грановскому выбрать Гизо въ число своихъ образцовъ и руководителей.

"У него нѣтъ драматическаго таланта, онъ не умѣетъ живо характеризовать явленій, но едва ли у кого-нибудь изъ современныхъ историковъ есть такой огромный талантъ аналитическій. Онъ разлагаетъ жизнь средняго въка на ея отдѣльные элементы и каждый подвергаетъ строгимъ изслъдованіямъ. У него вся драма исторіи исчезаетъ; но изъ его книги можно коротко познакомиться со всѣми дѣятелями (Грановскій, очевидно, употребилъ это слово въ смыслѣ французскаго agent, факторъ) французской исторіи".

Очевидно, манера Гизо для Грановскаго отдаеть той же самой "сухой теоріей прогресса" французскихъ изслѣдователей прошлаго вѣка, съ которой покончилъ Гердеръ и на смѣну которой явилось раздѣляемое Грановскимъ понятіе живого органическаго развитія 1). Естественно, что всѣ его симпатіи на сторонѣ живописательной манеры Тьерри.

"Это быль, такъ сказать, манифесть,—говорить опъ по поводу "Lettres sur l'histoire de France", изданный новою историческою школою, —въ которомь она показала вст недостатки прежнихъ французскихъ историковъ. Въ первомъ письмъ онъ разбираетъ древнихъ французскихъ историковъ, въ остальныхъ показываетъ, какъ должно писатъ исторію... Это сочиненіе по живости необыкновенной разсказа и по огромной учености, которою сочинитель не хвалится, замъчательно. Онъ вездъ только показываетъ живые результаты своей учености... "Разсказы о меровнигахъ"... есть удивительный образецъ историческаго разсказа".

Относительно "Исторін Францін" Мишле, Грановскій высказывается съ оговорками:

"Вообще должно замътить, что во всемъ сочиненіи видимъ нервность: нъкоторыя части отдъланы превосходно, другія очень слабо. Въ его исторической манеръ есть что-то своенравное, капризное; но во всякомъ случать это одинъ изъ самыхъ даровитыхъ, геніальныхъ историковъ нашего времени, въ богатой натурт котораго соединенъ блестящій талантъ изложенія съ огромными свъдъніями и съ философскимъ пониманіемъ, конечно, не совстямъ развитымъ и яснымъ".

Въ общемъ, Грановскій отдаетъ французскимъ историкамъ безусловное преимущество передъ измецкими, "Французскіе псторики", говорить онъ, "пользовались много трудами измцевъ, но стоятъ безконечно выше ихъ въ живомъ пониманіи событій и въ дарт изложенія. У нтыцевъ исторіографія имфетъ характеръ педантства; но она по самому (существу) своему назначена для встав, должна быть популярна". Это замтчапіе пе машаетъ, однако, Грановскому основывать свой курсъ

¹⁾ См. введеніе Грановскаго въ сборникъ въ пользу студ. унив. Св. Владиміра, стр. 314—315.

почти исключительно на и вмецких в пособіяхь; и причина этого, помимо характера подготовки Грановскаго, несомивнию заключается въ томъ, что именно и вмецкая литература давала изображение среднев вковой исторіи съ той всемірно-исторической точки зрвнія, которая была необходимой для міровоззрвнія Грановскаго.

Съ этой точки зрвнія смотрить Грановскій и на исторію франковъ. Сділавши общій обзоръ народонаселенія Галліи, въ V вікі, онъ нереходить затіль къ фактическому разсказу слідующей фразой. "Во главі одной изъ франкскихъ дружинъ является человікь, которому суждено было дать франкскому племени всемірно-историческое значеніе. Это быль Хлодвигь". И онъ обращаеть вниманіе на то, что:

"Хлодвигъ-язычникъ уже въ самомъ началъ своей дъятельности въ Галлін является какъ бы союзникомъ католическаго духовенства. Какъ язычникъ, онъ внушалъ болъе увъренности духовенству, чъмъ кунигиаріане. Вслъдствіе необходимаго движенія вещей онъ долженъ былъ нерейти рано или поздно къ христіанству, котораго сила была очевидна. Уже тогда католическіе еписконы смотръли на него какъ на будущаго христіанина. Они старались находиться съ нимъ въ дружескихъ отношеніяхъ. Хлодвигъ принялъ этотъ союзъ, и успъхи его объясняются союзомъ этимъ съ могущественнъйшимъ сословіемъ тогдашняго времени".

Такимъ образомъ, Хлодвигъ шелъ по пути, указанному Константиномъ Великимъ, и своимъ отношеніемъ къ духовенству какъ бы прообразовалъ отношеніе Пипина и Карла къ папскому престолу.

Въ дальнъйшемъ изложении Грановский характеризуетъ отношения. установившіяся у франкскихъ королей съ ихъ дружинниками, германскими "общинами" и галлоримскимъ населеніемъ. Онъ подчеркиваетъ при этомъ безусловное преобладаніе въ Нейстріи и Аквитаніи римскаго элемента. "Элементъ германскій преобладаль потому только, что самые куниги вышли изъ германскихъ дружинъ; но римляне, какъ самые многочисленные и образованившшіе, занимая всв духовныя должности, имѣли спльное вліяніе на управленіе. Этотъ римскій элементь былъ еще могущественные къ югу отъ Луары; здысь сохранились латнискій языкъ, муниципальное правление въ городахъ; здфсь мало было франковъ. Только въ т. наз. Австразін преобладаеть исключительно элементъ германскій". Нъсколько далье онъ прибавляеть: "одно важное п не довольно одъненное явленіе надобно замътить въ этомъ періодъ франкской исторіи. Въ южной Галліи и Италіи осталось много сильныхъ фамилій изъ римскаго періода. Во время всеобщаго разложенія общества они удалились въ замки, нарочно ими выстроенные и укръпленные въ горахъ и неприступныхъ мѣстахъ. Еще теперь есть развалины такихъ замковъ, которыхъ древность восходитъ до V, VI стольтій. Изъ этихъ замковъ вышли въ VIII, IX стольтіяхъ тѣ феодальные владъльцы, которые такъ сильно стѣсиили королевскую власть".

Въ дъятельности Брунегильды Грановскій указываетъ "стремленіе ввести римскіе обычан и нравы въ Германін, подчинить германскую жизнь этимъ враждебнымъ началамъ". "Это одна изъ самыхъ необыкновенныхъ, дивныхъ личностей того періода... Противница ея Фредегонда стоитъ безконечно ниже ея. Она была представительницей этого испорченнаго времени, этого страшнаго разврата, происшедшаго вслъдствіе соединенія варварства съ упадающимъ образованіемъ римскимъ". Немедленно всявдъ за этимъ Грановскому приходится отматить побъду дружинныхъ стремленій съвера и національной реакціи галльскаго юга надъ королевской властью. "Прогрессивное движение франкскаго могущества отъ Хлодвига до смерти сыновей его останавливается въ этомъ періодь; внутреннія силы въ государствь въ борьбымежду собою. Надъ всфии элементами выплываеть элементь феодальной власти, не ограниченной въ эту пору церковью. Церковь, чтобы не упустить изъ рукъ той власти, которою она досель пользовалась, вошла въ составъ феодальной системы... Повидимому, въ этомъ движеніи погибають остатки. безъ того уже скудные, римской цивилизаціи, римскихъ учрежденій". Но въ этотъ моментъ дело королевской власти берутъ подъ свою защиту сами "начальники феодальной аристократін", — налатные меры. Карлу Мартеллу "болве нежели кому-инбудь изъ его предшественииковъ удалось сломить оппозицію феодальныхъ дружинъ". Правда, "онъ быль ненавистень духовенству франкскому по строгости и притфененіямь"; "когда не доставало ленъ для членовъ дружины, онъ сталъ раздавать владанія церковныя". Но бранившіе его за это "латописцы монахи", —, не понимали заслуги его для Европы" и "имфли въ виду только собственныя выгоды". "Въ началъ VIII стольтія пновърческія племена (язычники съ съвера, мусульмане съ юга) грозили страшною онасностью германо-латинской Европъ, которая была въ то время разъединена въ своихъ интересахъ, она была разделена на христіанскую и языческую 1). Между той и другой существовала непримиримая, глубокая вражда. Карлъ Мартеллъ въ этотъ роковой моменть европейской исторіи, действительно, выказаль себя героемь, и его дъятельность доставила ему всемірно-историческое значеніе. Съ одной стороны онъ удержалъ арабовъ, съ другой удерживалъ движеніе саксовъ, которые силились распространиться далже на западъ. Для дости-

¹⁾ Грановскій, копечно, разумѣетъ здѣсь внутреннее разъединеніе мірского и духовнаго общества, въ смыслѣ "философін исторін" Гегеля.

женія этой цёли онъ долженъ быль натянуть всё силы государства франкскаго". Вынужденный расхищать церковныя имущества у себя дома, онъ, однако, "оказывалъ деятельную помощь проповедникамъ христіанства за Рейномъ". "Онъ понималъ хорошо, что они защищаютъ одно діло съ нимъ, ведутъ къ одной ціли. Это былъ авангардъ Карла Великаго". Такимъ образомъ, "вполнъ дивная дъятельность этого человъка" подготовляла путь священной римской имперіи германской націн. Прежде чъмъ перейти къ сліянію римской и христіанской иден въ германской монархін Карла, Грановскій останавливается на подвигахъ "вонновъ христіанской цивилизацін" въ дебряхъ внутренней Германіи. Описавъ миссіонерскую діятельность Виллиброда и Бонифація, охарактеризовавъ колонизаціонное и просвътительное значеніе монастырей, Грановскій указываеть еще на одну историческую заслугу Бонифація, который, "безспорно, быль лицомь самымь замвчательнымь во всей исторін запада до Карла Великаго". "Ему принадлежить мысль о близкомъ соединенін франкскихъ католиковъ съ напою... Помазаніемъ Инпина церковь освитила права каролингской династін, въ противоположность языческимъ правамъ дома меровинговъ". Разсказъ о Бонифаціи заканчивается, затымъ, следующимъ любонытнымъ замычаніемъ:

"Въ наше время, когда католицизмъ явился съ новыми требованіями, снова возникъ вопросъ о дъятельности и заслугахъ Бонифація. Ему вмъняли въ преступленіе присягу, данцую имъ папъ, которому онъ, за себя и подчиненныхъ епископовъ въ Германіи, обязался въчнымъ повиновеніемъ. Порицатели этого поступка полагають, что если бы онъ дъйствовать самостоятельно, внъ связи съ Римомъ, то участь Германіи могла бы быть гораздо блистательнъе. Обвиненіе, основанное на совершенномъ непониманіи того времени. Отдъльными силами, оторвавшись отъ римской церкви, которая была сердцемъ и единеніемъ западнаго христіанства, св. Бонифацій не совершилъ бы и половины того, что онъ совершилъ... Этому міру, еще юному, разрозненному, не сознавшему единства, нужно было внъшнее единство — глава духовный или наставникъ. Этого наставника онъ нашелъ въ папъ".

Мы стоимъ, наконецъ, передъ разсказомъ о правленіи Карла Великаго,—государя, который "поднялъ ту же самую мысль, надъ которой безилодно трудились Дитрихъ Великій, Брупегильда, куниги вестготскіє,—и которой осуществленіе явилось уже черезъ цѣсколько стольтій послѣ него". Итакъ, и Карлъ Великій трудился для осуществленія этой мысли безилодно? Но въ чемъ же тогда его всемірно-историческое значеніе? Грановскій начинаетъ съ того, что формулируєть эти сомнѣнія. Своимъ разсказомъ опъ хочетъ ихъ разсѣять.

"Имя этого государя окружено такою огромною славою, — его называють основателемъ новаго порядка вещей. Естественно самь собою при-

ходить вопрось: что же онь сдълаль?.. Изъ законодательства его осталось мало слъдовь. Государство, имъ основанное, по смерти его распалось на части. Накокецъ, его называють восиламенителемъ образованія, — по къ числу самыхъ темныхъ временъ средней исторіи принадлежить именно Х стольтіе (слъдующее за эпохой Карла Великаго). Повидимому, всъ начинанія Карла были безилодны; онъ ослъниль только мгновеннымъ исполненіемъ своихъ цълей, но продолжительнаго вліянія онъ не обнаружиль.

Такое мивніе неоднократно было предлагаемо. Но, чтобы опровергнуть его, стоить разобрать въ связи разныя стороны дъятельности Карла. Напоминмъ, въ какомъ положени Каряъ засталъ Европу... При первомъ толчкъ франкское государство готово было разложиться-у него не было общаго интереса,-не было связывающаго, единящаго начала, кромъ христіанства Франкскія владінія не были отділены грозными рубежами. Движеніе, которое мы называемъ переселеніемъ народовъ, еще не совершенно прекратилось... Вся масса каролингскихъ владъній окружена была враждебными ей по національности и религіи племенами. Саксонцы-язычники, защитники и хранители древняго германскаго быта, за инми славяне, къ югу отъ нихъ авары — происхожденія восточнаго, наконецъ, на самой южной границъ владъній каролингскихъ — арабы, отраженные дъдомъ Карловымъ, но готовые воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ для вторженія во Францію... Ясно, что государство франковъ, —въ томъ видъ, въ которомъ досталось оно Карлу Великому, не составляло сплошной массы, соединенной общими интересами: напротивъ, оно было разъединено и отдъльные элементы стремились къ самостоятельности... Мартеллъ истратиль всю жизнь свою, отражая вившиихъ враговъ, онъ не сдълаль ничего для внутренняго устройства государства... Наконецъ, духовенство франкское, несмотря на великія заслуги, совершенныя въ этомъ отношенін св. Бонифаціемъ, находилось на низшей степени образованія: оно не стояло выше своей паствы..., было грубое, невъжественное, немногіе чины его умъли читать и писать-однимъ словомъ, оно совершенно вошло въ составъ феодальнаго общества*.

Весь дальнѣйшій разсказь о Карлѣ отвѣчаеть на вопросъ, какъ онъ исполииль задачи, возложенныя на него только-что изображеннымь состояніемъ Европы.

"Военная двятельность Карла Великаго была не двятельностью безсмысленнаго честолюбца, ведущаго войны для расширенія владъній своихъ, безъ всякой высшей мысли. Карлъ прекрасно понималь всю важность наны, все значеніе этой главы христіанскаго запада, — и въ первые годы своего правленія подаль ему руку помощи противъ дангобардовъ... Всъ остальныя войны Карла имъютъ цѣлью —связать всѣ части государства въ одно неразрывное цѣлое, — связать ихъ прочнымъ рубежемъ, остановить, наконецъ, движеніе племенъ. Въ войнъ противъ саксонцевъ ("безспорно самой важной по результатамъ") дѣло шло о христіанствѣ или язычествъ — о торжествъ элемента древняго образованія надъ варварствомъ германскимъ". Далѣе идетъ рѣчь объ устройствѣ "марокъ" на границахъ государства. "Эта часть внутренняго управленія Карла Великаго, безспорно, принадлежитъ къ самымъ любопытнымъ сторонамъ нсторін среднихъ вѣковъ. Если (его государство) впослѣдствін разложилось,—то въ этихѣ граняхъ (установленныхъ "марками"); а за эти границы уже не проникали чуждыя племена, враждебныя германоримской цивилизаціи.

Разнообразіе правъ (различныхъ племенъ, соединенныхъ подъ властью Карла), по всей въроятности, заставило Карла Великаго принять императорскій титуль, и вънчаніе его въ Римъ вовсе не было для него пріятной неожиданностью, а было согласно со всъми видами его. Посиъ обряда вънчанія... онъ беретъ въ отношенін ко всъмъ племенамъ титулъ императора, перестаетъ быть кунигомъ отдъльныхъ племенъ и становится императоромъ германо-римскаго населенія. Онъ оставиль отдъльнымъ племенамъ ихъ родовыя права, но сверхъ этого частнаго, родового права развивается право капитулярное, обязательное для всъхъ жителей имперін. Вообще, Карлъ думаль объ окончательномъ соединенін христіанскихъ земель. (Слъдуетъ описание внутренняго управления государства). Такимъ образомъ при разнообразін національностей, при разпородности правленій, существовало общее законодательство, установлена одна общая система административная, и приняты всв меры, чтобы дать этому целому единство черезъ миссатиковъ. (Далъе излагаются "обязанности ленныхъ людей" и воинская повинность народныхъ общинъ. Наконецъ, Грановскій останавливается на просвътительной дъятельности Карла по отношенію къ духовенству и простому народу, упоминаеть капитулярій объ учрежденін школь, и возвращается кь упреку въ безплодности этихъ усилій, такъ какъ "Х-й въкъ былъ едва ли не самымъ варварскимъ"). Надобно взять въ соображение всъ обстоятельства, вслъдствие которыхъ произонно это темное столътіе въ Европъ: нападенія норманновъ, венгровъ, съ одной стороны: отсутствіе всякой единящей мысли, всякаго связывающаго начала, которое бы соединило народы европейскіе подъ один знамена, хотя бы вившиія, каковы каролинги. Вся западная Европа распалась на тысячи мелкихъ народовъ и феодальныхъ владътелей. Если образование, посъянное Карломъ Великимъ, не погибло окончательно, то этимъ мы обязаны мърамъ, имъ принятымъ. Долго огонь теплился подъ непломъ; въ XI-мъ въкъ онъ вспыхнулъ ярко и принесъ великую пользу, и потому циркуляръ Карла Великаго есть одинъ изъ величайшихъ памятниковъ средней исторін и народы западные должны смотръть на него съ признательнестью".

Итакъ, военная дѣятельность Карла Великаго остановила илеменныя передвиженія и окончательно опредѣлила районъ "германо-римской цивилизацін"; его административная дѣятельность скрѣпила разныя части государства и дала имъ общее право, возвышавшееся надъ "родовыми правами" отдѣльныхъ національностей; наконецъ, его просвѣтительная дѣятельность положила основы для будущаго развитія просвѣщенія. Таковы итоги правленія Карла, дающіе этому правленію, по миѣнію Грановскаго, всемірно-историческое значеніе. Въ сущности говоря, въ этихъ птогахъ мы найдемъ много общаго съ тѣми, которые подводитъ Гизо въ отвѣтъ на такія же сомиѣнія, что дѣятель-

ность Карла прошла безследно. Но за внешнимъ сходствомъ нельзя забывать коренной внутренней разницы въ томъ, что составляеть, такъ сказать, нервъ изложенія обонхъ авторовъ. Оба изучають органическій процессъ историческато развитія; но Гизо ищеть его въ постепенномъ измѣненін національныхъ основъ быта, тогда какъ Грановскій находить его во всемірно-исторической связи событій. Воть почему Грановскій совершенно оставляеть въ сторонь характеристику тьхъ "родовыхъ правъ" (т. наз. "варварскихъ правдъ"), на которой Гизо опирается, какъ на исходной точкъ зарождающагося общественнаго строя. II вотъ почему, когда феодальный строй сложился, для Грановскаго онъ является только постороннимъ фактомъ, препятствующимъ осуществленію всемірно-историческихъ идей Карла Великаго, тогда какъ Гизо изъ самаго законодательства Карла старается вывести его окончательное осуществленіе. "Ничто, безъ сомивнія, не похоже меньше на феодализмъ, чемъ верховное единство, составлявшее предметъ стремленій Карла Великаго; и все же онъ былъ истиннымъ основателемъ феодализма", говоритъ Гизо. Для Гизо--въ этомъ его прочная заслуга, тогда какъ его личныя "стремленія" -- это свойственная великимъ людямъ "доля эгонзма и мечты", осуждаемая исторіей, какъ осудила она претензіи Наполеона на всемірное господство. Такимъ образомъ "честолюбивая мысль, направленная на римскую имперію, на римскую цивилизацію", — та мысль, которая обща Карлу Великому съ Атаульфомъ, Теодорихомъ и Хлодвигомъ, — эта мысль не была мыслью и нотребностью общею и не имъла шансовъ осуществиться: "сдъланное имъ для ея осуществленія погибло вмість съ нимъ". Воть пден, діаметрально противоположныя взглядамъ Грановскаго. Для него борьба Карла съ чистыми германцами-есть последияя победа Рима и христіанства; для Гизо самое водворение каролинговъ есть и окончательная побъда въ новой форм'в германскаго варварства. Грановскій подчеркиваеть то обстоятельство, что германская "дружина, утомленная безпрерывными походами Карла Мартелла и Пипина, примиренная богатыми наградами, не бунтуетъ, какъ прежде при Меровингахъ, и не противится королевской власти"; Гизо обращаеть вниманіе на то, что эта дружина, обогащенная землями и усъвшаяся на мъстъ, становится для королевской власти опасиће, чемъ когда бы то ни было. Все дело въ томъ, что Гизо изучаеть органическій процессь развитія Франціи, тогда какъ Грановскій следить за всемірно-исторической нитью развитія человечества. Въ этомъ последнемъ развитіи органическій процессъ исторіи осуществляется, по Гегелю, путемъ противоположностей, — и къ числу такихъ противоположностей принадлежить контрастъ между эпохой

Карла Великаго и послъдующимъ періодомъ средневъковой исторіи. "Только что описанное устройство на видъ кажется превосходнымъ: оно обезпечивало твердую военную организацію и заботилось о правосудін внутри государства. И однако же, по смерти Карла Великаго. оно оказалось совершенно безсильнымъ, неспособнымъ охранить государство ни извит — отъ второженій норманцовъ, венгровъ, арабовъ, на внутри-отъ всякаго рода безправія, грабежа и насилій. Такимъ образомъ, рядомъ съ превосходнымъ государственнымъ строемъ мы видимъ отвратительное состояніе, противорфиащее ему во всфхъ отношеніяхъ. Подобныя созданія исторіи, именно потому, что они такъ внезапно возникають, нуждаются въ усиленіи внутренняго отрицанія самихъ себя: онъ вызывають всевозможныя реакцін, которыя и обпаруживаются въ последующемъ періоде". Эти слова принадлежатъ Гегелю, а не Граповскому; но они какъ пельзя лучше объясняютъ намъ, что заставляло Грановскаго закрывать глаза на предварительную подготовку феодализма. Подобно Гегелю, для него дальнъйшая исторія — есть время "реакцій", а необходимость реакціи заключается уже въ томъ самомъ явленін, которое они отрицають.

Напомнимъ, что Гегель различаетъ послѣ эпохи Карла Великаго три рода реакціи. "Первая реакція — это движеніе отдѣльныхъ національностей противъ франкскаго владычества". Вторая – это "реакція личности противъ закона и государственной власти". Третья—реакція духовнаго начала противъ наличной дѣйствительности. Таковы тѣ "абстрактныя противоположности", по знакомому намъ выраженію Грановскаго, раскрытіе которыхъ должно совершаться въ главной, цептральной части средневѣковой исторіи. Къ сожалѣнію, на изложеніе этого отдѣла курса Грановскому оставалась уже только треть времени, употребленнаго имъ на введеніе и на разсказъ о первомъ періодъ. Поэтому изложеніе становится въ этой части все болѣе сжатымъ. Однако, и отсюда мы можемъ извлечь иѣсколько характерныхъ для Грановскаго страницъ.

Сюда отпосятся самыя первыя строки слѣдующаго отдѣла, находящіяся въ болѣе чѣмъ вѣроятной связи съ только-что указаннымъ взглядомъ Гегеля.

"По самой личности своей Людовикъ Кроткій не могъ стоять во главъ зданія, сооруженнаго Карломъ Великимъ.. Но были и другія причины, независимыя отъ его личности, которыя должны были привести его государство въ то положеніе, въ какомъ видимъ его при смерти Людовика. Могущественная рука Карлова держала подъ одною властію всъ племена западной Европы, подчиняла ихъ однообразному законодательству, стараясь падълить ихъ одною цивилизацією, попирая ногами особенности или

національности илеменъ и ихъ требованія. Съ первыхъ годовъ царствованія Людовика начинается реакція отдъльныхъ народностей противъ исключительнаго владычества франкскаго племени и династіи".

Указавъ на годъ сверженія Карла Толстаго (887), какъ на моментъ, когда "отдѣльныя національности достигли, наконецъ, своей цѣли, иго франкской династін вездѣ было сброшено, всюду явились туземныя династін", -Грановскій немедленно переходитъ къ отдѣльной исторіи Германіи послѣ 887 года. Доведя въ двухъ лекціяхъ разсказъ до смерти Оттона Великаго (972), онъ замѣчаетъ:

"Отнынъ исторія германская принимаєть гораздо большую важность. Нъмецкіе короли уже не выпускають изъ рукь титула императора римскаго. Они становятся главами феодальнаго міра... Не должно смъшивать исторіи имперіи съ исторіей имперскаго народа. Отношенія императора были гораздо обширнъе отношеній народа имперскаго, и выгоды ихъ совершенно различны Императоры объявляють притязанія на первенство; они хотять быть главами феодальнаго міра. Увидимъ послъ, какія жертвы должны были принести императоры, чтобы достигнуть этого признанія. Германія была чуждою императорамъ; они простирали свои виды на Италію".

Конечно, не исторія Германіи будеть занимать Грановскаго въ дальнѣйшемъ изложеніи, а именно исторія международныхъ отношеній императоровъ въ борьбѣ за призракъ всемірной власти. По новоду дѣятельности Генриха III онъ даеть болѣе точную характеристику этимъ стремленіямъ императоровъ:

"Отнюдь не должно, смъшивать притязаній измецкихъ императоровъ съ цълями, которыя преслъдовали съ XIV въка государи европейскаго вапада. Эти послъдніе хотъли совершенно побороть всть элементы средневъкового общества, феодальнаго правленія. Они руководствовались явною враждой къ средневъковымъ правиламъ. Напротивъ, императоры ибмецкіе признавали быть средневъковой за законную форму общества, но они хотъли утвердить его на юридическомъ основаніи, дать ему строгую опредъленность, подчинить его строгимъ, опредъленнымъ постановленіямъ... Въ феодальномъ міръ не было настоящей собственности. Право на собственность исходило изъ высшей (власти). Императоръ раздаваль королевства, король герцогства, герцогъ-графства, графъ-баронства и т. д. Каждый получаяъ власть свою отъ высшаго. Если бы императоры стали не въ одной только теорін главами феодальнаго міра, а въ самомъ дълъ (едълались) владыками,-то они пріобръли бы такое могущество, какого исторія не представляла еще нигдъ. Самая частная собственность была бы нхъ собственностью. Таковъ быль фантастическій планъ нъмецкихъ императоровъ для достиженія верховной власти".

Эту задачу преслѣдовалъ и Генрихъ III. "Фантастичность" ел не мѣшаетъ Грановскому дать дѣятельности Генриха слѣдующую оцѣнку:

"Можетъ быть, изъ всъхъ иъмецкихъ государей", говоритъ Грановскій, "инкогда германцы не гордились такимъ великимъ.властителемъ, ни одинъ не напоминаль такъ личности Карла Великаго, какъ Генрихъ III. У него были планы великихъ реформъ въ государствъ и церкви"... "Церковь, пришедшая въ слишкомъ тъсную связь съ феодальнымъ міромъ, забыла свое назначеніе. Генрихъ хотълъ преобразовать ее... Григорій VII въ этомъ отношеніи является только послъдователемъ идей Генриха III... Генрихъ III думалъ очистить церковь отъ вкравшихся въ нее злоупотребленій — отъ примъси свътской, оторвать ее отъ незаконнаго союза съ міромъ и страстями, но въ то же время думалъ подчинить ее верховной власти императора, какъ главъ западнаго христіанства. Григорій VII думалъ также объ очищеніи церкви, но хотълъ подчинить ее папъ".

Дойдя до малолътства Генриха IV, Грановскій останавливаетъ разсказь о борьбъ папъ съ императорами и возвращается къ иему только въ послъднихъ лекціяхъ сохранившейся части курса. Разсказавши довольно подробно объ обстоятельствахъ малолътства Генриха IV, о его борьбъ съ саксонцами, Грановскій повторяетъ въ болъе распространенной редакціи выписанную нами характеристику стремленій императорской власти 1). "Относительно церкви", по его замѣчанію, "императоры становились въ положеніе Константина Великаго, защитника, покровителя церкви, аdvocatus ecclesiae, распространителя христіанства. Церковь же разумѣла подъ этимъ названіемъ только свътскаго сановника, котораго она облекла властью—управлять ея собственностью и дѣлами, удерживая за собою право отнять (эту власть)". На характеристикъ дъятельности Гильдебранда, до назначенія его паной, курсъ обрывается.

VI.

Длинное отступленіе, перервавшее нить разсказа Грановскаго, начинается "Исторіей скандинавскаго полуострова". Несомивнию, Грановскій придаваль этому отделу значеніе вь общемь курсв; вь началь лекцій онь упрекаеть Лео, что тоть "отбросиль скандинавскій свверь на самый конець своей книги, ибо не нашель для него міста въ серединь". Что же интересуеть его вь этой исторін? "Самая исторія скандинавская",—такь начинаеть Грановскій этоть отділь, "для нась не можеть

¹⁾ Вотъ ивсколько строкъ въ дополнение къ нашей цитатв: "императоры были еще сыны средняго ввка; воспитанные въ его преданіяхъ, они хотъли только подчинить твердымъ законамъ феодальную общину и церковь, опредълить ихъ отношенія, положить конецъ безобразной анархіи; они хотъли стать во главъ феодальной общины, какъ вершина, отъ коей истекаютъ всъ прочія власти. Есть любонытное свидътельство, какъ понимали это современники (описаніе турнира Рената Анжуйскаго). Въ этой рукописи сказано, что императоръ раздаетъ королевства, король" etc...

имать большого значенія; но должно короче познакомиться съ ея источниками". Далье онъ указываетъ, что съ этимъ "связаны многіе вопросы отечественной исторіи, напримірь, вічный вопрось о происхожденін варяговъ". Намъ, кажется, однако, что это соображеніе не было для Грановскаго ин единственнымъ, ни даже самымъ главнымъ. Вфриће предположить, что главную роль играло туть то поэтическое достоинство скандинавскихъ преданій, которое побудило его выбрать эту тему н для одной изъ своихъ печатныхъ статей. "Въ сумрачномъ мірф скандинавской поэзін", говорить Грановскій въ стать о "итсняхъ Эдды", "мы встратимъ образы, дивно отмаченные трагической красотою страданія, носящіе въ себъ такой избытокъ силь и скорби, что ихъ можно принять за могучихъ прадфдовъ выродившагося и слабодушнаго страдальца, который сделался типическимъ героемъ новыхъ европейскихъ литературъ". Это духовное родство приковывало симпатіи Грановскаго къ древнимъ скандинавскимъ минамъ и пфсиямъ. "Въ большей части религіозныхъ пѣсней Скандинавін", говорится въ лекціяхъ, "высказывается предчувствіе трагическаго конца..., именно, гибели всёхъ живыхъ, которой не избъжитъ и Одинъ и Азы. Пророчица поетъ имъ пъснь о будущей гибели ихъ; они не въчные боги: Одинъ самъ въ видъ ворона предрекаетъ судьбу своего рода. Наконецъ, въ скандинавской минологіи говорится еще о какомъ-то неназываемомъ началь, которое стоить выше боговъ и людей, которому подчинены и тъ и другіе. Изъ этого воззрѣнія на всю жизнь выходить главный результатъ-трагическій конецъ, которымъ наполнены всф историческіе и религіозные памятники скандинавовъ. Отсюда происходить страшная отвага, съ которою скандинавскіе герон вызывають смертныхъ и боговъ..., у нихъ безирестанно срывается съ устъ упрекъ богамъ, что они не безсмертны, а смертны, какъ люди. Это сообщаетъ минологіи скандинавской неизъяснимо поэтическій характерь" 1).

Вотъ что заставило Грановскаго вооружиться Дальманомъ и познакомить своихъ слушателей съ результатами его изслъдованій объ источинкахъ скандинавской исторіи. Этому предмету, а также краткой исторіи Даніи, Швеціи и Норвегіи въ древиѣйшій періодъ посвящено
больше трехъ лекцій. Затѣмъ, въ одной лекціи Грановскій излагаетъ
набѣги норманновъ на Францію, съ попутной характеристикой ея состоянія за полтора вѣка, и завоеваніе Англіи норманиами. Далѣе на
характеристику феодализма, развитія городовъ и состоянія церкви удѣлено столько же мѣста, скелько на исторію скандинавскихъ государствъ.

¹⁾ Ср. текстъ печатной статьи.

Естественно, что на такомъ небольшомъ пространствѣ Грановскому удается дать только самый общій очеркъ главныхъ особенностей средневѣковаго строя.

Лекція о феодализм'є начинаєтся съ указанія на жизненность феодальнаго начала. "Этотъ вопросъ", зам'єчаєть Грановскій, "еще доселть не причислень къ тімь историческимь вопросамь, которые им'єють для насъ только ученое значеніе. Еще доселть европейское общество борется противъ остатковъ феодальнаго быта, хочетъ очистить отъ него совершенно свою почву". Указавъ затімь и ікоторыя сочиненія защитниковъ феодализма (Boulainvilliers, Кориваль и Боркъ), Грановскій продолжаєть: "окончательный приговоръ феодальной эпох'є принадлежить собственно нашему времени. Историческіе труды посл'єднихъ десятильтій показали феодализмъ въ настоящемь видів его. Самое лучшее сочиненіе находится у французовъ въ курсть Гизо... Можно не соглашаться съ нимъ въ ніжоторыхъ частностяхъ, но вообще это полная, живая картина".

На Гизо и основывается дальнъйшее изложение Грановскаго; но и тутъ онъ вносить свои оттънки пониманія, характеризующіе его симнатіи и напоминающіе о его итмецкихъ источникахъ. Резюмируя взглядъ Гизо на происхожденіе феодализма, онъ припоминаетъ и иден. усвоенныя изъ Эйхгориа. "Отношенія между госнодиномъ и рабами его" онъ характеризуетъ какъ "самое ужасное пасиліе". Конечно, и Гизо показываетъ, какъ тяжело было положеніе крѣпостныхъ и какъ оно ухудшилось къ Х вѣку. Но онъ старательно подчеркиваетъ, что крѣпостной былъ не рабъ, что положеніе его хотя и тяжелое, было опредълено закономъ, и что изъ жалкихъ обломковъ этого правового положенія, уцѣлѣвшихъ къ Х вѣку, выросъ въ XIV вѣкѣ такой указъ, подобнаго которому "не рѣшился бы публиковать въ Россіи императоръ Александръ Т". Русскій профессоръ сороковыхъ годовъ не могъ не сгустить певольно красокъ, говоря о положеніи крѣпостныхъ; иначе этотъ профессоръ не былъ бы Грановскимъ.

"Одно уже различіе народностей, замѣчаеть онь, (имѣйо большое значеніе). Господинь быль германець, пришелець, завоеватель; подданные большею частью—остатки римскаго народонаселенія. Въ одеждь, въ привычкахь, въ понятіяхь—во всемь лежало различіе. Права господина относительно рабовь его не были опредълены закономъ въ X—XI вѣкъ. Онь имѣль право жизни и смерти, браль съ нихъ денежныя и другія подати; на нихъ падала вся тягость феодальныхъ войнъ, войнъ безпрерывныхъ. Словомъ, это былъ деспотизмъ самый тяжелый и безотрадный. Въ Германіи феодализмъ никогда не быль такъ тяжелъ, какъ во Франціи. Тамъ не было спачала различія національностей, оно (?) было умягчаемо

патріархальными отношеніями.—Этимъ объясняется глубокая ненависть къ феодальнымъ учрежденіямъ, которая донынъ видна во Францін у простолюдиновъ, не понимающихъ историческаго значенія феодализма, потерявшихъ даже преданіе о немъ.-Это была самая бъдственная эпоха. При каждомъ замкъ были еще подземелья господскія тюрьмы: туда бросали людей безъ суда и приговора, по мановению господина. Такихъ господскихъ тюремъ въ XIV въкъ въ одной Франціи было до 100.000. Отсюда можно себъ составить понятіе о значительномъ населеніи этихъ теминцъ. Онъ ръдко бывали пустыми. Посредникомъ между феодальнымъ властителемъ и деревней могъ быть только священникъ, бывщій при сельской церкви. Но въ X въкъ этотъ священникъ самъ немногимъ отличался отъ поселянъ, и обращение съ нимъ феодальнаго внадътеля было такъ же сурово и грубо, какъ и съ остальными поселянами. Изъ неограниченной власти одного лица надъ стадомъ людей-такое названіе по справедливости заслуживають рабы феодальные (порядокъ вещей, который ингдъ болбе не повторяется съ такою ужасною силою, какъ въ X-XI въкъ) развилось (какое)-то насмъшливое, своевольное, въ высшей степени оскорбляющее правственное чувство-отношение господина къ рабамъ (слъдуетъ перечень унизительныхъ повинностей кръпостныхъ)... Во всемъ этомъ выражается своеволіе частной прихоти, презръніе къ человъчеству. Уже внослъдствін, когда церковь, которая во всей средней исторін нграєть высокую роль образовательницы и умирительницы этихь дикихъ грубыхъ побужденій, -- когда она пріобръла больше вліянія, когда уроки ея проникли и въ феодальные замки, отношенія иъсколько смягчились".

Такимъ образомъ, не "сила права", на которую ссылается Гизо, а сила религін улучшила мало-по-малу положеніе крѣпостныхъ. Точно такой же оттинокъ вносить Грановскій и въ характеристику взаимныхъ отношеній между вассалами. Для Гизо феодализмъ не есть анархія, а нъкоторый опредъленный общественный порядокъ, котораго правовыя основы онъ старается выяснить. Для него и взаимныя отношенія вассаловъ регламентируются извъстными принципами "феодальной юрисдикцін" — раньше чімъ ихъ начинаеть регулировать правительство и церковь. Грановскій совсямь не останавливается на пиституть "суда перовъ" и на феодальной регламентаціи частныхъ войнъ. Указавин, что феодаламъ "собственно не было дъла другъ до друга", и замътивъ, что, однако же, "надобно было какимъ-нибудь закономъ опредълить ихъ отношенія, положить конецъ этому важному самоуправству, этой анархін", -онъ непосредственно затымь говорить: "Свытская власть до Х въка была безсильна обуздать феодальныхъ владътелей и подчинить ихъ закону. Церковь приняла на себя этотъ трудъ".

Зато тымъ ярче выдъляется на этомъ фонт безправія учрежденіе, привлекающее особыя симнатін Грановскаго,— именно средневъковое рыцарство. У Гизо, который не видитъ въ феодализмѣ безправія.—

институть рыцарства сливается съ самымъ фономъ породившей его жизни. Опровергая мнѣніе, будто рыцарство есть учрежденіе, вновь появившееся въ разгарѣ среднихъ вѣковъ, Гизо подчеркиваетъ его происхожденіе изъ самыхъ условій феодальнаго быта и только на готовое уже учрежденіе допускаетъ дальнѣйшее вліяніе церкви. У Грановскаго рыцарство—принципіально отвергаетъ тотъ строй, среди котораго оно дѣйствуетъ. Описавши феодальныя отношенія, онъ слѣдующимъ образомъ переходитъ къ характеристикѣ рыцарства:

"Но это феодальное общество въ XI въкъ принесло благороднъйшій цвътъ свой—рыцарство. О происхожденіи рыцарства есть много митий. Одни думаютъ, что оно возникло въ южной Европъ отъ столкновенія европейскихъ и азіатскихъ элементовъ. Другіе полагаютъ въ немъ родъ полиціи среднихъ въковъ. Конечно, принимая полицію въ благороднъйшемъ значеніи ея,—оно дъйствительно могло быть такъ названо. Теорія рыцарства произошла не отъ свътской власти. Главное вліяніе на развитіе рыцарства имъла западная церковь. Вездъ это великое, благородное учрежденіе старалось воспользоваться встми средствами, чтобы смягчить жестокій бытъ феодальный... рыцарствомъ такъ же, какъ Божінмъ миромъ, смягчило оно самый феодальный...

Затьмъ разсматривая обрядъ посвященія въ рыцаря. Грановскій ділаеть слідующую оцінку рыцарства.

"Безъ сомнънія, рыцарство приняло много грубыхъ феодальныхъ элементовъ. Очень ръдко рыцарскій характерь соотвътствоваль идеалу, который церковь ставила рыцарямъ цѣлію. Но, тѣмъ не менѣе, оно было учрежденіе благородное и прекрасное. Вся жизнь рыцаря должна была быть посвящена защитъ церкви, благородной ревности къ войиъ и турнирамъ. Рыцарь былъ изъять изъ ежедневныхъ унижающихъ человъка прозанческихъ подробностей въ своихъ занятіяхъ. Рыцарство образовало въ Европъ большую республику, которой члены соединены были братствомъ, не смотря на различіе національностей. Изъ трехъ главныхъ элементовъ сложилась рыцарская правственность (всякій въкъ имъетъ свои понятія о правственности: то, что древній міръ называль правственнымъ,-то перестало быть нравственнымъ для среднихъ въковъ, и правственность среднихъ въковъ перестала быть ею для насъ); эти элементы были: честь, върность и любовь. Въ этихъ элементахъ есть много произвольнаго: дичная прихоть не могла быть никогда отстранена отъ феодальнаго общества: это лежало въ основаніи феодальнаго характера. Но эта прихоть была облагорожена. Въ чувствъ чести обнаруживается могущественное сознаніе личнаго человъческаго достоинства. Конечно, это личное достоинство человъческое сначала сознаваемо было только въ феодальныхъ баронахъ: прочіе классы не имъли права на это чувство. Но дъло въ томъ, что отъ феодальныхъ бароновъ это чувство гордой личности впослъдствін перешло и на прочіе классы. Понятіе чести есть понятіе отвлеченное. Здъсь ивтъ закона, который бы источаль опредъление этого понятия н опредъляль вытекающія изъ него требованія, особенно во время рыцарства, гдъ честь состояла въ достиженін цълей прихотливыхъ, своенравныхъ. Такого же рода прихотливымъ чувствомъ была върность господину. Это была върность лицу, а не върность мысли, идеъ ¹). Наконецъ, то же можно сказать и о чувствъ любви... Это не была любовь настоящая, прямая, которая лежитъ въ основаніи семейнаго счастія. Это была любовь фантастическая ²). Напротивъ, рыцарь никогда не оказывалъ уваженія собственной женъ. Изъ этого легко понять, почему весь бытъ рыцарскаго общества принялъ своенравный характеръ. Онъ поражаетъ насъ странными явленіями, принадлежащими къ этому времени и выражающими совершенно характеръ среднихъ въковъ".

Дѣйствительно, стоитъ только сравнить эту характеристику рыцарства съ определениемъ среднихъ вековъ, сделаннымъ въ начале курса, чтобы заключить, что въ этомъ учрежденін Грановскій долженъ былъ видъть, такъ сказать, квинтъ-ессенцію среднихъ въковъ, самое яркое выражение развивающагося въ этомъ періодъ внутренняго противоръчія, —противоръчія "абсолютнаго" духа, не узнающаго себя въ чуждой ему оболочкъ и остающагося поэтому "абстрактнымъ", за неимъніемъ "конкретной" формы для своего полнаго выраженія. Равняться съ рыцарствомъ въ этомъ смыслѣ могутъ развѣ только неразрывно связанные съ нимъ крестовые походы, этотъ "кульминаціонный пунктъ среднихъ въковъ", по выраженію Гегеля. Мы сейчась увидимъ, что въ оцънкъ крестовыхъ походовъ у Грановскаго возвращается та же основная идея, облеченная въ ту же терминологію. Къ этому отдѣлу мы и переходимъ прямо, такъ какъ ни черезчуръ сжатая характеристика городовъ и церкви, ни фактическій разсказъ о Византіп и Исламъ почти не представляють такихъ чертъ, которыя было бы важно отмѣтить ³).

¹⁾ Cp. *Hegel*, IX, 449. "Die Treue des Vassallen ist nicht eine Pflicht gegen das Allgemeine, sondern eine Privatverpflichtung, welche ebenso der Zufälligkeit, Willkür und Gewalthat anheimgestellt ist".

²⁾ Выраженіе "фантастическое направленіе среднихъ вѣковъ" встрѣчается еще въ отдѣлѣ о городахъ, гдъ оно противопоставлено "здравому смыслу, разсудку", преобладавшему у горожанъ.

³⁾ Отмътимъ только различіе (по Гизо) между понятіемъ "городской общинь" и "средняго сословія". "Конечно, въ общинъ заключается зародышь и средняго сословія, но онъ долженъ былъ развиться, выйти изъ своей ограниченности, чтобы образовать классъ, въ рукахъ котораго находится судьба занадной Европы въ наше время". Интереспо также замъчаніе Грановскаго о значеніи религіи для Византіи. "Несмотря на всю порчу византійской жизни, въ ней былъ могущественный элементъ богословскіе споры. Здѣсь, такъ сказать, подданные Византіи нашли нравственную опору. Гиббонъ и историки XVIII въка смъялись надъ участіемъ народа въ богословскихъ спорахъ. Но оно имѣетъ высокое значеніе. Оно сообщило Византійской исторіи высокій характеръ; оно возстановило правственность; до VIII въка оно держало Византію

"Мы видъли"-такъ начинаетъ Грановскій свое повъствованіе о крестовыхъ походахъ, --, что въ каждомъ классъ тогдашняго общества существовало тайное желаніе, которое не было удовлетворено европейскимъ порядкомъ вещей. Каждое сословіе стремилось къ исключительному преобладанію. Феодализмъ не признавалъ церкви и общины, которыя въ свою очередь не признавали феодализма; а церковь хотвла подчинить себв и феодализмъ, и общину... Въ концъ XI въка вездъ замъчаемъ какое-то неудовлетвореніе существующими формами и надежду на ихъ перемъну... На мъстъ, въ Европъ весь западный порядокъ вещей основался на историческомъ основаніи, котораго нельзя было уничтожить. Предпрінмчивымъ и смълымъ умамъ XI въка открылась на новомъ мъсть переспектива великой будущности. Ихъ вели въ землю, гдв можно было разсчитывать удовлетворить самыя разнообразныя стремленія... Не было ин одного класса, который бы съ религіозными цълями (похода въ Палестину) не соединяль еще тайной цъли, затасиной въ душъ его. Феодальные бароны надъялись основать порядокъ вещей, инчъмъ не стъспенный. Духовенство хотьло создать веократическую общину, не ствененную императорскою властью. Общины надъялись основать свободные города, безъ притъсненій феодальныхъ владътелей. Всъ эти надежды не сбылись... Въ (Герусалимскихъ ассизахъ) феодализмъ пытался устроиться во всей своей чистотъ, отвлекаясь отъ примъси, которая возникла на европейской почвъ. Эта

на высокой чредъ между государствами европейскими. Въ VIII стольтін (т. е. во время иконоборчества) византійская церковь удалилась сама въ себя, отреклась отъ государства, не умъвшаго понять ее: она берегла дары и обътованія свои для лучшаго времени". Съ этихъ поръ "государство развращенное, лишенное эпергін... держится только благопріятнымъ стеченіемъ обстоятельствъ и остатками цивилизаціи древняго міра, благодаря славянамъ, которые кровію своею отстанвали его существованіе". Образованность византійской аристократіи была "холодная, равнодушная, эгонстическая: она не произвела никакихъ великихъ явленій". "Отличительный характеръ ея — изящество формъ... и совершенное равнодушіе ко всёмъ высокимъ интересамъ человъчества".

"Этимъ объясияется безплодность науки". Съ другой стороны, "лучшія и благороднъйшія силы народа уходять въ византійскую церковь"; "въ отторженін отъ государства", церковь "принимаетъ характеръ аскетическій: вмъстъ съ государствомъ отвергаетъ науки и начинаетъ запиматься богословіемъ, которому дълаетъ великія услуги". Приведемъ еще мъсто, относящееся къ исторіи египетскаго калифата, "Египеть быль містомь, гдв образовались странные, чудовищные расколы и ученія восточныя. Въ Капръ быль т. наз. домъ мудрости, высшее учебное заведеніе. Академія всего магометанскаго востока. Учащіеся были разділены на 9 степеней. Въ первой степени имъ читали только Корапъ и объясненія на него. Далье, проходя отъ степени къ степени, ихъ учили совершенному равнодушію къ редигін. Въ цълой всемірной исторін едвали найдемъ такой примъръ. Калифы сами стоятъ во главъ этого заведенія зрълище чудовищное. Верховная власть проповъдуеть атенамъ. Всю правственность этихъ ученій можно сжать въ слъдующую формулу: нътъ ничего истипнаго и обязательнаго для человъка. Эти ученія развиты до послъдней крайности своей "ассасинами".

попытка возстановить феодализмъ во всей его абстрактности на новой землъ... оказалась неудачной... Обязанности каждаго барона... и ленниковъ были строго опредълены въ Assises de Jèrusalem, но были исполняемы довольно небрежно... Итальянскіе города получили въ каждомъ приморскомъ городъ старинныя права, которыя нарушали единство государства и мъщали идти строгому порядку... Отъ этого происходила чрезвычайная пестрота законовъ, властей, подсудности... Такимъ образомъ, то государство, въ которомъ надъялись осуществить всъ идеалы общественности въ ихъ совершенной абстрактности,-представило эти идеалы въ ихъ разложенін. Здёсь въ первый разъ они оказались недостаточными для образованія полнаго, цвътущаго государства... Иден, которыя западное человъчество хотъло осуществить во время крестовыхъ походовъ на землъ Палестинской, не сбылись. Онъ не сбылись и въ современной Европъ, гдъ въ это время между императоромъ и паною завязался тотъ же вопросъ 1). Такимъ образомъ, средневъковыя формы оказались несостоятельными, недостаточными для жизни... Словомъ, видимъ, что жизнь среднихъ въковъ кончается, что XIV и XV въка суть уже не ностоящій средній въкъ, а замираніе его и переходъ къ другимъ формамъ".

Таковъ ходъ идей Грановскаго, настолько занимавшій его мысль, что именно этоть отрывокъ своихъ лекцій онъ занисаль самъ, въ редакціи довольно близкой къ нашей студенческой заниси 2). Въ основъ своей эти идеи, опять-таки, не составляють собственности Грановскаго: это можно видѣть, сличивъ ихъ съ соотвѣтствующимъ отрывкомъ изъ Лео. Но нельзя не замѣтить, что изъ идей Лео Грановскій дѣлаетъ такое употребленіе, при которомъ опъ становятся очень похожи на страницу изъ "Философіи исторіп" Гегеля. Этотъ "періодъ стремленій къ идеаламъ", какъ называетъ Грановскій время крестовыхъ походовъ въ печатномъ отрывкъ, — опять характеризуется здѣсь, какъ время борьбы "абстрактныхъ противоположностей".

¹⁾ Отдълъ о борьбъ императоровъ съ напами начинается фразой: "тъ же иден, какія западные народы хотъли осуществить въ Палестинъ, были двигателями и западной европейской исторіи этого времени. Въ борьбъ императорской и папской власти мы видимъ два идеала общественности, изъ коихъ каждый хочетъ осуществиться насчетъ другого, и оба равно безсильны".

²⁾ Отрывокъ "о крестовыхъ походахъ" напечатанъ въ 3-мъ изданіи Сочиненій Трановскаго ч. ІІ, стр. 430—432. Приводимъ, для сличенія съ текстомъ студенческой заинси, еще мъсто, стоящее въ курсть передъ послъдней фразой. "Въ началъ XIV въка вышло... сочиненіе Decreta fidelium crucis Марино Сануто, венеціанца. Опъ говоритъ о необходимости поваго похода, но предлагаєть для этого совершенно новыя средства, отличныя отъ тъхъ, которыя предлагалъ Людовикъ, считавшій Египетъ ключомъ завоеванія Палестины. Онъ, напротивъ, совътуетъ прибъгнуть къ строгой блокадъ, оставить въ стороить религіозные вопросы и смотръть на это только съ точки зртнія торговой. Эти книги (въ курсть говорится еще о другой подобной) — суть всемірноисторическій фактъ. Въ XI въкъ опъ были бы певозможны".

ΥП.

Мы дошли теперь до конца университетского курса Грановского. Надвемся, что читатель не посвтуеть на насъ за большое количество выписокъ. Представить эти выписки, въ ожиданіи пока найдено будетъ нужнымъ напечатать полный текстъ лекцій Грановскаго, —составляло главную задачу пастоящей статьи. Наши собственныя замфчанія должны служить лишь посильнымъ комментаріемъ къ цитатамъ Грановскаго. Цитаты эти говорять, конечно, сами за себя; но чтобы исполнить до конца обязанности комментатора, мы попробуемъ подвести теперь итогъ тому внечатльнію, которое можеть получиться изъ сопоставленія всьхъ сдъланныхъ нами выписокъ. Впечатление это, какъ намъ кажется, содержить и кое-что новое сравнительно съ тамъ, что мы до сихъ поръ знали о Грановскомъ, какъ объ историкъ. Излеъдователи, занимавшиеся этимъ вопросомъ, судили обыкновенно о научномъ направленін Грановскаго главнымъ образомъ по его отзывамъ о современныхъ Грановскому теченіяхъ исторической мысли ¹). Такъ какъ Грановскій, конечно, вев ихъ зналъ-и въ каждомъ находилъ долю истины, -- то сопоставление его сужденій о нихъ свидітельствовало о его многосторонности и о его свободъ отъ увлеченій какою-либо одною школой. Однако же, этотъ способъ наблюденія имѣлъ, какъ намъ кажется, и свои пеудобства. Съ его номощью можно было очень хорошо перечислить различныя вліянія на Грановскаго; но не было пикакой возможности взвъсшть, съ какой степенью силы дъйствовало на него то или другое вліяніе. Въ результатъ, легко могло получиться впечатлъние о Грановскомъ, бледномъ эклектике, вечно хлонотавшемъ о томъ, какъ о какомъ-то чтобъ удержаться на разумной серединъ. Нечего и говорить, что такое впечатленіе, - котораго, вероятно, не имели и въ виду означенныя сопоставленія, — далеко не соотв'єтствуеть д'єйствительности 2). Эту д'єйствительность университетскій курсь Грановскаго даеть намъ возможность гораздо лучше установить, чемъ его печатныя сочинения. Итакъ, попробуемъ опредблить, какимъ представляется Грановскій не въ своихъ общихъ сужденіяхъ объ исторіи, а въ собственной исторической работъ.

¹⁾ На этомъ основана характеристика проф. П. Г. Виноградова ("Русская Мысль", 1893, перепечатана въ "Сборникъ въ пользу воскресныхъ школъ").

^{2) &}quot;Это низшая, поверхностная система философская", выражается Грановскій объ эклектизмѣ Кузена, по поводу его похвалъ неоплатопикамъ за эклектическое направленіе ("oberflächliches Agregat", характеризуетъ Гегель этотъ видъ эклектизма по тому же поводу. Ср. тутъ же замѣчаніе Гегеля о французахъ, для которыхъ "système значитъ односторонность").

Прежде всего мы видѣли въ ней могущественное вліяніе философской системы, окрасившей своимъ цвътомъ не одно десятилътие европейской мысли. Для Грановскаго эта система была не очередной европейской новинкой, изъ которой слёдовало взять долю истины и отбросить долю ошибки. Она была для него первымъ сильнымъ впечатлѣніемъ, которымъ встратнла его Европа; и это впечатланіе легло для него въ основу встхъ собственныхъ построеній его мысли. Тт пзслтдователи, которые говорили, что Грановскій не подчинялся "односторонности" Гегелевской системы или отделался отъ ея "крайностей" впоследствін, и которые въ доказательство этого приводили возраженія Грановскаго противъ историческаго фатализма, противъ отрицанія роли личности и великихъ людей, наконецъ, противъ насильственнаго схематизированія историческихъ фактовъ, -- эти изследователи недостаточно оцьинли, какъ миф кажется, значеніе гегелевской философіи. Едва ли бы она могла имъть такую прочную и такую продолжительную власть надъ умами современниковъ, если бы она не сумбла разрфшить по своему такихъ основныхъ вопросовъ исторической мысли, какъ толькочто перечисленные. Развъ самъ Гегель не утверждалъ, что "мы должны брать исторію, какъ она есть: мы должны дійствовать эминрически и не увлекаться примфромъ спеціалистовъ историковъ, особенно ифмецкихъ, которые авторитетно дълають то, въ чемъ сами упрекаютъ философовъ, — именно вносять въ исторію апріорные вымыслы"? Развѣ Гегель не говорилъ также, что во всемірной исторіи мы не должны путаться въ мелочахъ, объясняя вмфшательствомъ провидфиія всякую случайность, такъ какъ "въ ней мы имъемъ дъло съ цълыми народами въ качествъ индивидуумовъ, съ цълыми государствами въ качествъ изучаемыхъ единицъ; мы не можемъ, слъдовательно, останавливаться, такъ сказать, на мелочныхъ счетахъ въры въ провидъніе, но не можемъ также ограничиваться и простой, отвлеченной вфрой въ то, что существуеть вообще провиданіе, не разбирая, въ чемъ именно оно проявляется". И прилагая, съ этой точки зрфнія, къ объясненію нсторін свое понятіе о развитіи (какъ о стремленін духа къ сознанію своей свободы),--развѣ Гегель не подчеркивалъ настойчиво, что "развитіе не есть мирный и безпрепятственный процессь, врода тахь, какіе происходять въ органическомъ мірф; напротивъ, это упорная борьба"; что "существують во всемірной исторіи цілые обширные періоды, инсколько не подвигающіе впередъ развитія, даже уничтожающіе всь великія пріобратенія культуры, такъ что посла нихъ, къ несчастью, все приходится начинать сызнова, чтобы, воспользовавшись обломками утраченныхъ сокровищъ, съ новой безмфриой потерей времени и силъ, 17*

нутемъ новыхъ страданій и преступленій довести развитіе до такой точки, которая давно когда-то была уже достигнута". Наконецъ, смотря на конкретный ходъ исторіи, какъ на результать человіческихъ страстей и усилій, развѣ не утверждалъ Гегель, что "безъ страсти не совершено ничего великато въ міръ", развъ не издъвался онъ надъ "психологическими лакеями исторіографін", отъ которыхъ плохо достается великимъ людямъ, изучаемымъ ими съ точки зрвнія мелкихъ минутныхъ интересовъ и житейскихъ подробностей, развѣ не уподобляль онь такихъ развънчивателей "гомеровскому Терситу, хулителю царей, безсмертной фигуръ всъхъ временъ"? Если Гегель считалъ великихъ людей орудіями всемірнаго духа, то это не только не значило, что онъ оставляль за ними лишь "подчиненное значеніе", а напротивъ: онъ выдвигалъ ихъ, какъ носителей наивыещей свободы, какъ геніальныхъ протестантовъ противъ существующихъ формъ во имя зарождающихся. Такимъ образомъ, когда, напр., Грановскій говоритъ, что массы "косифють подь тяжестью историческихъ и естественныхъ опредъленій, отъ которыхъ освобождается мыслью только отдельная человъческая личность", и что "въ этомъ разложеніи массъ мыслью ваключается процессъ исторіи", то онъ не только не отказывается этимъ отъ Гегеля и не устанавливаетъ никакихъ новыхъ принциповъ ученія о личности, а напротивъ, буквально повторяетъ Гегеля ¹). Ставши на эту точку зрвнія, мы не будемь искать противорвчій и въ другихъ взглядахъ Грановскаго, повидимому несовмфстимыхъ, напр., въ его понятін о "законь", который является у него и "нравственнымь" въ смысль "конечной цели человечества", -- и научнымъ -- въ смысль

¹⁾ Напр., Werke, IX, 37—39 "(die grossen Menschen) waren denkende, die Einsicht hatten von dem, was Noth und was an der Zeit ist... Sie sind darum als die Einsichtigen anzuerkennen: ihre Handlungen, ihre Reden sind das Beste der Zeit... Was sie von Anderen erfahren hätten an wohlgemeinten Absichten und Rathschlägen, das wäre vielmehr das Bornirtere und Schiefere gewesen, denn sie sind die, die es am besten verstanden haben, und von denen es dann vielmehr Alle gelernt und gut gefunden". Взгляды, съ которыми мы выражаемъ песогласіе въ текстъ, высказаны всего опредъленнъе Н. И. Картъевыми въ его ръчн "Историческое міросозерцаніе Грановскаго". СПБ. 1896. Авторъ полагаеть, что Грановскій сперва подчинился фатализму Гегеля, а потомъ протестоваль противъ него и готовъ былъ создать ту самую теорію борьбы личности и среды, которую исповъдуетъ проф. Карвевъ и которая, въ его передачъ, какъ намъ кажется, лишена цъльпаго и глубокаго философскаго обоснованія. У Грановскаго это обоснованіе, безъ сомивнія, было; но оно, разумвется, не годится для нашего времени. Трудность защиты теорін проф. Карвева и состоить въ томъ, что отвергая старое міросозерцаніе, она кръпко держится за его прикладные выводы.

"общихъ правилъ" "для однообразно повторяющихся случаевъ". Закономфриость всемірно-историческаго процесса, въ смыслѣ Гегеля, совнадала съ стремленіемъ человічества къ достиженію высшей нравственной цълн: вотъ почему у Грановскаго, какъ и у Гегеля, "истинное" и "правственное" сливаются вмъсть. Итакъ, въ ограниченности философскаго пониманія, въ предблахъ разъ избранной системы, никакъ не рашится упрекать Грановскаго тотъ, кто самъ насколько глубже винкиетъ въ связь идей этой системы. Выборъ содержания для историческаго изученія и изложенія ціликомъ вытекаль изь этой связи идей,-и Грановскій самъ началь свой первый курсь указаніемь на такую зависимость. "Важно то, что характеризуетъ духъ въ его разнообразныхъ переходахъ", говорилъ онъ о своемъ "выборѣ фактовъ". Въ исторін, какъ "въ человъческомъ тъль... душа преимущественно обнаруживается въ извюстных частяхъ"; извъстные "органы при жизненныхъ отправленіяхъ играютъ главную роль". Такъ, въ историческомъ разсказъ первое мъсто должны занимать "великіе люди, цвъть народа, которато духъ въ нихъ является въ наибольшей красотф; между событіями — великіе перевороты, которыми начинаются цовые круги развитія 1); между положеніями — ть, въ которыхъ развитіе достигаеть полноты своей; наконецъ, между формами – великія общества, въ которыхъ народная жизнь просторите движется и чище выражается: церковь и государство" 2). Сравнивая эту программу съ изложеннымъ нами курсомъ лекцій, мы не можемъ не придти къ заключенію, что исполненіе,--насколько это, конечно, зависьло отъ доброй воли Грановскаго,-совершенно соотвътствовало программъ.

Само собою разумфется, однако же, что одной системой, усвоенной въ Германіи, нельзя внолиф охарактеризовать научную и преподавательскую физіономію Грановскаго. Раньше, чфмъ начала дфйствовать на него западная философія и наука, — личность Грановскаго уже совершенно сложилась; и самая западная наука могла подфіствовать на него въ той мфрф, въ какой это соотвътствовало общему настроенію Грановскаго. Темпераменть и общій складъ убфжденій—таковы тф черты, которыя дфлали поклонника Гегеля живымъ

¹⁾ См. выше замѣчаніе объ эволюціяхъ и революціяхъ; также въ отрывкъ изъ его лекцій о "переходныхъ эпохахъ" (1849): "меня влекла къ нимъ не одна трагическая красота, въ которую онъ облечены, — а желаніе услышать послѣднее слово всякаго отходившаго, пачальную мысль зарождавшагося порядка вещей. Миъ казалось, что только здѣсь возможно опытному уху подслушать таниственный ростъ исторіи, поймать ее на творческомъ дѣлъ".

²⁾ Извъстно, что церковь и государство есть высшія формы проявленія духа въ исторіи по Гегелю.

человъкомъ на канедръ. "Люби исторію, какъ поэзію", писалъ Грановскому Станкевичъ въ Берлинъ, — "прежде нежели ты свяжешь ее съ идеей". Этотъ совътъ скоръе можно принять за утверждение того, что было въ дъйствительности -- и что навсегда осталось у Грановскаго. Дъйствительно, "поэзію" въ исторіи онъ всегда любиль независимо отъ философскаго смысла исторіи. Принимается ли онъ за Тацита, -- мы получаемъ признаніе: "я хотьль было делать изъ него выписки, читать, какъ историка,--- и не сдълалъ ничего, потому что читалъ какъ поэта". Приходить ли онъ въ восторгъ отъ лекцій Ранке, - это потому, что его очаровывають "его свътлые, живые, поэтические взгляды на науку". Хочеть ли онъ похвалить Нибура, -- это не его критическій анализъ, не хваленая историческая критика вызываеть сочувствіе Грановскаго; совежиъ нѣтъ: виѣстѣ съ Гегелемъ онъ отводитъ осторожную работу надъ возстановленіемъ фактовъ въ преддверіе исторіи. Въ Нибурѣ же Грановскій цінить смільй синтезь, на какой даеть право историку его знаніе жизни; въ его воззрѣнін на исторію Грановскій видитъ "поэзію". Мы видъли, какъ въ университетскомъ курсъ Грановскій выпускаетъ изъ рукъ нить всемірно-историческаго процесса, чтобы дать почувствовать своимъ слушателямъ мрачную красоту скандинавской поэзін. Въ этой подробности Грановскій расходится съ своимъ великимъ учителемъ. Если Гегелю больше нравится ясная, свътлая красота эллинскаго міра, то Грановскій любить въ поэзін выраженіе больного, надломленнаго чувства пессимиста XIX вѣка, упрекающаго своихъ "боговъ" за то, что они "не въчны". Его симпатіи не на сторонъ самоувъренныхъ героевъ будущаго, за которыми "право побъды", а скорве на стороив умирающей "красоты" отходящаго времени ¹).

Если философское пониманіе историческаго процесса указало Грановскому на то, въ чемъ должно состоять существенное содержаніе исторіи, то его поэтическое чувство подсказало ему форму ея изложенія. Мы видъли, какъ цѣнитъ Грановскій драматизмъ въ исторіи, и можемъ понять отсюда, почему наилучшей формой изложенія ему всегда казался художественный разсказъ. Ему трудно было представить себѣ, чтобы "философія исторіи" могла быть чѣмъ-инбудь отдѣльнымъ отъ изложенія всеобщей исторіи въ фактической связи. Только въ такой связи Грановскій разсчитывалъ удержать въ изложеніи то "чувство жизни", "чувство дѣйствительности", безъ котораго для него не могло существовать пониманія исторіи. Отсюда его отвращеніе къ аналитическому изложенію, вродѣ Гизо. Герценъ съ свойственной ему

¹⁾ Характеристика Людовика XI.

проницательностью отмѣтиль эту психологическую черту и ея связь съ призваніемь, выбраннымь Грановскимь. "Онъ очень вѣрно поняль свое призваніе, избравь главнымь предметомь—запятіе исторіей. Изъ него бы никогда не вышель ни отвлеченный мыслитель, ни замѣчательный натуралисть. Онъ не выдержаль бы ии безстрастную нелицепріятность логики, ни безстрастную объективность природы: отрѣшаться отъ всего для мысли или отрѣшаться отъ себя для наблюденія онъ не могъ". Герцень могь бы прибавить, конечно, что качества, недостававшія Грановскому, могли бы оказать услугу также и при занятіяхь исторіей. Но такъ ужъ тогда понимали исторію, и при этомъ пониманіи, безспорно, она лучше всѣхъ другихъ областей знанія подходила къ темпераменту Грановскаго.

Сравнительно съ только-что отмѣченными чертами міровоззрѣнія и душевнаго склада Грановскаго всѣ остальныя черты, которыми можно было бы характеризовать его, какъ профессора и изследователя, отстунають на второй и даже на третій плань. Какъ извъстно, большой ученостью Грановскій никогда не отличался, да и не цѣнилъ этого качества самого по себъ. Однако же, не слъдуетъ быть слишкомъ низкаго мивнія объ историческихъ познаніяхъ Грановскаго. Правда, на его чтеніяхъ французскихъ историковъ въ ранніе годы молодости настанвають, какъ кажется, напрасно: это чтеніе едва ли было такъ обширно, какъ это утверждають, и во всякомъ случав не принесло сколько-нибудь замѣтныхъ плодовъ. Впервые Грановскій началъ учиться исторіи за границей-и началь съ азбуки. Онъ, однако, не жалѣлъ трудовъ и средствъ, и успълъ много сдълать для курса уже въ это время. Въ началѣ 1838 года онъ пишетъ, что "составилъ себъ порядочную историческую библіотеку, особливо для среднихъ віковъ", — и прибавляеть: "хочу читать исторію среднихъ въковъ на славу". Въ слъдующемъ году онъ началъ этотъ курсъ въ Московскомъ университетъ — работалъ опять по 10 часовъ въ сутки, "учился съ каждымъ днемъ" и находилъ, что теперь только начинаетъ понимать исторію въ связи. И тъмъ не менъе, кончая этотъ первый курсъ, онъ пишетъ, что "самъ недоволенъ" своими лекціями и ни за что не согласился бы прочесть еще разъ то, что читалъ. Черезъ годъ, летомъ 1841 г., онъ пишеть невъсть, что "много читаеть" и "готовить матеріаль для курса": "у меня натъ охоты", прибавляетъ онъ, "читать по старымъ тотрадкамъ, составленнымъ два года тому назадъ, когда я былъ еще повичкомъ". Сличение нашей записи съ собственноручнымъ конспектомъ 1839 года покажетъ, конечно, насколько Грановскій подвинулся впередъ въ знакомствъ съ предметомъ. Пріъздъ Кудрявцева въ 1847 г.

быль новымъ толчкомъ къ спеціальной работѣ, и сличеніе записи 1845—46 гг. съ нечатными статьями пятидесятыхъ годовъ показываетъ, какъ мы знаемъ, что Грановскій продолжалъ пересматривать свои миѣнія по отдѣльнымъ вопросамъ курса и иногда совершенно ихъ измѣнялъ въ результатѣ такого пересмотра.

Такимъ образомъ, въ теченіе своей профессорской діятельности Грановскій успѣль переработать массу новаго матеріала. Конечно, это должно было внести значительныя измфиенія и въ содержаніе его воззраній. Мы видали однако, что за десять лать до смерти первыя впечатленія все еще остаются у него напболе спльными: немецкія изследованія, на которыхъ онъ выучился понимать исторію, продолжають имъть перевъсъ надъ французскими, и общая концепція остается гегеліанской. Правда, въ последніе годы жизни основныя воззренія Грановскаго какъ будто начали подаваться передъ новыми въяніями времени. Онъ сталъ находить, напр., что исторія должна выдти изъ сферы наукъ чисто филологическихъ и заимствовать свой матеріалъ изъ естественныхъ паукъ. Мало того, онъ началъ даже склоняться, повидимому, къ мивнію, что исторія должна заимствовать у естественныхъ наукъ и ихъ методъ и даже ихъ форму изложенія. "Ясно, — говорилъ онъ въ 1852 году, — что при настоящемъ состояніи исторіи она должна отказаться отъ притязаній на художественную законченность формы... и стремиться къ другой цели, т. е. къ приведенію разнородныхъ стихій подъ одно единство науки". Это была уже ересь, — и Кудрявцевъ горячо протестоваль противь новыхь теорій учителя во имя его собственнаго стараго взгляда.

Едва ли, конечно, Грановскій измѣниль бы кореннымь образомъ свои воззрѣнія, если бы даже жизнь дала ему достаточный срокъ для этого. Такой, какимъ застигла его смерть, — онъ остался однимъ изъ самыхъ яркихъ представителей закоиченной эпохи русскаго умственнаго развитія. Въ сферѣ товарищей по спеціальности его значеніе, впрочемъ, этимъ не ограничилось. По компетентному свидѣтельству проф. Карѣева, Грановскій былъ первымъ преподавателемъ на каоедрѣ всеобщей исторіи, который отрѣшился отъ взгляда на этотъ предметъ, какъ на механическое соединеніе частныхъ исторій отдѣльныхъ странъ и народовъ, для того, чтобы возвыситься до всемірно-исторической точки зрѣнія,—до представленія исторіи человѣчества, въ нѣдрахъ коего совершается единый по своему существу и по своей цѣли процессъ духовнаго и общественнаго развитія". "Можно сказать, что въ этомъ отношеніи Грановскій былъ родопачальникомъ той традиціи, которая сдѣлалась характерной особенностью историческаго преподаванія въ

Московскомъ университеть". — Не вина Грановскаго, конечно, если "всемірно-историческая точка зрѣнія" пережила породившія ее теоретическія основы, и если, какъ мы это видѣли на примѣрѣ автора толькочто цитированныхъ словъ, — она не можетъ больше обосновать себя съ тою послѣдовательностью и цѣльностью, какія придавала ей въ свое время нѣмецкая метафизика.

Разложеніе славянофильства 1).

Данилевскій, Леонтьевъ, Вл. Соловьевъ.

Мм. Гг.

Годъ тому назадъ, съ этой самой канедры другой лекторъ, болъе меня опытный, выясняль тв условія, при которыхъ возникло у насъ направленіе, получившее неточное имя славянофильства 2). Его слушатели имёли возможность отчетливо познакомиться съ тёмъ, какъ много было временнаго и случайнаго въ той теоріи европейскаго романтизма, которая легла въ основу русскихъ славянофильскихъ воззрѣній. Случайное и временное измѣняется, отпадаеть съ теченіемъ времени; вмъсть съ тьмъ уничтожается и тотъ своеобразный характеръ, который даетъ извъстному направленію право на установившуюся за нимъ историческую кличку. Славянофильство перестало существовать въ этомъ смысле, какъ только подверглась разрушению его старая метафизическая основа. Когда-то, полвѣка тому назадъ, два борющіяся направленія основывали свои теоріи о роли русскаго народа на философскихъ схемахъ Шеллинга и Гегеля: одно изъ нихъ-славянофильство--строило по этимъ схемамъ свои понятія о самобытныхъ свойствахъ русскаго народа и объясняло съ ихъ помощью русское прошлое; другое—западничество—старалось вывести изъ тахъ же схемъ общіе для всфхъ народовъ законы историческаго развитія и построить на нихъ идеалы русскаго будущаго. Но кости нѣмецкихъ мыслителей и ихъ русскихъ последователей давно истлели въ могиле; направленія

¹) Публичная лекція, читанцая 22 января 1893 г. въ аудиторіи Историческаго музея. См. циже, отвътъ на возраженія Вл. Соловьева, помъщенныя въ томъ же № Вопросовъ Философіи и Психологіи, гдѣ была первоначально напечатана эта лекція.

²⁾ *И. Г. Виноградовъ*, И. В. Киръевскій и начало славянофильства. См. Вопросы Философіи и Психологіи 1892 г. (Кинга П-я).

болве современныя, болве свяжія въ своихъ теоретическихъ основанихъ давно успѣли смѣнить славянофильство и западничество. Отбросивъ метафизическую основу теорій стараго поколѣнія, эти новыя направленія искали въ дѣйствительной жизни обоснованія своихъ воззрѣній и идеаловъ: такъ явилось народинчество, на смѣну славянофильства, и демократическій либерализмъ новѣйшаго типа, на смѣну западничества. Казалось бы, книга исторіи закрылась надъ старымъ славянофильствомъ и западничествомъ, и не къ чему было бы тревожить покойниковъ дѣлая исторію ихъ умиранія предметомъ нубличнаго обсужденія.

Въ дъйствительности, однако же, разложение славянофильства вовсе не есть процессъ давно закончившійся. Напротивъ, онъ продолжается и, какъ и склоненъ думать, заканчивается—на нашихъ глазахъ. Исключительныя обстоятельства восьмидесятыхъ годовъ, тѣ самыя обстоятельства, которыя вызвали столько "новыхъ словъ", оказавшихся, при ближайшей повфркф, старыми, которыя дали короткій успфхъ теоріямъ личной морали и личнаго самоусовершенствованія, - эти же самыя обстоятельства протянули и загробное существование славянофильства вплоть до нашего времени. Какъ легендарный герой испанскаго эпоса, покойникъ былъ вытащенъ изъ могилы своими приверженцами, привязанъ веревками къ своей старой трибунь, и върные слуги его разсчитывали одною мимикой мертваго лица произвести на враговъ привычное дъйствие. Но при этомъ явилось одно непредвидънное осложненіе. Гальванизируя трупъ, различные последователи славянофильства ожидали отъ него весьма различныхъ и даже прямо противоположныхъ услугь для своего дала. Энигоны славянофильства разко раскололись на двъ враждебныя партін, которыя совершенно разошлись во взглядъ на то, что было въ немъ мертво и что живо.

I.

Въ основъ славянофильства лежали двъ идеи, неразрывно связанныя: идея національности и идея ея всемірно-историческаго предназначенія. У послѣдователей школы эти идеи раздѣлились. Идея національности сдѣлалась исключительнымъ достояніемъ охранительной, такъ сказать, правой грунны славянофильства. Идея о всемірно-исторической роли русской національности возрождена была на нашихъ глазахъ другою грунной, которую можно было бы назвать лювой славянофильства; связь ея съ славянофильствомъ песомивниа, хотя она сама и отказывается иногда причислять себя къ послѣдователямъ этого ученія. Иоявленіе

последней фракціи вызвало, какъ и следовало ожидать, резкій отпоръ и критику со стороны легитимистовъ славянофильства. Но и съ своей стороны она не осталась у нихъ въ долгу. Постороннимъ зрителямъ, следившимъ за этой взаимной критикой двухъ родственныхъ, по невознавшихъ другъ друга направленій, приходилось подчасъ испытывать то же впечатленіе, которое авторъ "Былого и думъ" выпосилъ когдато изъ споровъ старыхъ славянофиловъ и которое онъ съ своимъ обычнымъ остроуміемъ закрънилъ, сравнивъ эти пререканія со споромъ о томъ, откуда происходятъ ведьмы: изъ Новгорода или изъ Кіева. Для лицъ, имевшихъ основаніе сомиваться въ самомъ существованіи ведьмъ, споръ объ ихъ происхожденіи имелъ, конечно, мало поучительнаго.

Представляють ли и всё эти споры двухь фракцій славянофильства,—споры, отголоски которыхь мы еще встрёчаемъ въ последнихъ нумерахъ газетъ и въ последнихъ кинжкахъ журналовъ, действительно, не более интереса, чемъ вопросъ о происхожденіи ведьмъ? Является ли посмертное развитіе славянофильскихъ доктринъ ихъ дальнёйшимъ усовершенствованіемъ или ихъ окончательнымъ разложеніемъ? Такъ или иначе, во всякомъ случае мы не можемъ отрицать, что полемика обоихъ направленій вторгается очень замётною струей въ среду теченій современной общественной мысли. Выделить эту струю изъ другихъ и указать ей ея надлежащее мёсто — становится именно теперь, въ настоящую минуту, далеко не лишнимъ. Вотъ почему мит и показалось уместнымъ предложить по этому поводу иесколько историческихъ справокъ.

Позвольте мив начать эти справки съ напоминанія о томъ, въ чемъ заключалось, въ общихъ чертахъ, идейное содержаніе стараго славянофильства. Въ основъ этого ученія лежало, какъ извъстно, гегеліанское представленіе о томъ, что всемірная исторія есть постепенное развитіе и обнаруженіе всемірнаго духа. Отдѣльныя народности воилощаютъ въ себѣ отдѣльныя ступени развитія этого духа: каждый послѣдующій народъ, выступающій на сцену всемірной исторіи, представляєтъ всемірно-историческую идею все въ болѣе полномъ и совершенномъ выраженіи. Въ этомъ ряду народовъ, призванныхъ быть выразителями всемірной идеи, Россіи и славянству принадлежитъ роль послѣдияго и наиболѣе полнаго обнаруженія всемірнаго духа, по отношенію къ которой роль всѣхъ предыдущихъ народовъ является лишь подготовительной. Занадное человѣчество развивало только одну сторону духа, разсудочную, логическую. Напротивъ, Россія призвана къ гармоническому развитію всѣхъ сторонъ духовной жизни, и прежде всего къ

обнаруженію другой стороны духа, сравнительно съ Европой, — къ развитію чувства въ противоположность разсудочности. Преобладаніе этой стороны духовнаго развитія выразилось въ духовной жизни русскаго народа какъ православная форма христіанства, а въ матеріальной жизни — какъ общинное начало. Въ противоположность мистическому началу православія, религіи Запада основываются на разсудочности, — католицизмъ такъ же, какъ и протестантство. Въ противоположность славянской любовно-братской общинъ, западный міръ стоитъ на борьбъ интересовъ, на правахь личности, — словомъ на развитіи юридическаго начала.

Какъ видно уже изъ этой характеристики, въ славянофильскомъ міросозерцанін всемірно-историческая задача Россін самымъ непосредственнымъ образомъ вытекаетъ изъ основныхъ свойствъ народнаго духа. Было бы совершенно невозможно рашить, какой изъ этихъ двухъ элементовъ быль болъе важенъ для стараго славянофила, національный или всемірно-историческій; -- другими словами, дорожиль ли онъ православіемъ и общиннымъ началомъ, только какъ коренными признаками русской народности, или же, наобороть, самая эта народность была дорога ему только какъ носительница универсальныхъ идей православія и общины. Самый вопрось о выборт между національнымъ и общечеловъческимъ не могъ возникнуть для славянофила, такъ какъ ни представить себъ русскую національность безъ православія и общинности, ни усомпиться въ общечеловъческомъ значеніи этихъ началъ было для него одинаково невозможно. "Что же такое народность, спрашиваль въ 1847 г. Юрій Самаринъ, -- если не общечеловъческое начало, развитіе котораго достается въ удблъ одному илемени преимущественно передъ другими, всладствіе особеннаго сочувствія между этимъ началомъ и природными свойствами народа?" Общечеловъческое начало, употребляя сравненіе И. Кирфевскаго, есть съмя, а свойство народа—та почва, въ которую это съми брошено. То и другое, почва и съмя, одинаково необходимы, чтобы произвести плодъ, который и есть народность. Продолжая то же сравнение, надо, однако, прибавить, что съ гегеліанской точки зранія не всякая національная почва удостоивается всемірно-историческаго съмени, не всякая народность служить носительницей общечеловъческого начала. Съмя единой всемірной иден растетъ и приноситъ плодъ только на почвѣ избранныхъ національностей, и, притомъ, поставленныхъ въ опредъленный хронологическій рядъ, вытянутыхъ въ одну непрерывную нить всемірно-историческаго развитія. Произрастаніе этого съмени въ человъчествъ уподобляется, такимъ образомъ, не равномфриому посвву, который приносить повсемъстную обильную жатву, а, скоръе, тому сказочному бобу, по одинокому стеблю котораго сказочный мальчикъ влъзаетъ на самое небо. Какъ же быть со всъми другими побъгами, оставшимися въ стороиъ отъ всемірно-историческаго шествія абсолютнаго духа? ІІ неужели же и тъ народы, по которымъ прошелъ этотъ духъ, только для того и существовали на свътъ, чтобы служить ему временными подмостками? Очевидно, всемірно-историческая идея не покрывала идеи народности; далеко не весь этнографическій матеріалъ существующихъ или существовавшихъ народностей укладывался въ рамкахъ единаго всемірно-историческаго плана. Этотъ иланъ не годился, слъдовательно,— не могъ служить основнымъ принципомъ философско-исторической теоріи, такъ какъ не объяснялъ всего, подлежащаго объясненію. Съ поправокъ къ нему и начинается дальнъйшее развитіе славянофильской доктрины.

Π.

Первымъ шагомъ въ этомъ направленіи была извъстная книга Н. Я. Данилевскаго, въ которой впервые была сдфлана попытка подвести подъ воздушный замокъ славянофильства болфе или менфе солидный научный фундаментъ. Новое научное обоснование и прилаженная къ нечу старая фантастическая постройка: таковы, действительно, два составные элемента знаменитаго "катехизиса славянофильства". Чуть ли не съ каждой страницы "Россіи и Европы" выглядывають на насъ эти два различныя выраженія авторской физіономіи, постоянно мѣняющіяся. То мы видимъ передъ собой спокойное, безпристрастное лицо натуралиста, человѣка пережившаго, такъ или иначе, самый разгаръ увлеченія русскаго общества естественно-научными знаніями и привыкшаго къ употребленію строгаго метода точныхъ наукъ. То вдругъ выраженіе этого лица мфияется: передъ нами раздраженный посердившійся натріотъ. Его гитвныя рачи производять на непосвященнаго читателя впечатлёніе полпаго недоуменія; чтобы понять причины этого гнтва, теперь нужент, действительно, уже историческій комментарій. Необходимо припомнить, что то было время, когда намъ пришлось ножать плоды, посфянные николаевскою политикой. Крымская война и польское возстаніе обострили враждебное къ намъ отношеніе европейскаго общественнаго мифиія, и русскому патріотизму пришлось вынести тяжелое испытаніе, въ которомъ сокрушилось много русскихъ либерализмовъ и расшаталось много гуманитарио-космополитическихъ воззръній.

Въ концѣ 60-хъ годовъ, когда Данилевскій писалъ и печаталъ свою книгу, время господства и вмецкой идеалистической философіи давно уже прошло. "Теперь никто не вфрить, — говориль онь въ этой книг^ћ ¹), — или немногіе вѣрятъ тому, чтобы германская философія низвела абсолютное въ человъческое сознаніе". Не въ этой философіи, следовательно, будеть искать Данилевскій своихъ опорныхъ пунктовъ, а, какъ мы только-что замфтили, въ методф, выработанномъ точными науками. Цфль строгаго научнаго метода, такъ разсуждаеть авторъ "Россін и Европы", состоить въ открытін законовъ явленій. Но только въ наименъе сложныхъ по своему предмету наукахъ человъческое знаніе добилось этой послядней цали. Чтобы дойти до открытія всеобщаго закона целой группы явленій, науке предстоить пройти целый рядъ ступеней развитія. Она должна прежде всего привести въ извъстность всь явленія своей группы и для лучшей обозримости связать ихъ въ какую-нибудь, хотя бы совершенно искусственную систему. Тогда только явится возможность найти среди искусственно сгруппированныхъ фактовъ признаки ближайшаго естественного сродства отдёльныхъ явленій и расположить факты, по степени этого сродства, въ естественныя группы. Изъ естественной классификаціи становится возможнымъ, далее, вывести частные эмпирическіе законы, и только после всьхи этихи подготовительныхи ступеней открывается возможность найти въ частныхъ законахъ общій раціональный законъ целой группы. До сихъ поръ только астрономін и физикъ удалось пройти всь эти ступени и дойти до открытія общаго закона всёхъ явленій своей группы, закона тяготвнія. Другія, болве сложныя науки остановились на предшествующихъ ступеняхъ — частныхъ эмпирическихъ законовъ, или естественной классификаціи, — или даже не дошли до построенія естественной системы, а собирають еще свои факты съ помощью искусственной группировки. На такой именно низшей ступени стоитъ историческая наука, и Данилевскій ставить себь задачей возвести ее со ступени искусственной классификаціи на высшую ступень естественной классификаціи и даже эмпирическихъ законовъ. Нитью, искусственно связывавшею до времени исторические факты, служила именно та идея всемірно-историческаго плана, о которой мы говорили выше. Искусственность подобной связи видна изъ того, что для вмфщенія фактовъ въ рамки всемірно-исторической идеи приходилось всю исторію человічества представлять какъ одно цілое п разрубать это цълое на хронологические періоды (древней, средней и новой исторіи),

^{1) &}quot;Россія и Европа" (3-е изд. 1888 г.), стр. 124.

безъ всякаго вниманія къ реальному содержанію этихъ періодовъ. На самомъ дѣлѣ, въ предѣлахъ каждаго періода существуеть множество національностей, изъ которыхъ каждая живеть своей отдільною жизнью, пезависимой отъ другихъ, и переживаетъ свои собственныя ступсни или возрасты историческаго развитія. Со всемірно-исторической точки зрвнія, приходится цвлую массу такихъ отдвльныхъ народностей, изъ которыхъ нфкоторыя уже успфли прожить весь кругъ своего историческаго развитія, а другія находились на самыхъ разнообразныхъ ступеняхъ его, относить къ первому фазису всемірной исторіи (древняя исторія), долженствующему представлять собой одинь, именно ранній возрасть исторіп человічества. Напротивь, вь средней и повой исторіи один и тъ же народы, еще не закончившіе своей исторін, должны изображать ∂sa раздѣльные періода въ жизни человѣчества. Bъ $\partial m u$ ствительности, каждый народъ переживаеть вст эти періоды развитія, древній, средній и новый, и при томъ переживаеть ихъ совершенно независимо отъ всякихъ другихъ народностей. Человъчества, какъ цъльнаго историческаго организма, не существуетъ, и всемірной исторін не существуєть, какъ единой нити общечеловіческаго развитія. Исторія человічества есть скоріє сумма параллельных внитей, разномфстныхъ, разповременныхъ и самостоятельныхъ. Въ одно цфлое эти нити соединяются развъ только въ мысли высшаго существа, --какогонибудь "духа земли".

Итакъ, всемірно-историческую группировку историческихъ явленій необходимо отбросить, какъ группировку искусственную; чтобы возвести историческую науку на степень естественной классификаціи, надо положить въ основу этой классификаціи не дѣленіе на хронологическіе періоды, а дѣленіе на реальныя группы, отдѣльныя національности. На періоды же или на возрасты развитія пужно дѣлить каждую отдѣльную паціональную исторію: каждая народность переживаетъ неріоды молодости, зрѣлости и старости, или, по другой терминологіи Данилевскаго, періоды племенной (этнографическій), государственный п цивилизаціонный; низшія ступени развитія Данилевскій называетъ формами зависимости, а высшія—формами свободы.

Кажется, изъ всёхъ этихъ разсужденій мы виравё были бы вывести заключеніе, что Данилевскій признаеть существованіе иёкоторыхъ общихъ элементовъ развитія всякаго человёческаго общества. И въ такомъ случаё, ученіе Данилевскаго представляло бы не только въ своей критической части, но и въ положительной, огромный шагъ впередъ сравнительно со всемірно-историческою точкой зрёнія. Въ принципё оно не расходилось бы съ основными понятіями современной

соціологін. И для современной соціологін отдюльное общество составляеть исходную точку научнаго наблюденія, а выводы соціологическіе нолучаются посредствомъ сравненія сходнаго въ нѣсколькихъ общественныхъ эволюціяхъ, помимо всякихъ групппровокъ ихъ по географической или хронологической смежности. Новидимому, и эти соціологические выводы или "эмпирические законы", по принятой Дапилевскимъ терминологін, находять себѣ нѣкоторую параллель въ тѣхъ "законахъ", которые онъ самъ извлекъ изъ сравненія исторіи различныхъ общественныхъ группъ. Но въ тотъ самый моментъ, когда, находя эти точки соприкосновенія, мы готовы провозгласить Данилевскаго сторонникомъ или, по крайней мърф, предшественникомъ современной соціологін, авторъ "Россін и Европы" останавливаеть насъ неожиданнымъ заявленіемъ: "Общая теорія устройства гражданскихъ и политическихъ обществъ невозможна". "Теоретическая политика или экономія также невозможна" 1). Отдъльныя общественныя группы или члены "естественной системы" исторіи суть величины несоизмюримыя.

III.

Что же, однако, все это значить? Чтобы разъяснить наше недоумѣніе, мы должны обратиться къ другой сторонѣ содержанія "Россіи и Европы". Дѣло въ томъ, что научная теорія псторическихъ явленій совсѣмъ не составляєть главнаго въ книгѣ Данилевскаго и меньше всего служитъ для автора цѣлью сама по себѣ. Эта теорія представляєть для него только средство, съ помощью котораго онъ приходитъ къ своимъ практическимъ выводамъ. Задача "Россіи и Европы", дѣйствительно, по преимуществу практическая. Достаточно вспомнить, что Данилевскій начинаєтъ свою книгу вопросомъ, почему Европа ненавидитъ Россію, а кончаетъ проповѣдью ненависти Россіи къ Европѣ и грандіознымъ проектомъ всеславянской федераціи, съ Россіей во главѣ и съ Константинополемъ, какъ столицей федеративнаго союза. Въ эту оправу вставлена философско-историческая теорія Данилевскаго, и естествейно, что въ такомъ сосѣдствѣ она приняла, въ концѣ концовъ, черты, мало соотвѣтствующія ея реально-научному основанію.

Черты эти почти всв цвликомъ взяты изъ стараго славянофильства. Европа ненавидитъ Россію потому, что объ онъ воплощають двъ совершенно различныя всемірно-историческія идеи. Европа уже осуществила свою всемірно-историческую идею и въ настоящее время "изжила"

¹) "Россія и Европа", 170.

свое историческое существование. России предстоитъ, напротивъ, великая міродержавная роль. Самое содержаніе исторических задачь Европы и Россіи представляется тоже совершенно согласно со старыми славянофилами. Разница между ними и Данилевскимъ состоитъ только въ томъ, что, по мижнію автора "Россіп и Европы", отдѣльные народы живутъ не для того только, чтобы передать своимъ болье счастливымъ преемникамъ свою долю работы въ развитін единой міровой иден; напротивъ, каждый народъ живетъ для себя, имфетъ свою особую идею, развиваемую имъ лучше и поливе, чвмъ другими; во всей же полнотв и многосторонности идея, вложенная въ человъчество, осуществляется не въ какой-либо данный моменть, въ какомъ-либо данномъ народф, а только въ отвлеченін, въ совокупности всфхъ отдфльныхъ историческихъ раз... витій. На практикъ, однако же, и эта разница со старыми славянофилами бладиветь и почти исчезаеть, такъ какъ Данилевскій готовъ признать иткоторое провиденціальное преемство и связь въ развитін разными народами ихъ міровыхъ задачъ, а въ посл'ядней главф "Россін н Европы" онъ не прочь даже представить славянство какъ заключительное звено этой преемственной сманы цивилизацій, а славянскую пдею-какъ высшее, всесторониее развитие и осуществление всемірноисторической задачи. Но въ теоріи онъ твердо стоить на томъ, что всемірно-исторической задачи для отдільнаго народа не существуєть, а есть только провиденціальный всемірно-историческій илань: сознаеть его только высшее существо, а отдъльныя національности только безсознательно выполняють его отдёльныя составныя части.

Безполезно, конечно, было бы некать чего-либо общаго между этного частью ученія Данилевскаго и представленіями современной соціологіи. Научная соціологія стремится къ открытію законовъ эволюцін человъческаго общества, а для Данилевскаго интересно только обнаружение въ обществъ искони заложенной въ него, неподвижной идеи. Ирикладная соціологія изміряеть прогрессь степенью сознательности, съ какою организуется въ обществъ достижение общаго блага; а Данилевский, наблюдая внутри отдёльнаго общества только стихійный процессъ органической эволюцін, ищеть прогресса лишь въ сміні историческихъ націй и идеаловъ. Что же можеть быть общаго между обществомъ, какъ живымъ развивающимся явленіемъ, и національностью, какъ вывъской неизмънной идеи, - между сознательнымъ стремленіемъ къ сознательной организаціи общественной жизни и безсознательнымъ выполненіемъ никому невѣдомаго мірового плана? Очевидно, Данплевскій, отправившись отъ нѣкоторыхъ представленій, тожественныхъ съ современными научными и практическими пдеями, пришель въ концъ концовъ къ чему-то совершенно противоположному. Намъ остается отдать себъ отчетъ въ томъ, какъ это могло случиться: какимъ обравомъ реальная пародность, положениая въ основу "естественной системы", могла превратиться въ слъпую исполнительницу предначертаній Провидънія?

IV.

Не можеть быть сомнинія вы томь, что, производя такое превращеніе, Данилевскій действоваль совершенно сознательно. Отмеченное нами противоръчіе въ обоснованіи философско-исторической теоріи необходимо и логически вытекало изъ основного противорачія въ цъломъ міровоззрівнін Данилевскаго. Противорічне это тотчась же вскроется, если мы разсмотримъ внимательнъе учение Данилевскаго о паукъ, именно его классификацію наукъ. По этой классификаціи науки дълятся на теоретическія, изучающія "первоначальные, самобытные законы" всего сущаго, и сравнительныя, изучающія "производные законы", или сочетанія основныхъ законовъ въ индивидуальныя формы. Послёднее названіе кажется съ перваго взгляда очень неудачнымъ; но, какъ сейчась увидимь, для возэрфній Данилевскаго опо весьма характерно и вполнъ точно отвъчаетъ его мысли. За исключениемъ этого названия, въ принципъ противъ этой классификаціи возражать нечего; въ сущности, она соотвѣтствуетъ контовскому дъленію наукъ на "абстрактныя" и "конкретныя", вошедшему въ современное научное сознаніе. Но въ приложении къ отдъльнымъ наукамъ Данилевский дълаетъ изъ своего дъленія совершенно оригинальное употребленіе. "Теоретическими", т. е. абстрактными, науками онъ считаетъ три: физику, химію и психологію, т. е. науки о "движенін", "матерін" и "духь"; къ этимъ тремъ сущностимъ сводятся, по мивнію Данилевскаго, всв основные элементы міра. Куда же, спрашивается, дълись двѣ остальныя науки, вводимыя обыкновенно въ современную классификацію абстрактныхъ наукъ и вычеркнутыя изъ нея Данилевскимъ: біологія и соціологія? Здъсь мы и сталкиваемся съ особенностью міровоззръція Данилевскаго. Эти науки онъ относить къ "сравинтельнымъ", на томъ основаніи, что онъ имъютъ дъло не съ первичными элементами, а съ сочетаніемъ этихъ элементовъ въ опредъленныя конкретныя формы. Но эти формы, какъ и формы явленій, изучаемыхъ другими "теоретическими" науками, перечислениыми Данилевскимъ, — имъютъ также свою общую теорію, созданную современною наукой. Современная біологія стремится объяснить всв существующія и существовавшія формы органическаго міра

изъ законовъ біологической эволюцін; точно также соціологія сводить формы общественности къ законамъ эволюцін соціологической. На этомъ-то пунктѣ Данилевскій отділяется отъ развитія современной науки и возстаетъ противъ самаго принципа эволюціонной теоріи. Для него, какъ для всей старой науки и философіи, "формы" суть неизмъняемые, предустановленные "типы" вещей, ихъ идеальные первообразы, чуждые матерін. "Морфологическій принципъ, — по его выраженію, — есть идеальное въ природф" 1). Искать между этими "типами" сходныхъ элементовъ, приводить ихъ къ "общему знаменателю", а тъмъ болве выводить ихъ другъ изъ друга или утверждать ихъ общее происхожденіе-значить отрицать это "идеальное въ природъ" и сливать форму съ матеріей. Съ этой точки зрфнія, Данилевскій долженъ былъ протестовать въ соціологіи противъ Спенсера, какъ онъ протестовалъ въ біологін противъ Дарвина. Вопреки Дарвину, животный міръ не представляеть непрерывнаго ряда видовъ, развившихся другь изъ друга въ теченіе міровой исторін; это скорфе-по Кювье- рядъ самостоятельныхъ типовъ организацін, "совершенно различныхъ плаповъ", несравнимыхъ и не приводимыхъ къ одному знаменателю 2). Точно также и различные историческіе народы суть совершенно различные, перазложимые и несоизмъримые "типы" человъчества. Каждый изъ нихъ осуществляеть присущій ему отъ природы планъ, и ни одинъ изъ этихъ плановъ не можеть быть закономъ для другого. Нельзя сравнивать планы организацін животныхъ, живущихъ на водф и живущихъ на суш Б; нельзя обсуждать вопроса, что лучше, вообще говоря, жабры или легкія. Точно также и съ историческими типами: одинъ производить англійскую конституцію, другой — славянскую общину; но рашать, что изъ двухъ лучше, или пытаться пересадить эти продукты исторической жизни отъ одного къ другому — такъ же невозможно, какъ заставить рыбу дышать легкими, а земноводное животное—жабрами. Въ этомъ-то смыслъ между національными исторіями нътъ ничего общаго, а слъдовательно, выводить Данилевскій, не можеть существовать и общественной науки: "Теоретическая политика или экономія такъ же невозможна, какъ невозможна теоретическая физіологія или анатомія".

Очевидна пезаконность такого вывода. Очевидно, что научное сравненіе питеть діло не съ готовыми результатами національной жизни, а съ анализомъ ихъ основныхъ элементовъ, и что научный выводъ но имдеть ничего общаго съ рекомендаціей той или другой готовой формы

^{1) &}quot;Госсія и Европа", 168.

²) "Россія и Европа", 87, 121.

общественной жизни. Наука даетъ законы, а не правила. Все это совершенио ясно и уже было указываемо другими критиками теоріи Данилевскаго. Въ дополненіе къ этой критикъ я хотѣлъ только указать на самый источникъ ошибки Данилевскаго. Изъ сказацнаго выше ясно, какъ миъ кажется, что ошибка эта произошла отъ того, что Данилевскій въ своемъ міровоззрѣніи остановился посрединъ между идеализмомъ и реализмомъ, и принявъ механическое міросозерцаніе для одной половины наукъ, отвергнулъ его по отношенію къ другой.

1.

Теперь мы можемъ понять, почему, несмотря на всё имъ самимъ указанные элементы сходства между отдельными народами, Данилевскій не хотьль признать, что возможны общественныя науки. Сохранивъ въру въ предустановленные типы старой зоологін, онъ сдълалъ попытку найти подобные же типы и въ исторіи. Онъ взяль для этого старое понятіе міровой иден, вложенной въ народность; эта идея сообщила начало формы, а содержаніемъ для этой формы послужило научное поиятіе о народности, объ отдюльной общественной группъ, независимой отъ всемірно-историческаго плана. Этимъ путемъ совершенно реальное попятіе народности превратилось въ лабораторіи Данилевскаго въ метафизическое понятіе "культурно-историческаго типа". "Культурно-историческій типъ" быль, стало быть, чфмъ-то среднимъ между реальнымъ и гегелевскимъ понятіемъ народности и получился посредствомъ смъшенія обонхъ. Отъ стараго ндеализма онъ заимствоваль, при этомъ, свой абсолютный характеръ: отъ натурализма-признаніе своей самостоятельности въ ряду другихъ тицовъ. Къ пдеализму понятіе "культурно-историческаго типа" стояло, во всякомъ случат, гораздо ближе, чвмъ къ научному воззрвнію. По отношенію къ идеалистическому взгляду Данилевскій отрицаль только всемірно-историческую точку зрфнія, да и то возстановля ее подъ другими формами; а для того, чтобы реальную народность превратить въ культурно-историческій тинъ, понадобилось выкинуть изъ реальнаго представленія довольно многое. Реальная народность относилась къ "культурно-историческому типу" какъ матерія къ формф; слфдовательно, народность безъ культурной иден представлялась безформенною массой, сырымъ матеріаломъ для культурнаго типа. Такимъ образомъ, понятіе культурно-историческаго типа выключало изъ "естественной системы", во-нервыхъ, всв народы, не воспринявшіе культурной иден: это-, этнографическій матеріалъ" по терминологін Данилевскаго; сюда же относятся народы-

разрушители, "бичи Божін", отрицательные двятели человъчества. Во-вторыхъ, и исторические народы, не пришедшие еще къ сознанию своей идеи, исключаются изъ понятія культурнаго типа: они переживають длинный подготовительный, "этнографическій" періодь, измъряемый тысячельтіями, затемь государственный, и только потомь, въ третьемъ "цивилизаціонномъ" періодѣ, народъ становится культурноисторическимъ типомъ. Во время подготовительнаго неріода складывается національный характеръ и національныя учрежденія, наконляется "занасъ силь для будущей сознательной двятельности"; въ последнемъ же періодъ, сравнительно очень короткомъ, этотъ запасъ только тратится и изживается. Такимъ образомъ, спасена идея неизмъняемости - типа уже сложившагося; за то самый процессь образованія типа, составляющій главный предметь научнаго объясненія, вовсе исключено изъ системы. Съ помощью всъхъ этихъ уръзокъ и совершилось объясияемое нами превращение научнаго понятія народности въ метафизическое понятіе культурно-историческаго типа.

VI.

Теорія культурно-историческихъ типовъ была, какъ мы видимъ, естественнымъ примфиеніемъ къ области историческихъ явленій общаго міровоззрѣнія Данилевскаго 1). Съ другой стороны, она сдѣлалась исходною точкой его философско-историческаго построенія. Подробности этого построенія не разъ подвергались основательной критикъ и мы не будемъ ихъ здфсь касаться: для насъ достаточно было найти то промежуточное звено, которое послужило для спайки двухъ разнородныхъ частей построенія Данплевскаго. Найдя, что такимъ связующимъ звеномъ между научной и идеалистическою стороной его теоріи была идея "культурно-историческаго тина", мы прибавимъ только, что въ этой идеж Данилевскому особенно были дороги двю черты, съ помощью которыхъ ему удавалось свою историческую теорію илотно пригнать къ старому ученію славянофильства. Во-первыхъ, подъ понятіе культурно-историческаго типа можно было подвести не одинъ народъ, а цюлый рядь народностей, этнографически родственныхъ: это давало возможность всю Европу подвести подъ одинъ типъ, все славянство подъ другой, и противопоставить одинъ другому, какъ два неприми-

¹⁾ Въ виду-этого обстоятельства не слъдуетъ придавать слишкомъ большого значенія тому, что самый *термин* "культурно-историческаго типа", какъ и изкоторыя *частности*, заимствованы Даинлевскимъ у измецкаго историка Рюккерта.

римыхъ міра. Съ реальнымъ представленіемъ общественной группы это сділать было бы невозможно. Во-вторыхъ, культурно-неторическій типъ представляйся безусловно неизміннемымъ, —отсюда можно было вывести невозможность передачи европейской культуры славянству, необходимость самобытной славянской цивилизаціи и законность полнаго отмужденія и вражды обоихъ типовъ.

Національный этопзмъ и исключительность -таковъ последній практическій выводъ изъ философіи исторіи Данилевскаго. Сравнительно съ этимъ выводомъ Данилевскій справедливо находилъ ученіе славянофиловъ слишкомъ гуманитарнымъ. Какую же можно основать на такомъ выводѣ практическую программу? Для Данилевскаго это, прежде всего, — программа внюшней политики: надо разрешить восточный вопросъ, освободить славянъ, завоевать Константинополь, образовать всеславянскую федерацію; тогда только станеть возможнымь развитіе славянскаго культурнаго типа. Передъ этими грандіозными планами вопросы внутренней политики совершенно стушевываются въ книгъ Данилевскато. Главный для его теорін вопросъ, въ чемъ именно будетъ состоять будущая самобытная славянская культура, — онъ считаетъ преждевременнымъ: въ настоящемъ только немногія черты указываютъ на будущее. Тамъ, гдѣ Данилевскій, все-таки, принимается характеризовать грядущую славянскую культуру, она представляется ему или какъ сохранение стараго, или же въ совершенно неопредбленныхъ очертаніяхъ. Гелигіозная жизнь славянства будеть отличаться строгоохранительнымъ характеромъ, какъ и подобаетъ народамъ, которымъ ввърено охранение чистоты откровенной истины. Въ государственной жизии русскій народъ одинаково способенъ и жертвовать государству личными благами, и пользоваться политической и гражданскою свободой: онъ можетъ "принять и выдержать всякую дозу свободы" 1); другими словами, вопросъ о формъ государственности остается неръшеннымъ. Въ экономической жизни русская община представляетъ залогъ "общественно-экономическаго нереустройства, справедливо обезпечивающаго народныя массы": это, кажется, единственный пунктъ, на которомъ авторъ горячо настанваетъ, какъ на объщающемъ свътлое будущее. Наконецъ, въ собственно культурной жизни (наука, искусство и техника) русскій народъ "обнаружиль достаточно задатковъ художественнаго, а въ меньшей степени и научнаго развитія"; если эти задатки такъ и остаются пока одними задатками, то надо принять въ разсчеть молодость русскаго народа.

^{1) &}quot;Россія и Европа", 537.

Изъ настоящаго, стало быть, дъйствительно, немногое оказалось возможнымъ вывести относительно будущаго. Естественно, что такой върный послъдователь Данилевскаго, какъ Н. Н. Страховъ, нашелъ послъ этого возможнымъ всю программу, вытекающую изъ теорій учителя, резюмировать въ одномъ совъть: "быть самими собой". Этотъ совъть имъеть то большое достоинство, что не псиолнять его мы не можемъ. Мы не можемъ быть не самими собой—и всегда оставались самими собою даже во всъхъ крайностяхъ подражанія. Къ сожальнію, по той же причниъ трудно, при всемъ желаніи, найти въ совъть Н. И. Страхова какое-нибудь опредъленное содержаніе.

Опредвленное содержаніе, опредвленную программу внутренней политики можно было, однако же, вывести изъ теоріи національной самобытности. Стоило только ивсколько смвле, чемь это сдвлаль Данилевскій, возвести текущій моменть народной жизни въ абсолютную характеристику русской національности, стоило вывести культуриоисторическую задачу Россіи изъ ея прошлаго,—и, сама собой, защита этого прошлаго, уцвлевшаго въ настоящемь, отъ покушеній будущаго становилась задачей внутренней политики. Тутъ должна была повториться та же ошибка, которую отмвтиль самь Данилевскій по другому случаю. Формы прошлаго, "формы зависимости" были сочтены за сиецифически національныя; формы настоящаго и будущаго—"формы свободы" были противопоставлены этому національному и заподозрѣны, какъ общеевропейскія, хотя, въ двйствительности, и оню, конечно, вытекали изъ своихъ же національныхъ потребностей и, осуществляясь, принимали, по необходимости, вполню національный характеръ.

VII.

Я не буду перечислять здѣсь всѣхъ дѣятелей, которые представляютъ "славянофильство" въ только-что отмѣченной стадіи его развитія. Но я не могу не остановиться, на одномъ изъ нихъ, наиболѣс яркомъ и типичномъ, дошедшемъ до крайнихъ выводовъ въ этомъ направленіи и, этимъ самымъ, вполнѣ его исчернавшемъ. Я говорю о младшемъ современникѣ Н. Я. Данилевскаго, лѣтъ на десять моложе его по возрасту и литературной дѣятельности,—Константинѣ Леонтьевѣ ¹). Пессимистъ по содержанію своихъ возарѣній и беззастѣнчивый цинцкъ въ ихъ выраженіи,— Леонтьевъ всегда говоритъ прямо то, что другіе подразумѣваютъ; при этомъ всѣ его выводы, даже самые нелѣпые,

¹⁾ Данилевскій родился въ **1**822 г., Леоптьевъ въ 1831 г.

являются прямымъ логическимъ послѣдствіемъ разъ усвоеннаго міровозрѣнія. Такой человѣкъ былъ нуженъ, чтобы вывести изъ націоналистической теоріи всѣ практическія послѣдствія и довести ее до абсурда.

По собственному признанію, Леонтьевъ началь свою д'ятельность какъ "ученикъ и ревностный последователь" Данилевскаго. Но очень скоро житейскій опыть привель его если не къ полному разочарованію въ пдеалахъ славянофильства, то къ постояннымъ колебаніямъ, считать или не считать эти идеалы осуществимыми. То онъ готовъ "скоръе върить, чъмъ не върить въ будущее торжество славянофильскихъ основъ"; то все, что онъ видитъ кругомъ, убъждаетъ его, что "культурное" славянофильство было только "мечтою полною благородства и поэзін" 1). Въ общемъ нтогѣ, гораздо чаще, чѣмъ потребность "върить", находить на него "минуты невърія въ самобытность славянскаго генія". "Кто угадаеть теперь, — спрашиваеть онь, — особую форму этого организованиаго, проникнутаго общими идеями, -своими міровыми идеями славянства? До сихъ поръ мы этихъ общихъ и своихъ всемірно-организованныхъ идей, которыми славяне отличались бы разко оть другихъ націй и культурныхъ міровъ, -- не видимъ" 2). Южное славянство, - какъ совершенио правильно ноказали Леонтьеву его собственныя наблюденія въ Константинополь, — ношло, вопреки ожиданію Данилевскаго, тою же европейской дорогой, и мечта о всеславянской федерацін, — необходимомъ условін будущей славянской культуры, оказалась "не то чтобы совсемъ уже несбыточной, но мало объщающей сбыться" 3). И по отношенію къ Россін дело обстоить нисколько не лучше. Правда, "иные находять, что наше сравнительное умственное безилодіе въ прощедшемъ можеть служить доказательствомъ нашей молодости. Но такъ ли это? Развъ есть ноложительныя доказательства, что мы молоды? Тысячельтияя быдность творческаго духа — еще не ручательство за будущіе богатые плоды" 4). "Молодость наша — повторяеть Леонтьевь въ другомъ мфств, товорю я съ горькимъ чувствомъ, -сомнительна. Мы прожили много, сотворили духомъ мало и стоимъ у какого-то страшнаго предбла"... Чувство "трепета" передъ этимъ "страшнымъ предфломъ" составляеть господствующій тонъ сочипеній Леонтьова. Передъ нимъ стонтъ, какъ кошмаръ, этотъ неотвязчивый призракъ "стращной бездны отчаниія", въ которую стремглавъ

^{1) &}quot;Востокъ, Россія и славянство". П, 66, 157.

²) Ibid, I, 122.

³⁾ I, 76; II, 66.

⁴⁾ I, 186.

летить въ своемъ быстромъ поступательномъ движеніи европейское человъчество и изъ которой нътъ возврата 1). Старому славянофилу тоже не чуждо было представление объ этой бездив, въ которую низвергается Европа; но противъ грознаго, призрака всемірнаго разрушенія онъ зналъ заговоръ: стоило ему, выражаясь словами Хомякова, "допросить духа жизни, сокрытаго глубоко" въ русскомъ народф, - и въ отвътъ духа онъ почерналъ душевное равновъсіе и въру въ будущее. У Леонтьева какъ разъ не было такого исхода; онъ сильно подозрѣваетъ, что "духъ жизни" есть "собственный духъ" господъ сочинителей; и потерявъ славянофильскую въру, онъ безпокойно мечется отъ научныхъ доказательствъ къ наблюденіямъ жизни—и вездф находитъ неопровержимыя доказательства всемірнаго пожара. Потушить его ифтъ возможности, н-Леонтьевъ зоветъ согражданъ спасать свое имущество. Но тутъ же онъ замфчаетъ, что пожаръ занялся совсвиъ подъ бокомъ, у братьевъславянъ; не усифваетъ онъ предупредить, что надо новременить возсоединиться съ братьями,-какъ уже повсюду вокругъ него начинаетъ пахнуть гарью и дымомъ: призывы писателя становятся какими-то дикими воилями ужаса и отчаянія... А вокругь него жизнь идеть своимъ чередомъ; все остается спокойно и тихо; пожара никто не хочетъ замътить. Въ старыя времена, одинокій мыслитель навърное поцаль бы въ пророки, а отъ неблагодарныхъ современниковъ онъ рискуетъ получить кличку помѣшаннаго.

VШ.

Въ чемъ же дѣло? Что доказываетъ наука Леонтьеву? О чемъ свидѣтельствуетъ ему эксизнь?

То, что Леонтьевъ считаетъ научнымъ обоснованіемъ своей теоріи, сводится къ воспроизведенію ивкоторыхъ частей теоріи Данилевскаго. Главная часть этой теоріи—ученіе о культурно-историческихъ тинахъ, ихъ преемствв и ихъ всемірно-исторической роли—отходитъ у Леонтьева на второй планъ, вивств со всвии всемірно-историческими построеніями и мечтаніями о роли славянства, основанными на этомъ ученіи. Національность, — отдѣльная національность, сама по себв взятая и служащая сама себв цѣлью,—составляетъ исключительный предметъ его теоретическихъ разсужденій. По отношенію къ отдѣльной національности Леонтьевъ развиваетъ ученіе Данилевскаго о возрастахъ ея развитія. Каждая національность, какъ и всякій организмъ, проходить,

¹) ∏, 39.

по Леонтьеву, три періода развитія: періодъ первоначальной простоты и неразвитости, затъмъ періодъ развитія-отъ простого къ сложному, составляющій, по Леонтьеву, періодъ процватанія; наконецъ, періодъ разрушенія— возвращенія къ первобытному неорганическому единству и однообразію. Извъстно, что большинство органическихъ теорій общественнаго развитія склонны злоупотреблять метафорическими сопоставленіями, вытекающими изъ уподобленія общества организму; теорія Леонтьева, медика по спеціальности, не знаетъ въ этомъ отношеніи никакихъ границъ. Въ исторіи Европы—періодомъ "цвѣтущей сложпости" были средніе въка, - время всяческихъ перавенствъ и противоположностей, провинціальнаго обособленія и корпоративныхъ привилегій. Напротивъ, новое время — время осуществленія идей свободы и равенства, время "либерально-эгалитарнаго прогресса" — есть періодъ разрушенія всего сложнаго, всего національно-самобытнаго. Процессъ этого разложенія есть ифчто стихійно-роковое, неизбъжное и непредотвратимое. Отдъльныя личности могутъ только немного ускорить или немного замедлить его. Отсюда Леонтьевъ извлекаетъ правило для всякаго разумнаго общественнаго дъятеля: до достиженія высшей точки развитія онъ долженъ содъйствовать движенію общества впередъ, къ достиженію этой точки, -- должень быть прогрессистомь; послю ея достиженія онъ долженъ сділаться охранителемь, чтобы задерживать движение по наклониой илоскости въ "бездну", въ состояние полнаго разрушенія 1). Но такъ какъ этого разрушенія, все равно, не предотвратить, то на будущее Леонтьевъ смотрить крайне пессимистически. "Глупо върнть въ копечное царство правды и блага на землъ; глупо и стыдно даже людямъ, уважающимъ реализмъ, вфрить въ такую не реализуемую вещь, какъ счастіе человъчества, даже и приблизительное" 2). Эгалитарный идеаль, правда, осуществится въ Европф, но въ грозномъ видъ подтянутой, дисциплинированной государствомъ демократін и въ "отвратительно-скучномъ" видѣ "однообразнаго братства" 3).

Не будемъ останавливаться на разборѣ ошибокъ изложенной теоріи и на выдѣленіи той доли истины, которая въ ней, несомиѣнно, заключается. Для насъ интересно здѣсь, главнымъ образомъ, то употребленіе, которое Леонтьевъ дѣлаетъ изъ этой теоріи относительно Россіи. Слѣдовало бы, повидимому, стоя на его точкѣ зрѣнія, заключить, что Россія также проходитъ неизбѣжный и апалогичный западному процессъ орга-

¹) 1, 151.

²) II, 38, 300.

³) II, 135, 297.

ническаго развитія, что она находится въ извѣстномъ возрастѣ этого развитія, отъ опредъленія котораго зависить выборь той или другой внутренней политики, прогрессивной или охранительной. Но туть-то и начинаются для Леонтьева различныя затрудненія. Мы видѣли, что относительно "возраста" Россін Леонтьевъ колеблется: можеть быть Россія молода, а можеть быть и ніть; можеть быть она еще процвітеть, а можеть быть и отцвътеть, не разцвътщи. По поводу органичности и последовательности русскаго развитія Леонтьевъ также питаетъ самыя тревожныя опасенія. Черты собственнаго культурнаго типа Россін нока совершенно неясны: это -, нфчто подобное виду дальнихъ облаковъ, изъ которыхъ по мъръ приближения могутъ образоваться самыя разнообразныя фигуры". Между тъмъ, Европа угрожаетъ увлечь Россію на европейскій путь (на который, по смыслу теоріп, она и безъ того должна роковымъ образомъ выйти), заразить ее продуктомъ своего гніенія: , либерально-эгалитарнымъ прогрессомъ". Что же можетъ противопоставить Россія Европф? Можеть быть, сравнительно низшій возрастъ своего органическаго развитія, какъ вытекало бы изъ теоріи Леонтьева? Или, можетъ быть, коренное раздичіе своего исконнаго культурнаго типа, какъ вытекало бы изъ теоріи Данилевскаго? То и другое было бы достаточно твердымъ оплотомъ противъ уклоненій паціопальнаго развитія въ сторону. Но оказывается, что ни въ то, ни въ другое, ни въ натурализмъ собственной органической теоріи, ни въ метафизику слявянофильской доктрины -- Леонтьевъ не вфрить. Національное развитіе Россіи не вытекаеть у него изъ законовъ органическаго роста; ивтъ у Россіи, по его мивнію, и собственныхъ скольконибудь выяснившихся чертъ культурнаготипа. Противопоставить Европъ, поэтому, она можетъ только старые культурные элементы, заплетвованные (вопреки органической теоріи и теоріи "культурно-историческихъ типовъ", которыя одинаково не допускаютъ заимствованія) — изъ Византін. Византійскій культурный типъ, въ противоположность славянскому, вполиф опредфлененъ: византизмъ въ государствф - значитъ самодержавіе, въ религін-православіе, византизмъ въ нравственномъ мір'є есть "наклонность къ разочарованію въ всемъ земномъ", отказъ отъ мечты о земномъ благоденствін народовъ, смиреніе и т. д. 1). "Византійскій духъ, византійскія начала и вліянія, какъ сложная ткань нервной системы, проникають насквозь весь великорусскій общественный организмъ"; имъ обязана Русь своимъ прошлымъ; имъ же она должна быть обязана п своимъ будущимъ.

¹⁾ I, 81.

IX.

Итакъ, вотъ къ чему пришелъ ученикъ Данилевскаго, утверждавшаго самобытность и непередаваемость національнаго духа и его продукта, національной культуры. Въ прошломъ наша культура создана византизмомъ, въ будущемъ ей грозить европеизмъ; сама по себъ это какая-то бълая доска, за исключеніемъ "можеть быть, нашего сельскаго поземельнаго міра" 1). Данилевскій по крайней мірь въ будущемь ожидаль, что народная самодъятельность нокроеть эту доску своими узорами; но Леонтьевъ и передъ этой надеждой останавливается въ сомнѣнін. Конечно, внутренняя самодѣятельность...; но что такое эта внутренняя самодъятельность? Въ смыслъ органическомъ, такъ сказать, физіологическомъ, организмъ всякаго государства, и Китайскаго, и Персидскаго, самодъятеленъ, ибо живетъ своими силами и уставами: а въ смыслв сознательной общественной двятельности, -- какъ бы изъ этой самодъятельности не вышелъ тотъ же, ненавистный Леонтьеву, либерально-эгалитарный прогрессь! Итакъ, пустое мѣсто въ прошедшемъ, настоящемь и, всего вфроятифе, будущемь; какой-то складочный амбаръ предметовъ византійской археологін, таковъ культурно-историческій типъ Россіи, подлежащій охраненію, не столько во имя того, что изъ него будеть, сколько во имя того, что онъ есть теперь. Къ этому, къ охранъ загадочнаго пустого мъста отъ всякаго чужого захвата, и сводится весь смысль политики Леонтьева, вся его государственная мудрость. Ни этотъ діагнозъ, ни эти пріемы явченія не могъ бы, конечно, никогда предложить человѣкъ, вѣрящій въ національный духъ или въ непреложность законовъ органическаго развитія; ни для того, ни для другого національная жизнь не могла бы представиться пустымъ мъстомъ, знакомъ вопроса, и культурное вліяніе со стороны не могло бы казаться заразъ и основой національной жизни (въ случав византизма) и ел безнадежнымъ искажениемъ (въ случав европеизма).

"Надо подморозить Россію, чтобы она не жила" ²) и чтобы она застыла въ настоящемъ видѣ до лучшихъ временъ, которыя, впрочемъ, могутъ и не придти никогда,—таковъ общій смыслъ всѣхъ практическихъ совѣтовъ Леонтьева. Всю средства хороши для этой цѣли, потому что "политика—не этика". Государственная власть должна дѣйствовать въ смыслѣ спасительнаго страха. Въ томъ же направленіи нусть дѣйствуетъ и религія—"это великое ученіе... столь практическое

¹) I, 98, 100, 186—187.

²) II, 86.

и върное для сдерживанія людскихъ массъ жельзной рукавицей" ¹). Нечего сантиментальничать о христіанствъ, какъ религін любви, одной любви безъ страха: это христіанство на розовой водицѣ инчего не имъетъ общаго съ христіанствомъ настоящимъ, "христіанствомъ монаховъ и мужиковъ, просвирень и пременихъ набожныхъ дворянъ". Реформы прошлаго царствованія закопны и хороши, но "не столько по существу, сколько нотому, что верховной власти было такъ угодно 2); по существу же, надо просить царя, чтобъ впредь онъ "держалъ насъ грозиће". Въ земствъ замътенъ оппозиціонный духъ; новые суды "учатъ народъ тому, что и бунтовщики есть очень "честные" и что "генералы и монахи бывають мощенинки" 3). Зло сословнаго строя замънено зломъ безсословности, равенства и либерализма. Для борьбы съ этимъ новымъ зломъ, съ "пагубой излишияго движенія", нужно поддерживать старые элементы и бороться противъ новаго теченія. Во имя этой борьбы Леонтьевъ готовъ даже желать, чтобы прекратилось обрусение нашихъ окраинъ, нашихъ инородческихъ и иновърческихъ элементовъ: въ нихъ, наприм., въ Остзейскомъ краф, все-таки есть та сила сопротивленія духу времени, которую даеть старая культура. Общимъ и злейшимъ врагомъ, противъ котораго должны силотиться все охранительные элементы, надо считать либерализмъ. Даже соціализмъ менње вреденъ, такъ какъ въ немъ есть элементы дисциплины и организацін ⁴); но съ либерализмомъ, какъ съ ученіемъ по самому принципу отрицательнымъ и разрушительнымъ, надо бороться всфии мфрами. Нетвердыхъ слфдуетъ подкупать;---на убъжденныхъ, по умфренныхъ, которые, благодаря своей осторожности, ускользаютъ отъ законнаго пресладованія, необходимо доносить: "пора перестать придавать слову доносъ унизительное значение" 5). Прочтя въ "Московскихъ Въдомостяхъ" извъстіе, что въ Берлинъ происходили опыты надъ освъщеніемъ внутренностей живой щуки посредствомъ электричества. Леонтьевъ и тутъ находить новодъ къ выражению любимыхъ мыслей: "Вотъ если бы придумать какой-нибудь приборъ для освѣщенія душъ умъренно-либеральныхъ, --- ну, тогда... полицін и политическимъ судамъ прибавилось бы дъла. А теперь что?.. Такъ отвъчаетъ намъ скептическій разумъ, и нашъ восторгь при видѣ прозрачной щуки холодѣетъ".

Кажется, дальше этого идти некуда. Леонтьевъ не отступаеть ни

¹⁾ II, 48.

²) II, 51.

³⁾ II, 96.

⁴⁾ II, 157.

⁵) II, 109, 120.

нередъ чъмъ. Съ тою же смълостью, съ какой онъ набрасываетъ программу, онъ даетъ и имя своему направленію. "Нашъ (русскій) консерваторъ, -- замъчаетъ онъ, -- бонтся; бонтся не столько дъйствій, сколько словъ... Какъ произнести слово -реакція? Какъ сознаться, что настало время реакціоннаго движенія?" "Пора учиться ділать реакцію". "Безъ насилія нельзя" 1). Чтобы пріостановить быстрое "таяніе" Россіи, необходимы "ретроградныя реформы". И особенно необходимо всеми силами бороться противъ народнаго образованія. Если Россія сопротивлялась еще сколько-нибудь успъшно духу времени, то этимъ мы обязаны до извъстной степени безграмотности русскаго народа. Итакъ, чтобы сохранить "національное своеобразіе", необходимый залогь самобытной культуры, надо повременить съ грамотностью, пока образованная часть общества сама не будеть зрячье. "Надо, чтобы намъ не испортили эту роскошную почву, прикасаясь къ которой мы сами всякій разъ чувствуемъ въ себѣ новыя силы" 2). Немногимъ синсходительнъе относится Леонтьевъ и къ высшему образованію. "Въ наше время, -говорить онъ, -- основаніе споснаго монастыря полезиве учрежденія двухъ университетовъ и цълой сотни реальныхъ училищъ".

Х.

Таковы последніе выводы политики, вытекавшей изъ теоріи національной самобытности, поскольку эта теорія отказалась отъ втры въ идеальное культурное содержаніе національнаго духа. Ограничившись преклоненіемъ передъ формами, выработанными историческимъ прошлымъ, она, поневолъ, должна была свести задачи внутренней политики къ охраненію уцъльвинкъ въ настоящемъ обломковъ этого прошлаго. Правда, та самая теорія органическаго развитія обществъ, которою Леонтьевъ дополнилъ теорію "культурно-историческихъ типовъ", должна бы была, повидимому, привести къ ифсколько инымъ выводамъ относительно внутренней политики. Но эту свою теорію Леонтьевъ придагаетъ вполит только къ объяснению европейскаго историческаго развитія; по отношенію же къ Россіи, какъ мы видѣли, онъ покидаетъ почву органической теоріп и направляеть свои усплія на выясненіе основъ русскаго культурнаго типа и на обсуждение средствъ для его охраненія. Такимъ образомъ, научные элементы его ученія находятся въ еще большемъ разногласіи съ элементами практическими, чёмъ это мы видъли въ ученін Данилевскаго.

¹) H, 78, 152, 80.

²) II, 24—27.

Но, можеть быть, оставаясь въ сферк чисто практическаго, прикладного ученія обоихъ авторовъ, не слѣдуеть ставить ихъ во взаимную связь? Можеть быть, выводы Леонтьева не есть слѣдствіе основныхъ принциповъ націоналистической теоріи, а только результать случайныхъ увлеченій отдѣльнаго писателя? Однимъ словомъ, можетъ быть, Леонтьевъ недостаточно типиченъ, черезчуръ своеобразенъ, чтобы представлять собою звено въ исторіи русскаго націонализма? Мнѣ нензвѣстно, какъ относился къ Леонтьеву самъ Данилевскій, но я знаваль послѣдователей Данилевскаго, которые съ отвращеніемъ отшатнулись отъ выводовъ этого нигилиста славянофильства и теоретика реакціи. Какимъ образомъ славянофильство, это догматическое и гуманитарное ученіє, могло дойти до такихъ предѣловъ теоретическаго и и нравственнаго отрицанія?

Безъ Данилевскаго, это, дѣйствительно, было бы довольно трудно понять. Но какъ разъ Данилевскій служить намъ здѣсь необходимымъ связующимъ звеномъ. Его "наука" одиниъ концомъ соприкасается съ метафизическимъ абсолютизмомъ стараго славянофильства, а на другомъ -- переходить въ пессимистическій фатализмъ Леонтьева. Его проповёдь національной исключительности стоить также посреднив между національнымъ мессіанизмомъ старыхъ славянофиловъ и отрицаніемъ всякой національной самодфятельности, какъ начала подозрительнаго, у Леонтьева. Данилевскій, правда, оставляль возможность дальныйшаго развития многихъ сторонъ національной жизни и въ этой возможности видель залогь будущности славянскаго культурнаго типа; напротивъ, Леонтьевъ, не довъряя будущему, возводилъ результаты прошлой исторической жизни въ національный догмать. Приходилось, какъ видно, выбирать одно изъ двухъ: или воздерживаться отъ формулировки положительныхъ задачъ національнаго развитія и сводить ихъ къ инчего не говорящему совъту "быть самими собой", или же брать матеріаль для такой формулировки изъ наличнаго содержанія русской жизни и дълать охранение этого содержания задачей внутренней политики.

Н то, и другое одинаково равиялось признанію, что никакой идеальной, творческой программы общественной дѣятельности на идеѣ національной самобытности построить нельзя. Какъ только хотѣли изъ этой идеи сдѣлать практическое употребленіе, сейчасъ же и получалась чисто-охранительная программа, все равно, у Данилевскаго, у Леонтьева или у кого бы то ни было другого. Данилевскій только не всегда высказывался по вопросамъ внутренней политики; но гдѣ онъ высказывался, его практическіе совѣты идутъ въ направленіи Леонтьева. Это

особенно хорошо можно наблюдать по рукописнымъ припискамъ его къ первоначальному тексту "Россін и Европы". Только крестьянское освобождение, противъ котораго, впрочемъ, не протестуетъ и самъ Леонтьевъ, вызываетъ безусловное одобрение Данилевскаго. Новый судъ онъ хвалитъ "въ Россін и Европъ" потому, что "спеціально занадное играеть въ немъ весьма второстепенную роль". Но въ рукоинсной замъткъ къ этому мъсту прибавлено: "все написанное мною здъсь--вздоръ. Реформа только начиналась, и хотълось върить, а потому и върилось, что она приметь разумный характеръ; на деле она обратилась въ иностранную каррикатуру. При большей трезвости мысли это можно и должно было предвидеть". Освобождение печати отъ цензуры онъ, опять-таки, одобряетъ потому, что система административныхъ распоряженій по нечати "есть продуктъ, къ намъ изъ-чужа занесенный". За то по поводу матеріалистическихъ увлеченій нигилистовъ онъ сердито жалуется на "безтолковость нашей полицін" 1). И возможность, что Россія не исполнить своего предназначенія, пе разовьеть самобытной культурной иден и не превратится въ "культурноисторическій типъ", а останется простою безформенной массой, этнографическимъ матеріаломъ, -эта возможность, страхъ передъ которой служить главной движущей пружиной теорін Леонтьева, представляется ниогда Данилевскому совершенно отчетливо. Проповъдь либерализма, гуманности и другихъ началъ, составляющихъ также и по Данилевскому особенность западно-европейской цивилизацін, ведеть, н' по его мивнію, къ "обезнароденію"; и по его взгляду предупредить такое національное обезличеніе должна временная пріостановка экизни ²). Онъ даже видить историческую миссію турокъ въ томъ, что "магометанство, наложивъ свою леденящую руку на народы Балканскаго полуострова, зиморивь вь нихь развитие жизни, предохранило ихъ отъ потери правственной народной самобытности". Въ примъчаніи къ этому мъсту онъ высказываетъ и разочарованіе, - совершенно подобное Леонтьевскому, -- но поводу того, что освобожденные славяне сдалались либералами, а не самобытниками. "Теперь мы видимъ, — говоритъ онъ, — что эта леденящая рука была полезнѣе для сербовъ, чѣмъ ихъ освобожденіе". И даже самый терминь "замораживанія" ложится подъ пере Данилевскаго, и, притомъ, какъ разъ въ такомъ случав, который оба они, и Данилевскій, и Леонтьевъ, считають возможнымъ въ Россін: въ случав неизлвчимости "евронейской" бользии. "Чтобы сохранить органическое вещество, не живущее уже органическою жизнью,

¹) "Россія и Европа", 300, 310, 316.

²) 437, 345.

ничего другого не остается, какъ герметически закупорить его въ илотный сосудъ, прекратить къ нему доступъ воздуха или же заморозить" 1). Дѣло идеть о Меттериихѣ, о томъ, что ему удалось на время "заморозить" духа жизни, неосторожно внесеннаго въ Австрію либеральными реформами Іосифа П. Меттернихъ, по Данилевскому,— геніальный политикъ, дѣятельность котораго смѣло можетъ выдержать сравненіе съ Цезарями, Карлами, Петрами, хотя она и была осуждена исторіей на неудачу и безилодіе. Кажется, достаточно всѣхъ этихъ сопоставленій, чтобы ноказать, что въ практическихъ взглядахъ Данилевскаго и Леонтьева вовсе не было такой разницы, какъ иногда полагаютъ, и что эти практическіе взгляды не случайно, а совершенно естественно вытекали у обоихъ изъ теоріи національной псключительности.

XI.

Итакъ, національная идея стараго славянофильства, лишенная своей туманитарной подкладки, естественно превратилась въ систему національнаго эгоизма, а изъ послъдней столь же естественно была выведена теорія реакціоннаго обскурантизма. Далбе въ этомъ направленін, какъ я уже сказалъ, идти было некуда; идея національности была вполит исчерпана. Только однажды здравый смыслъ Данилевскаго подсказалъ ему, по одному частному вопросу, то возражение, которое само напрашивалось противъ этого возведенія національныхъ особенностей въ безусловное и исключительное начало исторической жизни. Рфчь идеть объ одномъ изъ самыхъ коренныхъ гуманистическихъ догматовъ стараго славянофильства, которымъ не решился поступиться и Данилевскій, -- о свобод'в нечатнато слова. Мы только-что вид'вли, что обычный способъ Данилевскаго хвалить какое-нибудь явление состоитъ въ томъ, чтобы показать, что оно русское, а не чужеземное. На этотъ разъ онъ не рѣшается доказывать, что свобода слова есть спеціально русское явленіе. "Свобода слова, — говорить онъ, — не есть право или привилетія политическая, а право естественное. Слёдовательно, въ освобожденін отъ цензуры, по самой сущности діла, не можеть уже быть никакого подражанія, ибо иначе и хожденіе на двухъ ногахъ, а не на четверенькахъ, могло бы считаться подражаніемъ кому-нибудь" 2). Можно сказать, продолжая это сравненіе, что наши націоналисты слишкомъ часто заставляли насъ ходить на четверенькахъ, чтобы мы не

¹) 371.

²) 302.

казались подражателями двуногихъ. Насъ дѣйствительно хотѣли противопоставить остальнымъ двупогимъ, какъ особый "планъ организацін", чуть ли не какъ особый зоологическій типъ. Данилевскій какъ будто не замічаеть, что, заговоривши объ "естественныхъ правахъ" человъка, онъ въ корень разрушилъ свою теорію несонзмърнмыхъ національныхъ типовъ. Называть ли свободу слова старомоднымъ словомъ, естественнаго" права, или оставить за инмъ болъе подходящій терминъ права политическаго, остается несомибинымъ, что замъчаніе, сдъланное Данилевскимъ по поводу этого права, могло бы быть повторено н относительно массы другихъ признаковъ, роднящихъ насъ съ остальными двуногими. Согласно съ дъйствительно научными элементами теорій Данилевскаго и Леонтьева, и вопреки ихъ практическимъ выводамъ, изъ существованія этихъ общечеловъческихъ чертъ общественпаго развитія цензбіжно слідуеть заключеніе, что въ той же степени, въ какой признается единство соціальной эволюціи человъческихъ обществъ, должно быть признано и единство ихъ общественныхъ идеаловъ.

XII.

Протестовать противъ теоріи національной исключительности и противъ построенной на ней программы внутренней политики можно и должно было, конечно, съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія. Оставаясь въ предълахъ пашей темы, мы будемъ, однако, следить только за тъми выраженіями протеста, которыя заявлены были съ точки зржнія самого славянофильства. До сихъ поръ мы познакомились съ судьбой только одной стороны стараго слявянофильскаго ученія, съ судьбой идеи національности. Мы видёли, что логическое развитіе этой иден было вмъстѣ съ тѣмъ и процессомъ разложенія стараго славянофильства. Теорін, подобныя Леонтьевскимъ, показали съ безусловной убъдительностью, что идея національности въ своемъ практическомъ примбиеніи можетъ дать только мертворожденные плоды. Но старый славянофиль, если бы давать ему очную ставку съ развивателями этихъ теорій, навърное не призналь бы ихъ неудачу—неудачей самого славянофильства. Въ самомъ дълъ, не произошла ли эта неудача только потому, что продолжатели славянофильства оторвали идею національности отъ общей славянофильской основы? Развитіе національной иден послъ стараго славянофильства состояло въдь, въ сущности, въ постепенномъ устраненіи изъ нея тъхъ гуманистическихъ, идеальныхъ элементовъ, съ которыми у родоначальниковъ славянофильства

она была неразрывно связана. Для старыхъ славянофиловъ, какъ мы уже говорили, самая національность была дорога нотому, что она считалась носительницей высшаго идеальнаго содержанія, провозв'ястищей міру вселенской правды. Эта идея мессіанизма славянскаго илемени была отброшена, какъ ненаучная и не оправдываемая д'яйствительнымъ содержаніемъ русской жизни. Но если славянофильство не окончательно умерло въ Данилевскомъ и Леоптьевѣ, то, оставаясь вѣрнымъ самому себъ, оно могло искать своего возрожденія только въ реставраціи своихъ старыхъ идеальныхъ элементовъ, — въ возстановленіи теоріи всемірно-историческаго призванія славянства. Во всякомъ случаѣ, пока эта послѣдняя сторона славянофильства не была исчернана до своихъ послѣдняхъ логическихъ выводовъ, нельзя было сказать, что славянофильство совершило весь кругь возможнаго для него развитія.

На какомъ именно изъ идеальныхъ элементовъ стараго славянофильства следовало построить его реставрацію, -- относительно этого вопроса также не могло быть спора. Государственность старые славянофилы инкогда не считали идеальнымъ началомъ жизни: апоесозъ государственности суждено было выставить одной изъ фракцій нашего западиичества. Славянофильская доктрина, строившая общество не на формальномъ договоръ, а на свободномъ любовномъ общении его членовъ, всегда смотръла на государственное начало какъ на необходимое зло. Болбе права на всемірно-историческое значеніе могло имфть само это общественно-экономическое начало славянофиловъ, -- славянофильская община. Одно время общинное начало и выдвинулось на первый планъ, какъ по преимуществу всемірно-историческое: конечно, этому особенно содъйствовало то совнаденіе, которое находили между нимъ и соціальноэкономическими идеалами запада. Но по той же самой причинт,-по своему близкому соотвътствію западнымъ ученіямъ, а также и по слишкомъ близкой связи съ дъйствительностью, -учение объ общинъ скоро перестало быть спеціальнымъ достояніемъ славянофильства и освободилось отъ его метафизическаго обоснованія. Чтобы проследить дальнъйшую судьбу этого ученія, намъ пришлось бы выйти изъ преділовь славянофильства въ область другихъ направленій русской общественной мысли. У истинныхъ славянофиловъ идея общины никогда не имъла самостоятельнаго значенія. Славянофилы цѣнили общину не столько какъ справедливую форму соціальной организаціи, сколько какъ безсознательное выражение чувства христіанской любви, т. е. какъ проявление религіознаго начала, присущаго русскому народному духу.

ХШ.

Религіозное начало и было темь элементомь, который всего удобиве могъ быть и дъйствительно быль положень въ основу славянофильскаго возрожденія. Потребность поставить это религіозное начало выше національнаго проявляется весьма рано въ славянофильствъ. Еще въ 1858 г. Кошелевъ сводитъ къ этому свое разногласіе съ Н. С. Аксаковымъ, по поводу программы, напечатанной Аксаковымъ при объявленін объ изданін газеты "Парусъ". "Наше знамя,—писалъ И. С. Аксаковъ въ этомъ объявленін, русская народность, какъ залогъ новыхъ началь, поливішаго жизненнаго выраженія общечеловьческой истины". "Программа ваша, —отвъчаетъ А. И. Кошелевъ, —хороша, очень хороша; по жаль, что вы выставили знаменемъ не вещь, а форму... Одна народность не доведеть еще насъ до общечеловъческаге значенія... Въра, одна въра можетъ... создать нѣчто органическое. Ее-то вы, по ложной стыдливости, бонтесь поставить... во главу угла. Везъ православія наша народность — дрянь. Съ православіемъ наша народность имъетъ міровое значеніе. Какъ ваша программа ни хороша, а ее подписать я бы не могъ" 1).

Исходя изъ этого заявленія, мы могли бы остановиться на д'ятельности редактора "Русской Бесфды" и сотрудника другой "Бесфды", "въ статьяхъ и наклонностяхъ" которой Леонтьевъ своимъ привычнымъ нюхомъ почуяль "другое славянофильство", въ противоположность "бюлому славянофильству Дапилевскато" 2). Но это отвътвление слишкомъскоро свело бы насъ съ почвы славянофильства и привело бы къ воззрѣніямъ прогрессивной части русскаго общества. Мы сейчась и придемъ туда же, по путемъ ивсколько болве длиннымъ-путемъ анализа последовательнаго развитія славянофильской богословской иден. Предварительно отмътимъ, однако же, еще одинъ признакъ поворота къ "другому" славянофильству, признакъ относящійся ко времени, когда содержаніе "бълаго славянофильства" уже вполиъ выяснилось. Я говорю ознаменитой рѣчи Ө. М. Достоевскаго на пушкинскомъ праздникѣ 1880 г.,той рѣчи, въ которой авторъ "старца Зосимы" провозглашалъ, что "стать настоящимъ русскимъ, стать вполиф русскимъ, можетъ быть, и значить только стать братомъ всехъ людей, всечеловъкомъ". Въ противоположность проповеди національнаго эгонзма и ненависти къ Европъ, знаменитый писатель восклицаль въ этой ръчи: "о, пароды

¹⁾ Колюпановъ. А. Н. Кошелевъ, П, 250, 251.

^{2) &}quot;Востокъ, Россія и славянство", І, 195.

Европы и не знають, какъ они намъ дороги!" и съ воодушевленіемъ пророчествоваль: "впослѣдствін—я вѣрю въ это—мы, то-есть, конечно, не мы, а будущіе, грядущіе русскіе люди поймуть уже всѣ до единаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить—внести примиреніе въ европейскія противорѣчія уже окончательно, указать исходъ европейской тоскѣ въ своей русской душѣ всечеловѣчной и всесоединяющей, вмѣстить въ нее съ братскою любовью всѣхъ нашихъ братьевъ, а въ концѣ концовъ, можетъ быть, и изречь окончательное слово великой общей гармоніи, братскаго окончательнаго согласія всѣхъ илеменъ но Христову евангельскому закону". Итакъ, братское единеніе христіанъ во всемірной церкви, какъ цѣль, и всеобъемлющія свойства русской души, какъ средство,—этотъ логическій выводъ изъ славянофильской идеи о религіозной всемірно-исторической миссіи русскаго народа уже обрисовался въ рѣчи Достоевскаго совершенно отчетливо.

"И ты, Бруть!" восилицаеть по поводу этой рѣчи К. Леонтьевъ ¹). Слѣдя за дѣятельностью Достоевскаго, только что онъ начиналь надѣяться, что авторъ "Братьевъ Карамазовыхъ" выйдетъ, наконецъ, "на настоящій церковный путь"—и вдругъ эта рѣчь! Опять эти "народы Европы"! Опять это "послѣднее слово всеобщаго примиренія"!

Что бы, въ самомъ дълъ, зпачило это "послъднее слово" въ устахъ писателя, проповъдовавшаго смиреніе и терпъніе, необходимость правственнаго самоусовершенствованія и тщету общественной даятельности? Съ своею моралью монаха и отщельника, какимъ образомъ Достоевскій разсчитываль осуществить "великую общую гармонію" и "внесть примиреніе въ европейскія противорьчія"? "Братство и гуманность, -- могъ возразить ему Леонтьевъ, - дъйствительно рекомендуются Св. Писаніемъ Новаго Завѣта – для загробнаго спасенія личной души; по въ Св. Писанін нигдт не сказано, что люди дойдутъ посредствомъ этой гумацности до мира и благоденствія: Христосъ памъ этого не объщаль", напротивъ, Евангеліе прямо и ясно говоритъ объ "ухудшенін человъческихъ отношеній подъ конецъ свъта" 2). Приномнимъ, кстати, и другого нашего знаменитаго писателя, который, тоже основываясь на христіанской морали, выводиль изъ нея, что всякое ўсовершенствованіе въ условіяхъ матеріальной жизпи есть только увеличеніе грфха въ мірѣ, что истинная жизнь состоить не въ суммѣ матеріальныхъ благъ, а въ духовномъ дъланін, и что когда эта жизнь наступитъ въ полноть, — родъ человьческій на земль должень прекратиться. Такъ или иначе, будеть ли конець этого міра сопровождаться всеобщимъ

¹⁾ II, 297.

²) II, 300.

раздоромъ, войной всѣхъ противъ всѣхъ, или одухотворенное человѣчество незамѣтно для себя самого перейдетъ изъ этого міра въ будущій,—во всякомъ случаѣ, будущій міръ и личное блаженство остаются конечною цѣлью христіанина. Какова же можетъ быть роль христіанскаго начала въ настоящей общественной жизни человѣчества, и какую можно основать на немъ соціальную мораль и политику?

XIV.

Отвѣтомъ на этотъ вопросъ служить вся литературная дѣятельность нашего блестящаго философа Вл. С. Соловьева. Смѣлою рукой онъ свелъ царство Божіе съ неба на землю и слилъ религію и прогрессъ, христіанство и альтруизмъ, небесное и земное, божественное и человѣческое въ одной основной мистической идеѣ "богочеловѣчества".

Въ какой-то своей статъ К. Леонтьевъ сравнивалъ свою литературную дъятельность съ луной, которая постоянно обращена къ наблюдателю только одною своей стороной; другая — и при томъ болъе важная — остается совершенно неизвъстною. Съ гораздо большимъ основаніемъ можно было бы приложить это сравненіе къ Вл. С. Соловьеву. Соловьевъ началъ свою дъятельность какъ философъ, продолжалъ какъ богословъ и, кажется, хочетъ закончить какъ публицистъ 1). Конечно, не но его винъ, — только послъдняя часть его дъятельности извъстна большой публикъ. Между тъмъ, въ публицистическихъ статьяхъ своихъ Вл. Соловьевъ развиваетъ, — преимущественно въ полемической формъ, — только критическую, отрицательную часть своего ученія. Догматической, конструктивной стороны здъсь почти совстыть нътъ, между тъмъ какъ объ эти стороны его ученія находятся въ самой тъсной связи. Такимъ образомъ, миъ приходится начать съ немногихъ указаній на положи-

¹⁾ Оставляю текстъ этой лекціп такъ, какъ она была произнесена въ 1893 г. Какъ извъстно, предсказаніе, сдъланное въ текстъ, не совсѣмъ оправдалось. Соловьевъ ущелъ съ нублицистическаго поприща, которое началъ такъ блестяще, но которое всегда оставалось для него лишь ередстволя, а не увлею. Онъ не увлекъ и не могъ увлечь за собой общества на свою дорогу; — и разочарованный, изолированный, тяжело чувствуя свое разъединеніе съ главнымъ теченіемъ общественной жизии и мысли, онъ кончилъ сліяніемъ своей философіи съ своимъ богословіемъ въ самой мрачной эсхатологіи, на какую только когда либо была способна мятущаяся душа средневъковаго схоластика. Трагизмъ такого конца и, еще болъе, —впутренняя причина этого трагизма едва ли своевременно были поняты многими. Ръшаемся думать, что зерно этой жизненной неудачи лежало въ той позиціи, —занятой покойнымъ мыслителемъ, —какая охарактеризована въ настоящей лекціи.

тельную сторону теорій Соловьева, какъ ин мало компетентнымъ чувствую я себя для передачи этихъ теорій ¹).

По системѣ Соловьева, въ основѣ міра лежить Божественное начало, не въ наитенстическомъ смыслѣ міровой души, а въ дуалистическомъ смыслѣ Творца и въ христіанскомъ смыслѣ троичнаго Бога. Троичность Соловьевъ объясияетъ какъ различение трехъ сторонъ Божественной природы-бытія, дійствія и сознанія: Божественное существо есть, оно проявляеть свое существование дъятельностью, оно сознаеть себя дъйствующимъ. Въ полноть единой Божественной природы заключался отъ въка и противобожественный элементь множественности, безнорядочнаго, безобразнаго и безформеннаго хаоса; но возможность проявленія этого хаоса извив сдерживалась всемогуществомъ Божінмъ. Однако же, въ своемъ совершенствъ Божественное существо не можетъ ограничиваться темъ, чтобы подавлять хаосъ своимъ всемогуществомъ. Чтобъ "имъть право окончательно побъдить хаосъ и свести его къ въчному небытію", надо показать не только свою силу падъ нимъ, но и свою правоту и свою благость. Съ этою цалью Божество перестаеть подавлять въ себъ хаосъ. — и возникаеть міръ, какъ нъчто противоположное Богу. Но цъль созданія міра въ томъ именно и заключается, чтобы эту противоноложность міра Богу окончательно уничтожить. До появленія міра Богъ быль всфиъ; теперь Онъ хочеть, чтобы все было Богомъ. Въ этомъ постепенномъ проникновении міра божественнымъ (и при томъ троичнымъ) началомъ и состоитъ исторія міра. Въ ходѣ этой исторіи Божественное начало медленно и постепенно побъждаетъ начало противубожественное, дьявольское. Цфлымъ рядомъ усилій опо вводить въ міръ сперва механическое единство-всеобщаго тяготьнія, потомъ динамическое единство—невѣсомыхъ физическихъ силь, затъмь органическое единство-жизненной силы. Хаосъ превращается такимъ образомъ въ "космосъ", —міръ устроенный. Наконецъ, въ человѣкѣ твореніе совершеннымъ образомъ, свободно и взаимно. соединяется съ Божествомъ: "посредникъ между небомъ и землей, человъкъ предназначается быть всемірнымъ мессіей, который спасетъ міръ отъ хаоса, соединивъ его съ Богомъ". Троичное начало воплощается и въ человъчествъ въ видъ трехъ элементовъ: мужчины, женщины и-общества. Но это "естественное человъчество" есть только зародышъ, прообразъ будущаго богочеловъческаго возсоединенія. По-

¹⁾ Позволю себъ прибавить, что статья эта, прежде напечатанія ея въ "Вопросахъ Психологіи и Философіи", была прочитана покойнымъ В. С. Соловьевымъ и фактическое изложеніе своего ученія онъ призналъ совершенно правильнымъ.

степенное развитие этого зародыша, -- постепенное проинкновение .. естественнаго человъчества" божественнымъ началомъ совершается во всемірной исторіи, и тройнымъ илодомъ этого проникновенія являются: совершенный мужчина или Богочеловъкъ, совершенная женщина -или Богоматерь и совершенное общество--или Церковь. Послъ пришествія Христа, сосредоточившаго принципъ Богочеловъчества въ одномъ своемъ лиць, -- задачу полнаго осуществленія иден Богочеловьчества беретъ на себя Церковь. Для того, чтобы выполнить эту задачу полнаго сліянія человічества съ Божествомъ, церковь должна пропитать мірское общество христіанскимъ началомъ. Но для этого ей необходимо содфйствіе государства; слідовательно, церковь должна стоять выше государства. Принципъ церкви, стоящей выше государства, христіанство осуществило въ наиствъ: наиство и должно поэтому оставаться средоточіемъ всемірной церкви. Что касается церкви восточной, — въ ней, напротивъ, государи старались стать выше церкви. Для этого они измыслили, одну за другой, цалый рядъ ересей, общій смыслъ которыхъ заключается въ томъ, что восточные императоры старались теоретически и практически отдълить человъческое начало отъ божественнаго, Кесарево отъ Божія, міръ отъ церкви. Византійскіе церковные іерархи изъ національныхъ и личныхъ разсчетовъ предпочитали получить не совсемъ точную формулу веры изъ рукъ императора, чемъ взять истинную формулу изъ рукъ напы. Наконецъ, періодъ ересей кончился; ереси, благодаря особенно настойчивости западной церкви, были осуждены вселенскими соборами. Тогда еретическое понимание церкви, какъ сферы жизни, обособленной отъ государства, "вошло внутрь" восточной церкви. Замкнувшись въ свою обособленность отъ міра и общества, она пріобръда мертвенный характеръ и не могла дъйствовать на жизнь, не могла воспитывать общества. Справедливымъ наказаніемъ за это была побѣда надъ ней пслама,—религін, въ которой тотъ же принципъ обособленности религіи отъ міра былъ проведенъ вполив открыто: въ нравственномъ ученін-какъ теорія фатализма, въ догматическомъ - какъ теорія замкнутаго въ себѣ единобожія. Напротивъ, западная церковь постоянно старалась о воспитаніи общества и о проникновеніи его христіанскими начами. Но у ней не было тѣхъ средствъ для успѣха, которыя могло дать только сильное государство: государство, въ лицѣ Германской имперіи, вступило вмѣсто союза въ борьбу съ западною формой христіанства. "Историческое предназначеніе Россін состонть, кажется, въ томъ, чтобы дать всемірной церкви политическую власть, необходимую ей для спасенія и возрожденія Европы и міра". Только съ помощью такого союза между русскимо царемо и римскимъ первосвященникомъ всемірная церковъ можетъ выполнить лежащую на ней высшую задачу — осуществить на землѣ принципъ Богочеловъчества. Союзъ этотъ необходимъ, слѣдовательно, и для выполненія всемірно-исторической миссіи русскаго народа 1).

Само собою разумѣется, что я передаль эту мистическую космогонію Соловьева и эту реставрацію среднев вковой иден о союз всемірной церкви со всемірной монархіей — совстить не для того, чтобъ опровергать ихъ. Для опроверженія пужно стоять на сколько-инбудь общей почвъ и оперировать одинаковымъ методомъ. Въ настоящемъ случаъ это первое условіе теоретическаго обсужденія, очевидно, невыполнимо. Мы имфемъ дфло съ догматическимъ построеніемъ, развиваемымъ изъ ифсколькихъ богословско-метафизическихъ аксіомъ съ помощью діалектическаго метода и не допускающимъ, следовательно, никакой другой повърки, кромъ формально-логической. Чтобы показать, въ какой степени далеки методическіе пріемы Соловьева отъ обшепринятыхъ пріемовъ научнаго мышленія, приведу наудачу песколько примеровъ. Мы, конечно, не будемъ, напр., протестовать противъ вывода Вл. Соловьева, что богатые должны принять участіе въ соціальной реформѣ. Но не угодно ли вамъ придти къ этому выводу по методу Соловьева. Въ Евангелін говорится, что богатому такъ же трудно пройти въ царствіе небесное, какъ верблюду пролезть сквозь прольныя уши. Пгольныя уши--это, по толкованію Соловьева, пусть будеть частная благотворительность. Но уши не надо понимать въ буквальномъ смыслъ; извъстно, что въ Герусалимѣ были ворота съ такимъ названіемъ, а въ ворота пройти уже возможно. Теперь, пусть игольныя уши въ смыслѣ воротъ будуть озцачать соціальную реформу. Итакъ, вотъ истинный и глубокій смыслъ евангельскаго изреченія (соединяя оба комментарія): не безконечно-узкій ін невозможный путь частной благотворительности предлагаеть Евангеліе богатымь, чтобы войти въ царствіе небесное, а тоже узкій и трудный, но все же возможный цуть соціальной реформы.

Можно предположить, однако же, что въ данномъ случав Вл. Соловьевъ хотвлъ дать не доказательство, а только иллюстрацію къ своему положенію. Конечно, и эти пріемы пллюстраціи довольно характерны, но нѣтъ недостатка въ другихъ случаяхъ, гдѣ иллюстрацію становится трудно отличить отъ доказательства. Въ Инсаніи говорится объ "игрѣ" Божественной мудрости. Это значитъ, что Божественная мудрость "вызываетъ передъ Богомъ безчисленныя возможности всѣхъ внѣбожественныхъ существованій и снова поглощаетъ ихъ въ его все-

¹⁾ La Russie et l'Eglise universelle, 265.

могуществъ присутствие въ Божествъ подавляемаго имъ внутри себя потенціальнаго хаоса. Книга Бытія начинается со словъ: въ началѣ сотворилъ Богъ пебо и землю; "въ началѣ", по-еврейски bereshith, выражено существительнымъ женскаго рода: это значитъ, что Богъ сотворилъ небо и землю въ reshith, въ женственномъ принципѣ самого себя, въ своей Божественной Мудрости. Однимъ словомъ, созерцательность средневъковаго мистика соединяется въ ученіи Соловьева съ схоластической казунстикой опытнаго талмудиста. Діалектическое развитіе основныхъ мыслей осложняется у него богословскими пріемами анагогическаго толкованія священныхъ текстовъ. Тщетно было бы искать этихъ пріемовъ въ современной логикѣ; чтобы найти ихъ, недостаточно даже обратиться отъ логики Милля къ логикѣ Гегеля: надо верпуться для этого къ логикѣ Оригена Александрійскаго.

XV.

Практическіе выводы Соловьева изъ изложенныхъ теорій истъ надобности излагать подробно: выводы эти у всъхъ въ намяти. Религіозная задача-выше всего на свъть и безусловно выше національности. Задача эта, сліяніе челов'ячества съ Божествомъ, по самому существу своему всемірная и требуеть для своего выполненія всемірной церкви, вооруженной силами всемірнаго государства. Русскій пародъ призванъ къ рфшенію этой задачи, но первымъ шагомъ къ этому рфшенію должень быть акть національнаго самоотреченія: отреченія оть узкой формы національной церкви. Таково необходимое средство для спасенія человіческаго рода. Но это средство, первое для осуществленія всемірно-исторической миссіи Россіи, само является для проповъдника абсолютнаго идеала июлью, и довольно отдаленной. Къ достиженію ея должны быть изысканы ближайнийя средства. Самымъ первымъ препятствіемъ являются при этомъ всё теоріи и настроенія національнаго самоограниченія и эгонзма. Соловьевъ и ділается ихъ горячимъ противникомъ и вступаетъ на путь публицистической борьбы. Борьба эта сравнительно недавно началась и не можеть считаться законченной; было бы, поэтому, преждевременно произносить о ней какоелибо общее суждение. Но нельзя, однако, не замътить, что, по мъръ того какъ борьба затягивалась, собственная точка зрфнія публицистабогослова, какъ будто, до нѣкоторой степени перестанавливалась. Не то, чтобы мы имфли право заключать, что основныя задачи Соловьева въ чемъ-нибудь видоизменились: ни въ одномъ изъ печатныхъ произ-

веденій, сколько намъ извѣстно, авторъ ин отъ чего не отказывался изъ высказаннаго раньше. Но его последняя цель - проникновение человъчества христіанствомъ съ помощью всемірной церкви — какъ-то отодвинулась и стушевалась, а ближайшія средства - борьба со всевозможными формами національнаго эгонзма-все болће и болфе дълались цълями сами по себъ. Вмъстъ съ тъмъ, все ръзче подчеркивались точки соприкосновенія между взглядами Соловьева и воззрѣніями прогрессивной части нашего общества, и въ то же время все поливе забывались коренныя особенности и основныя иден его общаго міровоззранія. Въ результать, Соловьева стали, говоря его словами, "укорять въ последнее время за то, что онъ, будто бы, перешель изъ славянофильскаго лагеря въ западническій, вступиль въ союзъ съ либералами и т. п. " 1). Отвъчая на эти "упреки", Соловьевъ могъ съ полнымъ основаніемъ доказывать, что своей пронов'ядью онъ не только не отрицаетъ, а, напротивъ, возрождаетъ къ повой жизин старое славянофильство; что, во всякомъ случав, развивая его гуманистические элементы, онъ остается болюе вырнымь его истиниому духу, чемъ офиціальные защитники славянофильства изъ дагеря паціопалистовъ. Таково, какъ мы думаемъ, и есть въ дъйствительности отпошение соловьевскихъ теорій къ идеямъ старыхъ славянофиловъ. Но каково же ихъ отношеніе къ идеямъ "либераловъ" и западниковъ? Ограничивается ли связь между ними некоторыми совпаденіями во практическихъ выводахъ, или же она проникаетъ дальше и глубже? Другими словами, -- роднитъ ли Соловьева и либераловъ только общая имъ идея религіозной свободы, къ которой та и другая сторона пришли разными путями и которая служить имъ для различныхъ цёлей; или же можно идти дальше и установить также и между целями объихъ стороиъ некоторое согласіе, примиривъ иден Соловьева о водвореній на землъ царства Божія съ теоріей "либерально-эгалитарнаго прогресса?"

Нопытку такого примиренія сділаль, какт извістно, самъ Соловьевь. Необходимость этой попытки, вытекала, дійствительно, изъ самаго существа его всемірно-историческаго построенія: точиве говоря, изъ необходимости примирить это ностроеніе съ историческими фактами. Но построенію Соловьева всемірная исторія должна была представляться постепеннымъ осуществленіемъ въ жизни христіанскаго идеала, а дійствительный ходъ историческаго развитія Европы совершался, какъ будто бы, скорте въ смысліт, либерально-эгалитарнаго прогресса". Самъ собой возникалъ, такимъ образомъ, вопросъ о томъ, въ какомъ отношеніи находится этотъ прогрессъ либеральныхъ идей къ предпо-

 $^{^{1}}$) "Національный вопросъ въ Россін", П, 322.

лагаемому или желательному прогрессу христіанскихъ началъ: мфиастъ онъ ему, или, напротивъ, содъйствуетъ? И Соловьевъ, недавно еще, отвъчалъ на этотъ вопросъ совершенно согласно съ своими теперешними антагонистами націоналистическаго лагеря—и вовсе не согласно съ требованіями собственной теоріи. Да, плоды деятельности современныхъ націй и государствъ, освобожденныхъ со времени реформаціи отъ церковной опеки и думавшихъ сдёлать дёло лучше, чёмъ церковь, эти плоды неутишнтельны. Идея христіанства-псчезла, милитаризмъ превратиль цёлые народы въ вооруженныя армін и развиль національную вражду, подобной которой не знали средніе въка. Соціальный антагонизмъ обострился и борьба классовъ грозитъ всеобщимъ переворотомъ. Нравственный уровень падаеть, число сумасшествій, самоубійствъ и преступленій растеть. Таковы итоги прогресса, достигнутаго секуляризованной Европой въ теченіе трехъ или четырехъ последнихъ вёковъ. Есть, конечно, соглашался Вл. Соловьевъ, и частные усиъхи: сиягчены уголовные законы, упичтожены нытки. Выигрышъ значителенъ, но можно ли считать его окончательнымъ? 1). Какъ видимъ, исторія четырехъ последнихъ вековъ, то есть вся исторія современной европейской мысли, мало сдълала, по этому изображенію, для осуществленія на землъ иден Богочеловъчества.

Прошло пемного времени, и Вл. Соловьевъ прочелъ свой рефератъ въ Исихологическомъ Обществѣ, надѣлавшій столько шума и вызвавшій цѣлую литературу, не столько "теоретическихъ споровъ", сколько "изобличеній", какъ удачно формулировали содержаніе этой литературы "Московскія Вѣдомости". Чѣмъ же былъ вызванъ весь этотъ шумъ? Что сказалъ Соловьевъ новаго и неожиданнаго?

XVI.

Неожиданнаго пе было ровно инчего для тѣхъ, кто слѣдилъ за предыдущею литературною дѣятельностью Соловьева. Но новое, дѣйствительно, кое-что было. Разъ противопоставивъ свой теократическій идеалъ духу времени, Соловьевъ не могъ остановиться на *отрицаніи* духа времени, на томъ нессимпзмѣ отчаяпія, который, въ сущности, былъ бы довольно близокъ къ Леонтьевскому и которому не совсѣмъ чужда только-что приведенная цитата ²). Онытъ ноказалъ, какъ мало было въ

¹⁾ La Russie, LVIII.

²⁾ Нечего и говорить, что Соловьевская эсхатологія послѣднихъ годовъ, его ученіе о близкомъ пришествій антихриста, именно и было возвращеніемъ къ такому пессимизму отчаянія, послѣ неудавшейся попытки— пропаганди-

этомъ нессимнямѣ идеалистическаго и творческаго. Въ своемъ рефератъ Соловьевъ рашилъ эту тяжбу между христіанскою Европой и Европой секуляризованною, между средними въками и новымъ временемъ,---и ръшиль, какъ и слъдовало ожидать, въ пользу Европы секуляризованной. Въ этомъ не было, повторяю, ничего неожиданнаго: Соловьеву не пришлось мфиять для этого вывода ин своихъ основныхъ воззрфиій, ни даже своей терминологіи. Христіанство онъ и прежде понималь не какъ пъчто готовое и данное, не какъ законченную историческую форму. подлежащую храненію въ историческомъ архивь; а живое христіанство должно было жить вифстф съ жизнью общества. Заключить отсюда, что развитіе европейской жизни не противорфчить, а, напротивь, пдеть объ руку съ развитиемъ христіанской идеи, было естественнымъ, вполнъ логическимъ выводомъ изъ такого пониманія христіанства. Конечно. при этомъ ифкоторыя вещи явились подъ несовсфиъ привычными именами. То, что мы привыкли называть историческимъ терминомъ христіанства, въ идеалистическомъ употребленін Соловьева оказалось язычествомъ; а то, что мы привыкли противопоставлять христіанству какъ духъ времени, было признане какъ разъ за истинное христіанство. Вольтеръ не былъ, стало быть, скептикомъ, разрушавшимъ христіанскую религію, а, напротивъ, проводникомъ истинно-христіанскихъ началъ. призванныхъ замфинть средневъковое язычество, именовавшее себя христіанствомъ. Однимъ словомъ, христіанская средневфковая Европа была, въ сущности, языческой; а современная секуляризованиая Европа есть шагь впередъ къ полному усвоению христіанства, причемъ даже и невърующіе служать этому развитію христіанскихь началь, какъ безсознательныя орудія Божественнаго промысла.

Такимъ образомъ, теократическій идеалъ былъ приведенъ въ гарменію съ "либерально-эталитарнымъ прогресомъ", вѣра примирена съ невѣріемъ. Способъ, какимъ это было сдѣлано, конечно, долженъ былъ вызвать протестъ со стороны того и другого. Для вѣрующихъ оставалось слишкомъ мало христіанства въ новой исторической конструкціи Соловьева, а для невѣрующихъ его было все еще слишкомъ много. Оба направленія могли бы не безъ усиѣха сопоставлять эту конструкцію съ дѣйствительными историческими данными и находить въ иихъ фактическія опроверженія. Но одно обстоятельство трудно отрицать при всемъ этомъ, это -то, что отожествленіе религіи съ прогрессомъ было послюднимъ логическимъ выводомъ изъ гуманитарныхъ всемірно-историческихъ тенденцій стараго славянофильства. И въ этомъ направлеровать въ обществъ свой теократическій идеалъ и создать почву для прими-

ровать въ обществъ свой теократическій идеалъ и создать почву для примиренія двухъ противоположныхъ воззрѣній.

пін, какъ въ направленіи націоналистическомъ, славянофильская доктрина исчериала сама себя и пришла къ своей противоположности. "Либерально-эгалитарный прогрессъ" представлялъ, дѣйствительно, не меньшій контрасть съ исходными пунктами славянофильской доктрины, чѣмъ теорія національнаго эгонзма. Своей критикой русскаго націонализма Соловьевъ блестящимъ образомъ доказалъ послѣднее, доказалъ противорьчіе между націонализмомъ и истинною сутью славинофильства. За то своимъ собственнымъ построеніемъ онъ лучше всего иллюстрировалъ первое, несовиѣстимость славянофильства съ современными этическими и общественными воззрѣніями. Матеріалъ для общаго сужденія объ эволюціи славянофильства лежитъ теперь передъ нами, благодаря Соловьеву, законченнымъ, и намъ остается только подвести ко всѣмъ нашимъ предыдущимъ паблюденіямъ и разсужденіямъ общій итогъ.

XVII.

Въ основъ стараго славянофильства лежало внутреннее противорючіе. Идея національности м'єшала дать должное развитіе идеь мессіанизма; а мессіанская идея мѣшала раскрытію иден національности. Въ русской народности цанили религіозное начало, а въ релизіозномъ началь цънили его народную форму. При дальнъйшемъ развитін ученія это противоржчіе вышло наружу и повело къ тому, что двж основныя иден стараго славянофильства раздълнлись и каждая изъ нихъ получила отдельное логическое развитие. Въ основу этого дальнейшаго развитія положены были, повидимому, живыя и цінныя начала. На помощь при обоснованій иден паціональности призвана была историческая и общественцая наука; а всемірную задачу Россіи попробовали построить на высшихъ этическихъ требованіяхъ. И однако же результаты вполит последовательного, логического развитія объихъ идей оказались мало удовлетворительными. Въ теоріи это развитіе привело русскій націонализль къ метафизической концеццін "всемірно-историческаго типа", а русскій мессійнизмь-къ химерѣ всемірной теократін. Прилагая эти теорін къ практикъ, наши націоналисты пришли къ обскурантизму и къ систематической защитъ реакціи; а наши мессіанисты спаслись отъ этихъ выводовъ только темъ, что, худо ли, хорошо ли, приладили свое міровоззраніе къ теоріи прогресса.

Чѣмъ же объясняется такая неудовлетворительность результатовъ? Тѣмъ, очевидно, что въ самомъ принципѣ славянофильскаго ученія заключался элементь, портившій самыя вѣрныя пден, самыя благія на-

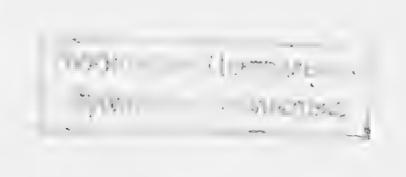
мфренія, разъ только они соприкасались съ славянофильскою почвой и употреблялись для возрожденія стараго ученія. Этимъ вреднымъ элементомъ былъ, съ нашей точки зрфнія, безусловный характеръ, абсолютизмъ славянофильского ученія, незаконно пережившій его метафизическую основу. Въ ученій о національности нельзя не считать въ высшей степени цвиной ту идею глубокаго своеобразія, оригинальности всякой національной жизни, на которой стояло славянофильство. Несомнивно, что эта идея о вполит индивидуальномъ характерт каждой общественной группы находить свое полное оправдание въ современной общественной наукт. Но стоить только объяснить это своеобразіе національности изъ присущаго ей народнаго духа, какъ этимъ самымъ народная индивидуальность далается абсолютной, неразложимой, и все дѣло оказывается испорченнымъ. Народность безъ духа-это будетъ тогда "этнографическій матеріалъ"; народность одухотворенная—это или звено во всемірно-исторической ціми или замкнутый въ себів "культурно-историческій типъ", неподвижный и предустановленный, какъ зоологические и ботанические типы стараго естествознания. Современная общественная наука не знаетъ такой классификаціи народовъна бездушные и духовные и не проводить такой ръзкой разницы между этнографическимъ матеріаломъ и культурною формой. Національность для нея не есть причина всъхъ явленій національной исторін, а скорфе результать исторіи, равнодфіїствующая, составившаяся изъ безконечно сложной суммы отдельныхъ историческихъ вліяній, дуступная всякимъ новымъ вліяніямъ. Вопросъ о заимствованін для нея не есть метафизическій вопросъ о разрушеній народной сущности, а просто вопросъ практическаго удобства. Такимъ образомъ, и всф ужасы, которыми грозило славянофильство объевроненвшейся Россіи: потеря самобытнаго типа, превращение въ неорганическую массу и т. д., для современной науки суть только призраки разстроеннаго метафизикой воображенія. Всякій народъ живеть для себя и своею жизнью; это признала реальная наука нашего времени, по это не мфшаетъ ей признать также, что въ основе всехъ этихъ отдельныхъ жизней лежать общіе соціологическіе законы и что по этой внутренней причинт въ безконечномъ разнообразін національныхъ существованій должны отыскаться и сходные, общіе всемь имь элементы соціальнаго развитія.

Какъ абсолютизмъ національный чуждъ современной соціологіи, точно также абсолютизмъ религіозный чуждъ современной этикѣ. Разъ ставши на почву этого абсолютизма, славянофильство, если хотѣло быть послѣдовательнымъ, дѣйствительно не могло помириться ни съ какимъ другимъ болѣ скромнымъ рѣшеніемъ всемірно-исторической за-

дачи, чемъ водворение царствія Божія на земле и всемірная теократія. Къ этому выводу поневолъ приводила безусловность правственно-религіознаго требованія. Но такой безусловности не признаеть современная этика, или, точиве говоря, она ищеть обоснованія этой безусловности въ другомъ мфстф, не въ метафизикф и религіи. Самая понытка Соловьева есть, въ сущности, и который компромиссъ между современными этическими стремленіями и аскетическимъ идеаломъ историческаго христіанства. Какъ всякій теоретическій компромиссъ, онъ должень быль въ концѣ концовъ разложиться на свои противорѣчія и привести къ одному изъ двухъ крайнихъ выводовъ. Противники Содовьева стали на сторону средневѣковаго идеала, самъ Соловьевъ склонился въ сторону современныхъ воззрѣній. Но, не говоря о томъ, что вопросъ о совивстимости того и другого остается открытымъ, свое последнее решение Соловьевъ внесъ черты религозно-правственнаго абсолютизма. Въ результатъ, всемірно-историческая задача человъчества представилась ему гораздо ясибе, чъмъ она представляется современной наукт и даже современной прикладной соціологіи, современной теоріи прогресса. Это черезчуръ ясное представленіе о конечной цъли человъчества не соединяется ли иногда съ недостаточно отчетливымъ понятіемъ о его ближайшихъ, болфе низменныхъ, но и болфе насущныхъ задачахъ? Не переворачивается ли вверхъ дномъ при такомъ измъненін естественной перспективы вся іерархія человъческихъ цълестремленій и обязанностей? Не рискуемъ ли мы при этомъ ближайшему предпочесть дальнъйшее, правственному требованію отдать преимущество передъ требованіями права? Не очутимся ли мы, пойдя этимъ путемъ, передъ давно знакомымъ утвержденіемъ, что юридическія начала слишкомъ тфены для человфчества, призваннаго къ чему-то высокому, "даже, кажется, небесному", какъ шутливо выразился Алмазовъ? Всф эти вопросы отпосятся, впрочемъ, болфе къ теорін, чфмъ къ теоретику: литературная дъятельность Соловьева не даетъ до сихъ поръ достаточныхъ новодовъ къ тому, чтобъ эти вопросы ставить, и тъмъ менње даеть достаточнаго матеріала для того, чтобы пхъ рышать по отношенію къ нему лично.

Итакъ, абсолютизмъ, метафизическій и религіозный, составлялъ и продолжаетъ составлять самую рѣзкую разграничительную черту между славянофильствомъ и современнымъ міровоззрѣніемъ. Въ старомъ славянофильствѣ абсолютизмъ этотъ былъ вполнѣ понятенъ: онъ естественно и необходимо вытекалъ какъ изъ условій воспитанія представителей славянофильства въ патріархальной семейной средѣ, такъ и изъ состоянія тогдашней европейской мысли. Поэтому славянофильство

было совершенно органическимо продуктомо того покольнія, которое его создало; и поэтому-то, въ сущности, оно должено было умереть съ этимъ покольніемъ. Следующія покольнія старались продлить его жизнь путемъ привлеченія свіжихъ элементовъ со стороны: съ помощью реальной науки или соціальной морали. Но результаты, какъ ни смотрать на нихъ, получались, во всякомъ случав, уже не тв. Старый славянофиль, въ лицѣ II. С. Аксакова или Д. Ө. Самарина, встрѣчаясь съ такой ультраславянофильскою попыткой, какъ теорія Соловьева, не узнаваль въ немъ славянофила и отказывался отъ всякаго духовнаго родства. Почему же? А потому, отвъчаетъ намъ И. С. Аксаковъ, что все это-, благородно", "красиво", но... не куплено кровью сердца, не выношено въ душф, не вытекаетъ изъ сильной привязанности, а сочинено и выдумано "въ просторной пустотъ" отвлеченном мысли. Старый славянофиль могь быть логически непоследователень, могь основывать свое ученіе на идеяхъ, внутренно противорфчивыхъ, но это ученіе выросло изъ современной ему дайствительности и жило, поэтому, своей особенной своеобразной жизнью. Эпигоны славянофильства —последовательнье, но "душа, смысль явленій выпали изъ ихъ діалектической схемы". А извъстно, что гдъ нътъ души, нътъ и жизни. Стало-быть, старый славянофиль быль правъ. Истинное славянофильство, "кровное", не теорія только, а живой типъ общественной мысли, - это славянофильство прекратило свое существованіе. Теперь органическій процессъ русской жизии и мысли давно уже даеть другіе "кровные" результаты. А славянофильство было когда-то... Теперь оно умерло и не воскреснетъ.





По поводу "Замъчаній" Вл. С. Соловьева.

Къ остроумнымъ "замъчаніямъ" Вл. С. Соловьева на мою лекцію о "разложенін славянофильства" я позволю себѣ, съ разрѣшенія редактора "Вопросовъ Исихологін", сдълать нѣсколько разъясненій. Почтенный философъ журитъ меня прежде всего за то, что я изъ него, Соловьева, создалъ цѣлую "фракцію" славянофильства, между тѣмъ какъ на деле фракція эта и "состоить только" изъ одного В. С. Соловьева. Владиміръ Сергфевичъ утверждаеть, что у него пъть единомышленниковъ и последователей, — и мит остается этому поверить. Правда, у меня говорилось кое-что о предшественникахъ В. С. Соловьева по реставраціи всемірно-исторической тенденціп славянофильства, но я охотно соглашусь, что построеніе, придуманное имъ "въ пустогъ отвлеченной мысли" для этой реставраціи, — было его предшественникамъ совершенно чуждо. Итакъ, я готовъ признать свою ошибку, согласиться, что В. С. Соловьевъ -философъ первый и единственный въ своемъ родь, и сдълать въ своей лекціи соотвътственныя корректурныя поправки. Но вотъ съ чамъ я не могу согласиться: В. С. Соловьевъ, заставивъ меня признать, что "лѣвая фракція славянофильства" — это онъ одинъ, хочетъ затвиъ получить отъ меня и другое признаніе, что этой "лівой фракціи славянофильства", т. е. его, В. С. Соловьева, "вовсе натъ въ дайствительности". Можетъ-быть и это върно, и все дъло зависить отъ моего неумфнья "смотръть въ корень", но я никакъ не могу представить себъ В. С. Соловьева несуществующимъ, а потому не могу согласиться и съ его дальнъйшимъ выводомъ, что если пътъ въ дъйствительности лъвой фракціи, то, значить, нътъ и правой, и что "следовательно" группа нашихъ націоналистовъ. называемая мною "правой", — не есть фракція славянофильства, а "что-ипбудь другое". Въ дальнъйшихъ "замъчаніяхъ" В. С. Соловьевъ и хочеть, повидимому, показать мив, что паціоналисты-не славянофилы, но ведеть это доказательство, какъ мив кажется, тоже ивсколько

страннымъ образомъ. "Генетической связи" націоналистическихъ взглядовъ съ "нѣкоторыми основными элементами стараго славянофильства" онъ не только не отрицаеть, но совершенно справедливо напоминаеть, что связь эта имъ же самимъ "указана и разъяснена". Въ чемъ же дело? Дело въ томъ, что, по мненію В. С. Соловьева, эту связь имеють право находить онъ и авторъ статьи "Разочарованный славянофилъ", но не имфю права я. Для того, чтобы усмотрфть эту связь, нужно, по словамъ В. С. Соловьева, "смотрѣть въ корень", "а такое занятіе присвоено однимъ метафизикамъ, для позитивистовъ же всѣ корни, равно какъ и вершины, сокрыты въ бездив непознаваемаго". Однако же, авторъ "Національнаго вопроса", такъ же, какъ и его единомышленникъ (проф. С. Н. Трубецкой), нашель возможность не только познать это непознаваемое, но и передать его весьма вразумительно на языкѣ обыкновенныхъ смертныхъ. Можетъ быть, "корень" не лежитъ уже въ этомъ случав такъ глубоко, чтобъ за его разысканіемъ приходилось выходить изъ предъловъ міра феноменальнаго, познаніе котораго доступно и "позитивистамъ". Правда, В. С. Соловьевъ оставляетъ за "позитивистами" только право "изучать генезисъ фактовъ", а филіацію идей отводить въ міръ "самостоятельной идеальной причинности". Но съ такимъ насильственнымъ ограниченіемъ "позитивнаго" кругозора "позитивисты" врядъ ли согласятся. Разъяснить почтенному философу, что міръ явленій включаеть и "духъ", и "матерію", я не считаю себя вправь. Точно также было бы излишне въ данномъ случав возражать по поводу отнесенія меня В. С. Соловьевымъ въ рубрику "историковъпозитивистовъ".

Еще одно замѣчаніе. "Приговоръ" по поводу "выдуманности" теорій В. С. Соловьева произнесень не мной, а И. С. Аксаковымъ. Въ какомъ смыслѣ я согласился съ этимъ приговоромъ, видно, какъ кажется, изъ самаго текста моей лекціи. Но ни у Аксакова, ни у меня этотъ приговоръ не относится къ той "сущности" мыслей Соловьева, къ тому "требованію, чтобы христіанство было осуществлено въ общественной и политической жизни",—которыя были бы общи В. С. Соловьеву со многими и многими мыслителями, — а къ тому, что въ его системѣ представляется—и другимъ, и ему самому—первымъ и единственнымъ въ своемъ родѣ. Само собой разумѣется, что ни Аксаковскій, ни мой приговоръ нѣтъ надобности считать окончательнымъ, но я опасаюсь, что по вопросу, куда подлежитъ обжалованіе этого приговора, мы сильно разойдемся въ инстанціяхъ.

